Валерий Фрид

58 1/2

Записки лагерного придурка

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги — известный кинодраматург. В 1944 году его и Юлия Дунского — студентов института кинематографии — арестовали по ложному обвинению в покушении на Сталина. В книге рассказывается о следствии на Лубянке, о десятилетних странствиях по островам «архипелага ГУЛАГ», о так называемом «вечном поселении». Свою тюремно-лагерную одиссею автор считает трудным, сильно затянувшимся, но интересным приключением.

- Валерий Семенович Фрид
  - I. Москва — Подольск — Москва
  - II. Гимназия
  - III. Постояльцы
  - IV. Церковь
  - V. Красная Пресня. Места революционных боев
  - VI. Едем на Север
  - VII. Комендантский
  - VIII. Малинник
  - IX. Не все коту Масленица
  - X. Чужга, проездом
  - XI. Штрафняк
  - XII. Этапы большого пути
  - XIII. Начало второй пятилетки
  - XIV. Юлик и другие
  - XV. Грех жаловаться
  - XVI. Два поэта
  - XVII. О милых и немилых
  - XVIII. Финишная кривая
  - XIX. Свобода — это рай
  - XX. Крокодил под кроватью
  - XXI. Брачная пора
  - XXII. Бросок на Юг
  - Приложение
    -
    - Юлий Дунский, Валерий Фрид
    - Глоссарий
    - Восспоминание о рассказе
- comments
  - 1
  - 2
  - 3

- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47

- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

Валерий Семенович Фрид
58 1/2: Записки лагерного придурка[{1}]

I. Москва — Подольск — Москва

В отличие от большинства моих близких друзей — и особенно подруг — я человек толстокожий, с малочувствительной нервной системой и бедным воображением. Вежливо слушаю, но скучаю, когда рассуждают про летающие тарелочки, снежного человека, Нострадамуса, бабу Вангу и бывших супругов Глоба. Никаких предчувствий у меня сроду не бывало, а что касается вещих снов, то я и простых, невещих, не вижу.

Не было у меня предчувствия беды и в день, сильно изменивший мою биографию — 19 апреля 1944 года.

Мы — т. е., я и моя невеста Нинка — стояли на перроне Курского вокзала. Стемнело, шел унылый, прямо-таки осенний дождик, и Нинкино лицо было мокрым — наверно, от дождя, но мне хотелось думать, что от слез: она ведь провожала меня в армию, а до конца войны было больше года. Вот у нее что-то вроде предчувствия было:

— Я чувствую, ты очень плохо поедешь.

А я ее разубеждал: почему это плохо? Всю войну в эвакуации я катался без билета, на подножках вагонов, на буферах, а то и на куче каменного угля — голышом, чтобы не запачкать одежду. А сегодня я ехал добровольцем в часть, и мне в военкомате дали вместе с направлением билет до Тулы — и представьте, в купейный вагон. Замечательно поеду, так я и не ездил никогда!

Но она талдычила своё:

— Нет, я чувствую: плохо поедешь.

Для себя я это истолковывал просто: конечно, ей грустно расставаться неизвестно на сколько с парнем, влюбленным до слепоты. Она-то меня совсем не так любила, но относилась хорошо, в этом я не сомневался — почему же не поплакать на прощанье?

Очень гордый собой и Нинкиными слезами, я обнял ее, поцеловал и поехал в 38-й учебный запасной полк. Но до Тулы не доехал.

Только я расположился на своем месте и по-хозяйски расстелил шинель, чтобы поспать по-человечески, как дверь отворилась и в купе вошли трое: проводник, милиционер и штатский.

— Ваши билеты, пожалуйста.

На билеты трех других пассажиров они глянули мельком, а моим заинтересовались.

— Тут что-то не так, — сказал штатский. — Что за нитки?

Я объяснил, что нитками сшили все мои проездные

документы в военкомате.

— Нет, это надо проверить. Сейчас будет Подольск, сойдем, выясним.

Тут я забеспокоился, даже заволновался. Стал втолковывать им, что вот, первый раз за всю войну еду как человек, в хорошем вагоне… Слезем, а как потом добираться до Тулы?

— Да ты не бойся, — утешил меня штатский. — Проверим, и поедешь дальше этим же поездом.

До Подольска было ехать еще с полчаса. Проводник вышел из купе, а с двумя оставшимися мы коротали время в дружеской беседе. Услышав, что я был студентом ВГИКа, они проявили естественный интерес к киноискусству: правда ли, что Любовь Орлова — жена режиссера Александрова? Да, правда.

Поезд остановился. Мы выскочили из вагона. («Ребята, давайте побыстрее! — торопил я. — Хочется поспеть до отправления. Ведь на буферах ездил, на подножках, а тут…» — «Да поняли мы, поняли. Успеем»). Бегом мы промчались вдоль состава, вбежали в комнату железнодорожной милиции — в торце станционного здания. Там нас встретил низкорослый субъект в хромовых сапогах и пальто неприятного серо-зеленого цвета. Физиономия у него была тоже неприятная.

— Расстегнитесь.

Я расстегнул шинель. Он быстро и умело обыскал меня. Теперь я сказал бы «прошмонал» — но тогда я лагерной фени не знал. И тем не менее — сам не понимаю почему — спросил совсем по-лагерному:

— Чего ищешь, начальник?

— А что? Ничего нет?

К моему удивлению он отстегнул цепочку английских булавок, которые мама прицепила к нагрудному карману, и отложил в сторону.

Трудно поверить, но я ведь и после этого ничего не заподозрил! Я же говорю: бедное воображение.

Милиционер куда-то исчез, а я с двумя штатскими опять помчался по платформе — в обратном направлении. Опять попросил:

— Быстрее, ладно?

И опять мне ответили:

— Успеем.

Но вместо того, чтобы посадить меня в вагон, мои провожатые свернули направо. Мы пробежали через зал ожидания и оказались на привокзальной площади. Там стоял — прямо как в дешевом романе — «черный автомобиль с потушенными фарами». А попросту — черная эмка.

Вот тогда — только тогда! — я понял: это арест. За что, почему — этого я не успел подумать. Да в те времена арест был таким привычным, неприятным, но никого не удивлявшим делом, как, скажем, дождь или мороз. Я даже не испугался. А в голове промелькнули две коротенькие мысли. Об одной я вспоминаю с удовольствием, о второй — со стыдом. Собственно, первая была даже и не мысль, а так, виденье. Мне представилось какое-то помещение, где на грязном полу спят вповалку плохо одетые люди — то, что я часто видел в эвакуации, хотя бы на вокзалах. «Десять лет. Переваляемся!» — с уверенностью сказал мне так называемый внутренний голос.

А вторая, стыдная, мысль была такая: в рюкзачке у меня две банки, сгущенка и свиная тушонка. Я их собирался съесть в Туле вдвоем с Юликом Дунским, а теперь имею право съесть все один.

Юлик тоже пошел добровольцем и получил направление в ту же часть. Только уехал на четыре дня раньше. Когда через год мы встретились в Бутырках, выяснилась, кстати, тайна моего купейного вагона. Юлику дали билет в общий. Там было тесно, и он пошел искать, где попросторней. Поэтому чекистам пришлось в поисках «объекта» пройти чуть ли не полсостава. Подольск проехали и в Москву возвращались с добычей поездом. Неудобство, конечно. Вот почему мне дали билет в купе, с точно обозначенным местом{2}.

А вообще-то, как подумаешь — к чему такие сложности? Позвонили бы по телефону, сказали: «Возьмите сухари, кое-что из белья и явитесь в такую-то комнату на Лубянку». Явились бы как миленькие, без звука!.. Но нет, они играли в свои игры: мы, вроде, настоящие преступники, а они, вроде, настоящие сыщики. Казаки-разбойники!..

Так вот, посадили меня в черную эмку, и мы поехали. Сопровождающие поглядывали на меня с пакостными улыбочками. Могу их понять: такого доверчивого идиота им, видимо, еще не приходилось арестовывать{3}.

— На Лубянку везете? — мрачно спросил я.

— Куда надо, — весело ответили они.

И на этом окончилась моя вольная жизнь. Могу только добавить, что когда доехали «куда надо», а именно на Малую Лубянку, и машина остановилась в ожидании, пока откроются железные ворота, — прямо напротив костела, — я заговорил. (А по дороге молчал, к их разочарованию: наверно, хотели бы, чтоб уговаривал отпустить, уверял, что это недоразумение — я ни в чем не виноват). Заговорив, сказал:

— Дайте поссать.

Они разрешили, и я с удовольствием пописал на свою первую

тюрьму.

II. Гимназия

На тюремном жаргоне тех лет у каждой из московских тюрем была кличка: Сухановка называлась «монастырь», Большая Лубянка — «гостиница». Ее гордостью были паркетные полы: до революции в этом высоком здании, огороженном со всех сторон серыми кагебешными громадами, помещалась гостиница страхового общества «Россия». Острили: раньше страхово́е, теперь стра́ховое. А Малую Лубянку, двухэтажную внутреннюю тюрьму областного НКВД, нарекли «гимназией». Говорят, там когда-то действительно была женская гимназия.

Привезли меня туда ночью и сразу же повели на допрос. В большом кабинете было четверо чекистов: полковник, подполковник и два майора. Майоры помалкивали, а старшие вели допрос. Один из них, благообразный блондин, был серьезен и вежлив, другой, видом погаже, время от времени симулировал вспышку праведного гнева и ни с того ни с сего принимался материть меня. Известная полицейская игра — «добрый» следователь и «злой». Но я-то с ней познакомился впервые.

А вообще, ничего особенного в тот раз не произошло. Мне предъявили бумагу, в которой было сказано, что я участник антисоветской молодежной группы — а про террор, который в нашем деле стал главным пунктом обвинения, не говорилось ни слова. Фамилии полковника и подполковника я забыл, майоров почему-то запомнил: один, черноволосый, с красивым диковатым лицом, был Букуров, а другой, похожий на артиста Броневого в роли Мюллера, был Волков. С Букуровым я больше не встречался, а с Волковым беседовал несколько раз, и об этом расскажу чуть позже.

По окончании допроса меня отвели в бокс — маленькую, примерно два на полтора, камеру без окон и без мебели. Надзиратель отдал мне мамины оладьи из сырой картошки, открыл тушонку и банку сгущенного молока. Все это я тут же сожрал, не почувствовав, впрочем, вкуса, расстелил на полу шинель{4} и сразу заснул очень крепким сном. Разбудил меня, не знаю через сколько времени, пожилой надзиратель — пошевелил сапогом и сказал с неодобрением:

— Пахали, что ли, на них…

И отвел меня в камеру.

О камерах и сокамерниках будет отдельный разговор, а пока что о следователе Волкове. Похоже, что на Малой Лубянке он был главным интеллектуалом — тем, что англосаксы называют «mastermind». Не он ли сочинял сценарии наших дел?

На допросах Волков придерживался роли строгого, но справедливого учителя. Его огорчала малая сообразительность ученика: представляете, Фрид не знает даже разницу между филером и провокатором?! Я действительно не знал.

В первый же день я признался: да, мы с ребятами говорили, что брать плату за обучение — это противоречит конституции. Говорили и про депутатов Верховного Совета, что они ничего не решают. Но когда я пытался протестовать: разве это антисоветские разговоры? Волков, вздохнув, терпеливо разъяснял мне, что к чему.

— Сознайтесь, Фрид — вы сказали бы об этом у себя в институте, на комсомольском собрании?

— На собрании? Нет, не сказал бы.

— Так как же назвать такие высказывания? Советские?

— Ну… Не совсем… Несоветские.

— Фрид, вы же интеллигентный человек. Будьте логичны. Несоветские — значит антисоветские. Великий гуманист Максим Горький очень точно сформулировал: кто не с нами — тот против нас.

— Но почему антисоветская группа?

— Что же вы, сами с собой разговаривали?

— В компании друзей.

— Давайте я вам покажу толковый словарь Даля или Ушакова… Компания, группа — это же синонимы! Заметьте, никто не говорит, что у вас была антисоветская организация. Группа. Группа была… Вы согласны?

Я соглашался. Сначала с тем, что несоветское и антисоветское — это одно и то же, потом, что группа это не организация, потом еще с чем-то, и еще, и еще. Соглашался, хотя уже понимал: коготок увяз — всей птичке пропасть. Но ведь мы не считали себя врагами. Комсомольцы, нормальные советские ребята, мы чувствовали за собой вину — как ученики, нарушившие школьные правила. И изо всех сил старались доказать учителям, что мы не такие уж безнадежные: видите, говорим правду. То, что было, честно признаем.

Если бы мы и вправду были участниками вражеской группы или там организации — это для них разницы не составляло, — то и держались бы, думаю, по-другому. Хитрили бы, упирались изо всех сил. Конечно, под конец они все равно сломали бы нас — но не с такой легкостью. Меня ведь и не били даже. Сажали два раза в карцер{5} на хлеб (300 г) и на воду, держали без сна пять суток — но не лупили же резиновой дубинкой, не ломали пальцы дверью.

На основании личного опыта я мог бы написать краткую

инструкцию для начинающих следователей-чекистов: «Как добиться от подследственного нужных показаний, избегая по возможности мер физического воздействия».

Пункт I. Для начала посадить в одиночку. (Я сидел дважды, две недели на Малой Лубянке и месяц на Большой).

Пункт II. Унижать, издеваться над ним и его близкими. («Фрид, трам-тарарам, мы тебя будем судить за половые извращения». — «Почему?» — «Ты, вместо того чтобы е… свою Нинку, занимался с ней антисоветской агитацией»).

Пункт III. Грозить карцером, лишением передач, избиением, демонстрируя для наглядности резиновую дубинку.

Пункт IV. Подсадить к нему в камеру хотя бы одного, кто на своей шкуре испытал, что резиновая дубинка — это не пустая угроза. (С Юликом Дунским сидел Александровский, наш посол в довоенной Праге. Его били так, что треснуло нёбо. А я чуть погодя расскажу о «террористе» по кличке Радек).

Пункт V. Через камерную «наседку» внушать сознание полной бесполезности сопротивления… и т. д.

Думаю, что подобная инструкция существовала. Во всяком случае, все мои однодельцы подвергались такой обработке. Различались только частности: так, Шурику Гуревичу его следователь Генкин, грузный медлительный еврей, говорил:

— Гуревич, лично я не бью подследственных. Я позову трех надзирателей, вас положат на пол, один будет держать голову, другой ноги, а третий будет бить вас по пьяткам вот этой дубинкой. Это очень больно, Гуревич, — дубинкой по пьяткам!

Гуревич верил на слово и подписывал сочиненные Генкиным «признания». Излюбленную следователями формулу «готов дать правдивые показания» мы несколько изменили (в разговорах между собой, конечно): «готов дать любые правдивые показания». Должен сказать, что после первых недель растерянности и острого ощущения безнадежности к нам возвратилась способность шутить, относиться к своему положению с веселым цинизмом. Ведь были мы довольно молоды — 21–22 года, а кроме того, инстинкт самосохранения подсказывал, что чувство юмора поможет все это вынести.

Ну разве можно было без смеха выслушивать такое:

— Вы с Дунским пошли в армию добровольцами, чтобы к немцам перебежать.

— Расстегнуть ширинку, показать?

— Ты эти хохмочки брось! Знаешь, сколько на этом стуле сидело евреев — немецких шпионов?! — Это говорилось с самым серьезным видом. Впрочем, у них достало здравого смысла эту версию не развивать: хватало других обвинений. А в том, что мы

все подпишем, они не сомневались.

Меня следователь пугал:

— Мы из тебя сделаем мешок с говном!

— А из говна конфетку? — слабо скусывался я.

Близко познакомился с резиновой дубинкой Юлик Дунский. Было это так. В середине следствия (а мы провели на Лубянке почти год) Юлика повели на допрос не к его следователю, а куда-то в другое место. Ввели в комнату, где сидел за маленьким столом и что-то писал незнакомый офицер, подвели к шкафу — обыкновенному платяному шкафу с зеркальной дверцей — и сказали:

— Проходите.

Он не понял, даже немного испугался: в шкаф? Может, это камера пыток? Но шкаф оказался всего лишь замаскированным тамбуром перед дверью генерала Влодзимирского — начальника следственной части по особо важным делам.

Генерал был импозантен: не то поляк, не то еврей с черными бровями и седыми висками.

— Садитесь, Дунский, — сказал он. — И расскажите мне откровенно, что у вас там было.

И Юлик решил, что вот наконец появился шанс сказать большому начальнику всю правду, раскрыть глаза на беззакония его подчиненных: ведь не было же никакой «антисоветской группы», никаких «террористических высказываний» — все это выдумка следователей, все наши «признания» — липа!.. Он стал рассказывать, как мы вернулись из эвакуации, встретились в Москве со школьными друзьями, с Володькой Сулимовым, побывавшим на фронте и тяжело раненым, с его женой Леночкой Бубновой, с Лешкой Суховым, Шуриком Гуревичем… Да, разговаривали, да, высказывали некоторые сомнения, но чтоб готовить покушение на Сталина — это же бред, честное слово, такого не было и быть не могло!..

Генерал слушал, слушал, потом изрек:

— Я надеялся, что вы чистосердечно раскаялись — а вы мне рассказываете арабские сказки?!

Достал из ящика резиновую дубинку — такую каплевидную, с гофрированной рукояткой — вышел из-за стола, замахнулся и изо всей силы ударил по подлокотнику кресла, в котором сидел Юлий. Тот держал руки на коленях. Отнял ладони — и увидел на брючинах влажные отпечатки: так моментально вспотели руки в ожидании удара.

Юлик рассказывал, что на него навалилось такое отчаянье, такая злость — в том числе на себя, за глупую доверчивость — что он крикнул:

— Я думал, вы действительно хотите узнать правду. Но вам не это нужно… Не буду ничего говорить!

Влодзимирский постоял немного, помахивая дубинкой, потом бросил ее на стол. Приказал:

— Уведите этого волчонка.

И волчонка повели обратно в камеру.

Меня к Влодзимирскому не водили. Вот у Шварцмана, его заместителя, я побывал — в конце следствия. Это был тучный человек с лицом бледным от бессонницы. На воле я бы его принял за перегруженного работой главного инженера какого-нибудь большого завода.

— Фрид, — сказал он внушительно. — Мы вас, может быть, не расстреляем.

— Я знаю.

Он поглядел на моего следователя майора Райцеса, потом на меня и спросил:

— А как вы думаете, сколько вам дадут?

На их лицах я увидел выражение обыкновенного человеческого любопытства.

— Десять лет.

— Ну и как?

— Хватит с одного еврейского мальчика.

Оба хихикнули и на этом разговор окончился. Меня действительно не расстреляли. Расстреляли самого Шварцмана — в 53-м вместе с Влодзимирским и другим заместителем следственной части по ОВД полковником Родосом.

Этот заслуживает отдельного рассказа.

Он зашел поглядеть на меня перед нашим переводом с Малой на Большую Лубянку. Маленький, рыжий, с неприятной розовой физиономией, он в тот раз был в штатском — в светло-сером хорошем костюме. Снял пиджак, повесил на спинку стула и стал расхаживать по кабинету, заложив за спину короткие ручки, поросшие рыжим пухом. На брючном ремне — прямо на копчике — была у него желтая кобура крохотного пистолета. По-моему, он нарочно повернулся ко мне задницей, демонстрируя эту кобуру — видимо, представлялся себе зловещей и романтической фигурой.

К этому времени я уже признался во всех несуществующих грехах и твердо стоял только на том, что о наших «контрреволюционных настроениях» ничего не знали Нина Ермакова, моя невеста, и два друга детства — Миша Левин и Марк Коган (я не подозревал, что они уже арестованы). Мое упрямство Родосу не понравилось и, как сообщил мне мой следователь, полковник отозвался обо мне так: «по меньшей мере

мерзавец, а может быть, и хуже». Странная формула, но фразу, мне кажется, достойную войти в историю, он сказал Юлику Дунскому:

— Про нас говорят, будто мы применяем азиатские методы ведения следствия, но (!) мы вам докажем, что это правда.

Это о Родосе рассказывал на XX съезде Хрущев:

— Этот пигмей, это ничтожество с куриными мозгами, осмеливался утверждать, будто он выполняет волю партии!

Речь шла о пытках, которым Родос лично подвергал не то Эйхе, не то Постышева — точно не помню. Про Родоса я поверил сразу — такой способен. А вот когда прочитал недавно, что и Шварцман собственноручно пытал в 37-м кого-то из знаменитостей — удивился. В этом усталом пожилом еврее я не разглядел ничего злодейского. Урок дуракам. Помните, у Гейне: «Тогда я был молод и глуп»? (А дальше у него: «Теперь я стар и глуп»).

К слову сказать, в следственной части по особо важным делам евреев-следователей было много, правда, евреев-подследственных еще больше. На Малой же Лубянке, в областном управлении, если и были среди следователей евреи, то, как пишут про гонококков в лабораторных анализах, «единичные в поле зрения».

«Особо важные дела» вели майоры и подполковники, а областные — в основном старшие лейтенанты.

Моим был ст. лейтенант Николай Николаевич Макаров, «Макарка», как мы его звали — за глаза, конечно. А в глаза — гражданин следователь.

Следствие — самая мучительная, полная унижений и отвращения к себе часть моей тюремно-лагерной биографии. А первый, самый тяжелый, период следствия у меня связан с Макаровым. Но, как ни странно, об этом человеке я думаю без особой злобы — скорее даже, с чем-то похожим на симпатию. Это мне и самому не совсем понятно. Может, это и есть та таинственная связь между палачом и жертвой, о которой столько написано в умных книгах? Не знаю. Никаких мазохистских комплексов я за собой не замечал. Попробую подыскать какое-нибудь другое, рациональное объяснение.

Во-первых, я уже тогда понимал, что вся эта затея (наше «дело») не его изобретение. Человек служил, выполнял работу — грязную, даже отвратительную. Но разве виноват ассенизатор, что от него разит дерьмом? Конечно, мог бы выбрать и другое занятие, с этим я не спорю.

Во-вторых, в Макарове было что-то человеческое. Например, когда вечером ему приносили стакан чая с половинкой

шоколадной конфеты, он эту половинку не съедал, а брал домой, для сынишки. Да, именно половинку: шла ведь война, и с кормежкой даже у энкаведистов — во всяком случае у этих, областных — обстояло туго. Проделывал он это каждый раз, слегка стесняясь меня. Ребенка Макарка любил, гордился его талантами — тот учился не то в музыкальной, не то в рисовальной школе.

А однажды произошел такой случай.

Я уже знал, что моя невеста арестована. Макаров даже разрешил мне подойти к окну, поглядеть: пять-шесть женщин вывели на прогулку, и среди них была она. Женщины уныло ходили по кругу. Лицо у Нинки было бледное и несчастное.

Кроме полуслепой матери на воле у нее никого не оставалось: отец, арестованный еще до войны, умер в тюрьме, брат был в армии. И я считал, что Нине никто не носит передачи. (Потом-то узнал: носила подруга Маришка, дочь академика Варги). Мне же передачи мама таскала регулярно. Граммов триста сыра из передачи я запихал в маленький полотняный мешочек, туда же втиснул шматок сала и десять кусочков сахара. Мешочек с трудом, но уместился в кармане, и я брал его на каждый допрос — авось уговорю Макарку передать это Нине. И представляете, уговорил в конце концов.

— Ладно, давай, — буркнул он и сунул мне листок чистой бумаги. — Заворачивай.

Мой мешочек он отверг: видимо, боялся, что я — стежками или как-нибудь еще — передам Нинке весточку. Я принялся сворачивать кулек, но от волнения руки тряслись и ничего не получалось.

— Террорист хуев, даже завернуть не можешь! — Следователь взял у меня бумагу и продукты, очень ловко упаковал. И тут, на мою беду, открылась дверь и вошел его сосед по кабинету Жора Чернов. Ко мне этот Чернов не имел никакого отношения, просто их столы стояли в одной комнате. Но он — исключительно ради удовольствия — время от времени подключался к допросу и измывался надо мной как-то особенно пакостно. И морда у него была противная — как у комсомольских боссов из ЦК ВЛКСМ: румяных, наглых и почти всегда смазливых. Большая сволочь был этот Жора, недаром первым из своих коллег получил четвертую, капитанскую, звездочку на погон. Макаров его тоже не любил и побаивался.

Когда Чернов вошел в кабинет, Макаров растерялся. Сказал с жалкой улыбкой:

— Вот, уговорил меня Фрид. Передать Ермаковой.

Тот молча повел плечиком, взял что-то со своего стола и

вышел.

Мой следователь заметал икру. Срочно вызвал надзирателя, чтобы присмотреть за мной, а сам выскочил из кабинета. Я слышал, как хлопнула дверь напротив: там сидел его начальник, Вислов. Важно было самому настучать на себя, опередить Чернова.

Через несколько минут Макаров вернулся, расстроенный.

— Знаешь, Фрид, я вот что подумал: Ермаковой обидно будет. Вроде, какая-то подачка. Мы лучше сделаем официально: ты напишешь заявление, я как следователь не возражаю… Получим резолюцию начальства, и ей передадут.

Глаза у него были правдивые-правдивые — как у пса, который сожрал забытую на столе колбасу и теперь вместе с хозяином удивляется: куда она девалась?

— Да не будет ей обидно. Передайте сами!

— Нет, нет. На тебе бумагу, пиши.

Я написал заявление, прекрасно понимая, что толку не будет. Так оно и получилось — но все равно, этот эпизод я ставлю Макарке в заслугу.

Думаю, что и он по-своему симпатизировал мне. Выяснилась даже некоторая общность вкусов: он, как и я, терпеть не мог Козловского, а любил Лемешева.

Кто-то, наверно, удивится: нашли, что обсуждать во время допроса! Могу объяснить. По заведенному у них порядку допросы — в основном ночные — тянулись долго, до утра. Следователь отрабатывал часы — а чем их заполнить? Что нового мог он узнать от нас? Обо всех предосудительных разговорах, тех, которые имели место в действительности, мы рассказали на первых же допросах. Теперь следователям предстояло написать — желательно, с нашим участием — сочинение на заданную тему: как молодые негодяи готовили покушение («терактик», говорил Макарка) на Сталина. С этим особенно торопиться было нельзя: все-таки арестовано по делу четырнадцать человек, и все «признания» надо привести к общему знаменателю. Поэтому допросы выглядели так: надзиратель («вертухай», «дубак», по фене) вводил меня в кабинет Макарова, сажал на стул, отставленный метра на два от стола следователя, и удалялся. Макаров долго писал что-то, изредка поглядывая на меня: это входило в программу психологической обработки — предполагалось, что подследственный томится в ожидании неприятного разговора, начинает нервничать. Но я почему-то не нервничал.

Наконец Макарка поднимал голову и говорил:

— Как, Фрид, будем давать показания или мндшкскать?

Последняя часть вопроса произносилась нарочито невнятно. Я переспрашивал:

— Что?

— Показания давать будем или мндшик искать?

— Что искать?

— Я говорю: показания давать или мандавошек искать?

Так на их особом следовательском жаргоне описывалась — довольно метко! — поза допрашиваемого: сидишь, положив руки на колени и тупо смотришь вниз — на то место, где заводятся вышеупомянутые насекомые (по научному — площицы, лобковые вши).

— Я вам все рассказал, — повторял я в который уже раз.

— Колись, Фрид, колись!..

Иногда за этим следовала матерная брань — но матерился Макарка без вдохновения, по обязанности. Обещал, что пошлет меня «жопой клюкву давить» (это, как мне объяснили в камере, значило: ушлют на север, в карельские лагеря). А иногда, для разнообразия, грозился отправить меня «моржей дрочить» (т. е. на Колыму).

— Я все уже рассказал, — уныло твердил я.

— Смотри, сядешь в карцер!

— За что?

— За провокационное поведение на следствии.

Я не понимал и сейчас не понимаю, что в моем поведении было провокационным. Тем не менее, в карцере сидел — два раза по трое суток.

Иногда Макаров уставал от бессмысленного сидения больше, чем я. Однажды он даже задремал, свесив голову на грудь. Я, грешным делом, подумал: это он притворяется, проверяет, как я себя поведу. Но Макарка вдруг схватился за трубку молчавшего телефона и крикнул испуганно:

— Алё!

Положил трубку, виновато улыбнулся: ему приснился телефонный звонок.

У него было неплохое чувство юмора. Как-то раз он показал мне надпись на папке с протоколами: «ДЕЛО №…» и сверху — «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».

— Видал? Фрид умрет, а дело его будет жить!

И принялся подшивать в папку новые бумажки.

— Шьете дело белыми нитками? — поинтересовался я. Он без промедления парировал:

— Суровыми нитками, Фрид, суровыми.

Надо сказать, что был этот старший лейтенант до неправдоподобия безграмотен. Даже слово «террор», которое

чаще всех других фигурировало в протоколах, он писал через одно «р». Особые нелады у него были с названием самого массового из искусств. Он писал его таким манером: «киномотография». Я поправлял:

— Кинематография!

— Ну нехай будет по-твоему, — добродушно соглашался он и писал: «кинемотография». До конца все-таки не сдавался…

Когда нас перевели на Большую Лубянку, у меня появился другой следователь, красивый глупый еврей майор Райцес. (В первый день, пока он, тонко улыбаясь, молчал, я его принял за красивого умного грузина). На одном из допросов я упомянул про неграмотность его младшего собрата с Малой Лубянки. Майор сделал вид, что пропустил это мимо ушей. Но вооружился толстым томом, который старался прятать от моих глаз, и часто сверялся с ним. Я решил было, что это у них какое-то руководство по ведению особо важных дел и даже приуныл. Но таинственная книга оказалась орфографическим словарем.

Этот Райцес, разговаривая со своим начальником по телефону, поднимался со стула и стоял по стойке смирно — ей-богу, не вру!

Остроумием он, в отличие от Макарова, похвастаться не мог. Проделывал со мной один и тот же номер: когда я просился в уборную, Райцес нарочно тянул время, заставляя меня повторять просьбу несколько раз. Я ерзал на стуле, сучил ногами; следователя это забавляло. Между тем, каждый раз, когда в конце концов майор заводил меня в уборную, он сам, я заметил, не отказывал себе в удовольствии облегчить мочевой пузырь. И я решил отыграться: в следующий раз, на допросе, терпеть до конца и не проситься. Так и сделал. Чувствую, майор занервничал, заерзал в кресле.

— Что, Фрид? Небось, хотите в уборную?

— Нет, спасибо.

Прошло еще полчаса. Райцесу просто невтерпеж, а я молчу. Он не выдержал:

— Идемте, Фрид. (Он, опять же в отличие от Макарки, обращался ко мне на «вы»). Идемте, я вижу, вы уже обоссались.

В уборной он стал торопить меня:

— Ну?! Что вы тянете?

— Спасибо, мне не хочется.

Это я, конечно, врал — еще как хотелось! С неудовольствием поглядев на меня, он пристроился к писсуару. Выдержав паузу, я подошел к другому, лениво произнес:

— Поссать, что ли, за компанию.

После того случая он отказался от своей дурацкой забавы.

Предвижу, что читатель — если он добрался до этого места — возмутится: неаппетитно и не по существу. А где об ужасах Лубянки? Но я подрядился писать только о том, что было лично со мной. А кроме того, я всю жизнь не любил и не люблю громких звуков и патетических оборотов речи. Ужасы, лагерный ад, палачи — это слова не из моего лексикона. Было, было плохое — очень плохое! И вены я себе пытался резать, и — взрослый мужик! — заплакал однажды в кабинете следователя от бессилия доказать хоть что-нибудь, и на штрафняк попадал, и с блатными дрался: могу предъявить три шрама от ножа. Но не хочется мне писать обо всем этом, гордясь страданиями. Мне куда приятней вспоминать те победы — пусть маленькие, незначительные — над собой и над обстоятельствами, которые в конце концов помогли вернуть самоуважение, начисто растоптанное в следовательских кабинетах. Но до этого было еще далеко: процесс нравственного выздоровления начался только после окончания следствия.

А пока что вернусь на Малую Лубянку, к ст. лейтенанту Макарову. Он, разумеется, знал, что никаких террористических намерений ни у кого из нас не было. Но был сюжет, сочиненный лубянскими мудрецами, по которому каждому отводилась определенная роль.

— А скажи по-честному, Фрид, — доверительно спрашивал Макарка (без свидетелей, конечно). — Ведь хотели вы его — к-х-х-р?!

Выразительным жестом он показывал, как накидывают петлю на шею и душат товарища Сталина.

— Говорили ведь, что грузины живут до ста лет? А поэтому…

Здесь, наверно, самое время рассказать о сути дела — дела не в чекистском значении этого слова.

В конце сорок третьего года Юлий Дунский и я вернулись с институтом из эвакуации. Встретились со школьными друзьями и приятелями. Часто собирались то у меня на квартире (родителей в Москве не было), то у Володьки Сулимова. Трепались, играли в «очко», иногда выпивали. Сулимов уже успел повоевать и вернулся домой по ранению: сильно хромал, ходил с палочкой. Он был женат на своей однокласснице Лене Бубновой, дочери старого большевика, наркома просвещения. И Володькиного, и Леночкиного отца расстреляли в 37-м. В наших разговорах мы, естественно, касались и этой темы. Причем Володя был уверен, что их отцов расстреляли зазря, а Лена, идейная комсомолка, не соглашалась:

— Володя, — говорила она. — Ведь мы с тобой не все знаем. Что-то, наверно, было!

Леночкина верноподданность не спасла ее от ареста.

Знакомство с этой парой и сыграло главную роль в нашем деле.

Меня часто спрашивают: а кто настучал на вас? Никто. Этого не требовалось.

Разговоры в Володиной квартире подслушивались. За стенкой жило чекистское семейство, Сулимовых «уплотнили» после ареста отца. Узнали мы об этом уже на Лубянке, при довольно смешных обстоятельствах.

На одном из первых допросов у Юлика стали выпытывать, что он вез в армию в своем рюкзаке. Он перечислил: еду, белье, книжки…

— А еще? — И следователь предъявил ему запись разговора:

> Бубнова: «Юлик, не дай бог, ударится обо что-нибудь. Представляешь, что будет?!»
>
> Дунский: «Не бойся, я обложил мягким».
>
> Бубнова: «Нет, это опасно. Обернем бумагой и вложим в шерстяной носок».

— Ну, теперь вспомнил?.. Говори, что у тебя там было?! — нажимал следователь. И Юлик, действительно, вспомнил: это была не бомба, не граната — стеклянный флакон с жидким мылом, которое Лена дала ему в дорогу.

Не знаю, подслушивал ли кто-нибудь нашу болтовню в квартире у меня: для этого и микрофон не потребовался бы, одна из стенок была фанерной. Но их интересовали в первую очередь дети врагов народа, Бубнова и Сулимов.

Много лет спустя мы с Юлием выстроили целую теорию — думаю, очень близкую к истине.

Когда окончилась гражданская война, все комиссары слезли с коней, отстегнули от ремней маузеры и всерьез занялись половой жизнью. Поэтому у всех у них первые дети родились в двадцать первом — двадцать втором году. В тридцать седьмом родителей — почти всех — посадили, а самых видных и расстреляли. Дети были тогда школьниками, с ними не связывались. Но к концу войны они повзрослели, и кому-то на Лубянке пришла в голову счастливая мысль: пугать Сталина новой опасностью. «Конечно, товарищ Сталин, вы правильно сказали: сын за отца не отвечает. Но, с другой стороны, яблочко от яблони далеко не упадет. Волчата выросли, отрастили зубы и теперь хотят мстить за отцов. Собрали вокруг себя антисоветски настроенную молодежь и готовят террористические акты. Но мы, чекисты, начеку! Часть молодежных террористических групп уже обезврежена, доберемся и до остальных. Спите спокойно, товарищ Сталин!»

Так появились на свет дела, в которых фигурировали громкие фамилии: Бубнова, Сулимов… А в соседних кабинетах — Якир,

Тухачевская, Уборевич, Ломинадзе… и т. д., и т. п.

Оставалось только в каждом из этих липовых дел досочинить некоторые детали.

Наше «дело» выглядело так: Сулимов поручил Гуревичу изучить правительственную трассу. (Шурик Гуревич, студент-медик, ездил практикантом на машине скорой помощи — иногда и по Арбату). Фриду велено было притвориться влюбленным и ухаживать за Ермаковой, которая жила на Арбате. Сам Сулимов, помреж на мосфильмовской картине «Иван Никулин, русский матрос», брался принести со студии гранаты, а Сухов — пулемет, который он снимет с подбитого под Москвой немецкого бомбардировщика. Личную готовность совершить теракт выражал Дунский. Ему Сулимов доверил обстрелять из окна в квартире Ермаковой машину Сталина, когда тот поедет на дачу. Или бросить гранату.

Весь этот бред следовало оформить по всем правилам протоколами, подтвердить очными ставками и собственноручными показаниями.

Поначалу мы пытались взывать к логике: бросить в проезжающий автомобиль гранату? Но ведь Нина жила на шестом этаже!

Наша наивность удивляла их. Нам разъяснили:

— Бросать-то не вверх, а вниз.

— Но ведь машина Сталина, наверно, бронированная?

— Да. Но на крыше каждого лимузина есть незащищенное место.

Действительно, вспоминали мы: есть на крыше «зиса-101» прямоугольничек, покрытый чем-то вроде кожимита. Это мы знали.

А о том, чего не знали, нам любезно сообщали следователи. Так, от них мы узнали, что мысль совершить терракт против главы правительства и партии возникла у нас, когда услышали, что генерала Ватутина убили террористы. (Правда, услышали мы об этом только на Лубянке).

Любопытно, что фамилия Сталин не должна была фигурировать в протоколах, была запретной — как имя еврейского бога. И также заменялась иносказанием: «глава правительства и партии». Или же делался пропуск в тексте, словно опускалось нечто непечатное: «клеветали на… … утверждая, что якобы» и т. д.

Почему, для чего? До сих пор не нахожу разгадки. Возможно, машинистки, перепечатывавшие протоколы, не должны были даже подозревать, что такая кощунственная мысль может прийти кому-то в голову.

Надо сказать, что с легкостью признавшись в разговорах, которые обеспечили нам срок по ст. 58–10, ч. II («антисоветская агитация во время войны») и — 11 («участие в антисоветской группе или организации»), все мы начали упираться, когда дело дошло до пункта 8 через 17 — «соучастие в террористической деятельности». Это уж была такая белиберда, что мы не сразу поверили в серьезность обвинения. А когда поверили, многие испугались: ведь за это наверняка расстреляют! В расстрел я почему-то не верил — но и не сомневался, что дадут 10 лет. Признаваться же в том, о чем не только не говорили, но и не думали, не хотелось. Сейчас-то приятно было бы подтвердить: да, готовили покушение. И корреспондент молодежной газеты восхитился бы: «Вот, были ведь отважные молодые ребята, готовые рискнуть жизнью!..» (Я такое читал). Возможно, где-то и были — но не мы. И мы не сознавались.

Тогда следствие усилило нажим. Именно на этом этапе меня попробовали дожать бессонницей.

Делалось это так. По сигналу отбой я начинал стаскивать сапог, но в этот момент открывалась «кормушка» — оконце в двери моей одиночки — и надзиратель негромко приглашал: «Без вещей» (Это значило «на допрос», еще одно проявление бессмысленной лубянской конспирации). Меня приводили на допрос к Макарову и начиналась обычная бодяга:

— Ну, Фрид, будем давать показания?

— Я вам все рассказал.

— Колись, Фрид, колись. Вынимай камень из-за пазухи.

— Все, что было, вы уже знаете.

— Ну, подумай еще, подумай… Знаешь, что сказал великий гуманист?

— Знаю. «Если враг не сдается, его уничтожают»… Но я-то не враг.

— Ничего, мы из тебя сделаем антисоветчика!

— Конечно. Это как помидор: сорвали зеленый, в темном месте дозревает.

— Поменьше умничай. Кто кого сгребет, тот того и у-у… Знаешь, как там дальше?

Я знал. Отвечал без радости:

— Ну вы, вы меня сгребли.

— А следовательно?! — веселился Макаров. — Колись, Фрид! (Или для разнообразия: «телись, Фрид») Мы не таких ломали!

И так далее, до бесконечности — вернее, до утра. Он еще успевал почитать газету, поговорить с женой по телефону — вполголоса и в основном междометиями, выпить свой несладкий чай. А под конец, глянув на часы, отпускал меня:

— Иди пока. И думай, думай.

Меня отводили в камеру, я стаскивал сапог — но до второго дело не доходило. Надзиратель объявлял:

— Подъем!

Это значило, что весь день я должен был сидеть на узкой койке, не прислоняясь спиной к стене и не закрывая глаз. Днем спать не разрешалось, за этим надзиратель следил, то и дело заглядывая в глазок — «волчок» на тюремном языке. Стоило мне закрыть на секунду глаза, вертухай начинал теребить заслонку волчка:

— Не спитя! Не спитя!

Можно было, конечно, гулять по камере, но в одиночке на Малой Лубянке особенно не разгуляешься: узкая келья в подвале или полуподвале, от двери до стены два метра двадцать, расстояние между койкой и боковой стенкой сантиметров пятьдесят. Окна нет вовсе, неярко горит лампочка за решеткой над дверью — тоже заключенная… На душе погано.

Так проходил день. Дождавшись команды «отбой», я стаскивал сапог — и повторялась сказка про белого бычка: вызывали на допрос, Макарка спрашивал, не готов ли я дать чистосердечные показания, советовал телиться — и так до следующего утра.

На третий день я забеспокоился. И тут судьба дала мне мой шанс — в лице тюремного врача. Раз в неделю, а может и чаще, камеры обходил испуганный человечек с рыжим как веснушка пятном во всю щеку. Задавал всегда один и тот же вопрос: «Клопы есть?»— и спешил покинуть камеру, боясь, видимо, что его заподозрят в сношениях с арестантами.

Прежде, чем врач выскочил в коридор, я успел проговорить:

— У меня температура.

Он сунул мне градусник и вышел. Дверь одиночки захлопнулась. Вспомнив опыт школьных лет, я незаметно нащелкал температуру — ногтем по головке градусника. Врач вернулся, посмотрел на термометр: 37,7 (набивать больше я остерегся). И позволил мне лежать два часа.

На мою удачу — может быть, из-за незначительности послабления — следователю об этом не доложили. А полагалось бы. Потому что за два часа я отлично высыпался. Приходил на допрос и чуть не валился со стула, симулируя крайнее изнеможение — но подписывать протокол о террористических намерениях все равно отказывался.

Теперь уже забеспокоился Макарка.

— А ну, сними очки, Фрид! Ты сидя спишь.

— Не сплю. — Я снимал очки и смотрел на него широко

открытыми глазами.

На пятый день он сказал:

— Нет, точно, ты спишь. Не может человек не спать пять суток!

— Может. Продержите меня еще дней десять, и я вам что угодно подпишу. А пока что я в здравом уме и повторяю: никаких разговоров о терроре мы не вели.

И Макаров отступился. Не думаю, чтоб он пожалел меня. Пожалел себя: надвигались майские праздники и, конечно же, хотелось погулять два-три дня. А я радовался: перехитрил их! Маленькая, а победа…

К вопросу о терроре мы с Макаровым вернулись месяца через полтора. Он показал мне протоколы допросов четырех ребят — вернее, только их подписи и ответы на вопрос, был ли в присутствии Фрида разговор о желательности насильственной смерти Сталина.

Уж не знаю, какими способами он и другие следователи выбили из них нужный ответ, но только все четверо подтвердили: да, такой разговор был.

— Видишь? — грустно сказал Макарка. — Так чего же упираться? Ты изобличен полностью, поверят четверым, а не одному. Давай, подписывай.

И я смалодушничал, подписал такое же признание. Но странное дело: после этого я почувствовал даже какое-то облегчение. Теперь мне было все равно — хуже быть уже не могло. Так же думали и мои однодельцы.

Легче стало и следователям. Главное признание было получено, оставалось только проверить драматургию, свести несколько линий в один сюжет, распределить роли — кому главную, кому — второго плана. Например, про Юру Михайлова, самого младшего из нас, в одном из протоколов было написано: «Михайлов сам не высказывался, но поддерживал наши антисоветские выпады криками «Так! Правильно!» (Смешно? Но эти крики обошлись ему в восемь лет. Из лагеря он привез туберкулез, шизофрению и умер через несколько лет после выхода на свободу, совсем молодым).

Изредка в следовательских кабинетах появлялись прокуроры. Но узнавали мы об этом только в конце допроса, подписывая протокол. Рядом с подписью следователя стояло: военный прокурор такого-то ранга такой-то. Или они были советники юстиции?.. Фамилию одного я запомнил: Дорон. Кажется, о нем с похвалой отозвался недавно кто-то из огоньковских авторов. Не знаю, не знаю… Поведением эти представители закона не отличались от следователей: вопросы задавали тем же

издевательским тоном, так же презрительно улыбались, так же топили нас…

Шайке террористов полагался атаман. Так следователи и ставили вопрос: «Кто в вашей группе был вожаком?» По сценарию эта роль отводилась Сулимову. Но тут произошла накладка: кроме Володьки еще двое или трое на этот вопрос ответили: «Я». Это было легче, чем валить главную вину на другого. У меня хоть было формальное основание: собирались-то чаще всего в моей квартире. А вот у Юлика Дунского никаких оснований не было — кроме врожденной порядочности. По-моему, наши протоколы с этим ответом не вошли в дело, а сулимовский остался.

Случалось, что кто-то из подследственных, устыдившись, брал назад особо нелепое признание. Так, Светлана Таптапова, девушка, которую я видел один раз в жизни, показала на допросе, что я чуть ли не вовлек ее в антисоветскую группу. (И когда бы только успел? Мы ведь с ней на том дне рождения только поздоровались и попрощались). Но через несколько дней она объявила, что это неправда, она Фрида оговорила — и следователь занес ее слова в протокол. А чуть погодя в новом протоколе появилось новое признание: «Я пыталась ввести следствие в заблуждение. Искренне раскаиваюсь в этом и подтверждаю свои первоначальные показания в отношении Фрида». Все это я прочитал, когда знакомился с делом при подписании 206-й — об окончании следствия. И подумал: бедная девочка! Зачем упиралась? Только лишнее унижение. Все равно — нажали посильней, заставили.

Следователей должны были радовать такого рода завитки: они украшали дело, придавали ему правдоподобие. Так же, как обязательная подпись подследственного после зачеркнутого слова — скажем, «во вторник» исправлено на «в среду»: «исправленному верить». Это как бы подсказывало будущему историку: видите, какая скрупулезная точность? Значит, и всем их признаниям следует верить… Фарисейство, очень типичное для страны с замечательной конституцией и полным отсутствием гарантируемых ею прав и свобод.

Вот со мной получился маленький конфуз. Уже когда все было записано и подписано — да, хотели стрелять или бросить гранату из окна квартиры, где жила Нина Ермакова, — меня вызвал на допрос Макаров. Вопреки обыкновению, он не стал вести со мной долгих разговором, а молча настрочил протокол очень короткого допроса — допроса, который даже и не начинался. В нем был только один вопрос и один ответ:

ВОПРОС: Куда выходили окна квартиры Ермаковой?

ОТВЕТ: Окна выходили во двор.

— Подпиши, — хмуро сказал Макаров.

Мне бы обрадоваться — а я возмутился:

— Э, нет! Этого я подписывать не буду.

— Почему?

— На Арбат выходят окна, я вам сто раз говорил. Знаем мы эти номера: сейчас — подпиши, а завтра — «Фрид, вы напрасно пытаетесь ввести следствие в заблуждение. Показаниями соучастников вы полностью изобличены, окна выходят на правительственную трассу…» Не хочу я никого никуда вводить. Я сразу так и сказал: выходят на улицу!..

— Во двор они выходят.

— Нет, на улицу.

— Во двор, Фрид, я там был, в ее квартире.

— Если вы там были, сообразите сами: вот входим в подъезд, поднимаемся по лестнице, направо дверь Нининой квартиры, проходим по коридору, налево комната — и окна глядят на улицу, на Арбат.

Макаров заколебался. Прикрыл на секунду глаза, вспоминая. Прикинул в уме и растерянно посмотрел на меня.

— Действительно. Если считать по-твоему, то получается, что на улицу. Но я тебе даю честное слово: окна выходят во двор. Я там был! Честно!

И я поверил — чувствовал, что он не валяет дурака, а говорит всерьез. Подписал протокол и вернулся в камеру. Весь день думал: как же так? В чем ошибка? И вдруг меня осенило: ведь на каждый этаж ведет не один, а два марша лестницы. Поднялся по одному, повернулся и пошел вверх по другому. И то, что было справа, оказалось слева — и наоборот. Конечно же, окна выходят во двор!

Но все дело в том, что ни разу никто из нас не глядел в эти окна: во-первых, они были наглухо закрыты светомаскировочными шторами из плотного синего полукартона — шла война; а во-вторых, не к чему нам было глядеть: не собирались же мы, в самом деле, убивать Сталина.

Возможно, следователям, поверившим нам на слово, что окна смотрели на Арбат, вышел нагоняй от начальства: почему не проверили сразу? Пришлось вносить уточнение.

Впрочем, на наших сроках это никак не отразилось. Никто больше не вспоминал о мелком недоразумении, и все террористы получили по причитавшемуся им «червонцу» — 10 лет ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей.

Да мы и сами не придавали этой путанице большого

значения. Во двор, не во двор — какая разница[6]? Во всяком случае, на очной ставке с Сулимовым, когда он рассказал, что по его плану должны были из окна Ермаковой бросить в проезжающего Сталина гранату, но Фрид предложил стрелять из пулемета — я спорить не стал. Сказал:

— Этого разговора я сейчас не помню, но вполне допускаю, что он мог быть.

Очную ставку нам устроили не в начале, как полагалось бы, а в самом конце следствия. Ведь целью ее было не установить истину, а наоборот, запротоколировать совпадение наших лже-признаний — к этому моменту весь сценарий был уже коллективно написан и отредактирован.

Вид у Володи был несчастный, лицо худое и бледное: у него на воле никого не осталось, арестовали по нашему делу и жену, и мать, так что он сидел без передач. А у меня в кармане был апельсин — витамины, присланные мамой. И я, подписав протокол, попросил разрешения отдать этот апельсин Сулимову.

— Лучше не надо, — мягко сказал Володькин следователь…

Самыми легкомысленными участниками сколоченной на обеих Лубянках «молодежной антисоветской террористической группы» были, думаю, я и Шурик Гуревич. Когда нас свели на очной ставке, мы забавлялись тем, что ответы диктовали стенографистке не человеческим языком, а на безобразном чекистском жаргоне:

— Сойдясь на почве общности антисоветских убеждений, мы со своих вражеских позиций клеветнически утверждали, что якобы…

Стенографистка умилялась:

— Какие молодцы! Говорят, как пишут[7]!

А вот об очной ставке с Юликом Дунским у меня осталось странное воспоминание. Иногда мне кажется, что здесь какая-то аберрация памяти. Было это уже перед подписанием 206-й статьи — об окончании следствия.

Равнодушно повторив все, что было сказано раньше на допросах и поставив подписи, мы попросили разрешения проститься — и они разрешили.

Мы обнялись, поцеловались — и расстались, как нам казалось, навсегда. Мне почудилось, что на лицах следователей мелькнуло что-то вроде сострадания… Или мне все это только привиделось и не было такого? Как они могли разрешить? А вдруг я, подойдя близко, кинусь на Дунского и перегрызу ему горло? Или он выколет мне пальцами глаза?.. Да нет, наверно было это. Ведь знали же они прекрасно, что ни за что, ни про что отправляют мальчишек в лагеря[8]…

III. Постояльцы

Я рассказывал о тех, кто на Лубянке сильно портил мне жизнь — о следователях. Теперь очередь дошла до сокамерников, людях очень разных, которые, каждый по-своему, скрашивали мое тюремное житье. Начну с Малой Лубянки, с «гимназии».

После двух недель одиночки меня перевели в общую камеру — и сразу жить стало лучше, жить стало веселей. Моими соседями были бывший царский офицер, а в советское время — командир полка московской Пролетарской дивизии Вельяминов, инженер с автозавода им. Сталина Калашников, ветеринарный фельдшер Федоров, танцовщик из Большого Сережа (фамилию не помню, он недолго просидел с нами) и Иван Иванович Иванченко. Позднее появился «Радек». С его прихода и начну.

Открылась с лязгом дверь и в камеру вошел низкорослый мужичонка. Прижимая к груди надкусанную пайку, он испуганно озирался: неизвестно, куда попал, может, тут одни уголовники, отберут хлеб, обидят. Это был его первый день в тюрьме.

— Какая статья? — спросил Калашников.

— Восьмая.

— Нет такой. Может, пятьдесят восьмая?

— Не знаю. Они сказали — как у Радека. Териорист, сказали.

Все стало понятно: 58-8, террор. Радеком мы его и окрестили. Настоящую фамилию я даже не запомнил — зато отлично помню его рассказ о первом допросе. По профессии он был слесарь-водопроводчик.

Привезли его ночью, и сразу в кабинет к следователям. Их там сидело трое. Один показал на портрет вождя и учителя, спросил:

— Кто это?

— Это товарищ Сталин.

— Тамбовский волк тебе товарищ. Рассказывай, чего против него замышлял?

— Да что вы, товарищи!..

— Твои товарищи в Брянском лесу бегают, хвостами машут. (Был и такой, менее затасканный вариант в их лексиконе). Ну, будешь рассказывать?

— Не знаю я ничего, това… граждане.

Второй следователь сказал коллеге:

— Да чего ты с ним мудохаешься? Дать ему пиздюлей — и все дела!

Они опрокинули стул, перегнули через него своего клиента и стали охаживать по спине резиновой дубинкой. Дальше — его

словами:

«Кончили лупить, спрашивают: ну, будешь говорить? Я им:

— Граждане, может, я чего забыл? Так вы подскажите, я вспомню!

— Хорошо, — говорят. — Степанова знаешь?

А Степанов — это товарищ мой, он в попы готовится, а пока что поет в хоре Пятницкого.

— Да, — говорю, — Степанова я знаю. Это товарищ мой.

— Вот и рассказывай, про чего с ним на первое мая разговаривали.

Тут я и правда вспомнил. Выпивали мы, и Степанов меня спросил: что такое СэСэСэР знаешь? Знаю, говорю. Союз Советских Социалистических Республик. А он смеется: вот и не так! СССР — это значит: Смерть Сталина Спасет Россию… Рассказал я им это, они такие радые стали:

— Ну вот! Давно бы так.

Я говорю:

— А вы бы сразу сказали, граждане. Драться-то зачем?

Они спрашивают:

— Жрать хочешь?

— Покушать не мешало бы.

Принесли мне каши в котелке — масла налито на палец! — и хлеба дали. Кашу я низанул, а про хлеб говорю:

— Можно с собой взять?

— Возьми, возьми.

Дали подписать бумажку — про восьмую статью — и отпустили».

Это было простое дело, вряд ли следствие длилось долго: вскоре Радека от нас забрали, дали на бедность, думаю, лет восемь и отправили жопой клюкву давить.

А вот Вельяминов сидел под следствием долго — и не в первый раз, если мне не изменяет память. Это был в высшей степени достойный человек, выдержанный, терпеливый. Ему приходилось туго: не от кого было ждать передачи, и он уже доходил. Замечено: на тюремной пайке без передач можно было благополучно просуществовать месяца два-три. Дальше начинались дистрофия, пеллагра, голодные психозы.

У Вельяминова уже не было ягодиц, кожа шелушилась и

отставала белыми клочьями — но с психикой все было в порядке. Те, кто получал передачи, не то, чтобы делились с сокамерниками, но обязательно угощали каждого — чем-нибудь… Вельяминов отказывался от угощения, а если давал уговорить себя, сдержанно благодарил и принимался есть — неторопливо, даже изящно.

От него, между прочим, я впервые услышал, что сфабрикованные чекистами дела случались задолго до знаменитого процесса «Промпартии»: оказывается, еще в двадцатые годы на Лубянке вызревало «дело военных» — о мифическом заговоре бывших царских офицеров во главе с Брусиловым. Царский генерал, автор вошедшего во все учебники «брусиловского прорыва», он поступил на службу советской власти и преподавал в военной академии, не подозревая о той роли, которую ему готовят неблагодарные новые хозяева. Но старику повезло: он умер, и «дело» как-то само собой заглохло. Ликвидировать неблагонадежных военспецов пришлось по-одиночке, как Вельяминова. Впрочем, не совсем по-одиночке — вместе с ним арестовали сына Петю, тогда совсем мальчишку. Это Петр Вельяминов, замечательный актер, которого теперь все знают. От отца он унаследовал интеллигентность и обаяние — и ведь сумел не растерять их в скитаниях по лагерям и тюрьмам. С отцом я познакомился в 44-м году, а с сыном — в Доме Кино, сорок лет спустя (куда до нас Дюма-отцу с его 20 и 10 лет спустя!).

Надо сказать, что от каждого из сокамерников я узнавал что-нибудь новое и любопытное. Так, Сережа объяснил мне, что нога у меня не «танцевальная»: у балетного танцовщика второй и третий пальцы должны быть длиннее большого. А у меня, как на грех, выступал вперед большой. О балетной карьере, правда, я не мечтал — но все равно, интересно было послушать. Даже Радек успел сообщить нам рецепт каких-то особых шанежек, которые пекут у него на родине — кажется, на Алтае: на горячую, прямо с огня, шаньгу выливают сырое яйцо. Голодных людей кулинарные рецепты особенно интересуют. Я слышал, что и в окопах, как в тюремных камерах, разговоры о еде — любимое времяпрепровождение. До сих пор жалею, что так и не попробовал каймака: о нем очень вкусно рассказывал Калашников (он был родом из казачьих краев). С топленого молока снимают румяную пенку — и в горшок. А горшок — в погреб, на холод. Следующую порцию топленой пенки укладывают в тот же горшок — и через несколько дней получается что-то вроде слоеного торта, нежнейшего и вкуснейшего, по словам рассказчика. Вот даже сейчас пишу — и

слюнки текут!

Сведенья, которыми делился с нами ветфельдшер Федоров, были особого свойства. Одно из его профессиональных наблюдений особенно часто вспоминаю теперь, на склоне лет.

— Что интересно отметить, — говорил он. — Жеребец старый-старый, совсем помирать собрался: лежит, встать не может, суешь ему морковку — не берет. А проведут мимо молодую кобылку, встрепенется, поднимет голову и — и-го-го!

Рассказы Федорова раскрыв рот слушал Иван Иванович Иванченко. Узнав, что особенно крепкие надежные гужи получаются из бычьих членов (тушу подвешивают за этот предмет, чтобы под тяжестью он вытянулся до нужной длины), Иван Иванович ужасался:

— Подвешивают? Живого?

А услышав, что коровам аборт делают так: вводят один расширитель, потом другой — Иван Иванович спросил:

— Куда?

— В ухо, — объяснил ему Калашников.

Родом Иванченко был из Ростова-на-Дону. Считается, что ростовчане народ ушлый и смышленый. В блатном мире ростовских воров уважали почти как сибирских (а московских не уважали совсем). Но наш Иван Иванович не поддержал репутацию Ростова-папы. Был доверчив и наивен до неправдоподобия — даже глуповат, честно говоря. Знал ведь, что дадут срок и ушлют черт знает куда — было, было о чем тревожиться! Но его почему-то больше всего волновало, что за время отсидки пропадет профсоюзный стаж. В чем состояло его преступление, не помню, скорей всего, кроме болтовни ничего не было.

А вот за стариком Федоровым грешок водился. У них в Зарайске работали ветврачами братья Невские (одного, главного, кажется и звали Александром). Федоров их очень уважал и поэтому согласился помочь в важном деле. Братья задумали — ни больше, ни меньше — изменить ситуацию в стране конституционным путем. Для этого они намеревались на выборах в Верховный Совет выдвинуть своего кандидата и агитировать за него.

До агитации дело не дошло: всю зарайскую партию Ал-ра Невского — человек семь-восемь — арестовали и переселили на Лубянку.

— Я-то, старый дурак, чего полез, — сокрушался Федоров.

Мы с ним не спорили: похоже, что наивные люди жили не только в Ростове-на-Дону.

Наши с Федоровым фамилии начинались на одну букву и это причиняло некоторое неудобство. Дело в том, что по лубянским

правилам надзиратель, приглашая кого-то из общей камеры на допрос, не имел права называть фамилию: вдруг в соседней камере сидит одноделец — услышит и будет знать, что такой-то арестован. А это не полагалось: подследственного надо было держать в полном неведении относительно того, что делается в мире — и в частности в других камерах.

Однодельцев, разумеется, вместе не сажали. Более того, во избежание случайной встречи в коридоре, когда одного ведут с допроса, а другого на допрос, надзиратель непрерывно цокал языком — «Тск! Тск!» (А на другой Лубянке по-змеиному шипел: «С-с-с! С-с-с!» А в Бутырках стучал здоровенным ключом по всему железному — по решеткам, разделяющим отсеки коридора, по пряжке своего ремня). Это было предупреждением — как колокольчик прокаженного в средние века: берегись, иду!

Услышав сигнал, встречный вертухай запихивал своего подопечного в «телефонную будку»— так мы прозвали глухие фанерные будочки, расставленные в тюремных коридорах специально на случай неожиданной встречи. На местном диалекте это называлось «встретить медведя». Когда цоканье или шипенье удалялось на безопасное расстояние, вертухай выпускал своего и вел дальше, придерживая за сцепленные на копчике руки. Большинство надзирателей только слегка касались наших запястий, но были и добросовестные служаки: те вздергивали сцепленные за спиной руки чуть ли не до лопаток…

Так вот, когда в камере отворялась кормушка и надзиратель говорил «На кэ», свою фамилию должен был, подбежав к двери, негромко назвать Калашников, «На вэ» — отзывался Вельяминов, а «На фэ» мы с Федоровым оба пугались: ничего приятного вызов не сулил. Оба срывались с места. Потом один из двоих с облегчением возвращался на свою койку, а другой уходил. «Без вещей» — на допрос, «с вещами»— в другую камеру или на этап.

Надзиратели понимали, что в камерах вызова ждут с замиранием сердца: кто его знает, куда поведут! И один из вертухаев придумал себе забаву. Вызывая камеру на прогулку, нарочно делал паузу: «На пэ… рогулочку!»— так, чтобы Плетнев, Попов или Певзнер успели, к его удовольствию, испугаться.

Трудно жилось в тюрьме курящим. Если у кого и была махорка, запас быстро кончался. С горя пробовали курить листья от веника, которым мели камеру. Не было и бумаги. Умельцы исхитрялись, оторвав уголок маскировочной шторы, расщепить толстую синюю бумагу на несколько слоев и использовать на закрутку. С огоньком тоже обстояло скверно: надзиратели имели право дать прикурить только два или три раза в день (я не курил, поэтому точно не помню). А если, не вытерпев, кто-нибудь

обращался с просьбой в неурочное время, то слышал в ответ многозначительное:

— Своя погаснет.

Верю, что за либерализм вертухаям грозили серьезные неприятности.

Голь на выдумки хитра. На Вологодской пересылке, лет через пять, я познакомился со способом добывания огня из ничего. От подбивки бушлата отщипывался кусок серой ваты, из него делались две плоские лепешки — одну ладонями скатывали в жгутик, плотно заворачивали во вторую и, сняв ботинок, быстро-быстро катали подошвой по полу. Потом жгутик резко разрывали пополам — и прикуривали от тлеющего трута. Я тогда вспомнил Сетона-Томпсона: как индейцы добывают огонь трением. Попробовал сам — не вышло. А у других хорошо получалось, особенно у блатных: большой опыт, «тюрьма дом родной».

Но на Лубянке мои сокамерники этого способа еще не знали и придумали такой выход: надергали из матрасов ваты, сплели длинную косу и подожгли от цыгарки, едва надзиратель ушел со своим огнивом. (Или у него зажигалка была? Не помню.) Косу запихнули глубоко под койку, стоявшую у стены и два дня пользовались этим вечным огнем. А на третий день, когда всех нас вывели на прогулку, вертухай учуял запах гари и без труда обнаружил его источник. Камеру оштрафовали: на две недели оставили без книг.

На Малой Лубянке библиотека была бедная и в книгах не хватало страниц. (А в Бутырках, где камеры были перенаселены, от некоторых книжек оставались вообще одни переплеты.) Вот в «гостинице», на Большой Лубянке, библиотека была хороша — видимо, за счет книг, конфискованных при арестах. Там был и Достоевский, и давно забытый Мордовцев, и академические издания — даже книги на иностранных языках были. Помню, я с удивлением обнаружил в романе американского автора-коммуниста напечатанные полностью т. н. «four-letter words» — матерные слова: cock, fuck, cunt и т. п. Даже «cocksucker». Это в тридцатых-то годах!..

Хорошие книги или плохие — но без них было худо. Конечно, лишение книг — самое легкое из наказаний. Могли ведь лишить прогулки или, не дай бог, передач. А то и в карцер отправить всех.

Я, например, первый раз попал в карцер из-за ерунды: рисовал обмылком на крашеной масляной краской стене профиль своей Нинки, чтобы сокамерники убедились, какая она красивая. Но первым увидел это вертухай. Влетел в камеру и взял меня с поличным. Напрасно я объяснял, что это ведь не мел, не уголь, а

мыло — стена только чище будет. Дали трое суток. Думаю, что нарочно придрались к пустяшному поводу — по поручению следователя.

Отбыв срок, я вернулся в камеру и обнаружил, что остаток буханки, полученной в передаче, насквозь проплесневел, стал бело-зеленым. Подумаешь!.. Накрошил в горячую воду и слопал безо всяких последствий. С голодухи даже показалось, что вкусно: вроде грибного супа.

Голод — лучший помощник следователя, очень мощное средство давления на психику подследственного. На Лубянке этим средством широко пользовались. С одной стороны, можно лишить передачи. А с другой — можно поощрить сосиской или бутербродом в кабинете следователя. Это за особые заслуги, например, за донос на сокамерников.

Наседки, ясное дело, были в каждой камере. Малопосвященная публика считает, будто в камеры подсаживали переодетых чекистов. Ничего подобного!

Завербовать голодного арестанта было легче легкого. В нашей камере наседкой был самый симпатичный из моих соседей — инженер Калашников. Да он и не особенно таился. Приходил с очередного допроса, грустно говорил:

— Сегодня еще одного заложил. А что? Я человек слабовольный.

Закладывал он не нас, а своих знакомых по воле. В камере у него была другая функция. В конце концов, что он мог узнать от меня такого, о чем я уже не рассказал на следствии? Зато мог постепенно, капая на мозги, внушать мне мысль о том, что упираться бесполезно, надо подписывать все, что насочиняет следователь: раз уж попал сюда, на волю не выйдешь. А лагерь это не тюрьма, там свежий воздух, трава, ходишь по зоне совершенно свободно.

— Ты погляди, — говорил Иван Федорович и приспускал штаны. — Я тут, считай, два года припухаю. Дошел! У меня уже и жопы не осталось.

Это была правда — так же, как и рассуждения о сравнительных достоинствах тюрьмы и лагеря, а также о том, что если посадили, то уж не выпустят. (Впрочем, как выяснилось, тем, кто проявлял характер и не все подписывал, срока иной раз давали поменьше; в нашем деле — Левину и Когану).

О своем собственном деле Калашников рассказывал так. На автозаводе Сталина вместе с ним работал его приятель, тоже инженер, человек, как я понял, яростного темперамента, прямой и резкий. Когда в 41-м началась эвакуация завода, приятель этот громко возмущался поведением администрации:

— Смотри, Иван. На дворе ящики с оборудованием — не могут увезти! А своих баб с ребятишками на Урал отправили. Руководители, ети их мать. Таких руководителей стрелять надо!

— Точно, — соглашался Иван Федорович. — Стрелять!

На другой день выяснилось, что дверь парткома закрыта и запечатана, а сам секретарь эвакуировался на Урал.

— Драпанул. А на завод — насрать! — с презрением констатировал правдолюбец. — Это коммунист, называется… Взять бы автомат и таких, блядь, коммунистов всех до одного!..

— Точно, — подтверждал Калашников. — Из автомата!

На обоих настучали, обоих арестовали. Обвинение было такое: собирались дождаться прихода немцев, поступить на службу в гестапо и расстреливать коммунистов и ответственных работников. Иван Федорович некоторое время поупирался, потом все подписал.

— Говорю же: я человек слабохарактерный!..

Однажды он вернулся с допроса смущенный, ходил по камере, хмыкал, посмеивался. Рассказал: на допросе присутствовала баба-прокурор. Молодая еще, непривычная. Она прочитала его признания и попросила:

— Калашников, объясните. Ну, хотели дождаться немцев… Это мерзость, но допустим, у вас были какие-то причины. Но почему в гестапо? Вы же хороший инженер, я читала характеристику. Неужели у немцев не нашлось бы для вас другой работы? Кроме гестапо?

Иван Федорович хотел было сказать наивной прокурорше, что все это липа, что не собирался он у немцев оставаться, это его следователь сочинил. Но потом подумал: опять все сначала? Опять карцер, опять материть будут, опять без передачи?.. И сказал:

— Не, я в гестапо.

О Калашникове я вспоминаю безо всякой обиды, а только с жалостью. А вот с Марком Коганом («подпольная кличка Моня») сидел провокатор совсем другого типа, обрусевший мадьяр по фамилии Фаркаш. Этот старался навести разговор на политические темы, выспрашивал у Моньки, удалось ли ему утаить что-нибудь от следователей. И Марк — будущий юрист! — сам устроил маленькую провокацию. Рассказал наседке, что в ожидании ареста спрятал две антисоветские книжки в настенных часах у себя дома — во время обыска их не нашли.

На следующем же допросе следователь завел разговор об антисоветской литературе. Моня стоял на своем: никакой такой литературы не имел (что было истинной правдой). И тогда следователь заорал — с торжеством:

— А если мы тебе, блядь Коган, покажем книжечки, которые ты в часах спрятал?

— Это вам Фаркаш рассказал? Но, понимаете, нету у нас дома настенных часов…

Когда он вернулся с допроса, Фаркаша на месте уже не было: срочно перевели в другую камеру — к Юлику Дунскому.

Наседок вообще часто переселяли из камеры в камеру, чтобы расширить фронт работы. К Когану подсадили другого, инженера Бориса Николаевича Аленцева. Этот очень смешно сам себя расшифровал, когда я с ним встретился уже в пересыльной тюрьме на Красной Пресне, откуда уходили этапы в лагеря.

Аленцев и там занялся полезной деятельностью: предложил — просто, чтоб коротать вечера! — устроить в камере нечто вроде дискуссионного клуба. Там по очереди можно было бы выступать с сообщениями на тему, скажем, «мои политические взгляды». Это предложение не прошло.

Ко мне он липнул потому, что, по его словам, много слышал на Лубянке про наше дело. Я спросил, не сидел ли он с кем-нибудь из наших ребят. Аленцев ответил, что к сожалению, нет. «Лжецу — цитирует кого-то Джек Лондон — надо иметь хорошую память». Провокатору тоже: недели через две, в разговоре с Аленцевым я упомянул о том, что Коган очень хорошо читает стихи и прозу — в школьные годы получал призы на районных конкурсах.

— Коган?! — возмутился Аленцев. — Ну что вы! Он читает театрально, с ложным пафосом. Вот Юра Михайлов — тот читает действительно хорошо.

Спорить я не стал, но про себя отметил: наврал ведь, что ни с кем из моих однодельцев не сидел! Сидел по крайней мере с двумя. Понятно: человек опасный.

Когда 10 лет спустя (опять этот Дюма!) мы с Аленцевым встретились снова — в Инте, на вечном поселении — всех знакомых предупредили: Аленцев стукач! Думаю, он об этом узнал и, выждав время, отомстил по-своему: написал в местную газетку разгромную рецензию на наш с Юлием фильм «Жили-были старик со старухой» (натурные съемки проводились в Инте). Из этого явствует — так же, как из его оценки исполнительского дарования Когана и Михайлова — что художественное чутье у Аленцева было. Правда, наш фильм он ругал не за антихудожественность, а за то, что в нем опорочена советская действительность. Даже возмущался: и такую плохую картину повезут в Канны, на фестиваль{9}?..

Но вернемся в 1944 год, на Лубянку. Возможно, кому-то покажется странным и нелепым, что в тюрьме, да еще в

мучительный период следствия, в камерах читали друг другу стихи, вели разговоры об искусстве. Но, господи, нельзя же было думать и говорить только о том, что нас ждет! Так и с ума сойти недолго… Вспоминали веселые истории, даже в тюремной жизни отыскивали смешное.

Так, из камеры в камеру путешествовала байка об осрамившемся немецком парашютисте. Собственно, он был не немец, а русский — попал в плен, пошел к немцам на службу и, окончив разведшколу, сброшен был с парашютом под Москвой. Немецкие учителя во всех подробностях расписывали, каким пыткам будут подвергать его на Лубянке, если арестуют — лучше живым не попадаться! А он попался, нарушил инструкцию. (Не в первый раз: ведь и к немцам в плен тоже не велено было сдаваться живым). Парень был молодой, впечатлительный и трусоватый. Попав на Лубянку, он с первой минуты стал ждать обещанных мучений.

Постригли наголо, повели в какую-то комнатенку и приказали положить обе руки на высокую тумбочку. Понятно — будут иголки загонять под ногти… Но ему только намазали кончики пальцев черной краской и сняли отпечатки. Это называлось «сыграть на рояле» (вариант: «сыграть на комоде»). У парня отлегло от сердца. Но сразу же его повели в соседнюю комнату, где стояло кресло, обитое какими-то полосками жести, с железными подлокотниками. И кругом — провода, множество проводов. Электрический стул, ясное дело! Парашютист сел на краешек кресла, стараясь не коснуться железа ягодицами и затылком. Но чекист в синем халате — палач, надо полагать, — грубо ткнул его ладонью в лоб, прижав затылок к подголовнику, с треском вспыхнул нестерпимо яркий свет — и парень со страху обкакался: медвежья болезнь. Сфотографировав его в профиль и анфас и не дав сменить портки, надзиратели повели его в общую камеру — откуда эта история пошла гулять по тюрьме… Тоже развлечение.

Развлекались мы и таким способом: когда в камеру приводили новичка, растерянного и напуганного, старожилы приступали к допросу. Если это был колхозник, его спрашивали строгим следовательским голосом:

— Говорил, что в царское время коза давала больше молока, чем колхозная корова?

А городскому интеллигенту вопрос задавался другой:

— Значит, утверждали, что якобы в Верховном Совете одни пешки?

Новенькие жалобно улыбались в ответ, не понимали: откуда мы знаем? А чего тут не понять: ведь все без исключения дела по

ст. 58, п. 10 были похожи как однояйцовые близнецы.

В начале 44-го года десятый пункт был самым ходовым на Лубянке. «Изменники родины» только-только начинали поступать к нам — из немецкого плена (58.1б) и с оккупированной территории (58.1а). Обгадившийся парашютист был первым, вторым — бургомистр Сталиногорска. Тоже по-своему анекдотическая — вернее, трагикомическая — фигура.

До войны он в своем Сталиногорске заведовал сберкассой. Потом его разжаловали в рядовые, т. е. в контролеры, а на его место прислали «партейного». Этого он простить советской власти не мог. Жена разделяла его обиду, и когда город заняли немцы, посоветовала:

— Иди к ним, проси должность.

— Может, погодить, осмотреться?

— Пока будешь годить, все хорошие места разберут.

И он пошел, рассказал свою историю, и его назначили бургомистром. Но царствовать ему пришлось недолго: через несколько дней фашистов выбили из Сталиногорска, а бургомистра препроводили на Лубянку.

— Раз в жизни послушался бабы — и вот, на тебе! — сокрушался он.

Особого сочувствия его история у нас не вызвала: быстрая вошка первая на ноготь попадает, сказал Калашников. А с другой стороны, я верю, что никаких злодейств за ним не числилось, верю и его рассказу о том, как он мирил поцапавшихся из-за ерунды соседок, которые — порознь, конечно — пришли к нему с доносом друг на дружку: у одной был зять еврей, у другой муж политрук, на фронте.

И внешне он мне нравился — смуглый, красивый, в волосах седина. Думаю, что уже там, в первой из моих тюрем, рождалась та специфическая лагерная терпимость, без которой лопоухому московскому пареньку трудно было бы прожить десять лет среди людей из совсем другого мира — бандеровцев, литовских «бандитов» — т. е. партизан-националистов, власовцев… Со временем я понял, что разница между нами не так уж велика, а главное, нас объединяло в зековское братство сознание незаслуженности свалившейся на всех беды — неволи.

Как-то раз, уже в Минлаге, на Инте, я подсмотрел прямо-таки символическую картинку. Разговаривали два зека. На одном была красноармейская гимнастерка с темной невыцветшей полоской на месте орденской планки, на другом — серо-зеленый немецкий китель. У обоих отсутствовала ампутированная правая рука, и, сидя рядышком на нарах, они обменивались своими ощущениями:

— Ты ее как чувствуешь? Она как будто есть, но скрюченная?

— Да, да, — кивал немец.

— И мурашки по ней, будто локтем стукнулся. Вроде как ток электрический.

Немец радостно подтверждал:

— Да, да!

И никому из них не приходило в голову, что, может, это его пуля искалечила другого. Общее несчастье — увечье и лагерь — подружило их.

Тюремные будни — а в тюрьме праздников нет, если не считать праздником день, когда не вызывали на допрос — монотонны и тоскливы. Для людей со слабой психикой просто непереносимы: случалось, такие сходили с ума. В нашей камере этого не было, а вот в соседней кто-то повредился в уме и все время выкрикивал одну и ту же фразу:

— Все попы — работники кровавого энкеведэ!

Крик этот разносился по всему этажу. Слышно было, как бегут по коридору надзиратели, с грохотом и лязгом открывалась дверь, доносились уговаривающие голоса, какая-то возня — и на некоторое время вопли прекращались. А потом опять раздавалось:

— Все попы! Все попы — работники кровавого энкеведэ!..

Думаю, всем тогдашним постояльцам Малой Лубянки запомнился этот жуткий надрывный крик. Так же, как и надписи, выцарапанные на стенах уборной, боксов и карцера. Одна, повторявшаяся чаще других, прямо-таки кричала: «Не верь им, Ивка! Ивка, не верь им!»

Вертухаи соскребали и затирали эти тюремные граффити, но назавтра надпись возникала снова:

— Не верь им, Ивка!

Не знаю, кого звали Ивка. Может быть, какого-то Ивана? Но мне почему-то представлялось, что это ласковое прозвище девушки. Ее посадили из-за возлюбленного — как Нинку из-за меня — и теперь он сигналит ей:

— Ивка моя, не верь следователям! Они врут! Я ничего не говорил!

Кто-то из своих увидит, передаст…

А одна из надписей адресовалась не знаю кому и от кого: «Doctor Victor from Iran».

Каждое утро мы отправлялись «на оправку» — в уборную и умывалку. Впереди шествовали двое, неся за ручки трехведерную «парашу» — бачок, заменявший в камере писсуар{10}. Остальные гуськом шли за ними, внимательно оглядывая стены в надежде встретить знакомое имя. Все мы при первой возможности

ухитрялись выцарапать на штукатурке свою фамилию, статью и пункты: ведь ничего не знали — кто остался на воле, кого посадили, в чем обвиняют. Хорошо, если кто-то, переведенный из другой камеры, встречался с твоими однодельцами — уже какая-то ясность…

Но еще лучше, если новенького привозили прямо с воли. Он рассказывал, что нового в мире — а главное, на фронтах: ведь до конца войны было еще далеко. Газет нам не давали, радио у себя в кабинете следователь выключал со злорадной ухмылкой, как только начинались последние известия — тем дороже была всякая просочившаяся в тюрьму информация.

Если в передаче (не в радиопередаче, а в съедобной, из дому) обнаруживалось что-то, завернутое в газету, ведавший передачами вертухай по кличке Перебейнос обязан был печатный текст изъять. Но как-то раз в передаче оказался кулечек с солью — крупной влажной солью военного времени. Клочок газеты, из которого свернут был кулек, изодрался, промок, пожелтел. Перебейнос побрезговал возиться, отдал так. В камере, высыпав соль, мы осторожно разгладили крохотный обрывочек и прочитали, что «…цы послали в подарок командующему фронтом… грамяну бутылку с балтийской во…» Так! Понятно! Наши уже в Латвии или в Литве! Заполнить пропуски нам было куда легче, чем детям капитана Гранта: «бойцы… Баграмяну… водой».

В другой раз, во время допроса, я увидел на столе у следователя газету. В те дни сообщения о взятых нами городах печатались крупным шрифтом в верхнем левом углу первой страницы, где название газеты. Но эта лежала далеко, я даже в очках не мог прочитать, какой именно город взяли. Видел только, что название его повторялось дважды, второй раз в скобках, и что заглавная буква была одна и та же. Я поднапряг мозги и вычислил: Печенга (Петсамо)! Так оно и оказалось.

Любопытно было бы заглянуть в подшивку за сорок четвертый год и определить дату. Про бутылку с балтийской водой для Баграмяна мы прочли, по-моему, еще в «гимназии», а про Печенгу-Петсамо я, придя с допроса, рассказал сокамерникам уже в «гостинице».

Туда, на Большую Лубянку, нас — участников сулимовского дела — перевели в конце лета. Почему нами занялась следственная часть по Особо Важным Делам — понятия не имею. Могу только строить догадки: из-за громких имен Бубнова-Сулимов? Начальство велело хорошенько разобраться?

А собственно, чего там было разбираться? И областные следователи, и «особо важные» прекрасно понимали, чего стоит

наше дело — как и десятки других, таких же липовых. Нужно было только подогнать решение задачи к заранее известному ответу.

И в приемах следствия ничего не изменилось: так же для начала меня сунули в одиночку, так же, за ерундовую провинность, сажали в карцер, так же материли на допросах — правда, не очень умело и с еврейским акцентом.

В одиночке на этот раз я просидел целый месяц. Она была покомфортабельней: просторная, паркетный пол, никелированная параша, окно — зарешеченное, конечно, и снабженное «намордником». (Чтоб мы не увидели, что делается на дворе, окна камер снаружи прикрывались косым ящиком. Свет проникает сверху, кроме неба ничего не видно. Если верить тюремной легенде, изобрел «намордники» какой-то зек, за что был отпущен на свободу).

Имелось у моей, 119-й одиночной камеры, и серьезное неудобство: в ней было нестерпимо жарко, особенно летом. При определенном настрое можно было бы счесть, что это — пыточная камера. Но я предпочитаю более реалистическое объяснение: за тонкой стеной проходил дымоход тюремной кухни. Правда, легче от этого не было. Я не мог спать — чуть не до обмороков доходило. Однажды дежурный офицер даже нарушил правила и приоткрыл окно, чтоб можно было дышать.

На допросы меня вызывали не так уж часто. Целыми днями я шагал из угла в угол по начищенному паркету, вспоминал стихи, разговаривал сам с собой. Слава богу, пришел библиотекарь и предложил заказать книгу — да, такой там был сервис! Кстати — все в этой «гостинице», за исключением следователей, разговаривали с постояльцами на «вы» и каким-то испуганно вежливым тоном…

Книга полагалась одна на две недели, если не изменяет память. Я старался заказать что-нибудь потолще — и все равно не мог растянуть процесс чтения больше чем на день-два. Как я обсасывал «Дон Кихота» в академическом издании! Дважды прочитал оба тома, изучил комментарии — в школьные годы не учил ничего так старательно. А стихотворные посвящения на испанском запоминал наизусть и декламировал вслух. (Сейчас все забыл, кроме одного слова — «corazon», сердце).

И вот настал день, когда меня вызвали с вещами, повезли на лифте вниз до второго этажа и впустили в общую камеру. Туда же внесли для меня и железную кровать со всеми постельными принадлежностями.

В камере этой (№ 28) уже стояло пять кроватей. Пять пар глаз смотрели на меня с доброжелательным любопытством. Я

представился:

— Валерий Фрид, пятьдесят восемь десять, одиннадцать и восемь через семнадцатую.

— Под Спасскую башню с кривым ножиком ходил? — спросил басом самый старший из моих новых соседей. — Студент?

— Да. Во ВГИКе учился.

— Федьку Богородского знаете?

Профессора Федора Богородского я не то чтобы знал, но видел в институте: он преподавал нашим художникам живопись.

Спрашивавший тоже был художником, по фамилии Ражин. Его вскоре перевели от нас и об его деле я знаю только, что какое-то время Ражин был «номерным арестантом», т. е. не имел права никому называть свою фамилию, и успел побывать в «монастыре» — Сухановской тюрьме особого режима, которой каждого из нас пугали следователи: «Упираешься? В Сухановку захотел?» По слухам, там, в сырых и холодных камерах, койки на день примыкались к стене, сидеть можно было только на цементной круглой тумбе, намертво вделанной в пол. Говорили о строгих карцерах, об отсутствии передач, прогулок и книг, о побоях. Сам там не сидел, за точность информации не ручаюсь…

Вторым соседом был молодой инженер из Подмосковья Фейгин. Его арестовали в день, когда на квартире у него собрались сослуживцы отпраздновать награждение Фейгина орденом «Знак Почета».

Пришли за ним в разгар вечеринки, пригласили с собой. Жену, пытавшуюся робко протестовать — «У нас гости!» — заверили:

— Да вы не беспокойтесь, он скоро вернется!

Вернулся Фейгин довольно скоро, думаю, лет через пять, не позднее: статья у него была детская, 58–10, болтовня. Меня он успел научить еврейской песенке, которую ни от кого больше я не слышал. В отличие от испанских стихов, песенку помню и сейчас. Голос крови? Вот она. Если что не так — простите.

А сукеле, а клейне
Мит брэйтелах гемейне,
Хоб их мир мит цорес гемахт.
Их хоб бадект дем дах
Митн гринэм схах,
Хоб их мир базесн ба дер нахт.
Ди винтн, ди калтэ,
Зэй блозн ин шпалтн
Ун верт эс ин сукеле шойн кил…

Их хоб гемахт мир кидеш
Ун их хоб гезен а хидеш —
Ви дос файерл брент руик ун штил.

Идиш я не знал и не знаю, а текст заучил как попугай. Это было нетрудно из-за сходства с немецким — которого я тоже не знаю, но хоть учил в школе{11}.

Третьим в камере был Арсик Монахов, совсем пацан — года на три моложе меня. Он был участником «Союза четырех» — детской игры, которую он и трое его школьных друзей затеяли в восьмом или девятом классе. Из старой шляпы они сделали себе фетровые погончики и стали — все! — лейтенантами. Был у них и рукописный устав. В школьную тетрадку записали обязательство быть честными, справедливыми, помогать товарищам и т. д. Этот документ их и погубил: неважно было, какие цели ставила перед собой эта, как мы сказали бы сейчас, «неформальная организация». Главное — она была самодеятельная, созданная по собственной инициативе, а не по распоряжению свыше. (Встретил же я в лагере Аллу Рейф, участницу антисоветской группы «Юные ленинцы»).

Пацаны подросли, уже и думать забыли про «Союз четырех», но соседка нашла тетрадь, снесла куда следует — и ребят забрали. Кого-то из них не поленились привезти чуть ли не с фронта.

Арсика — теперь уже Арсена Монахова — несколько лет назад я встретил в Москве: он подошел к нам с Юликом на премьере какого-то нашего фильма. Он успел отсидеть, получить образование и даже стать членом партии — на этот раз легальной, коммунистической. А чуть погодя объявился и его одноделец, главный из «лейтенантов» Вадим Гусев. Он теперь актер, режиссер и автор нескольких пьес. Оказалось, что мы с ним несколько лет прожили рядышком — в одном лагере, Минлаге, но на разных лагпунктах. И не встретились…

Четвертым в 28-й камере был Володя Матвеев, ровесник Арсика. Вот он, в отличие от Арсена, за собой вину чувствовал.

Вместе с двумя или тремя приятелями Володя поступил на факультет международных отношений МГУ. Советская действительность ребятам не нравилась и они надеялись, что после учебы их пошлют на дипломатическую работу за границу, а там они сбегут. Выбрали нарочно не модное английское, а испанское отделение: больше шансов попасть за рубеж. Мексика, страны Центральной и Южной Америки — вон сколько возможностей!

Еще больше шансов было попасть на Лубянку — стоило

только кому-то проболтаться. Так оно и случилось.

С Володей я с тех пор не встречался, но в пересыльной тюрьме на Красной Пресне познакомился с его однодельцем Сашей Стотиком. Знаю, что оба, отбыв срок, вернулись в Москву — со Стотиком я раза два говорил по телефону. А увидеться не довелось. Не так давно, сказали мне, он умер.

Вряд ли надо объяснять, что эти четверо моих сокамерников рассказали мне все о себе не сразу, не в первые минуты знакомства. Тогда они только назвали себя и сказали, кто чем занимался на воле. А пятый — черноглазый, с густыми черными бровями — вообще молчал и застенчиво улыбался.

— А вы где работали? — поинтересовался я.

— В посолстве.

По твердому «л» и черноглазости я определил, что он армянин и плохо разбирается в тонкостях русского языка: работал в армянском представительстве, а называет его посольством. На всякий случай я решил уточнить:

— В каком посольстве?

— Американском.

Я ужасно обрадовался:

— Так вы, наверно, знаете английский?!

— Я родился в Ну-Йойке, — сказал он с тем акцентом, с каким разговаривают нью-йоркские персонажи Вудхауза.

«Псмит-журналист» я читал еще до войны. Армянин оказался американским финном Олави Окконеном.

Его история не то чтобы типична, но характерна для 30-х годов.

Когда мы начали первую пятилетку, обнаружилась катастрофическая нехватка квалифицированной рабочей силы. А в Соединенных Штатах ее был переизбыток: кризис, депрессия, массовая безработица. И советские вербовщики сумели перевезти в Союз сотни рабочих семей, в большинстве американских финнов: эти ехали почти что на историческую родину.

Окконен-отец был плотником высокого класса, сам Олави, тогда еще мальчишка, собирался стать электриком или шофером. Привезли их в Карелию, в Петрозаводск — Петроское, как называли его финны.

Кое-что им сразу не понравилось. Олави рассказывал, например, что в первый же день мать увидела возчика в замусоленных ватных штанах, восседающего на буханках, которые он вез в булочную. Эта картина произвела на чистоплотную финку такое сильное впечатление, что она до конца дней своих срезала с хлеба верхнюю корку — так, на всякий случай.

Но вообще-то завербованным американцам жилось у нас совсем неплохо. В стране была карточная система, а их обеспечивал всем необходимым «Инснаб», жалованье платили долларами. Однако спустя немного времени советская власть решила, что это ей не по карману, тем более что на стройках пятилетки появились и свои более или менее квалифицированные рабочие.

Иностранцам предложили выбор: или принять советское подданство и получать зарплату, как все, в рублях, или отправляться по домам. Некоторые уехали, но многие остались: обжились, привыкли, да и страшновато было возвращаться, вдруг опять кризис и безработица. Осталась и семья Олави. Мать была замечательная повариха. Знакомые устроили ее на работу в финское посольство. А когда в 39-м началась финская война и посольство из Москвы отозвали, все семейство по рекомендации финских дипломатов взяли к себе американцы. Мать работала поваром, отец дворником, а Олави шофером — возил морского атташе. Возил не очень долго: арестовали по обвинению в шпионаже, а заодно забрали и отца. Очень славный был старик, мы познакомились через десять лет в Инте, куда он приехал навестить сына — тот, как и я, после лагеря остался на вечном поселении.

В Инте Олави женился на русской — точнее, белорусской — женщине и теперь живет со своей Лидой в Бресте (нашем, не французском). А его довоенная финская жена, пока он сидел, вышла за другого.

Недавно Олави съездил по приглашению родственников в Финляндию, а по дороге переночевал у меня. Седой, благообразный, с черными по-прежнему бровями, он стал похож на сенатора из американского фильма. А тогда, на Лубянке, ему было лет двадцать семь. Для меня он оказался просто находкой: по-английски я читал, но совершенно не умел говорить.

Сейчас трудно поверить, но в юности я был застенчив, робел и никак не мог перешагнуть «звуковой барьер». (Здесь на минуту отвлекусь. Во ВГИКе у меня была репутация знатока английского языка, потому что я брался переводить трофейные фильмы. Но и теперь-то я с трудом разбираю английскую речь с экрана, а тогда или фантазировал — все-таки будущий сценарист! — или спасался тем, что читал польские субтитры. Иногда, правда, случался конфуз. «Пан Престон, ваша цурка…», начинал я и спохватывался: «Мистер Престон, ваша дочь…»).

Олави по-русски говорил неважно и обрадовался возможности перейти на родной язык. Его английский, надо сказать, застыл на уровне третьего-четвертого класса: из Америки

его увезли ребенком. Но это было как раз то, что нужно. С ним я не стеснялся говорить, мы болтали целыми днями. Теперь, когда иностранцы уважительно спрашивают, где я учил язык, я с удовольствием отвечаю: на Лубянке.

Разговаривали мы обо всем на свете: о фильмах, о джазе Цфасмана, о еде, о женщинах (опыт у обоих был минимальный), о его работе в посольстве. Между прочим, он предсказал, что актрису Зою Федорову, скорей всего, тоже посадят: по словам Олави, она вместе со своей сестрой часто гостила у американцев. Я, конечно, никак не мог предположить тогда, что через много лет познакомлюсь с Викой, полуамериканской дочерью актрисы, а сама Зоя Алексеевна, выйдя на свободу, сыграет маленькую роль в фильме по сценарию Дунского и Фрида.

С Олави Окконеном мы прожили душа в душу месяцев пять. При прощании он, по-моему, даже прослезился. На девятом году сидки мы встретились снова, в Минлаге{12}.

Если не считать паркетного пола и уроков английского языка, жизнь в 28-й камере мало отличалась от той, что мы вели на Малой Лубянке. Так же водили на оправку — впереди, как знаменосцы, самые молодые с парашей; так же вздрагивали двое, услышав «На фэ!» — теперь уже я и Фейгин; так же с грохотом открывалась среди ночи дверь и голос вертухая — или вертухайки, второй этаж считался женским — требовал: «Руки из-под одеяла!» То ли самоубийства боялись, то ли рукоблудия — не могу сказать… Так же разыгрывали новеньких.

Особенно благодарным объектом оказался пожилой инженер Чернышов, на удивление наивный и легковерный. В камеру он вошел, неся в обеих руках по кружке с какой-то едой, захваченной из дому: ни жестяные, ни стеклянные банки в камеру не допускались — разобьют и осколком перережут вены! (По этой же причине на Лубянке отбирались очки. Идете на допрос — пожалуйста, получите, а в камеру — ни-ни…). Остановившись у двери, Чернышов с ужасом глядел на наши стриженые головы и небритые лица — каторжане! (Брили, вернее, стригли бороды нам не чаще двух раз в неделю. Приходил парикмахер с машинкой и стриг под ноль — ни «эр», ни «агиделей» в те дни еще не было. А с опасной бритвой в камеру нельзя).

Новенький закрутился на месте, не зная, куда пристроить свое имущество. На стол? Вдруг обидятся и обидят? Наконец нашел место: поставил еду на крышку параши. «Ну, с этим не соскучишься», решила камера. Переставили его кружки на стол — и зажили вполне дружно.

А развлекались так — не скажу, чтобы очень по-умному:

— Аркадий Степанович, — задумчиво говорил Арсен

Монахов. — Вы не знаете, как совокупляются ежи?

— В каком смысле, Арсик? Наверно, как все.

— Но они ведь колючие.

— Да, действительно… Нет, тогда не знаю.

Арсик умолкал. Потом начинал сначала:

— Аркадий Степанович, вы просто не хотите мне сказать! Вы инженер, вы должны знать.

— Честное слово, не знаю.

— Не может быть. Вы взрослый, у вас жизненный опыт… — И так далее, пока не надоедало.

Однажды, получив передачку, старик спросил нас, почему на американских банках со сгущенным молоком «Dove milk» изображена птица. Олави объяснил: dove — это значит голубка. А злой мальчик Арсен обрадовался новой теме:

— У них сгущенное молоко не коровье, а птичье, — объявил он.

Чернышов удивился:

— Как так?

— А очень просто. У них все продукты суррогатные. Яичный порошок, например — он ведь из черепашьих яиц.

(Такая легенда ходила в те годы по Москве). Инженер обводил нас глазами: правда? Или розыгрыш? Мы подключились к игре, подтвердили: да, некоторые породы голубей выделяют жидкость, похожую на молоко. Это ценный, редкий продукт, потому и говорится: только птичьего молока не хватает.

Чернышов, простая душа, и верил и не верил. Тогда я попросил библиотекаря принести нам Брэма, том «Птицы». И когда заказ был выполнен, открыл книгу на разделе «Голуби» и прочитал вслух: «Еще в древнем Египте было замечено удивительное свойство этих птиц: выделять из зоба жидкость, вкусом напоминающую молоко».

— Не может быть, — неуверенно сказал старик. Арсик сунул ему под нос Брэма, который, разумеется, ничего такого не писал. Расчет был на то, что инженер без очков не сумеет прочитать мелкий шрифт: мы знали, что у него сильная дальнозоркость. И действительно, он смог только разглядеть картинку: голуби сизые, голуби белые, голуби с хвостами как у индюков. А я снова «прочитал»:

— Еще в древнем Египте было замечено удивительное свойство…

— Поразительно, — сказал старик. — Вот уж, поистине, век живи — век учись!

Нашу дискуссию подслушала старушка-надзирательница. Выяснилось это так: на следующем дежурстве она принесла нам

тупые с закругленными концами ножницы — стричь ногти — и сказала, хихикнув:

— Стригите. А то станете голубей доить, вымя поцарапаете.

Подслушивать разговоры в камерах — это вертухаям вменялось в обязанность, а разговаривать с нами строго воспрещалось. Но ведь они тоже были люди, тоже томились тюремной скукой.

Другая надзирательница — рослая красивая девка с лычками младшего сержанта на голубом погоне — даже любила с нами поболтать. Пользуясь тем, что 28-ю камеру от центрального поста не видно — она в боковом отсеке, за поворотом — надзирательница открывала дверь, и мы беседовали о жизни. Это от нее я услышал формулу, которую вложил впоследствии в уста лагерному «куму» (в фильме «Затерянный в Сибири»):

— А чем я лучше вас живу? Всю жизнь в тюрьме. У вас срока, а я бессрочно…

Разговаривая, деваха одним глазом поглядывала, не идет ли кто по коридору. Как только из-за угла показывалась фигура другого вертухая или офицера, наша собеседница строго говорила в камеру: «Петь не положено!» или «Пол подметите!» — и с грохотом закрывала дверь.

На вопросы, что там на воле происходит, она не отвечала: наверно, побаивалась, что кто-нибудь из нас ее заложит. Спрашивала, кто мы, за что сидим. О себе рассказала, что комсомолка, что живет за городом. В надзиратели пошла по совету родственника, служившего на Лубянке — а теперь и сама не рада. Она жалела нас, а мы ее. Интересно бы узнать, что с ней стало? Совсем молодая была, моложе меня. Вспоминаю о ней с симпатией…

В один прекрасный день в камере появился Дмитрий Иванович Пантюков. Пришел он не с воли и не из другой камеры, а из лагеря. На доследствие, как он объяснил. Впервые мы увидели лагерную одежду — темно-серые штаны х/б и такую же куртку. Из лагеря привез он и чудовищный аппетит: свою утреннюю пайку он не делил, как мы, на две-три части, а целиком съедал за завтраком, т. е. с кружкой кипятка и двумя кусочками сахара. И все равно оставался голодным.

Пантюков рассказал, что сидит за участие в настоящей антисоветской организации — партии «Народная воля». Он произносил страстные антисталинские речи и даже пытался — без успеха — агитировать симпатичную надзирательницу, о которой я рассказал.

Физически Дмитрий Иванович был очень силен — невысокий, плотный, в прошлом — боксер-разрядник. Каждое утро в камере

он делал силовую зарядку, и под его напором самые молодые, Володя Матвеев и я, тоже занялись физкультурой: до изнеможения отжимались от пола, научились делать преднос, опираясь на спинки кроватей, давали своему энтузиасту-инструктору ломать нам шею сцепленными на затылке руками. Боксерское упражнение, говорил он, очень укрепляет мышцы. Смех смехом, а никогда в жизни — ни до, ни после — я не чувствовал себя таким сильным, как в пору занятий с Пантюковым. Мог даже в душевой, подтянувшись на перекладине, сколько-то времени провисеть на одной руке. Для меня — рекорд.

А у Пантюкова личный рекорд был другой, не совсем спортивный. Он с гордостью доложил нам, что прошлым летом семь раз за одну ночь поимел свою возлюбленную — поставил рекорд в честь дня авиации.

Заниматься спортом в камере было не положено. Если вертухай заставал нас на месте преступления, приоткрывалась кормушка и следовал приказ — прекратить! Но в карцер не сажали, и мы, оставив кого-то одного возле волчка на шухере, продолжали накачивать мускулы. Честь и слава Пантюкову! Впрочем…

Когда кончилось следствие и меня вызвали «с вещами», Дмитрий Иванович подскочил ко мне и жарко зашептал:

— Если выйдешь на волю, зайди на улицу 25-го Октября (он назвал номер дома и квартиры), позвони, а когда откроют, скажи: «Зернов предатель». Запомнил? Только эти два слова: «Зернов предатель…» И уходи.

Даже тогда мне это конспиративное задание показалось странным: с чего это я выйду на волю? Ведь ясно же, что получу срок.

Не знаю, то ли Пантюков был просто псих, то ли наседка. Теперь, когда вспоминаю, мне кажется подозрительной и его упитанность, и романтическое название его партии — «Народная воля», и даже слишком чистая для лагерника одежда. Для подозрения есть серьезная причина: в 1951 году, на 3-м лаготделении Минлага, меня вызвали к куму — оперуполномоченному. В его кабинете сидел незнакомый майор в синей фуражке — явно эмгебешник. Он задал мне несколько вопросов и составил протокол.

Вопросы были такие: знакомы ли мне имена участников молодежной антисоветской группы, существовавшей в городе Москве?

Ни одного из названных им имен я раньше не слышал, но лагерная, тренированная на такие случаи память, сохранила два: балерина из Большого театра Маргома Рожденственская

(«Маргома»— это, конечно, «Маргоша»: машинистка приняла рукописное «ш» за «м») и Джемс Ахмеди{13}. Еще там фигурировал метрдотель ресторана «Бега» дядя Паша (или Вася, не помню точно). Кто-то из этих бедолаг упомянул на следствии, что знал о «деле Сулимова», назвал фамилии Сухова, Гуревича — отсюда и интерес эмгебиста ко мне. Я честно ответил, что ни о ком из этих людей понятия не имею.

А следующий вопрос был: «Знакомы ли вы с резидентом английской разведки Дмитрием Ивановичем Пантюковым?»

Я подумал: это вопрос контрольный, проверка на правдивость. Если скажу, что не знаком, значит и раньше врал. Ответил я так:

— С Пантюковым Дмитрием — отчество не помню (помнил, но для правдоподобия сделал вид, что забыл) — я сидел в одной камере на Лубянке. О том, что он резидент английской разведки, мне ничего не известно. В политические разговоры я с ним не вступал, так как считал провокатором.

С тем меня майор и отпустил, задав на прощанье еще один вопрос: знаю ли я, где отбывают срок мои однодельцы?

Я решил рискнуть. Глядя на следователя ясными глазами, сказал: из письма матери я узнал, что Сухов умер — кажется, в Сухобезводной, а об остальных сведений не имею.

Этот ответ был также занесен в протокол, а я вернулся в барак к Юлику Дунскому и рассказал ему про допрос. Оба мы с удовольствием отметили, что не так уж всеведуще МГБ, если не знает даже, что по крайней мере двое из однодельцев уже два года здесь, в Инте, и спят рядышком на нарах…

Как я уже говорил, на Малой Лубянке заключенные гуляли во дворе. А на Большой — на крыше тюрьмы. Там была небольшая площадка, огороженная со всех сторон трехметровой железной стеной. Мы ходили по кругу, вспоминая каждый раз ван-гоговскую «Прогулку заключенных».

Однажды мы договорились по дороге с прогулки заглянуть в глазок соседней камеры: интересно же было, кто там сидит. Перестукиваться мы не отваживались: за этим вертухаи следили очень строго.

И вот, пока надзиратель, водивший нас на прогулку, возился с замком на двери нашей камеры, Олави Окконен растопырил свое широкое американское пальто, заслонив меня, а я поглядел в волчок — и никого из знакомых там не увидел. Зато меня застукал за этим занятием вертухай, неожиданно вынырнувший из-за угла с подносом в руках — он разносил обед. То преимущество, что наша камера была на отшибе, за поворотом коридора, теперь обернулось неприятностью: меня опять

посадили в карцер.

А перед этим зачем-то сводили к самому полковнику Миронову, начальнику тюрьмы. Поинтересовавшись, кто мои родители (отец профессор, мать лаборант), он уверенно поставил диагноз: был бы я из рабочей семьи, не занялся бы антисоветчиной. Суровым ликом полковник похож был на пожилого пролетария из историко-революционного фильма. Скорей всего это был тот самый Миронов, о котором я прочитал уже теперь в статье о процессах над врагами народа Бухариным и компанией. Он исполнял тогда обязанности судебного пристава или чего-то в этом роде: привозил врагов из тюрьмы и рассаживал на скамье подсудимых.

Карцер я перенес легко, боялся только, что переведут в другую камеру: привык к своим соседям, а к некоторым даже привязался.

К моему удовольствию, отсидев трое суток, я вернулся к своим — но застал там нового жильца, тихого грустного человечка лет сорока. Это был первый иностранец (Олави все-таки был советским гражданином), встреченный мной в тюрьме — чех по фамилии Стеглик. По-русски это будет «щегол», объяснил он мне.

Из оккупированной фашистами Чехословакии Стеглика отправили на оккупированную Украину. Он служил в немецкой администрации не то писарем, не то бухгалтером. За какую-то провинность — кажется, за антинемецкие высказывания — его посадили в тюрьму. Вскоре немцев из города выбили, а Стеглика вместо того чтобы освободить, перевезли в другую тюрьму — в Москву, к нам. На Лубянке он сидел уже два года и все пытался объяснить следствию, что никакого задания от немцев он не получал и не знает, почему фашисты оставили его в живых.

Передачу получать ему было не от кого, и он совершенно оголодал. Я уже упоминал о тюремных голодных психозах — так вот, классическим примером был Стеглик. Когда приносили дневную пайку, мы всегда уступали ему горбушку. Но он не ел ее за завтраком, обходясь пустым кипятком. А пайку препарировал особым способом: выщипывал мякиш и раскладывал крошки на носовом платке — для просушки. В обед он ел суп опять-таки без хлеба. (Кстати сказать, в лубянском супе иногда плавали обрезки спаржи. Я и понятия не имел, что это такое, спасибо, европеец Стеглик объяснил. Наверно, в общий котел сливали объедки с генеральской кухни).

На второе давали негустую кашу — чаще всего овсяную, иногда горох. С кашей Стеглик смешивал слегка подсушенные крошки и этой смесью начинял выдолбленную утром горбушку.

Что не умещалось, позволял себе съесть, а остальное — на местном жаргоне это называлось «тюремный пирог» или «автобус» — откладывал до вечера. Мучился, терпел. И только после отбоя, уже из постели, он протягивал дрожащую от предвкушения худую ручку за своим пирогом и, укрывшись с головой одеялом, съедал его с наслаждением.

А однажды, придя с допроса, я увидел, что Стеглик, нахохлившись как его пернатый тезка, сидит на краю кровати и губы его дрожат от обиды. Оказалось, что он ухитрился поймать голубя — тот по глупости залетел в узкое пространство между решеткой на окне и «намордником». Чех собирался свернуть ему шею и съесть сырым, но сокамерники возмутились и не позволили. Я их не одобрил: тоже мне, общество покровительства животным! Правильно говорится: сытый голодного не разумеет — они-то почти все получали из дому передачи.

А вообще камера относилась к чеху хорошо, его нелепой участи сочувствовали.

С Шуриком Гуревичем сидел другой иностранец, молодой солдат вермахта — сын немецкого коммуниста. При первой возможности он дезертировал из части и сдался партизанам. Те сообщили в Москву. Чекисты не поленились: прислали самолет и вывезли перебежчика на Большую Землю — точнее, на Большую Лубянку. От него, как и от Стеглика, требовалось одно: признаться, с каким заданием заслали его к нам фашисты. Парень долго упирался, рассказывал свою пролетарскую биографию, говорил об отце-коммунисте — и все без толку. В конце концов не выдержал, подписал все, что велели, но его политические взгляды сильно изменились. Целыми днями он шагал по камере из угла в угол и бормотал:

— Die beiden Scheissbanden konnen einander die Hande reichen — обе говенные банды могут пожать друг другу руки…

Не покривлю душой, если скажу, что таких, как этот немчик и наш чех, я жалел больше, чем своих, советских: мы сами наболтали себе пятьдесят восьмую статью, нарушили устав собственного монастыря — жесткий, несправедливый, но известный всем нам с детства устав. А эти-то попали за какие грехи?

Вскоре Стеглика от нас увели, но свято место пусто не бывает. В ту же ночь я проснулся от лязга железа: это надзиратель вносил шестую кровать.

Новый жилец стоял тут же с узелком в руке и неуверенно улыбался. Был он невысок, лысоват и лицом похож — не в обиду ему будь сказано — на еврея (оказалось — цыган).

— Здравствуйте, — сказал он мне одному: остальные спали.

— Здравствуйте. Вы москвич?

— Я ленинградец, но вы меня знаете. Я — Вадим Козин.

— А-а, — пробормотал я и заснул.

Настоящее знакомство состоялось наутро. Новый сосед явно хотел понравиться: был приветлив, предупредителен, даже предложил оттереть носовым платком стену, потемневшую от въевшейся в краску пыли.

— Тюремную стену драить?! — зарычал наш лагерник Пантюков. — Да пошли они все… — Он объяснил, куда.

Несколько смутившись, Козин переменил тему. Положил шелковый платочек на подушку, уголок подушки повязал бантиком (как только ухитрился пронести ленточку через обыски: ведь даже шнурки от ботинок отбирали!), отошел, полюбовался и, кокетливо склонив голову, сообщил:

— Вообще-то я должен был родиться женщиной…

Про свое дело он рассказывал так: обиженный на ленинградские власти, которые не помогли во время блокады его родственникам, Козин написал в своем дневнике, что знай он про такое бессердечие, остался бы в Иране. (Он ездил туда давать концерты для советских воинских частей. Иранские антрепренеры делали ему лестные предложения, но он из патриотизма отказывался). Эта запись неведомыми путями попала в руки «органов», и артиста, естественно, посадили.

Недавно в одном из интервью с ним я прочитал другую версию — об отказе петь про Сталина или что-то вроде этого. Но нам Вадим Алексеевич об этом не говорил.

Освоившись в камере, Козин стал петь для нас — вполголоса, чтоб не услышал надзиратель. Пел он удивительно приятно. Пел знаменитую «Осень», «Дружбу» и даже — по-английски — «Ю ар май лаки стар». Ну, и старинные цыганские романсы: из его рассказов выходило, что он был внуком или внучатым племянником не то Вари Паниной, не то Вяльцевой, не то их обеих.

Однажды Вадим Алексеевич пришел с очередного допроса очень расстроенный. Ходил по камере и жалобно повторял:

— Какие мерзкие бывают люди!.. Какие мерзкие!

Оказалось, у него была очная ставка с аккомпаниатором Ашкенази. Козин в лицах изобразил разговор следователя с пианистом:

Вопрос следствия:

— Свидетель Ашкенази, в каких отношениях вы были с Козиным?

Ответ:

— В очень плохих. Он отказывался вывезти мою семью на

Урал, хотя, как руководитель культбригады, имел такую возможность.

— Пытались ли вы ему мстить?

— Да, пытался.

Вопрос:

— Каким образом?

Ответ:

— Аккомпанируя ему в концертах, я брал на два тона выше, и он должен был петь в несвойственной ему тесситуре…

Мы восприняли этот рассказ юмористически, но Козину было не до смеха: ведь это ему, а не нам, приходилось петь в несвойственной тесситуре. Говорят, это очень мучительно.

А в общем он был очень удобным сокамерником, и мы искренне огорчились, когда «камерные концерты», как мы их называли, подошли к концу. Следователь объявил Козину, что его дело закончено, и он поедет в дальневосточные лагеря.

Вадим Алексеевич, озабоченный предстоящей неблизкой дорогой, советовался с нами, какую из шапок надеть: одна, по-моему, была из выдры, другая бобровая. Но тот же Пантюков объяснил со свойственной ему грубой прямотой, что можно не тревожиться: какую ни наденет, все равно блатные отнимут…

Судьба козинской шапки мне не известна. А о самом Вадиме Алексеевиче лет через пять, уже в Каргопольлаге, мне рассказал один зек, приехавший к нам из Магадана, что тамошнее начальство встретило Козина хорошо. Он был расконвоирован и с большим успехом выступал в местном лагерном театре, пока не случился такой казус: во время концерта какой-то офицер, пьяный, надо полагать, — восторженно заорал:

— Да здравствует товарищ Козин!

Это не понравилось генералу, начальнику лагеря. Козина законвоировали и отправили на общие работы.

За правдивость этой истории не ручаюсь, свидетелем не был, за что купил — за то и продаю{14}

С кем-то из моих однодельцев сидел человек со странной фамилией Дебюк-Дюбек, козинский администратор, кажется. По его сведениям, у Вадима Алексеевича, кроме 58-й, была и другая статья, а именно 156-я — «мужеложство» (словечко-то какое!). Но сам Козин об этом умолчал, и понятно: шел сорок четвертый год, а не девяносто первый, когда в Москву бесстрашно слетаются на свой конгресс «голубые» и «розовые» всех стран.

А между тем, я ведь помню: в первом издании Большой Советской Энциклопедии — той, темно-зеленой с красными корешками — я еще мальчишкой читал, что советское законодательство не признает наказания за гомосексуализм,

потому что нелепо наказывать за болезнь — за точность цитаты не ручаюсь, но смысл был такой.

Не признавали, а в начале 30-х ввели-таки в УК статью 156-ю. Впрочем, и до появления специальной статьи «мужеложников» сажали — давая 58-ю, самую растяжимую. В лагерях это называлось 58, пункт «ж». Был бы человек, а статья найдется…

Ни с кем из знаменитостей, кроме Козина, я на Лубянке не встречался. Правда, майор Райцес спросил меня как-то:

— Вы в какой камере сидите?

Тогда я еще проживал в одиночке, в 119-й.

— А знаете, кто в 118-й?.. Нет? Антонеску. А в сто двадцатой?.. Пу-и.

Теперь-то мало кто помнит об Антонеску, румынском диктаторе. Забыли бы и Генри Пу-и, императора Маньчжоу-го, если б не фильм «Последний император». Но тогда это были громкие имена. Пообщаться со своими именитыми соседями я, понятное дело, не имел возможности.

А вот Юлик Дунский довольно долго просидел в одной камере с человеком, в те времена очень известным — генералом Александром Ивановичем Беляевым, который до ареста ведал всеми нашими закупками по ленд-лизу.

Генерал был «номерным», т. е. секретным арестантом, но на лубянские запреты ему было наплевать. Юлику он не только назвал свою фамилию, но и рассказал, за что попал в тюрьму. Дело было так.

Как главу советской закупочной комиссии в Вашингтоне, его пригласил для беседы президент Рузвельт. В Белый дом Беляева пропустили легко. Его, привыкшего к нашим строгостям, отсутствие формальностей удивило. Впустили, провели в кабинет президента и оставили одного. Через несколько минут появился сам Ф. Д. — а переводчик почему-то запаздывал. По-английски генерал знал слов десять. Рузвельт по-русски — еще меньше. До прихода переводчика они объяснялись на языке глухонемых — жестами и мимикой. Оба хохотали от души и очень понравились друг другу — что для Беляева обернулось бедой.

Домой генерал пришел в отличном настроении. А дня через три его помощник принес газету, в которой сообщалось, что генерал Беляев награжден американским орденом — каким-то очень важным. А вторым награжденным был другой генерал, Бур-Комаровский — глава враждебного нам польского правительства в эмиграции. Наши газеты именовали его «польским фашистом».

У Беляева дрогнуло сердце: он-то понимал, что в этой компании ему быть не следовало. Но наивные американцы в тонкостях московского политеса не разбиралось… Вскоре

генерала под каким-то предлогом вызвали в Москву — и предчувствие сбылось: арестовали и обвинили, за скудостью материала, в антисоветской агитации. Для десятого пункта 58-й много материала не требовалось: восхвалял (их словцо) американскую технику, нелестно отзывался о Кагановиче — что-то в этом роде.

В камере Беляев держался так, словно сохранил генеральское звание: грубил дежурному офицеру, отказывался подметать пол и т. д. А к Юлию — они сидели вдвоем — был внимателен и охотно рассказывал о себе. И Юлик всегда вспоминал о нем с симпатией и уважением.

Об Александре Ивановиче Беляеве вспоминает и его тезка, Солженицын — в «Архипелаге». Вспоминает с неприязнью: для него Беляев остался надменным и эгоистичным советским сановником — даже в заключении. А Юлий высоко ценил цепкий ум этого крестьянского парня, дослужившегося до генеральских звезд, его наблюдательность, интерес к хорошим книгам, юмор и самоиронию.

Беляев рассказывал, например, как привез к себе в деревню невесту — показать старикам. Городская девушка не приглянулась родителям генерала. Лежа на печи, он подслушал разговор:

— Нехороша, — говорила мать. — Худа, большеглаза… А у нас в деревне-то девки — ягодины!..

Юлик считал: неплохой был мужик. Генералы бывают ведь разные, даже советские — не все одним миром мазаны. Скажем, генерал граф Игнатьев — тот самый, автор книги «50 лет в строю» («И ни одного в бою», добавляли злые языки). Нет, сам граф не сидел, но с ним связана забавная и приятная история.

С одним из наших ребят, кажется, с Лешкой Суховым, сидел старик-белоэмигрант, привезенный аж из Белграда. Следствие затянулось, и на тюремной пайке он стал доходить. Пожаловался на голод следователю, а тот, не то издеваясь, не то всерьез, предложил:

— Назовите родственников или знакомых, мы сообщим. Пускай принесут передачу.

Старик пришел с допроса обнадеженный. В радостном возбуждении рассказал соседям:

— Родственников у меня нет, но есть знакомый. Он, я слышал, служит в вашей армии, в больших чинах. Это граф Игнатьев.

Сокамерники подняли чудака на смех:

— Да-да, как же — принесет он! Держите карман шире… Да он со страху в штаны наделает!

— Вы не понимаете, — терпеливо объяснял им старикан. — Мы с Игнатьевым учились вместе в Пажеском корпусе. А бывшие пажи — это особое товарищество. Что бы ни случилось, паж пажу всегда придет на помощь!

Ему не поверили, конечно. Провожая на очередное «без вещей», дразнили:

— Это граф передачу вам принес!

Он, как мог, отшучивался. А в один прекрасный день вернулся в камеру с большой торбой, набитой яствами — даже фрукты там были! Это в военное-то время.

— Я же вам говорил! — с торжеством объявил старый паж.

Слух об этом происшествии разнесся по всей тюрьме — и надо сказать, сильно укрепил мою веру в человечество…

Кончался сорок четвертый год. От кого-то из свежепосаженных мы узнали, что американцы седьмого ноября будут выбирать себе президента. Кандидатов было двое: от демократов — друг Советского Союза Рузвельт, от республиканцев — нелюбимый нашими газетами Дьюи. Мы в камере тоже решили провести выборы, выбрать американского президента тайным голосованием.

Каждый из голосующих получил две пешки (шахматы у нас были). За Рузвельта надо было положить под миску белую пешку, за его противника — черную. Из восьми человек шестеро проголосовали против Рузвельта: не нравилась его дружба со Сталиным. Только двое положили белую пешку — я и Володя Матвеев. Он признался мне в этом, чуть-чуть стесняясь своей интеллигентской мягкотелости. Американцы тоже оказались мягкотелыми — выбрали Франклина Делано. Мы с Володькой были рады…

Все на свете кончается — и хорошее, и плохое. Этой малооригинальной сентенцией я хочу сказать, что подошло к концу и наше следствие.

Новый 1945-й год я встретил еще со своими соседями по 28-й камере, а вскоре меня вызвали «с вещами».

Посадили в воронок — надписи «хлеб» или «мясо» я на нем не заметил — и повезли в Бутырскую тюрьму.

Воронки снаружи были все одинаковы — фургоны, в каких возят продукты, и не вороные вовсе, в серо-коричневые. «Черные вороны» я видел только в детстве, но название пережило их. Внутри же воронки выглядели по-разному. Одни были общие, а другие, можно сказать, купейные, поделенные на секции — такие железные шкафы с обеих сторон. В каждом шкафу везли по одному пассажиру. В узеньком коридорчике ехал конвоир и жестко пресекал любую попытку подать голос. Так я и не узнал,

кто из моих ребят ехал со мною. Но через несколько дней мы встретились…

IV. Церковь

Третья моя тюрьма началась с того же, что и первые две. Всех нас поодиночке развели по боксам — торопливо, бегом, будто боялись не успеть. И куда спешили, интересно?..

Часа два мы просидели в боксах, пытаясь угадать, есть ли кто из наших по соседству. Послышался голос Шурика Гуревича: он запел — опытный конспиратор! — старую солдатскую песню, которую от кого-то узнал Сулимов. Володя научил и нас — а больше нигде я ее не слышал:

— Ты не плачь, моя красавица, расстаемся мы всего на десять лет…

Чей-то фальшивый голос — не Юлика ли? — подхватил:

— Проводи меня ты до околицы…

— Помаши, помаши платочком вслед. — Это пропел я. Естественно, сразу же прибежал вертухай, велел замолчать. Но уже ясно было: Фрид здесь, Дунский здесь, Гуревич здесь.

Потом дверь моего бокса открылась, вошел офицер в фуражке с васильковым верхом и протянул мне бумажку:

— Прочтите и распишитесь, что ознакомлены.

Это было постановление ОСО: «За участие в антисоветской молодежной группе и высказывание террористических намерений в отношении главы советского правительства и партии направить в исправительно-трудовые лагеря сроком на десять лет». Не ручаюсь, что привожу текст дословно, но помню, что меня тогда еще удивило: нигде не сказано, «осудить, приговорить». Просто — «направить». Как в командировку… Вот это удивило, а срок 10 лет — нисколько, я другого и не ждал.

А Юлик Дунский рассказал мне, когда встретились, что он, расписавшись, сказал офицеру «спасибо». На что тот, кажется, обиделся. А вежливый Юлик и не думал издеваться: просто, дал ему человек ручку, возвращая ее, Юлик и поблагодарил. За ручку, не за срок же.

К вечеру меня и остальных развели по камерам. От первой из бутырских камер у меня в памяти никаких ярких впечатлений не осталось: большая, человек на двадцать, довольно грязная, и с режимом, против Лубянки, очень либеральным. Койки, которые по идее должны были в вертикальном положении пристегиваться после подъема к стене, не пристегивались. Можно было весь день валяться на них, громко разговаривать и петь — это тоже не возбранялось. А про общипанные курильщиками книжки я уже упоминал. Пробыл я там дня два, ни с кем не успев толком познакомиться, и был переведен в «церковь». Так назывался

пересыльный корпус Бутырской тюрьмы, куда собирали всех, получивших срока от Особого Совещания, народных судов и военных трибуналов. До революции это действительно была тюремная церковь. В связи с требованиями нового времени ее перестроили, уложили перекрытия и на двух или трех этажах разместили очень просторные камеры[15].

Впрочем, просторными они были по замыслу тюремных архитекторов. А в мое время камеру, рассчитанную на пятьдесят человек, населяло сотни полторы арестантов. Взамен коек были сплошные нары, но все равно места на всех не хватало, многие спали под нарами, на полу.

Не успел я хорошенько оглядеться в своем новом узилище, как дверь с грохотом открылась, и в камеру, к великой моей радости, запустили Мишку Левина и Лешку Сухова. А чуть погодя — еще троих моих однодельцев: Юлика, Шурика Гуревича и Рыбца — Виктора Левенштейна.

Завидев его, в углу — самом удобном месте камеры — поднялся на нарах некто с лихими усами вразлет и радостно заорал:

— Перс! Здорово!.. Иди сюда.

Оказалось, это староста камеры Иван Викторович — вот фамилию не помню. Знаю только, что он был «вояка», как называли всех армейских, в большинстве своем побывавших в немецком плену. Иван Викторович — так его все величали, несмотря на молодость — был человеком волевым, энергичным и справедливым. Старостой он назначил сам себя, и никто этому не воспротивился.

На Лубянке они с Витькой сидели в одной камере. Там Рыбцу дали новую кличку, «Перс» — а он и был похож на чернобрового красавца перса с иранских миниатюр (живых-то персов мы и в глаза не видели). Следователь об этом прозвище не знал — а то бы протоколы наверняка обогатились еще одной подпольной кличкой: «Рыбец», он же «Перс»… Бывшие сокамерники обнялись.

— Это твои? — спросил Иван Викторович. — Ребята, вас-то мне и не хватало. Будете моей полицией?

Мы не поняли, но староста объяснил: он задумал установить в камере закон фраеров. Кто такие фраера, мы уже знали: не блатные. Блатных Иван Викторович решил держать в строгой узде, благо их здесь было мало: наша камера предназначалась для «пятьдесят восьмой». Предназначалась, но гарантией это служить не могло: дело в том, что и вора за побег из лагеря судили за саботаж — по статье 58, пункт 14. Эту же статью давали «саморубам», т. е., виновным в умышленном членовредительстве (по воровскому закону блатным не положено

было работать). А бандит, напавший на милиционера, шел под суд за террор — ст. 58-8.

Чуть отвлекаясь, скажу, что этот наш восьмой пункт был очень вместительным: Юлик встретил в лагере четырнадцатилетнего деревенского мальчика, который стрелял из самопала, заряженного шариком от подшипника, в председателя колхоза — тот несправедливо обошелся с его матерью. А я на Вологодской пересылке познакомился с «воякой», который на вопрос, за что ему дали 58-8, хмуро ответил:

— Они написали — за теоретические высказывания против командира.

Так ему запомнилась стандартная формулировка — «террористические высказывания». Он и правда сказал сгоряча взводному:

— Убить, тебя, гада мало…

Словом, среди «террористов» можно было встретить кого угодно, от безвредных очкариков до всамделишных бандюг.

В нашей же бутырской камере сидела в основном настоящая пятьдесят восьмая: «болтуны», они же «язычники» (п. 10, антисоветская агитация) «пленники» (п. 1-б, измена родине — для военнослужащих) и гражданские изменники родины (п. 1-а). К слову сказать, до сих пор не понимаю, почему закрепился в языке этот нелепый оборот. Герой родины — это понятно, но не изменник же! Почему «родины», а не «родине»?.. Но это к делу не относится.

Мы согласились стать полицией Ивана Викторовича, получили места на щитах, из которых собраны были необъятные нары посреди камеры — этакий остров, отделенный проливами-проходами от боковых нар, — и стали нести службу по охране фраерского порядка. Она была неприятна, хоть и необременительна — нарушения случались нечасто. Но об этом чуть погодя. А пока скажу: приглядевшись к новым сокамерникам, мы поняли, что попали в другой, сильно отличавшийся от лубянского, мир. Там в основном сидели москвичи, и самым распространенным преступлением была антисоветская болтовня. А здесь собрались люди, побывавшие у немцев — кто в плену, кто во власовской армии, кто просто — или непросто — на оккупированной территории. Были тут и арестанты со стажем, привезенные из лагерей на переследствие, были осужденные по закону от 7-го августа, именуемого в просторечии 7/8 — «семь восьмых» («хищение социалистической собственности в особо крупных размерах», кажется так. Это приравнивалось к экономической контрреволюции). Ко всей этой публике нас тянуло обыкновенное мальчишеское любопытство, а

их не меньше интересовали мы.

О нашем деле слух, если не по всей Руси великой, то по московским тюрьмам точно прошел. И то один, то другой подсаживался к нашему кутку и уважительно спрашивал, понизив голос:

— А правда, что вы хотели бросить бомбу, и усатого — к ебене матери?

Нет, отвечали мы, не было этого. Но нам не очень верили.

На третий день в камере появился Володька Сулимов — наш главарь и идеолог, согласно материалам следствия. Худой, бледный, он сходу поинтересовался:

— Как вы тут живете? По-блядски, каждый свое жрет или коммуной?

— Коммуной, коммуной, — успокоили мы его. Дело в том, что только он и Юлик Дунский не получали с воли передач: никого из родных в Москве не было. И оба здорово отощали, особенно Юлик. У него за этот год прямо-таки атрофировались мышцы. Мы просили его напрячь бицепс, он напрягал — а там такой же кисель, как и в расслабленном состоянии.

Но остальным передачи таскали чуть ли не каждый день — здесь это разрешалось, а родные боялись, что нас вот-вот увезут неизвестно куда. И на общих харчах Володька и Юлик очень быстро отъелись. Не прошло и недели — а Юлик уже дул на пенку, когда кому-нибудь приносили кипяченое молоко: пенку он терпеть не мог, как большинство человечества (я принадлежу к меньшинству). Такому быстрому его восстановлению даже трудно было поверить.

В камере сидел пожилой военврач. Он говорил уверенно:

— Нет, нет. Вы не понимаете: у Юлия пастозное лицо. (Признак дистрофии. Попросту сказать, Юлик, по мнению доктора, не поправился, а распух от голода.) Доктор тыкал пальцем в пухлую щеку дистрофика, уверенный, что останется вмятина. А палец отскакивал, как от мяча.

Этого полковника медицинской службы по закону от 7/8 приговорили к расстрелу: вроде бы он, в должности начальника фронтового госпиталя, совершил многотысячную растрату. Может, и совершил, не знаю. Но после того, как он провел в камере смертников сорок семь суток, каждую ночь ожидая вызова на расстрел и обмирая от ужаса при звуке шагов в коридоре, ему объявили, что он помилован, а «высшую меру» заменили десятью годами. Это было счастье, конечно. Доктора перевели в общую камеру, и он, попав с того света к живым людям, говорил, говорил, и не мог наговориться — будто хотел удостовериться, что он тоже живой…

Между прочим, судьба его не была исключительной: в «церкви» мы встретили еще нескольких смертников, которым заменили смертную казнь на срок. Всех их почему-то держали под угрозой расстрела некруглое число дней — 28, 43, 57 — и заменяли «вышку» всегда десятью годами. У нас даже создалось впечатление, что тогда, в сорок пятом году, вообще не расстреливали, а всем меняли смертную казнь на червонец — даже тем, кто не подавал прошения о помиловании: лагеря нуждались в рабочей силе. Может быть, мы ошибались. На фронте-то, конечно, расстреливали, а вот в тылу — не знаю. Но точно помню прямо-таки анекдотический случай.

В нашей камере сидело пятеро «парашютистов» — т. е., русских, согласившихся работать на немцев, прошедших подготовку в тамошних спецшколах и заброшенных к нам в тыл в качестве диверсантов. Вся эта пятерка шла по одному делу. Руководителю группы дали «вышку», двоим по двадцать пять лет и еще двоим по пятнадцать. И вдруг в камере объявляется приговоренный к расстрелу, и рассказывает, что ему объявили о помиловании и заменили «вышку» десятью годами… Большой радости его однодельцы не испытали: им-то срока не снизили.

Мы с ребятами строили всяческие теории насчет этого и пришли к выводу, что, возможно, раньше, когда в УК не было сроков больше десяти лет, предлагалось при помиловании заменять смертную казнь этим предельным сроком заключения. Потом катушка размоталась до двадцати пяти лет, а пункт о помиловании забыли изменить. А что? В нашем царстве бюрократии и не такое могло быть. Но, повторяю, это наши умозаключения, построенные на довольно скудном материале. Возможно, все было не так — возможно, и стреляли, и заменяли на двадцать пять…

В Бутырках мы провели несколько месяцев — времени для наблюдений и размышлений хватало. Но конечно же, в начале этого, в общем, спокойного периода все дни напролет мы разговаривали только о своем деле. Это как в больничной палате: в первые дни человек сосредоточен на своих болячках и только потом уже начинает обращать внимание на соседей. А поговорить было о чем. Каждому ведь хотелось знать в подробностях, как у других складывалось следствие: били ли, лишали передач, сажали в карцер? Кем из оставшихся на воле интересовались следователи?.. Конечно, многое мы уже знали: ведь при подписании 206-й нам давали — нехотя — прочесть и чужие протоколы. Мой Райцес подгонял, сучил нетерпеливо ножками, но я все-таки весь толстенный том прочитал — ну, хотя бы проглядел.

Но одно дело прочитать, совсем другое — услышать. В первом же разговоре выяснилось, что никто ни на кого не в обиде. А могли бы обижаться: ведь оговорили друг друга все. Правда, каждый на себя наговорил больше, чем на других. Был с нами и Мишка Левин, единственный несознавшийся, но он не заносился над остальными — понимал прекрасно, как на них давили.

Сулимов рассказывал, что его лупили, сажали в какой-то особый карцер — не то холодный, не то горячий. Ребята отнеслись к этому рассказу с некоторым сомнением, но спорить с Володькой не стали. Как никак, он был центральной фигурой в нашем деле и заслуживал особого внимания чекистов.

Вообще-то на Лубянке били. Я уже упоминал про треснувшее небо Александровского, соседа Юлика по камере. Двадцатидвухлетнему Юлику он казался стариком. На самом деле Александровскому было тогда меньше пятидесяти — об этом мне сказал недавно его сын. «Старик», кроме того, что был нашим послом в довоенной Праге, первым перевел на русский рассказы Чапека. Во время войны он оказался на оккупированной территории и выдавал себя за неграмотного крестьянина, чтобы не вызвать интереса оккупационных властей. Зато вызвал живейший интерес советских: едва кончилась война и Александровский объявился, его привезли на Лубянку, потребовали признаться, что сотрудничал с фашистами — и били нещадно. Скорей всего, это были несанкционированные побои, следовательский экспромт. (Да и самому Юлику следователь пару раз вмазал сапогом по ноге.) А на серьезную обработку резиновой дубинкой требовалась, говорили, санкция высокого начальства — и присутствие врача…

Итак, мы лежали на нарах, вспоминали весь прошедший год и поражались. Нет, не тому, что нас арестовали — арест это, в конце концов, дело житейское; кого посадили, кому повезло, — а своей ненаблюдательности. Ведь были же такие громкие сигналы — а мы их не услышали.

Незадолго до ареста Сулимов встретился с очень интересным парнем по имени Аркадий Белинков.

— Он пишет книгу, — рассказывал Володя, — которая делится не на главы, а на сомнения — Сомнение 1-е, Сомнение 2-е… Обязательно познакомлю вас!

И повел знакомить — Шурика Гуревича и Лешку Сухова. Поднялся по лестнице, позвонил в дверь и спросил у открывшей ему женщины:

— Аркадий дома?

— Аркадия арестовали.

По словам Сухова, Володька на своей хромой ножке с

необычайной быстротой скатился вниз по ступенькам — знакомство не состоялось. Этот арест нас не насторожил: не мы же писали книгу, состоящую из сомнений.

А вскоре одного из нашей компании, трусоватого и большого фантазера, вызвали на Лубянку, о чем он нам тут же рассказал — то ли по простоте душевной, то ли по мазохической потребности как бы повиниться, но и не до конца — в нем была, была достоевщинка!.. В его рассказе история выглядела так. На даче у них ночевал целую неделю один старичок. Ну, ночевал и ночевал. Но старичок-то оказался нелегальный!.. Вот о нем и расспрашивали на Лубянке.

Мы все приняли на веру, даже не стали интересоваться подробностями — не придали значения. И в Бутырках как-то не усомнились. А теперь-то мне кажется, что именно во время этого его визита на Лубянку энкаведисты получили какие-то сведенья о наших «сборищах» — так в протоколах назывались выпивки, ребяческая болтовня и игра в «очко» на копейки. Сначала, наверно, было донесение сулимовских соседей — чекистского семейства, а затем понадобились дополнительные зацепки. Так альпинисту достаточно выдолбить крохотную ямку в отвесной стене, опереться носком — а дальше дело само пойдет!.. Пошло и наше «дело».

Припомнили мы и «галошников» (они же «топтуны»), которые торчали возле Нинкиного дома на Арбате. Потом эти же двое в сапогах с галошами, в одинаковых пальто с белыми шарфами и в кубаночках на голове оказались возле моего подъезда в Столешниковом. С ними была и девица. Для правдоподобия они время от времени целовались.

Их увидел и опознал Володька Сулимов. Ворвался в комнату с радостным криком: за ними следят!.. Шутил, разумеется. Посмеялись тогда, всерьез не приняли. А теперь, в «церкви», удивлялись своей тупости.

Поудивлялись немножко и топорной работе следователей: где дедукция, где методы Шерлока Холмса? Но очень быстро сошлись на том, что особой тонкости не требовалось. Ведь они и не думали доискиваться до истины — на кой ляд она была нужна? Нужны были наши подписи под их сочинениями — а этого следствие добилось безо всяких Шерлоков Холмсов. Повторю: ведь Лубянка имела дело не с врагами, а со своими вполне советскими людьми.

Меня часто спрашивают: а когда у вас появились первые сомнения в святости и непогрешимости Сталина? Очень, очень поздно.

Хотя меня за первую «антисоветскую вылазку» могли бы

притянуть к ответу еще в 31-м году, когда мне было девять лет.

Вместе с соседским мальчиком Борькой мы надули найденный где-то презерватив, завязали ниткой. Потом нарисовали на тупом конце красную звезду, на боку написали «Клим Ворошилов» и через форточку пустили по ветру. (Был такой знаменитый дирижабль, по-моему, флагман воздушного безкрылого флота.) Если не у нас, несмышленышей, то у родителей могли бы быть крупные неприятности. По-счастью, никто не настучал…

А вообще-то мы росли очень советскими. Так нас и воспитывали в семьях — прямо с младенчества. Помню, лет пяти, еще не умея читать, я обратился за помощью к своей тетке Марусе: в детской книжке с картинками, под названием «Все наркомы у тебя дома», я увидел портрет человека в буденовке, с острой бородкой и пенсне на крючковатом носу. По всему выходило, что это наркомвоенмор. Но что-то было не так.

— Кто это? — спросил я. Тетка, глазом не моргнув, ответила:

— Клим Ворошилов.

(Это был, конечно, Троцкий — книжку напечатали лет за пять до нашего разговора и до опалы Льва Давыдовича.)

— А почему с бородой? Ворошилов ведь без бороды.

— Ну, не знаю. Наверно, сбрил.

Вот так… Росли в стерильно-советской атмосфере. Как-то раз к Дунским в квартиру постучалась плохо одетая женщина с ребенком, попросили хлеба себе и девочке.

— У нас на Украине, — сказала она, — люди с голоду помирают.

Юлик затопал ногами, закричал:

— Это неправда! Вас надо в милицию отвести!

Женщина испугалась и ушла — о чем Юлий в зрелом возрасте очень часто вспоминал со стыдом. А я в том же 32-м году топал ногами на свою няньку, умнейшую старуху{16}, которая уверяла меня, будто Сталин убил свою жену.

Когда меня приняли в пионеры («Я, юный пионер Эсэсэсэр, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича…» и т. д. До сих пор помню.), я два дня не давал снять с себя красный галстук, так и спал в нем — к умилению родителей. Впрочем, что они говорили об этом за моей спиной, не знаю. Возможно, и не умилялись.

Мы взрослели, не ведая сомнений, веря самым диким слухам о вредителях и шпионах. Вместе со всеми поворачивали боком зажим для красного галстука, на котором изображен был пионерский костер. В острых языках эмалевого пламени мы

пытались разглядеть профиль Троцкого: вся Москва знала, что это чье-то вредительство. Никакого Троцкого там нельзя было увидеть при всем желании, зато обнаружилась идиотская накладка художника: плохо знакомый с пионерской символикой, он вместо пяти поленьев (пять континентов) изобразил три. А в пламени революции, долженствующей охватить эти пять континентов, вместо трех языков (три поколения — коммунисты, комсомольцы и пионеры) нарисовал пять. Перепутал. Поэтому зажимы действительно стали изымать из обращения.

Верили мы и всему, что писали о процессах над врагами народа газеты. Правда, уже тогда нам, четырнадцати-пятнадцатилетним, резала слух безвкусица судебных репортажей: «Подсудимый Гольцман похож на жабу, мерзкую отвратную жабу». Этот пассаж я запомнил дословно. Помню и то, что месяца через три автор репортажа Сосновский сам был посажен и, видимо, тоже превратился в мерзкую отвратную жабу.

Но это были претензии к форме. А суть у нас не вызывала подозрений. Раз посадили, значит, было за что. И добрый немец Роберт с нашего двора, работавший на киностудии и даривший малышам голубые и розовые куски кинолент, оказался шпионом — раз его забрали. Позакрывались все китайские прачечные — стало быть, выявили целую шпионскую сеть. (Правда, над этим уже тогда посмеивался безвестный автор анекдота: заказчик приходит в китайскую прачечную с претензией — почему так плохо постирали? А китаец ему: «Я не пласика, я сапиона…» Но существовал и другой, официальный юмор: знаменитая карикатура «Ежовы рукавицы».)

Говорили — и никто не удивлялся, — что весь американский джаз «Вейнтрауб синкопаторс», приезжавший на гастроли, оказался шпионской бандой и арестован. Впрочем, в газетах я об этом не читал.

Любопытно, что я даже не задавался вопросом: куда деваются те, кого забрали? Мы видели, конечно, пьесу «Аристократы» и сделанный по ней фильм «Заключенные»{17}, читали книгу про Беломорканал — но там речь шла больше об уголовниках. А политические — в моем затуманенном сознании — просто исчезали. Как человечки, нарисованные мелом на школьной доске: прошелся мокрой тряпкой, и они исчезли. Не переместились в пространстве, а именно исчезли — в никуда.

Только финская война заставила нас задуматься — как так? Финляндия — такая маленькая и напала на такого большого? Этому даже мы не могли поверить.

Незадолго до этого был еще один повод призадуматься: «юнкерс» со свастикой на хвосте в московском небе — прилет

Риббентропа. Но в школе нам объяснили, что это просто политика, дружбу с Гитлером не надо принимать всерьез. Я попытался втолковать это своему отцу. Профессор Фрид не спорил, только горестно вздыхал. Так же вздыхал он еще раньше, в тридцать восьмом — днем вздыхал, а по ночам мучался бессонницей. Только много лет спустя я узнал от него, что тогдашняя волна репрессий накрыла с головой научно-исследовательские бактериологические институты. Пересажали всех директоров и научных руководителей, чудом уцелел только отцовский институт в Минске… Но в те годы детям о таких вещах предпочитали не рассказывать.

И мы оставались патриотами, были, как писали тогда в характеристиках, активными, политически грамотными комсомольцами. Я даже был секретарем институтского комитета (и выбыл из комсомола только по техническим причинам, в связи с арестом).

Когда началась война мы с Юликом Дунским слегка поугрызались совестью, что не пошли сразу добровольцами — его старший брат Виктор ушел на фронт в первые же дни. На трудфронте мы честно вкалывали, рыли эскарпы и контрэскарпы под Рославлем — но когда осенью студентов отозвали в Москву, в военкомат мы не побежали, а продолжали учиться. Правда, утешали мы себя, на передовую нас все равно не послали бы: очкастые, освобождены от армии по зрению. А идти в стройбат, строить в тылу дороги нам совсем не хотелось.

К этому времени мы достаточно поумнели, чтобы понимать, скажем, несправедливость массовых арестов, но воспринимали их как стихийное бедствие, как мор или потоп, как божью кару. Да Сталин ведь и был богом — всемогущим и беспощадным, не прощающим ереси.

Тому, кто не жил при Сталине, не понять отношений простого смертного с тогдашним государством. Под гипнозом страха перед его карающей десницей, НКВД, жила вся страна. Этот страх парализовал волю, подавлял способность к сопротивлению — во всяком случае, у большинства советских людей. В истории человечества я не знаю аналогий. Обойдусь примером из зоологии: кролик и удав. Государство удав, его право глотать кроликов. А мы все кролики. На кого упал его взгляд, сам лезет к нему в пасть — обреченно и покорно. Для наглядности расскажу историю «парашютиста» Володи Яблонского, московского парня лет двадцати пяти, красивого, но уже лысоватого.

На фронт он отправился лейтенантом, попал в плен и, помаявшись пару месяцев в фашистском лагере, согласился

поступить в школу диверсантов. Многие соглашались, чтобы таким способом вернуться на родину: выполнять задание они не собирались, а думали сразу явиться с повинной. Были у нас в камере и такие. Добровольная явка им не очень помогла. Но Володя предчувствовал такой исход и сдаваться своим не торопился.

Сбросили его под Москвой в форме старшего лейтенанта (прибавили звездочку!) со всеми документами — в том числе с «аттестатом» на получение довольствия. Этот аттестат и сыграл печальную роль в Володиной судьбе.

Встретиться со своим напарником-радистом — тоже москвичом — они должны были у колонн Большого театра на следующий день. При каждом из диверсантов была приличная сумма денег — несколько тысяч. Естественно, что попав в родную Москву, Володя прежде всего раздобыл водки, выпил для храбрости и пошел в военную комендатуру отоваривать аттестат — т. е., получать причитающийся паек. Оказалось, что он опоздал. Его вежливо попросили придти завтра. Но пьяному, как известно, море по колено. Яблонский вломился в амбицию, стал орать на тыловых крыс: он фронтовик, он контуженный и не уйдет, пока не получит свое. Ну, и получил. Тыловые крысы обиделись, строгим голосом потребовали, чтоб он предъявил документ. И тут, рассказывал Володя, его как морозом обожгло. В пьяном мозгу мелькнула мысль: это конец, всё, разоблачили!.. И он положил на стол кобуру с пистолетом, сказал:

— Ваша взяла. Сдаюсь. Я немецкий диверсант.

А ведь документы у него были в полном порядке, немцы за этим следили.

Дело Яблонского было таким ясным, что следствие получилось очень короткое: месяца три, не больше. Вот срок ему дали длинный — двадцать пять и пять «по рогам». Так называлось поражение в правах.

В отличие от судов и военных трибуналов, ОСО поражения в правах не давало — так что отбыв «командировку», мы сразу становились полноправными гражданами. Но до этого было еще далеко. А пока что мы продолжали копаться в подробностях следствия: рассказывали друг другу о соседях по камерам, о вертухаях, о следователях. Суховский, например (не Рассыпнинский ли? Нет, тот вел, по-моему, Сулимова. А потом, лет через пять, он был следователем у Ярослава Смелякова) — так вот, Суховский со своим клиентом держался запросто, называл его Лёхой. Однажды спросил — это же была любимая забава:

— Как думаешь, Лёха, сколько тебе впаяют?

— Десять лет?

Следователь хохотнул:

— Тебе? Десять?.. Смотри сюда. — Он вытащил чье-то чужое «Дело №…» и прочитал: «Подтверждаю, что являлся сотрудником польской, английской и американской разведок». — Видал? Вот каким десять лет даем! А тебе… Тебе — восемь.

И ведь обманул: Сухову дали все десять…

Не могу сказать, что настроение у нас было очень унылое — хотя основания для уныния были. Гуревич оставил на воле жену с маленькой дочкой, вместе с Сулимовым посадили жену и мать, вместе со мной — невесту. Конечно, радовало то, что мы с ребятами встретились, что унизительные месяцы следствия позади. Но ночью, когда камера затихала, на меня наваливалась тоска. Я ведь очень любил Нину, любовь к ней казалась мне смыслом жизни — а теперь, когда мы расстались навсегда (в этом я не сомневался), когда все, что надо было сказать друзьям, сказано, вроде бы не было смысла жить.

И однажды, дождавшись, когда все кругом заснут, я выдавил из оправы очков стеклышко, разломил его пополам и стал пилить вену.

Я даже предусмотрительно раздвинул щиты на нарах, чтобы просунуть в щель руку: пусть кровь стекает на пол, а не на спящих соседей. Но кровь не желала стекать — ни на пол, ни на соседей. Видимо, я пилил, не вкладывая в это занятие душу. Разум подзуживал меня: давай-давай, самое время произвести с жизнью все расчеты! Но это разум — а все остальное во мне сопротивлялось, хотело жить. И стеклышко только царапало кожу. А тут еще каждые пять минут кто-нибудь из соседей вставал и направлялся к параше. И каждый раз я замирал, притворялся, что сплю. Когда, пописав, сосед укладывался на нары, я продолжал свою работу — и опять переставал пилить, потому что кто-то еще вставал к параше. С меня семь потов сошло, так волновался. А до вены так и не сумел добраться…

И в конце концов сдался, подсознательное нежелание умирать в двадцать три года взяло верх. Я отложил стеклышко и заснул, а утром объяснил ребятам, что раздавил очки во сне. Не уверен, что они поверили, но в душу лезть никто не стал, за что я был им очень благодарен: стыдился слабости характера.

После этого происшествия дни потянулись вполне безмятежные. На Лубянке мы жили в постоянном напряжении, как цирковые звери в клетках: каждую минуту может явиться укротитель и заставит проделывать неприятные унизительные трюки. А здесь была тоже неволя, но не тесная клетка, а как бы вольера. Хочешь — расхаживай от стенки до стенки, бья себя по

бокам хвостом, хочешь — валяйся целыми днями, поднимаясь только при раздаче пищи.

Тюремная пища в «церкви» была отвратительная, не сравнить с лубянской. Пайка хлеба и каждый божий день суп из полугнилой хамсы, чья зловонная золотистая шкурка плавала на поверхности, будто тина в зацветшем пруду. Но нам хватало передач из дому. Тюремную баланду мы чаще всего отдавали кому-нибудь из товарищей по камере.

Здесь собралась очень пестрая публика. С первого взгляда можно было угадать кто из тюрьмы, а кто из лагеря. У лагерников кожа на лице, задубленная дымом костров и морозом, бурая и шершавая, как старое кирзовое голенище; у «тюремщиков» лица серые, мучнистые. (Забавно, что в народе тюремщиками зовут и тех, кто сидит, и тех, кто сторожит — но вспомним девахуу-надзирательницу с Лубянки и ее рассуждения.) Московские интеллигенты спали на нарах и под нарами впритирку со смоленскими колхозниками, раввин по фамилии Бондарчук делился передачкой с блатным Серёгой из Сиблага.

Раввина очень огорчала матерщина, без которой в камере не обходился ни один разговор. Услышав очередную фиоритуру, он вскидывался:

— Кто тут ругался матом? Мы этого не любим! Мы этого не любим!

Над стариком беззлобно посмеивались, но материться старались потише: своей наивностью и добродушием он вызывал симпатию и даже уважение.

Не могу не помянуть здесь другого раввина по фамилии Вейс. С тем мы повстречались уже в лагере. К нему соседи по бараку относились плохо. Особенно донимали его блатные — дразнили, обижали, отнимали передачи. И раввин повредился в уме. В один прекрасный день вбежал в барак к ворам и, подскакивая то к одному, то к другому, закричал визгливо:

— Я старший блатной! Иди на хуй! Иди на хуй! — именно с таким, логичным но нетипичным ударением. Вскоре его отправили от нас куда-то — наверно, в лагерную психушку.

А возвращаясь в «церковь», скажу, что симпатии и антипатии возникали там по не совсем понятным причинам. Над московским студентиком Побиском Кузнецовым ядовито посмеивались. Был он, видимо, из ортодоксальной партийной семьи, и странное имя расшифровывалось как «Поколение Октября Борец И Строитель Коммунизма».

Поскольку сел Побиск по 58-й, однокамерники переделали это в «Борец Истребитель Коммунизма». (А когда не дразнили, называли просто Бориской). Впоследствии я узнал от своего

интинского приятеля Яшки Хромченко, что Кузнецов был его однодельцем. А еще позже, лет шесть назад, прочел — кажется, в «Правде» — правоверно советскую статью за подписью Побиск Кузнецов. Дивны дела твои, Господи! Вряд ли однофамилец и тезка? Кузнецовых полно, но имечко такое два раза не придумаешь{18}.

Дружно не залюбила вся камера другого студента, Феликса Иванова — неприветливого, надменного парня чуть не двух метров ростом. И когда блатные уговорили его отдать им «по-хорошему» новенькое кожаное пальто, никто Феликса не пожалел, никто не заступился — наоборот, позлорадствовали.

Очень нравился нам застенчивый и скромный власовец Володя. Он совсем отощал за время этапов и следствия, но ничего не просил — никогда ни у кого. Мы его с удовольствием подкармливали, а он нам рассказывал про власовскую армию — РОА. (Немцы, считая «Р» латинским «П», называли Русскую Освободительную «ПОА»). Нам интересно было, где про такое прочтешь?

Выяснилось, что Володя знает знаменитую солдатскую песенку «Лили Марлен»— такую немецкую «Катюшу» (не гвардейский миномет, а «Расцветали яблони и груши»). Он сказал нам и немецкие слова, и перевод, сделанный каким-то власовским поэтом:

Возле казармы, где речки поворот,
Маленький фонарик горит там у ворот.
Буду ль я с тобой опять
У фонаря вдвоем стоять,
Моя Лили Марлен?..

— А мелодия? — допытывались мы. — Спой, Володя.

Но он категорически отказался. Объяснил смущенно:

— Неудобно как-то… Скажут: доходной, а поет.

Так и не спел. А мы пели, даже сами сочиняли песни — довольно дурацкие.

В камере оказались двое из «Союза Четырех»— Вадим Гусев и самый младший из четверки Алик Хоменко, очень милый мальчик. Его все называли ласково Хоменок. Двое из нашего дела — М. Левин и А. Сухов — изложили историю «Союза Четырех» в балладе на мотив «Серенького козлика»:

Жил-был у бабушки умный Хомёнок,
Делал в горшочек, не пачкал пеленок,
Раз повстречался ему Идеолог —

Был разговор между ними недолог:
Надо из фетра сделать погоны,
Гимн сочинить и выпустить боны…

ну, и т. д. (Идеологом «Союза» следствие назначило Вадима.)

Бабка Хомёночка очень любила.
Вот как! Вот как! Очень любила!
И передачи ему приносила!

горланили мы, а сам Хомёнок с удовольствием подпевал, заливаясь детским смехом.

Великое дело — ребяческое легкомыслие! Именно оно помогло большинству из нас перенести и тюрьму, и лагерь без особого ущерба для психики…

По молодости лет мы, отъевшись на передачах, испытывали то, что в старину называлось «томлением плоти». Я и сам однажды проснулся от громкого гогота: спал я на спине, и оказалось, что выбившись из ширинки тюремных кальсон и прорвавшись через прореху в жидком бутырском одеяле — так пробивается стебелек через трещину в асфальте — к потолку тянется мой детородный (в далеком будущем) член. Но больше всех томились женатики — Сулимов и Гуревич.

Это нашло отражение в непристойных куплетах — переиначенной солдатской песенки из репертуара Эрнста Буша «О, Сюзанна». (Впрочем, и она неоригинальна: пелась на мотив американской «I came from Alabama».)

Обращаясь к жене, Шурик Гуревич в этих куплетах жаловался:

О, Татьяна!
Вся жизнь полна химер,
И всю ночь торчит бананом
Мой видавший виды хер.

А Володька, вместо «О, Татьяна!» пел «О, Елена» и, в соответствии с требованиями рифмы вместо «торчит бананом»— «торчит поленом»[19]…

Не могу умолчать о том, что во время серьезного разговора — велись на нарах и такие — Володя Сулимов с грустью рассказал нам, что с героиней этого куплета у него была очная ставка, и Лена ухитрилась шепнуть ему, что следователь убедил ее стать

«наседкой», камерной осведомительницей. Потому-то и провела она весь свой срок в тюрьме, а не в лагере.

Думаю, что не страха ради и не за следовательскую сосиску (их подкармливали, вызвав будто бы на допрос) Лена Бубнова согласилась на эту роль. Скорее всего сработала знаменитая формула: «Ведь вы же советский человек?!» А она была очень, очень советская, я уже писал об этом.

Года два назад «Мемориал» попросил меня провести вечер, посвященный жертвам репрессий. На этом вечере мне прислали записку: «Знаете ли вы, что ваша Бубнова была на Лубянке наседкой?» Я знал. Знал даже, что ее и к матери Миши Левина, Ревекке Сауловне, подсаживали. Но из уважения к памяти Лениного мужа Володи соврал: мне об этом ничего не известно.

Я и сейчас не сужу ее слишком строго. Из-за своей подлой обязанности Лена — дважды жертва репрессий…

Там, в Бутырках, Володька предложил нам сочинить песню на мелодию из фильма «Иван Никулин, русский матрос». Он ведь работал помрежем на этой картине и в мальчишеской гордыне своей полагал, что из-за его ареста фильм не выпустят на экран. Выпустили, конечно и хорошая песня «На ветвях израненного тополя» была в свое время очень популярна. Сулимов насвистел мелодию, она нам понравилась и мы всем колхозом принялись придумывать новые слова. Вот они:

Песни пели, с песнями дружили все,
Но всегда мечтали об одной —
А слова той песенки сложилися
За Бутырской каменной стеной.
Здесь опять собралися как прежде мы,
По-над нарами табачный дым…
Мы простились с прежними надеждами,
С улетевшим счастьем молодым.
Трижды на день ходим за баландою,
Коротаем в песнях вечера,
И иглой тюремной контрабандною
Шьем себе в дорогу сидора.
Ночь приходит в камеры угрюмые,
И тогда, в тюремной тишине,
Кто из нас, ребята, не подумает:
Помнят ли на воле обо мне?
О себе не больно мы заботимся,
Написали б с воли поскорей!
Ведь когда домой еще воротимся
Из сибирских дальних лагерей…

Складывалась песня быстро, без споров — каждое лыко было в строку. «Контрабандную иглу» придумал, по-моему, Юлик, «понад нарами»— любитель стилизаций Миша Левин. Сочинивши, несколько раз громко пропели. Сокамерникам песня понравилась, они охотно простили несовершенство стихов. Во всяком случае, когда мы с Юликом вернулись в Москву — это было уже в 57-м году — раздался телефонный звонок и чей-то голос пропел:

— Трижды на день ходим за баландою, коротаем в песнях вечера…

Это оказался Саша Александров, замечательный мужик — но о нем речь впереди, когда буду рассказывать о Красной Пресне.

А второй раз нам напомнила об этой песне книга века «Архипелаг Гулаг». В конце первого тома Солженицын рассказывает, как московские студенты сочиняли на нарах свою тюремную песню, и приводит два куплета. Вообще-то, Александра Исаевича с нами в камере не было: он прошел через бутырскую церковь несколько раньше. А песню услышал, наверно, в Экибастузе от Шурика Гуревича — и одну строчку воспроизвел не совсем точно. Но человеку, написавшему «Один день Ивана Денисовича» — лучшее из того, что я читал о лагере, и возможно, лучшее из всего, что он написал — этому человеку можно простить маленькую неточность. Тем более, что у него получилось интереснее. И потом — шутка ли: благодаря «Архипелагу» наши два куплета оказались переведены чуть ли не на все языки мира. Ни одно из других сочинений Дунского и Фрида такой чести не удостаивалось…

В один прекрасный день в камере появился новый жилец. На нем была армейская шинель, потрепанная кубанка. Остроносый и чернявый, он смахивал на кавказца, а по обветренному шершавому лицу мы решили: этот из лагеря.

Окинув камеру быстрым наметанным глазом, новичок сразу направился к нам, представился:

— Петька Якир.

Он действительно оказался бывалым лагерником, но сейчас прибыл не из далеких краев, а с Лубянки. Там он проходил следствие по своему второму делу — вместе со Светланой Тухачевской и Мирой Уборевич.

С обеими этими девочками он, после расстрела военачальников-отцов, попал в специальный детский дом, но надолго там не задержался: получил срок и отправился путешествовать по лагерям. Над шустрым и смышленым пацаном — Петьке было лет 13–14 — взяли шефство обе фракции

лагерного контингента, и блатные, и «политики». Старые большевики считали своим долгом опекать сына прославленного командарма, что же касается блатных, то замечено, что ворье с интересом и уважением относится к обладателям каких-нибудь выдающихся достоинств — к чемпиону, скажем, по боксу, знаменитому артисту, дважды Герою Советского Союза и так далее. Вот и малолетний Якир в отблеске отцовской славы пользовался расположением блатных. Им льстил его интерес к воровской жизни, и они, опекая Петьку, учили его всяким премудростям лагерной жизни. В результате, когда мы встретились, руки у него были в наколках и шрамах от мастырок{20}, а от своих покровителей интеллигентнов он нахватался самых разных сведений из области истории, искусств и литературы. Со своими семью или восемью классами средней школы он на равных беседовал с главными бутырскими эрудитами.

По Петькиным словам, отбыв первый срок, он приехал в Москву, пробился на прием к самому Берии и закатил блатную истерику: что ж ему теперь, всю жизнь оставаться сыном врага народа?! И Лаврентий Павлович — опять-таки по рассказу Петьки — распорядился принять его в какую-то чекистскую школу. Там он задержался не дольше, чем в свое время в детдоме: встретился с подругами детства Светой и Миррой, и в дружеских разговорах они все трое заработали себе срока: Якир — восемь лет, а девочки по пять.

Петька и в нашей камере делил свое внимание между блатарями и интеллигенцией — которая состояла в основном из нашей компании и очкастого однодельца Белинкова, Генриха Эльштейна по кличке «Мацуока»{21}.

Нас Якир просвещал по всем вопросам лагерной жизни, а с Серегой из Сиблага вел вполголоса профессиональные разговоры на странном диалекте, в котором половину слов мы не понимали: «сунули в кандей… отвернул угол… битый фрей… пустили в казачий стос…»{22}

С Петром Якиром мне предстояло — чего я не знал — провести два года на одном лагпункте и хавать из одного котелка. Но об этом после. А Серега вскоре исчез из моей жизни, и запомнил я его только потому, что это был первый встреченный мною вор в законе.

В наши дни, судя по газетам, ворами в законе считаются только видные фигуры преступного мира, которых чуть ли не единицы — что-то вроде крестных отцов мафии. А в те времена в законе считался любой вор — пока не скомпрометирует себя и за какой-нибудь поступок, несовместимый с воровской этикой, будет

«приземлен».

Акт приземления, т. е., исключения из воровской корпорации, не сопровождался, как в теперешних колониях, омерзительным содомитским ритуалом, «опущением». Просто, приземленному перекрывали доступ к «воровскому куску» — общему котлу.

Согласно неписанной традиции вор в тюрьме имел право отобрать у фраера половину передачи. Из этих половин и складывается воровской общий котел. Но в нашей камере, как уже сказано, был установлен закон фраеров, и воры — те, что были поумней — мирились с этим. Серега, вкрадчивый, внимательный, ошивался около нас, в надежде, что его чем-нибудь угостят. Улыбался, сверкая рыжими фиксами — половина зубов у него была под золотыми коронками. (А может, и не золотыми: блатари для форсу ставили себе и латунные.) Слушал мои умные рассуждения — о том, что вот, скоро окончится война и жизнь станет лучше, кивал, говорил душевно:

— Золотые твои слова, товарищ!

Воровать он не пытался. И правильно делал.

Его приятель рыжий Женька Кравцов украл чью-то пайку (не у нас), попался с поличным, и нам, камерной полиции Ивана Викторовича, пришлось — второй раз за все время — выполнять свои обязанности, т. е., произвести экзекуцию. Женьку усадили на нары и мы с Сулимовым стали бить его, требуя признаться: с кем воровал? Ясно было, что ни с кем, но просто молча лупить человека как-то не получалось. А так, в ходе допроса, бить было легче.

Я бил его ребром ладони по шее — старательно бил. Кто-то из свидетелей восхитился:

— Во бьет! Прямо как следователь.

Этот комплимент сильно охладил мой пыл. Женька вырвался из наших рук и бросился к двери, заколотил руками и ногами:

— Гражданин начальник! Убивают!

Открылась тяжелая дверь. Вертухай мрачно спросил:

— Что тут у вас? — и услышав «Пайку спиздил!» молча захлопнул дверь.

Больше рыжего не били — удовлетворились картиной его унижения: законный вор кинулся за помощью к тюремному начальству! А Женька был в законе. Еще до этого инцидента в камеру заходил очередной «покупатель» (так звали на пересылках вербовщиков рабочей силы для лагерей). Он спросил и у Женьки:

— Профессия?

— Бандит, — отчеканил рыжий и горделиво оглянулся на нас. Мы ведь были фраера, т. е. «черти», а они «люди» — так называют себя воры. А человек — это звучит гордо… И вот теперь

такое позорище, такой удар по воровскому самолюбию.

Впрочем, Петька Якир объяснил нам, что в «законе», а по другому сказать, в воровском кодексе чести, появилось много послаблений — в прямой связи с ужесточением режима в тюрьмах и лагерях. Например: пайка это святое, ее нельзя отобрать даже у фраера — но ради спасения жизни можно. «Ради спасения жизни» можно искать защиты и у вертухаев. Разве непохоже это на бюрократическое «в порядке исключения», позволявшее советским боссам хватать без очереди машины, квартиры и дачи?..

История с Женькой Кравцовым имела свое продолжение.

Месяца через два на Красной Пресне — в тюрьме-пересылке — рыжий снова встретился с Юликом: их привезли туда почти одновременно. И все шансы были на то, что попадут они в одну камеру. На тюремном дворе обе партии держали порознь. Женька бесновался, выкрикивал угрозы: сейчас он очкастому шнифты выколет, пасть порвет, задавит на хуй!.. И ведь сделал бы: в его компании было полно блатарей. Убить, скорей всего, не убили бы, но избили б до полусмерти. По счастью, их развели по разным камерам.

Расправы над рыжим я не стыжусь, он был редкостный гад. Но мы, неся свою полицейскую службу, избили еще одного нарушителя — опять же за украденную — и опять же не у нас — пайку. Этот был не блатной — просто оголодавший вояка.

Разумеется, воровать пайки нехорошо. Но не очень хорошо, когда трое сытых парней бьют голодного, не смеющего сопротивляться человека. Я писал раньше, что тюрьма учит терпимости. Теперь добавлю: но и жестокости тоже. Если завели порядок, приходится его поддерживать. Не очень приятно вспоминать, что именно на нас выпала роль экзекуторов — но что было, то было. Из песни слова не выкинешь.

Население пересыльной камеры безостановочно мигрирует — кого-то увозят, кого-то привозят. Ушла от нас большая партия специалистов — электрики, слесаря, радиотехники. С ними увезли и Мишку Левина — потом выяснилось, что недалеко, в подмосковную шарагу. Ту самую спецлабораторию, которую Солженицын описал в «Круге первом».

А появился в камере загадочный молчаливый человек в полной форме американского солдата — только что без знаков различия. Держался особняком, в разговоры ни с кем не вступал. Так мы и не узнали о нем ничего, кроме странной фамилии — Скарбек.

Но месяца через два Юлик Дунский попал со Скарбеком в один этап, они вместе приехали в лагерь — под Фатежем, в

Курской области. Скарбек долго присматривался к окружающим и наконец остановил свой выбор на Юлике. Походил, походил вокруг него — и раскололся. Вот что он рассказал.

Он, Скарбек Сигизмунд Абрамович, польский еврей, работал на советскую разведку. Много лет он прожил в Италии, был хозяином не то лавочки, не то какой-то мастерской. Жена тоже была нашей шпионкой. Подрос сын — включился в «Большую Игру» и он. Незадолго до войны итальянцы Скарбека арестовали и посадили в тюрьму на маленьком острове — вроде замка д'Иф, где сидел граф Монте-Кристо, объяснил Сигизмунд Абрамович.

Жена в пироге — классический способ, если верить старым романам, — передала ему записку: «Скоро тебя освободят. Сталин сказал: «Такие люди, как Скарбек, не должны сидеть». Но время шло, а Скарбека не освобождали.

На волю он вышел при очень неожиданных обстоятельствах — когда открылся второй фронт. Американцы, высадившись на юге Италии, стали на радостях освобождать заключенных. Дошла очередь и до узников «замка д'Иф». В бумагах янки не любили копаться: просто расспрашивали, кто за что сидит. Скарбек не стал хвастать своими шпионскими заслугами, соврал, будто сидит за убийство жены. Его выпустили, и он тут же связался с советским офицером связи: были такие при американских частях.

Сигизмунда Абрамовича срочно отправили в Москву, подержали сколько-то времени на Лубянке и дали срок — кажется, не очень большой. И вот теперь он решил написать письмо Ворошилову, чтобы тот разобрался в его деле, наказал следователей и велел выпустить Скарбека. За годы, проведенные в Италии — почти вся жизнь — Сигизмунд Абрамович подзабыл русский язык. Говорить мог, а писать затруднялся. Поэтому-то ему и пришлось волей-неволей обратиться за помощью к Юлику.

Тот послушно изложил на бумаге просьбу Скарбека — пересмотреть дело. Но когда дошло до заключительной части: «А пока, до освобождения, прошу Вас т. Ворошилов, прислать мне две банки мясных консервов, две банки сгущенного молока и три метра ткани на портянки» — Юлик усомнился:

— Сигизмунд Абрамович, может быть, не стоит? Ну не станет Ворошилов бегать по магазинам, искать Скарбеку портянки.

— Вы не понимаете, Юлий. Ворошилов знает, что я сделал пользы больше, чем три дивизии Красной Армии… Пишите, пишите!

Юлик написал. Посылку Ворошилов не прислал и вообще не ответил — но много лет спустя из книги Евгения Воробьева «Земля, до востребования» (о героическом разведчике Маневиче, заграничном шефе Скарбека) мы узнали, что Сигизмунд

Абрамович освободился и живет в Москве. Подумали: не повидаться ли? Но решили, что не стоит — все-таки очень чужой был человек.

Время от времени в нашу камеру попадал кто-то прямо после суда. К таким сразу кидались, выспрашивали новости: что там на фронте? Что вообще слыхать? Шел май 1945-го, ясно было, что война вот-вот кончится. Всей камерой обсуждали настойчивый слух: Сталин сказал, вот окончится война и будет амнистия, которая удивит мир.

Слух этот сбылся и амнистия сорок пятого года действительно удивила мир: уголовников повыпускали, пятьдесят восьмую оставили в лагерях. Между прочим, эта параша широко ходила по лагерям, каждый год возникая в той же редакции: Сталин сказал… удивит мир… И точно: следующая, так называемая бериевская, амнистия — уже после смерти Иосифа Виссарионовича — опять удивила, освободила одно ворье.

9-го мая привезли двоих с заседания трибунала. Прямо с порога они заорали:

— Война кончилась!!!

А вечером был салют Победы. В зарешеченные окна, над намордниками, виделось небо. Видно было, как взлетают в него огни салюта. С улицы до нас доносилось приглушенное толстыми бутырскими стенами ура. Вся камера подхватила его. Вместе со всеми радостно орала и наша антисоветская террористическая группа. В грядущую амнистию, честно говоря, мы не верили. Просто радовались за своих родных и друзей на воле, за свою страну{23}.

V. Красная Пресня. Места революционных боев

К Концу мая «церковь» стали энергично разгружать. Каждый день увозили несколько партий, человек по тридцать — сколько удавалось запихнуть в воронок. Известно было, что сейчас повезут в пересыльную тюрьму на Красной Пресне, а оттуда этапом в лагерь. Мы надеялись попасть все вместе, но не тут-то было: гулаговское начальство не любило, чтоб однодельцы оказывались в одном лагере. Боялись, похоже, что «из искры возгорится пламя» и антисоветчики продолжат свою контрреволюционную деятельность в лагерях. Но антисоветчики-то были липовые, а «деятельности» не было вообще. Чекисты сами придумывали себе страхи — как героиня Корнея Чуковского: «Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать… Нарисовала чудище и заплакала: «Это бяка-закаляка рогатая, я ее боюсь!»

Ну, хорошо, нашу «группу» легко было разослать по разным лагерям: всего четырнадцать человек. А вот с настоящими однодельцами — бандеровцами, власовцами, литовскими «бандитами», т. е. партизанами-националистами — с теми было посложней, на всех отдельных лагерей не напасешься… Короче говоря, всех нас увезли из Бутырок порознь, и снова встретиться нам пришлось очень нескоро.

Воронок, в котором ехал я, на этот раз был не купейный, а общий и набит до отказа. Пассажиры стояли, притиснувшись друг к дружке, и слушали поучения доцента Каменецкого. Где, кого и чему он учил до ареста, я забыл, но эту его лекцию помню наизусть:

— Товарищи, — вещал он, — сейчас нас привезут на Красную Пресню. Там мы, возможно, встретимся с уголовниками и, возможно, их будет много. Но ведь они все трусы, это всем известно! Если дать им организованный отпор, они ничего не посмеют сделать! Давайте держаться так: один за всех, все за одного!

Путешествие было не очень долгим. На Красной Пресне нас высадили и велели ждать на дворе. Новоприбывшие — кучек пять-шесть — сидели на земле в разных углах тюремного двора.

Подъехал еще один воронок, и из него с веселыми криками вывалилась очередная партия. Даже я, с небольшим моим опытом, определил сразу: это Индия. Еще в «церкви» Петька Якир объяснил нам, что Индией называется камера или барак, где держат одних блатных. От нечего делать они режутся в стос —

штосс пушкинских времен — самодельными картами. За неимением денег, играют на одежду. Проигравшиеся сидят голые «как индейцы» — отсюда название «Индия». Такая камера имелась и в Бутырках и вот, ее обитателей привезли и посадили на землю рядом с нами. Едва надзиратель отошел, оголодалые индейцы кинулись к нам:

— Сейчас похаваем! — радовались они: у всех фраеров были узелки, набитые, как надеялись воры, продуктами. — Давай, мужик, показывай — чего у тебя там?

Молодой вор схватился за мой рюкзачок, но я держал крепко — помнил, как мы управлялись с блатными в «церкви», под предводительством Ивана Викторовича. Сказал:

— Ничего нет.

— Думаешь, твое шмотье нужно? Да на хуй оно мне усралось!.. Бациллу давай, сладкое дело{24}!

Он потянул рюкзак к себе, я к себе. Тогда он несильно стукнул меня по морде, а я в ответ лягнул его ногой — так удачно, что ворёнок завалился на спину. Доцент Каменецкий и остальные, замерев от страха, наблюдали за этим поединком, довольно нелепым: драться, сидя на земле, очень неудобно.

Заметив непорядок, подбежал вертухай:

— Почему драка?

— Сами разберемся, — сказал я. Не хотелось уподобляться рыжему Женьке, просить у них защиты.

Надзиратель удалился, а мой противник зашипел:

— Ну, сукавидло, тебе не жить! Попадешь со мной в краснуху — удавлю! В рот меня ебать!

— Видали мы таких! — ответил я. Хотя таких — во всяком случае, в таких количествах — не видал и даже не все понял из его грозной речи. Потом уже узнал, что «сукавидло» это композиция из двух ругательств, «сука» и «повидло дешевое», а «краснуха» это товарный вагон, теплушка.

Разговор наш был недолгим: Индию подняли и куда-то увели. Тогда вернулся дар речи и к Каменецкому:

— Очень правильно, Валерий! Вы молодец, только так и надо.

А Саша Стотик — одноделец моего однокамерника Володи Матвеева — обнимал меня за плечи и причитал:

— Pobre chico! Pobre chico!

Это я понимал. «Побре чико» — по испански «бедное дитя». Ребята с факультета международных отношений очень гордились своим испанским языком. Кстати, это от Стотика я узнал, что любимая с детства романтическая «Кукарача» — просто похабные мексиканские частушки…

Я не стал выяснять отношений, интересоваться, почему не

сработал лозунг «один за всех…» и т. д. Тем более, что и нас вскоре завели в корпус и определили в одну из пустующих камер.

Там было чисто и просторно. Но недолго мы радовались. Только-только стали обживать новую квартиру, вольготно разместились на двухэтажных сплошных нарах — я на втором этаже, в углу, — как снова лязгнул замок, дверь распахнулась, и в камеру ворвалась волчья стая: наши недавние соседи-индейцы. Вожак — невысокий, золотозубый, в отобранной у кого-то велюровой шляпе — огляделся и бросился назад к двери, забарабанил кулаками:

— Начальник! Куда ты меня привел? Здесь, блядь, одни фашисты! Я их давить буду!

— Дави их, Лёха! — отозвался из-за двери веселый голос.

Так я узнал, что мы не просто контрики, но и фашисты. Скоро узналась и кличка «старшего блатного» — Лёха с рыжими фиксами. А еще немного погодя ясно стало, какие интересные отношения связывают воров с тюремной администрацией. Но буду рассказывать по порядку.

Лёха взвыл по волчьи и стал бегать взад-назад по проходу между нарами.

— Фашисты! Контрики!.. Вот кого я ненавижу! — выкрикивал он, задыхаясь от ярости. На губах — честное слово! — выступила бешеная пена. — Нет жизни, блядь! Всю дорогу через них терплю!

Его хриплый баритон взвивался все выше, до истерических альтовых высот. Остальные воры бегали за ним, успокаивали:

— Брось, Лёха! Не надо! Не психуй!

Но он не унимался. Продолжая симулировать истерику, оторвал от нар узкую доску, заорал:

— Кто там на дворе заедался?! Где очкастый?

Я придвинулся к краю нар — без особой охоты. Но держа фасон, сказал спокойно:

— Я, что ли?

Шарах!!! Лёха со всего размаху двинул доской — но не по мне, а рядом, по нарам. Тут я окончательно убедился, что это спектакль — наверняка не в первый раз разыгранный и целью имеющий навести ужас на фраеров, подавить в зародыше волю к сопротивлению. Сработало. Камера затихла в ожидании дальнейших неприятностей. Никто не вступал в дискуссию.

И воры приступили к главному делу. Расползлись по нижним и верхним нарам, стали потрошить узлы, чемоданы и вещмешки, забирая еду и что получше из барахла. У них ведь были налажены деловые контакты с тюремным начальством. Через одноглазового нарядчика — заключенного, но не «фашиста» и не блатного, а бытовика — скорей всего, проворовавшегося снабженца — все,

отнятое у фраеров, уплывало за зону в обмен на водку и на курево.

Поэтому-то блатных перебрасывали из камеры в камеру, расширяя, так сказать, фронт работ. Прибывали из Бутырок новые партии «чертей», и «люди» пускали их в казачий стос{25}.

Дошла очередь и до меня. На этот раз мной занялся один из самых авторитетных воров — Петро Антипов, который, как сообщили его коллеги, «по воле хлябал за дважды героя», т. е., носил украденные где-то Золотые Звезды и ордена Ленина, выдавая себя за дважды Героя Советского Союза.

Он подсел ко мне, спросил миролюбиво:

— У тебя, правда, ничего нет?.. Ну, ладно… А ты кто? Студент?

Я ему рассказал кто я, где учился, за что сижу. Петро выслушал с интересом, посоветовал:

— Вообще-то, не лезь на рога. Лучше держись с нами.

Ко мне в рюкзачок он не заглянул. А мои сокамерники безропотно позволяли копаться в своих пожитках. Один попробовал было протестовать — Эмиль Руснак, красивый молдованин, по делу — шпион румынских королевских войск. Но получив в глаз, смирился и он. Вся операция заняла не больше часа. После этого воров от нас перевели — наверно, на следующий объект, в соседнюю камеру.

С некоторыми из них я потом встречался — в этапах, в Каргопольлаге. Они были мне интересны. Я присматривался и прислушивался — и со временем кое-что понял в «цветном народе», как они именовали себя. А еще называли себя — с гордостью — «босяки», «воры», а также «урки», «жуковатые», «жуки-куки» — и «люди», о чем уже сказано. Они делятся по рангам: самые авторитетные — «полнота», самые презираемые — «порчаки», т. е., воры с подпорченной репутацией{26}. Есть еще «полуцвет» — приблатненные, но не всем критериям отвечающие. А есть и «суки». Сука — существо презираемое и ненавидимое законными ворами. Он ссучился, т. е., изменил воровскому закону и пошел в услужение лагерному начальству: согласен быть комендантом зоны, заведовать буром — бараком усиленного режима, внутрилагерной тюрьмой. Даже дневальным у «кума», оперуполномоченного, согласен стать!.. Война между ворами и суками шла в прямом смысле не на жизнь, а на смерть. Пользуясь этим, администрация иногда нарочно сводила их вместе и тем провоцировала кровавые побоища — чтобы проредить ряды и тех, и других: ведь суки были очень ненадежными и опасными союзниками. О «перековке» никто никогда всерьез не говорил и не думал. По образу мыслей и действий суки оставались такими

же уголовниками, как законные воры, но не были связаны моральными обязательствами, которые — хотя бы формально! — накладывает «закон» на честного вора (частое словосочетание, для блатных оно не звучит смешно). Честный вор не должен иметь с ссученным никакого дела. Если он, даже по незнанию, с сукой похавает, т. е., поест, то сам будет считаться ссученным. Что ж, и в мире нормальных людей незнание закона не служит смягчающим обстоятельством.

Воры не очень уважают убийц, «мокрушников»[{27}]. Объясняется это не природным добродушием, которого у блатных сроду не водилось. Просто не хочется лишних осложнений с милицией. А одна из самых уважаемых воровских профессий это ширмачи (или шипачи), т. е., карманники. Их ремесло требует многих качеств: высокой техники, сметливости, небоязни риска.

Терпеть не могут блатные хулиганов с их бессмысленными жестокими драками. Сами воры между собой решают споры на толковищах, которые я уподобил бы, пожалуй, закрытым партсобраниям. Убить вора можно только по приговору воровского суда.

Друг к другу настоящие босяки относятся с подчеркнутым уважением. Никаких «Петек», «Сашек», «Колек» и в помине нет. А есть, уважительно и ласково, Петро, Шурик или Сашок, Никола. Иван всегда Иван, а не Ванька (часто — Иван-дурак, эта кличка, как и у героя сказок вовсе не свидетельствует о нехватке ума). Степан всегда Степан, а вот Сергей — Серега, Алексей — Лёха, Леонид — Ленчик и т. д. Я встречал Леву-жида и двух Володь-жидов. Эта кличка также не означает дискриминации. Антисемитизма в воровском мире нет, каждого судят по заслугам.

Правда, когда нас на Красной Пресне выводили на прогулку — из-за невыносимой духоты по нескольку камер сразу (в камерах каждый день случались обмороки) — так вот, увидев мою еврейскую физиономию во время прогулки, молоденький блатарь сидевший со своими метрах в тридцати от нас, принялся молча дразнить меня. Без слов, одной мимикой он ухитрялся совершенно отчетливо прокартавить:

— Ой, Абрам Моисеевич! Ви-таки попали?! Что ви говорите! Какой кошмар!

Но это не по злобе, а так, для забавы. Многие из воров по-настоящему артистичны — что, впрочем, не делает их лучше ни на копейку.

Я бы долго мог рассуждать на воровские темы, но случай еще представится.

А сейчас продолжу историю своей жизни на Красной Пресне.

После того, как воры во главе с Лехой удалились с добычей,

нас тоже перевели в другую камеру. Там меня ожидала приятная встреча с Юркой Михайловым, моим однодельцем, и Сашей Александро́вым, с которым мы подружились в Церкви. (Его фамилия почему-то произносилась с ударением на последнем слоге, Александро́в, так же непривычно, как Всеволод Ива́нов.)

Юрка и Саша немедленно согнали на пол какого-то латыша и я, с легкими угрызениями совести, лег на его место.

У Саши правая рука была на перевязи: оказалось, подрался с ворами и ему сделали «прививку» — т. е., черканули ножом по руке. До войны он был инженером, воевал, попал в финский плен и три раза бежал из лагеря военнопленных. Каждый раз его ловили и наказывали. Невысокий, но крепко сколоченный, лицом и фигурой похожий на молодого Бонапарта, в финском лагере он доходил: был момент, когда весил всего сорок килограммов. (А в московских тюрьмах набрал прежний вес, из дому ему носили хорошие передачи).

После третьего побега финны решили больше не рисковать и из лагеря перевели Александрова в тюрьму. Тогда он решился на хитрый, как ему казалось, ход: написал заявление, что готов пойти в школу диверсантов. Забросят на советскую территорию, думал Саша, и — терве-терве! По-русски сказать — привет!.. Но умные финны понимали, что такой неутомимый беглец честно служить им не будет. В школу диверсантов его не взяли, оставили в тюрьме — однако, заявление не уничтожили. А когда после конца войны военнопленных возвращали на родину, вместе с Александровым советским властям передали и его заявление — то ли по равнодушию, то ли по пакостности. Так Саша получил свои десять лет по ст. 58-1б, измена родине…

Блатных в нашей камере было мало, поэтому мы решили — опять же по инициативе доцента Каменецкого — ввести здесь закон фраеров, как в «церкви». Договорились: кто первый получит передачу, не позволит ворам ее «ополовинить», а в случае каких-нибудь осложнений все вместе дадим отпор. Ну как же: один за всех, все за одного!

Понятно, первому принесли передачу мне. Я вернулся в камеру с глиняной миской в одной руке и с алюминиевой в другой. В обеих мисках было молоко. Я поставил их на нары — и сейчас же сверху, где обитали блатные, ко мне спустился Васька Бондин, здоровый лоб, «тридцать два в отрезе». (Это определение пришло из северных лесорубных лагерей: так маркировали солидное бревно толщиной в 32 см. «Во ряха! — говорили про кого-нибудь мордатого — Тридцать два в отрезе!») Васька потребовал:

— Фрид, выдели и нам.

Как условлено было, я отказал ему:

— Своих едоков много.

— Смотри, будет как с Александровым!

Сашу «пописали» в аналогичной ситуации. Но я, верный уговору, сказал:

— Попробуй.

Он и попробовал. Слазил к себе на верхние нары, вернулся с ножом:

— Ну? Дашь?

— Не дам.

Тогда он воткнул нож в мою ногу, повыше колена, рванул вниз — и распорол, вместе с кожей и мясом, брюки. Это я заметил, а боли сгоряча не почувствовал. Второй ногой, обутой в сапог, я двинул Ваське в морду. Сапоги были юфтовые, тяжелые. Воры называют их «самосудскими» — такими, считается, мужики забивали насмерть цыган-конокрадов.

Бондин вывалился на середину камеры, а я выскочил следом — как был, с миской молока в руке. Миску я разбил о его голову. Потекла кровь, смешиваясь с молоком. «Красавец парень, кровь с молоком!»— смеялись потом в камере. Но это потом, а пока что он еще два раза ударил меня ножом — в грудь и в руку. И опять я не почувствовал боли, а стал колотить его по башке другой миской, алюминиевой.

Так мы кружились в проходе, неравно вооруженные гладиаторы — ретиарий и — забыл как называется — другой, с мечом. И в первую минуту ни одна сволочь не ввязалась в драку — если не считать Васькиного дружка Женьки Рейтера, который, свесившись, с верхних нар, дал мне в глаз кулаком. А на второй минуте драки нашелся и мне защитник. Саша Александров со своей пораненной рукой на перевязи, единственный из всех, пришел на выручку: захватил своей левой Васькину правую с ножом, оттащил его. Тот не очень сопротивлялся. Дело в том, что поножовщина в камере явление нежелательное для всех — в том числе и для воров: набегут вертухаи, устроят шмон и отберут ножи — а то и в кандей посадят. Поэтому до драки стараются не доводить: надо суметь взять у фраера полпередачи «за уважение» или «за боюсь».

Мы с Васькой разошлись по своим углам, как боксеры на ринге. Из трех моих порезов текла кровь. Он тоже был весь в крови — череп я ему не пробил, но кожу рассек в нескольких местах. Надо было идти на перевязку.

Мы заключили перемирие: договорились, что скажем надзирателю, будто подрались с кем-то дня два назад в другой камере, а теперь вот открылись раны, надо бы перевязать.

Так и сделали. Вертухай с удовольствием принял на веру эту малоправдоподобную версию: ему тоже ни к чему были лишние хлопоты. Но как только нас двоих вывели в коридор, у Каменецкого опять прорезался голос:

— Гражданин начальник, не верьте! Этот Бодин хотел отнять передачу, у него нож!

Пришлось гражданину начальнику принимать меры. После медпункта Ваську отправили в карцер, а меня вернули в камеру.

Произошел короткий разбор учений. Каменецкий вины за собой не чувствовал, считал что свою миссию выполнил. Румяный здоровяк, генеральский сын Блох на вопрос, почему не вмешался, ответил, не смущаясь:

— А я ждал сигнала.

И только Юрочка Михайлов признался честно:

— Валер, я испугался.

К нему я претензий не имел. А Сашу Александрова после этого случая зауважал еще больше: во время драки ни боли, ни страха не чувствуешь — и то, и другое приходит назавтра, ноют не переставая раны и уже кажется, что знал бы, ни за что не полез на нож. А Саша с его незажившей «прививкой» знал — и полез.

Много позже, в Инте, лагерный врач во время осмотра обратил внимание на шрам у меня на груди и поинтересовался его происхождением. Я рассказал. Доктор поахал и поставил диагноз:

— Валерий, вам повезло. Этот тип не знал, что у астеников сердце расположено ниже.

Симпатичный доктор ошибался: «этот тип» не собирался убивать меня, он не «порол», а «писал», резал не глубоко, — только для отстрастки. Правда, порезы те заживали долго — месяца три-четыре. Сперва из-за жары, потом из-за плохой лагерной кормежки.

Там, на Красной Пресне, я понял, почему блатное меньшинство всегда одерживает верх над фраерским большинством. Если воров в камере пять, а «чертей» сорок, то все равно блатные в пять раз сильнее, потому что они-то действительно держатся один за всех, все за одного. А остальное население камеры — каждый за себя.

Та драка укрепила мою репутацию храбреца, который прямо-таки рвется в бой. Репутация совершенно незаслуженная: я физический трус, с детства боялся высоты, боялся хулиганистых ребят с соседнего двора, бахрушенки, и никогда не дрался. Но в тюрьме и в лагере обстоятельства заставили — а главное, надежда хоть таким способом вернуть себе самоуважение.

После схватки с Васькой Бондиным, всякий раз, как в камере

возникала напряженная ситуация, Блох с Каменецким кидались останавливать меня:

— Ради бога, Валерий! Не лезьте!

А я и не собирался лезть. Но все равно, был очень доволен собой.

Еще когда возвращался после перевязки из медпункта, я увидел в коридоре женский этап. Их должны были разместить по камерам, а в ожидании этого они стали свидетельницами нашей стычки. И я первым делом спросил:

— Девочки, никто не сидел с Ниной Ермаковой?

— Я сидела, — откликнулась одна, с бледным хорошеньким личиком. До сих пор помню ее имя и фамилию: Ася Пятилетова.

— Ася, я Валерий Фрид, Нинин жених. Если увидишь ее, расскажи, ладно?

Мне очень хотелось, чтоб Нинка узнала об этой драке. Я думал: вот, если чудом встретимся когда-нибудь, дам ей потрогать мои героические шрамы. Через двенадцать лет встретились, дал потрогать — но большого впечатления они на нее не произвели… Забавно, что Юлику в его первом лагере кто-то из «очевидцев» сообщил: твоего кирюху на Пресне зарезали.

За время, что мы с Васькой отсутствовали, в камере произошло еще одно маленькое событие: Женька Рейтер попросился у надзирателей, чтоб и его перевели куда-нибудь: боялся, что я отыграюсь на нем, когда вернусь. Не стал я его бить — противно было.

Дело в том, что этот Женька никаким блатным не был, и даже не Женька был по-настоящему, а Кирилл. Московский студент, он сел по ст. 58–10, а попав на пересылку, сделал выбор: решил держаться не с интеллигентами, а с ворами — сила ведь была за ними. В нашей камере сидел и его отчим, которого Женька-Кирилл люто ненавидел (боюсь соврать, но кажется, он и посадил отчима, с удовольствием дав на него показания). Теперь вместе со своими цветными друзьями он отбирал у него передачи — вел, как ему казалось, воровскую жизнь. Но у цветных в ходу была присказка: «Воровскую жизнь любит, а воровать боится». Рейтер был из таких. В лагере он быстро понял, что с ворьем ему не по пути.

Мы встретились с ним в Инте через семь лет. Он пришел ко мне с повинной, я зла не помнил и мы даже стали приятелями. Почему он не хотел быть Кириллом — не могу сказать. Впрочем, и Кирилл Симонов тоже предпочел стать Константином. А в лагерях смена имен дело обычное. Были у нас в Каргопольлаге Никифор, которого звали Володей, и Мечислав, ставший Витькой. Да и будущая жена Петра Якира Валя Савенкова в лагере

называлась Ритой — наверно, не хотела отставать от своих подруг с красивыми заграничными именами, Нелли и Анжелы…

Был в камере еще один фраер, которого воры с радостью приняли в свое братство — летчик Панченко, дважды Герой Советского Союза (настоящий, не то, что Петро Антипов, хлябавший за героя). Панченко импонировал блатным и своим титулом, и отвагой, и злой медвежьей силой. Он и похож был на медведя — огромный, сутуловатый, с маленькими умными глазками.

Почему-то он любил поговорить со мной, интересовался книгами и фильмами — бывает такая неожиданная тяга к культуре у людей совсем необразованных. А Панченко был не просто необразован — дикарь дикарем! Он, мне кажется, просто не знал разницы между «хорошо» и «плохо», и поэтому рассказывал о себе такие вещи, о которых другой промолчал бы.

Так, рассказывал Панченко, приехал он в самом начале войны в Харьков. По рангу — а он получил первого Героя еще за Испанию — его должны были встретить с машиной, но почему-то не встретили. И он в раздражении пошел с вокзала пешком. А тут началась воздушная тревога. К нему кинулась старуха еврейка, истерически закричала, колотя кулачками в его широченную грудь:

— Почему ви тут? Ви должны быть на фронте! Должны защищать!

— Я вытащил пистолет и три пули всадил в нее… А что? Ничего мне не было. Посчитали, как покушение на Героя Советского Союза, — смеялся Панченко.

Ворам особенно нравилась история, за которую он получил свой первый срок: пьяный, полаялся в московском «Военторге» с милиционерами, открыл стрельбу и уложил двоих на месте. Тот срок ему заменили штрафбатом. Там он не только «смыл кровью», но и заработал вторую золотую звезду Героя. А сейчас сидел, по его словам, из-за ерунды. В должности командира эскадрильи он спал с женами двух своих непосредственных начальников, и обиженные мужья подстроили ему хозяйственное дело: нехватку бензина или еще что-то в этом роде.

Вместе с ворами дважды Герой отбирал у сокамерников передачи — не целиком, а по-честному, половину. Вместе с ворами и хавал. Продуктов у них накопилось много, их хранили на «решке» — решетке окна. Не боялись, что украдут — кто осмелится?.. Один доходяга осмелился, и расправа была короткой: ухватив доходягу за рубаху и мотню штанов, летчик поднял его высоко в воздух и отпустил. Тот грохнулся о цементный пол — и не поднялся, унесли в лазарет. Не знаю,

выжил ли.

Да, дикий человек был Панченко. Но интеллигентов уважал. Узнав, что под нарами живет профессор Попов — тихий, глубоко религиозный старичок, биолог, кажется, — Герой потребовал, чтобы Попов вылез на свет божий:

— Ты правда профессор? — а получив утвердительный ответ, согнал кого-то с нижних нар и уложил туда профессора. Тот сопротивлялся: его пугала шумная и безобразная жизнь камеры. Под нарами, затаившись в темноте, старик мог шепотом молиться. Но Панченко настоял на своем.

Профессор затих. Полежал с полчаса и сказал:

— Товарищ Панченко, можно к вам обратиться?

— Обращайся.

— Я хочу попросить вас об одолжении.

— Каком?

— Нет, вы пообещайте, что сделаете. Да это нетрудное!

— Ну, обещаю.

— Товарищ Панченко! Можно, я залезу обратно под нары?

Панченко разрешил.

Недели через две после драки с Васькой в камеру вернулся из карцера Никола Сибиряк. Это был серьезный вор, не чета той мелюзге, с которой мы имели дело раньше.

Никола был уже в курсе всего, что у нас произошло в его отсутствие.

Подсел ко мне, уважительно поговорил. Похвалил:

— Ты духарь{28}. А Васька, падло, много на себя взял. Он порчак, натуральный торбохват, его уже приземлили, лишили воровским куском хлеба… Слушай, ты все-таки, когда тебе кешер обломится, немножко мне давай. Немножко. А то неудобно, понял? А не будет у тебя, возьми у нас. — Своими светлыми широко расставленными глазами он показал на решку, утыканную пайками и свертками с едой. — У нас много.

Я его понимал: Николе не хотелось шумного скандала, зачем? У них действительно еды было много. Но для поддержания авторитета надо было взимать с меня хотя бы символическую дань. И я пошел на компромисс, мне тоже не хотелось скандала. Угощал его чем-нибудь, но от его угощения мягко отказывался.

Воры относились с Николе с почтением, даже с подобострастием. Сама кличка «Сибиряк» этому способствовала: сибирские воры считались наиболее уважаемыми. За ними следовали ростовские — а московские стояли на нижней ступеньке иерархической лестницы.

Сибиряк большую часть дня сидел в задумчивости у окна на

верхних нарах — воры предпочитают верхние, потому что там можно играть в карты, не боясь, что вертухай увидит через волчок. Или ходил по камере, голый до пояса, в белых кальсонах, заправленных в хорошие хромовые сапоги. На животе у него розовели еще свежие шрамы — штук пять параллельных полосок. Это он резал себе живот, чтоб не пойти на этап. Способ был довольно распространенный: оттягиваешь кожу и режешь бритвой, ножом или осколком стекла. Раны не глубокие, только кожа, ну, и соединительная ткань — а крови много. Зрелище пугающее! Правда, со временем врачи перестали пугаться. Накладывали несколько скобок, талию как кушаком обматывали бинтом и выносили вердикт: может следовать этапом.

Слушать «романы», которые тискали на нарах интеллигенты (пересказывали книги или фильмы; фильмы были по моей части) — этого Никола не любил, не мог сосредоточиться. Его мозг — думаю, не совсем здоровый — был занят какими-то своими мыслями. Пока остальные по-детски увлеченно слушали, Сибиряк расхаживал по проходу, обхватив плечи руками, и тихонько напевал:

… Ту-ру, ту-ру, ту-руту… полный зал,
Волчицею безжалостной опасной,
Я помню, прокурор ее назвал.
Хотела жить счастливо и богато,
Скачки лепить, мадеру, водку пить —
Но суд сказал, что ваша карта бита
И проигрыш придется уплатить.

Скачки лепить — заниматься квартирными кражами. Всех слов песни Никола, по-моему, не знал, не знаю и я. А мотив был «Зачем тебя я, миленький узнала».

Там на Красной Пресне, я впервые услышал знаменитую «Централку» — или «Таганку», кому как нравится. Ее очень трогательно пели на верхних нарах:

Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя, казенный дом:
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по новой ждет.
Централка! Те ночи полные огня…
Централка, зачем сгубила ты меня?
Централка, я твой бессменный арестант,
Пропали молодость, талант в стенах твоих!
Отлично знаю я и без гадания:

Решетки толстые нам суждены.
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей жены.

Припев, и потом:

Прощай, любимая, живи случайностью,
Иди проторенной своей тропой,
И пусть останется навеки тайною,
Что и у нас была любовь с тобой…{29}

За свои десять лет в лагерях я слышал много песен — плохих и хороших. Не слышал ни разу только «Мурки», которую знаю с детства. Воры ее за свою не считали — это, говорили, песня московских хулиганов.

Рядом с Сибиряком спал смазливый толстомордый ворёнок по кличке Девка. У этой девки, как я заметил в бане, пиписька была вполне мужская — висела чуть ли не до колена. Никола время от времени тискал его, смачно целовал в щеку. Тот лениво отбивался: бросай, Никола!.. Не думаю, чтоб Никола приставал к малолетке всерьез — а если и так, то сразу скажу, что в те времена мы не знали «опущенных» т. е., опозоренных навсегда «петухов». (Не было и этих терминов. Я их вычитал в очерках о современных колониях.) Педерастия в лагерях была — но на добровольных началах. К пассивным участникам относились с добродушной насмешкой, не более.

За стеной, в женской камере, обитали две блатные бабенки, «воровайки», «жучки» — Нинка Белая и Нинка Черная. С ними переговаривались через кружку: приставишь кружку к стене и кричишь, как в мегафон. (У кружек было и другое назначение, служить подушкой. Ложишься боком, голова опирается на обод кружки, а ухо внутри.)

Я-то с воровками не переговаривался, а блатные кокетничали вовсю:

— Нинка, гадюка семисекельная! Тебя вохровский кобель на псарне ебал!.. Давай закрутим?

— Закрути хуй в рубашку, — весело отзывалась «гадюка» — не знаю, Белая или Черная.

Я долго размышлял над этим «семисекельная», пока Юлик Дунский не объяснил: «семисекельная» — вместо старинного «гадюка семибатюшная», т. е., неведомо от кого зачатая…

В один из дней пришли за нашим дважды Героем.

— Собирайся с вещами!

Он отказался — и не в первый раз: не желал идти на этап. Смешно сказать, Панченко требовал гарантии, что ему и в лагере найдут лётную работу.

— Пойдешь как миленький! — крикнул вертухай и захлопнул дверь. А через полчаса вернулся с подкреплением: за его спиной маячили еще трое синепогонников.

Но Панченко подготовился и к этому. Сидел рядом с Николой на верхних нарах — оба в одних кальсонах и сапогах, оба готовые к бою. У Сибиряка из голенища выглядывала рукоять ножа{30}. И надзиратели отступили, ушли ни с чем.

Потом до меня дошел слух, что Панченко действительно отправили в какой-то северный лесной лагерь — летать на У-2, нести противопожарную охрану. Может быть, легенда, а может, и правда. Срок у летчика был детский, два или три года. По его словам, даже орденов и звания его не лишили.

Но я ушел на этап раньше Панченко.

Железнодорожные пути — наверно, Окружной дороги — подходили вплотную к тюрьме. Нас вывели из корпуса, построили в колонну и повели грузить в телячьи вагоны. Солдаты с красными погонами и в голубых фуражках — конвойные войска НКВД — подгоняли:

— Быстро! Быстро!

Пятерками взявшись под руки, мы шли, почти бежали, к составу. И вдруг я увидел за линией оцепления своих родителей. Они тоже увидали меня.

— Валерочка! — жалобно закричала мама. А я в ответ бодро крикнул:

— Едем на север! Наверно, в Карелию!

— Разговорчики! — рявкнул конвоир, и на этом прощание закончилось.

Много лет спустя мама рассказала, что в то утро они с отцом привезли мне передачу, вернулись домой — и вдруг она забеспокоилась:

— Семён, поедем назад. Я чувствую, что его сегодня увезут.

Отец ничего такого не чувствовал, но спорить не стал. Они приехали на Пресню — и как раз вовремя… Вот такое совпадение.

VI. Едем на Север

Перевозят зеков — на дальние расстояния — двумя способами: или в «столыпинских» вагонах (официальное название — «вагонзак»), или в товарных. Когда-то их называли «телячьими», а в наше время «краснухами».

Краснухи — это теплушки, в каких еще в первую мировую войну возили солдат. На красных досчатых стенках в те годы натрафаречено было: «40 человек или 8 лошадей».

Наш этап так и грузили — человек по сорок в каждый вагон, особой тесноты не было. В обоих концах теплушки — нары, поперечный досчатый настил. На нем расположились воры. Их в моей краснухе ехало шестнадцать лбов. Я и другие фраера устроились внизу. Моих товарищей по камере рассовали по разным вагонам, даже поговорить было не с кем. Я лежал и слушал разговоры блатных.

Молодой вор, низкорослый и худосочный, подробно рассказывал, как они втроем «лепили скачок», брали квартиру. Все у них шло гладко, пока не вернулась из школы хозяйская дочь, десятилетняя девочка. И рассказчику пришлось зарезать ее.

Этого слушатели не одобрили. Возможно, теперь критерии изменились, но в те годы ценилась у блатных не сила и жестокость, а мастерство. Не бандиты были самой уважаемой категорией, а карманники — «щипачи». В их деле требовалась и филигранная техника, и артистизм, и отвага. Так что молодой вор, зарезавший девочку, много потерял в глазах своих коллег; да он и сам понял, что совершил — faux pas — не надо было убивать, а если уж так вышло, не стоило этим «хлестаться», хвастать.

Мне было любопытно: первый раз за все время я присутствовал на воровском «толковище» — обсуждении этических проблем преступного мира. К слову сказать, это книжное «преступный мир» ворам почему-то очень нравится. Даже в песню оно попало: «Я вор, я злодей, сын преступного мира». (Юлик Дунский пел: «Я вор, я злодей, сын профессора Фрида».)

Не прошло и часа, как я и сам встал перед нешуточной этической проблемой. Получилось это так. Один из пассажиров нашей краснухи, Женька Эйдус, сидел со мной еще в Бутырках. Там Эйдуса не любили: была в нем какая-то мутноватость. Еврей — а благополучно пережил плен; в камере перед всеми заискивал; разговаривая, в глаза не глядел. Одет он был вполне прилично, в новенькую английскую форму. (Его англичане освободили из немецкого лагеря, но отдали нашим — видимо, он

и союзникам не понравился.) И вот теперь, чтоб отвести от себя угрозу раскуроченья, Женька настучал блатным про меня — вернее, про мои уже упомянутые ранее «самосудские» сапоги.

Кто-то из уркачей подсел ко мне и предложил поменяться. Не грубо сказал — отдай, мол, мужик прохаря, они тебе в коленках жмут, а попросил по-хорошему:

— Давай махнем? Их у тебя в лагере все равно отвернут. А я тебе на сменку дам — смотри, какие хорошие.

И он показал мне действительно хорошие, почти ненадеванные кирзовые сапоги. Мои, конечно, были лучше, но не в этом дело. Какое-там «попросил по-хорошему»! Если соглашусь, ясно, что струсил, отдал «за боюсь» — так это у воров называется. А если не отдам?.. Тут я всерьез задумался: я один, а их шестнадцать. И никто не придет на выручку, это уже проверено. Конвой тоже не заступится: он и не услышит… Изобьют до полусмерти, а то и удавят… Короче говоря, я не стал заедаться, поменялся с вором сапогами — и сразу запрезирал себя за малодушие.

Забегая вперед, скажу, что у этой истории было забавное продолжение. На лагпункте, куда нас привезли, администрация блатных не жаловала. Новеньким в первый же день устроили шмон, отобрали все, награбленное в пути, и сложили на земле перед конторой: подходите, фраера, забирайте свое! Целый курган получился — из шинелей, пиджаков, ботинок, сапог. Были там и мои, но я, ко всеобщему удивлению, не пошел брать их: стыдно было, что отдал без боя. Глупо, конечно — но решил таким способом наказать себя за трусость, остался в кирзовых, полученных на сменку. И вдруг подлетает ко мне незнакомый блатарь, кричит:

— На, падло, подавись своими колесами! — Кидает мне под ноги офицерские хромовые сапожки и требует назад свои кирзовые. Хромовые были не мои, а кирзовые не его, но жулье народ сообразительный: когда надзиратели стали водить по зоне слишком хорошо одетых и обутых блатных — в поисках бывших владельцев барахла, — этот воришка решил «опознать» меня, чтоб выйти из дела с наименьшими потерями. На мне ведь были очень приличные сапоги, наверняка лучше тех, что он дал кому-то на сменку. Я не стал отказываться, поменялся с ним «колесами» и стал обладателем чужих «хромовячих прохарей».

Не знаю почему, но в этом случае совесть моя промолчала. За что бог покарал меня уже через неделю: в офицерских сапожках я сходил на работу и вернулся в зону в одних голенищах — подошвы остались в болоте. Пришлось обуваться в лагерные «суррогатки», они же говнодавики — башмаки, сшитые из

расслоенных автомобильных покрышек. А хромовые голенища мне удалось сменять у лагерного сапожника на полторы буханки хлеба… Надо сказать, что сапожникам жилось в лагерях хорошо: всегда в тепле, всегда сыты. В детстве отец не раз грозил мне: «Отдам в сапожники!» (Я плохо учился). Но ведь не отдал — а жаль. Между прочим, заложивший меня ворам Женька Эйдус был по профессии сапожником и на лагпункте прекрасно устроился.

Но до лагпункта, надо было еще доехать, а пока что вернусь в краснуху. Я не помню, сколько времени мы добирались из Москвы до станции Кодино — это там, в Архангельской области, располагалось Обозерское отделение Каргопольлага НКВД СССР. Думаю, что не больше двух суток. Не помню и особых тягот: нас вовремя кормили, питьевой воды хватало, приспособились мы и пользоваться вместо параши покатым деревянным желобком, выведенным наружу. Ехать было скучно — и парнишка, знавший меня по Красной Пресне, попросил рассказать что-нибудь. Воры на верхних нарах заинтересовались, стали уважительно упрашивать: тисни роман, керя!

Как и в камере, я стал пересказывать трогательные голливудские мелодрамы. Вот когда пригодилось вгиковское образование! Трофейные фильмы еще нигде не шли, а нам их показывали.

Особенным успехом у сокамерников пользовалось «Седьмое небо» с Джемсом Стюартом — о любви мусорщика и проститутки. И еще «Дожди наступили» — тоже про любовь. Там индийский раджа страдал по красавице американке, Мирне Лой.

В краснухе я рассказывал эти фильмы на сон грядущий, вместо колыбельной — а за окошком все не темнело и не темнело. Пошли в ход и «Летчик-испытатель», и «В старом Чикаго», но все равно день никак не желал кончаться. Я устал рассказывать, хотелось спать… Не сразу мы поняли, что это уже утро следующего дня — мы приехали в белую ночь. Поезд замедлил ход, остановился. Забегали вдоль вагонов конвоиры, с грохотом отъехала в сторону дверь нашей теплушки.

— Вылезай, приехали!

Весь этап — человек двести — построили возле путей, пересчитали и повели к лагерю.

Высокий дощатый забор, поверху — колючая проволока, вышки по углам, и на вышках «попки» — часовые. А над тяжелыми воротами полоса кумача и по красному белые буквы: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!».

Мы очень удивились. Не «Оставь надежду, всяк сюда входящий» и не знаменитое беломорстроевское «Кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет», а именно приветливое «Добро

пожаловать!».

Позднее выяснилось, что приглашение адресовано было не нам. Просто здесь, на «комендантском», неделю назад проходил слет ударников лесорубов — заключенных, разумеется. Их под конвоем свезли сюда с разных лагпунктов; их-то и приветствовало местное начальство. Слет кончился, а транспарант, как водится, поленились снять.

VII. Комендантский

Открылись ворота и наш этап впустили в зону. По узкому дощатому тротуару неторопливо шел к вахте угрюмый красномордый мужик в «москвичке» (так на Севере называли короткое полупальто; Москва об этом и не подозревала). Рядом со мной кто-то из блатных пробормотал:

— У-у, волчара!.. Вот за кем колун ходит.

Я был уже достаточно образован, чтобы понять: воры чутьем угадали в красномордом врага, от которого им хотелось бы избавиться. Убивали, как правило, не колуном, а топором, но «колун» звучит как-то страшнее.

Мой блатной сосед оказался почти пророком: на этого «волчару», коменданта Надараю, решительного и жестокого грузина, уже через месяц кинулся Иван Серегин — правда, не с колуном и не с топором, а с ножом. Зарезать не зарезал, но довесок до червонца получил (т. е., добавили срок до десяти лет) {31}.

Пока нас пересчитывали и переписывали, Петька Якир — он, оказывается ехал в другом вагоне — незаметно вышел из строя, минут за десять обежал всю зону и вернулся с утешительной информацией:

— Доходить доходят, но помирать не дают. У них тут три стационара, ОК и ОП.

Это означало: работа тяжелая, кормежка плохая, но на лагпункте три лазарета, Отдыхающая Команда и Оздоровительный Пункт, так что жить, в общем, можно. Хочу сразу сказать, что помирать все-таки давали. Как правило, два-три человека в день списывались «по литеру МР», умершие. Но ведь сюда, на комендантский (почему он так назывался, понятия не имею, ясно, что не в честь заключенного коменданта Надараи) — сюда свозили со всех лагпунктов Обозерского отделения дистрофиков, пеллагрозников, туберкулезников и всяких других. Лечили, как могли — а врачи были хорошие, свои же зеки — но всех не вылечишь. В ОК, Отдыхающую Команду, зачисляли недели на две сильно истощенных, но не больных. Работягу, измученного непосильными нормами, могли месяц, а то и два продержать в ОП, Оздоровительном Пункте. Там кормили, а работать не заставляли. Если уж и это не помогало, списывали в инвалиды. Вот оттуда возврата не было: доходяги рыскали по помойкам в поисках чего-нибудь съедобного, часами варили траву в ржавых консервных банках и вконец расстраивали здоровье. Не все, конечно. Кто-то нес свой крест молча, с

достоинством, не унижался до попрошайничества и до помоек — у таких было больше шансов выжить. Но до чего же трудно голодному человеку не переступить черту! Впадали и в полный маразм. Так, Юлию Дунскому признался один фитиль, что подкармливается корочками сухого кала. Собирать их он рекомендовал в уборной возле барака ИТР — инженерно-технических работников: те питаются лучше и экскременты у них более калорийные.

Но это было не у нас, а в другом лагере. Там, рассказывал Юлик, смертность составляла 160 %. Это значит, что при списочном составе лагпункта 1000 человек, умирало за год 1600. Кончилось тем, что тамошнее начальство пошло под суд: воруй, но знай меру…

А наш этап в первый же день прогнали через санобработку, т. е., помыли в бане и прожарили одежду. Парикмахер, блатнячка Сусанна Столбова, брила мне лобок, командуя:

— Тяни хуишко направо!.. Так. Теперь налево его!

(Она была забавная девка. Разговаривала капризным детским голоском, растягивая слова — в основном, матерные. И этот контраст между текстом и мелодией придавал ей какой-то шарм… До конца срока Сусанке оставалось полгода; выйти на волю хотелось в человеческом обличьи. И когда пришел день освобождения, она сменила лагерную одежку на шмотки, выменянные у литовок и эстонок: чуть ли не дореволюционные шнурованные сапоги до колена, шубку с изъеденным молью песцовым боа.

Всегда веселая, уверенная в себе, Сусанка растерялась перед свободой — отвыкла за восемь лет. Вертелась перед зеркалом в жалком своем наряде, с тревогой поглядывая на меня, столичного жителя:

— Ну как? Ничего?

Я уверял что ничего — даже очень красиво. Не хотелось огорчать девчонку).

После бани нас повели на «комиссовку». Врач и фельдшер определяли на глаз, по исхудалым задницам, кому поставить в карточку ЛФТ — легкий физический труд, кому СФТ — средний, кому — тяжелый, ТФТ. Ягодицы у меня были в порядке, но краснопресненские ножевые раны еще не совсем зажили, мокли — поэтому мне прописали СФТ. И мы разошлись по баракам, осматриваться и устраиваться на новом месте.

Самые яркие впечатления первого дня:

1. Исследовательский талант Петьки Якира, который уже к вечеру точно знал, «с кем здесь надо вась-вась, а с кем — кусь-кусь».

2. Профессор Нейман, пожилой московский зоолог, который до крови избил старожила доходягу — тот посягнул на профессорскую миску баланды.

— Такий не пропадет, — одобрительно сказал фельдшер Загорулько.

И действительно, назавтра Неймана поставили бригадиром.

3. Полинка Таратина, «така красивенька на тонких ножках», по определению того же фельдшера. Она сидела на крыльце санчасти и пела, тренькая на гитаре:

Ты не стой на льду, лед провалится,
Не люби вора, вор завалится.
Вор завалится, будет чалиться,
Передачу носить не понравится.
Ты рыдать будешь, меня ругать будешь,
У тюремных ворот ожидать будешь…

Была певунья совсем доходная, ноги худые, тоненькие как у цапли. Но вся картинка действовала как-то успокоительно: раз еще поют, значит, Петька прав, здесь в самом деле жить можно.

4. Надпись на побеленной известью стене барака: «ЧЕСТНЫЙ ТРУД — ПУТЬ К ДОСРОЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ». Вернее, не сама надпись, а мрачный юмор художника, загнувшего слово «особождению» вниз, так что самый кончик уходил в землю. А может, это был не юмор, а просто парень не рассчитал, не хватило на стене места.

Бригада, куда меня определили, строила новый лагпункт — Хлам Озеро. До места работы было километров десять. Нас водили под конвоем, по болоту — там я и оставил подошвы своих неправедно нажитых хромовых сапожек. Часть пути мы, разбившись попарно, шли по лежневке — рельсовой дороге для вывозки леса. Рельсы были не стальные, а из круглых жердей. Идешь как по буму. Чтоб реже оступаться, руку держишь на плече напарника. А он — на твоем. Моим напарником был Остапюк, эсэсовец из дивизии «Галичина» — красивый меланхоличный хлопец, очень истощенный.

Нас двоих поставили опиливать концы бревен — чтобы угол сруба был ровным. Остапюк работать пилой умел, но не хватало силенки. А я был посильней, но не хватало таланта. В результате угол получился таким безобразным, что меня с позором перевели на другую работу — шпаклевать щели между бревнами. Дело нехитрое, любой дурак справится: берешь мох (пакли не было) и вбиваешь его ударами тупой стамески в щель. Но если работать честно и старательно, то норму ни за что не выполнишь.

И тут я получил первый урок туфты. Кто-то из работяг похитрее объяснил, что если не втрамбовывать мох глубоко, только слегка заткнуть щель, а излишек ровненько обрубить той же стамеской, ни бригадир, ни прораб не отличат на глаз эту наглую халтуру от добросовестной шпаклевки. Так я и стал делать, отгоняя от себя мысль: а что, если в этой бане — мы строили лагерную баню — придется мыться самому, да еще зимой? Ведь мох подсохнет, и холодным ветром его выдует к чертям. Но — «без туфты и аммонала не построили б канала». Эта присловка, родившаяся на ББК, Беломорско-Балтийской стройке, стала руководством к действию многомиллионной трудармии зеков Гулага{32}…

Главная и неприятнейшая особенность лагерной жизни это неопределенность, унизительная неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, завтра может и повезти: заболеешь, попадешь в стационар — или же придет посылка из дому. Но чаще всего перемены бывают к худшему: переведут на тяжелую работу, посадят на штрафную пайку, а то и отправят на этап. Так и живешь в тревожном ожидании неприятностей. Но мне на первых порах везло.

С Хлам Озера всю бригаду перевели на лесобиржу, где можно было не надрываться на работе.

Каргопольлаг — лесной лагерь. На лесоповальных лагпунктах заготовляли древесину. Стволы деревьев по реке — молевым сплавом — приплывали к нам, на комендантский, и попадали на лесобиржу. Это была очень большая рабочая зона, обнесенная колючей проволокой и заставленная штабелями леса.

Бревнотаска вытягивала из затона шестиметровые баланы{33} и поднимала на высоту примерно трехэтажного дома. Там цепь волокла бревна по длинной узкой эстакаде, а крепкие ребята вагами скидывали их на штабеля: на какой — сосну, на какой — ель, на какой — спичосину.

Моя задача была проще. Я стоял с багром в руках на середине штабеля и помогал бревнам скатываться вниз, где другие зеки оттаскивали их в сторону, сортировали и пускали в разделку. Пост мой удобен был тем, что оперевшись на багор и слегка покачиваясь, я мог время от времени отдыхать и даже дремать: издали это выглядело как работа. Если же бригадир или десятник оказывались в опасной близости, тут уж надо было вкалывать по-настоящему.

Зеки умеют извлекать выгоду из любой ситуации. Так, мой товарищ Саша Переплетчиков поймал козу, забредшую за ограждение. Ее убили, а тушу разделали циркульной пилой. Развели костер, наскоро поджарили козу и всей бригадой схавали

без соли.

Всю осень я ходил на лесобиржу. Шкурил баланы, учился распознавать, какой лес пойдет на рудстойку, какой — на деловую древесину, какой — на дрова. А вот управляться с топором и пилой так и не научился. И что интересно: другие работяги не попрекали меня неумелостью, видели, что стараюсь.

Уставал, конечно. По утрам не хотелось вставать, идти на работу. Но за отказ, можно было угодить в ШИЗО, штрафной изолятор. ШИЗО — это карцер, в лагерном просторечии — кандей или пердильник. Голые нары, триста граммов хлеба в день — не очень приятная перспектива. Но некоторые шли на это. Прятались под нарами, на чердаках. Их, конечно, искали. Кого найдут — волокли на развод.

Разводом называется процедура отправки на работу. Бригады выстраиваются перед воротами. У нарядчика в руках узкая чисто строганная дощечка: на ней номера бригад, количество работяг. (Бумага дефицитна, а на дощечке цифры можно соскоблить стеклом и назавтра вписать новые.) Конвоир и нарядчик по карточкам проверяют, все ли на месте, и если все — бригада отправляется на работу. А если кого-то нет — задержка, пока не отловят и не приведут отказчика. Если фельдшер вынесет приговор — «здоров», придется встать в строй.

У нас на комендантском развод шел под аккомпанемент баяна. Освобожденный от других обязанностей зек играл бодрые мелодии — для поднятия духа.

На разводе можно было увидеть много интересного. На меня большое впечатление произвел такой эпизод: блатарь-отказчик вырвался из рук надзирателей, скинул с себя — с прямо-таки немыслимой быстротой! — всю одежду до последней тряпки, закинул один валенок на крышу барака, другой за зону и плюхнулся голым задом в сугроб. При этом он орал: «Пускай медведь работает, у него четыре лапы!»

Помощники нарядчика под общий смех — развлечение, все-таки, — выкинули его за ворота. Ничего — оделся, пошел трудиться.

У блатных было много картинных способов продемонстрировать нежелание работать — например, прибить гвоздем мошонку к нарам. Своими глазами этого я не видел, врать не буду. Но мне рассказывали, что одного такого, прибившего себя — правда, не к нарам, а к пеньку — побоялись отдирать. Пришлось спилить пень и вместе с пострадавшим отнести на руках в лазарет.

Расположением вольного начальства пользовались бригадиры, умевшие выгнать на работу всех своих работяг.

(«Незлым тихим словом» этого, конечно, не добиться было).

Таким бригадирам разрешались некоторые вольности. Один, здоровенный мужик под два метра ростом, забавлялся, например, тем, что тайно выносил в рабочую зону свою возлюбленную. Тридцатью годами позже мы с Юликом видели в Японии, как мать макака носит на груди детеныша. Так вот, точно таким манером, цепляясь руками за шею, а ногами обвив талию, маленькая щупленькая девчонка пристраивалась на бригадирской груди и он, запахнув полушубок, спокойно проносил ее мимо надзирателей. Один раз попался — но обошлось, посмеялись только.

… Голый отказчик в сугробе, девчушка под полушубком — в обоих случаях дело происходило зимой. Это значит, что на общих работах я оставался до первых морозов. Не очень долго — но за это время и в лагере, и в мире произошло немало событий: началась и кончилась война с упомянутой выше Японией, объявили амнистию. И двое из моих однодельцев, Миша Левин и Нина Ермакова вышли на свободу: под амнистию попадали все, у кого срок был не больше трех лет — независимо от статьи. Мишке с Ниной здорово повезло: кроме них я видел только одного «политика» которому дали три года.

Это был Коля Романов, парашютист — но не немецкий, а советский. Его вместе с группой десантников выбросили над Болгарией в самом начале войны. По сведеньям нашей разведки, болгары все поголовно были за русских. Поэтому Коле и его товарищам велено было: как приземлятся, сразу идти в первую попавшуюся деревню и организовать партизанский отряд. Братушки не выдадут!.. Умное начальство так уверено было в успехе, что ребят даже не переодели в какие-нибудь европейские шмотки. На них были красноармейские гимнастерки — правда, без петлиц — или юнгштурмовки. Всех их, конечно, сразу же выловила болгарская полиция. До конца войны Коля просидел в софийской тюрьме, никаких военных секретов не выдал (по незнанию таковых) и оказался так стопроцентно чист даже перед советским законом, что отделался, можно сказать, легким испугом: по статье 58-1б измена родине, дали всего три годочка. В другой стране дали бы, возможно, медаль — за страдания — и денежную компенсацию.

На Лубянке в одной камере с Юлием Дунским сидел французский офицер, который скрупулезно подсчитывал, сколько денег ему выплатят, когда он вернется на родину, и до какого звания повысят — но это там, это «их нравы». А у советских собственная гордость…

Из внутрилагерных событий той осени отмечу, во-первых,

повальную эпидемию поноса со рвотой, дня на три парализовавшую наш лагпункт. Болели все без исключения, и работяги, и придурки, в том числе врачи с фельдшерами.

Вообще-то за все десять лет я хворал раза два — и несерьезно: например, чесоткой. Ну, намазали в санчасти серной мазью, и все прошло. А простужаться не простужался, хотя было где. Видимо, напряженная лагерная жизнь мобилизовала какие-то скрытые резервы организма. У многих даже язва желудка проходила — чтобы вернуться уже на воле. Говорят, так же было на фронте.

Но тогда, на комендантском, от унизительной хвори не спасся никто. Лечили по-простому: выпиваешь две поллитровые банки тепловатого раствора марганцовки, бежишь в уборную, блюешь и все прочее — а после терпеливо ждешь, когда эта мука кончится. Ждать приходилось недолго: не больше двух-трех дней…

Другое событие, куда более приятное, касалось меня одного: приехал на свидание отец. В войну он преподавал в военно-медицинской академии, был подполковником медицинской службы. А до революции, в царской армии, капитаном, что соответствует майору в советской (советскому капитану соответствовал штабс-капитан). Мы с ребятами смеялись: за двадцать пять лет профессор Фрид продвинулся по армейской лестнице только на одну ступеньку, не густо!.. Мой арест на родителях почти не отразился: маму, лаборантку, попросили уволиться из поликлиники НКВД, но дали отличную характеристику. А отцу — он был директором и научным руководителем Института Бактериологии — вместо положенного к какому-то юбилею ордена дали не то медаль, не то орден поменьше. Вот и все. Ему в жизни везло: в 37-м всех директоров бактериологических институтов пересажали как вредителей, а в отцовском никого не тронули. Какое-то время он один снабжал весь Советский Союз вакцинами и сыворотками. Но страху Семен Маркович в том недоброй памяти году натерпелся…

Был он человек законопослушный, да еще коммунист, да еще еврей. И наверно не без дрожи в коленках отправился на свидание с сыном-террористом. Но он сильно любил меня. Надел свой китель с погонами подполковника и поехал на Север.

Погоны сработали. У нас в администрации Обозерского отделения не было офицера званием старше капитана. (В зоне был и генерал, но то не в счет). Отцу сразу разрешили свидание, и вертухай отвел меня в контору Управления.

К этому времени я сносил всю вольную одежду и явился на свидание в лагерном обмундировании. На мне был бушлат,

перешитый из солдатской шинели (один рукав черный, чтобы сразу видно было: арестант), застиранные добела брюки в ржавых пятнах, ватные стеганые чулки — один серый, другой в цветочках — и суррогатки. Причем на моих кордовые союзки подшиты были не подогнутыми внутрь, а вывернутыми наружу. Каждая подошва, соответственно, была с теннисную ракетку — я ходил как бы на канадских лыжах-снегоступах. На голове — лагерная тряпичная ушанка, одно ухо книзу, другое кверху, как у дворняги. Не очень красивый наряд, но для работы удобный — ноги сухие, в тепле… Я и не понял, почему отец, увидев меня, заплакал.

Свиданию никто не мешал, только время от времени заходил кто-нибудь из начальства поглядеть на полковника. А «полковник» каждый раз вскакивал и стоял чуть ли не навытяжку перед лейтенантами и даже старшиной-надзирателем. Мне было стыдновато — да и им, по-моему, неловко.

Пришел познакомиться с отцом и начальник санчасти Друкер, фельдшер по образованию. Рассказал про странную эпидемию, попросил совета и впоследствии важно вставлял в разговоры с подчиненными: «Я консультировался с московской профессурой». Батю он заверил, что найдет для меня какую-нибудь работу по медицинской линии, и оставил нас одних.

Понизив голос, отец спросил:

— Валерочка, скажи… правда ничего не было?

Я даже не сразу сообразил, что он говорит о нашем покушении на Сталина. Успокоил его, рассказал, что успел, про следствие — и свидание подошло к концу. Отец снова расстроился:

— Может быть, в последний раз видимся. Старый насос уже не тот. — Он похлопал себя по сердцу.

Я не поверил, велел не выдумывать глупости. А зря: через полгода он умер — правда, от рака, а не от болезни сердца.

Отец уехал, и Друкер выполнил свое обещание: предложил послать меня на другой лагпункт, санитаром. Но я отказался — думаю, к его облегчению: покровительствовать зеку с режимным восьмым пунктом пятьдесят восьмой статьи было рискованно. «Кум», оперуполномоченный, этого не одобрил бы.

Отказался я от лестного предложения не ради душевного покоя начальника санчасти. Просто не хотелось уезжать с насиженного места, от Петьки Якира, с которым мы «хавали вместе» — знак тесной дружбы. Появились уже и новые друзья. А тут как раз освободилось в конторе место хлебного табельщика. И бухгалтер продстола Федя Мануйлов взял на эту должность меня.

Главную роль здесь сыграло не личное обаяние, а посылки, которые каждый месяц слали мне родители. С посылочниками

было полезно водиться: кормежка и на нашем благополучном лагпункте была никудышная: жиденькая как понос кашка из гороха или же из магара, несортового проса, суп из иван-чая — изобретение отдела интендантского снабжения. Иван-чай, красивый лиловый цветок, в инструкциях ОИС проходил по графе «дикоросы». А зеки называли его Блюмин-чай, по фамилии начальника ОИС. Баланда из Блюмин-чая — темная прозрачная жидкость, от которой небо делалось черным как у породистой собаки. В суп закладывалась и крупа — «по нормам ГУЛАГа». «Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой» — так описывал это блюдо лагерный фольклор. И еще так: «суп ритатуй, сверху пусто, снизу…» — понятно, что. По тем же нормам зеку раз в день полагалось мясо или рыба. Чаще всего это был маленький, с пол спичечного коробка, кусочек соленой трески. А если ни трески, ни мяса на складе не было, заменяли крупой: сколько-то граммов добавляли в кашу. Словом, «жить будешь, а… не захочешь», грустно констатировал тот же фольклор. О еде говорили и думали постоянно. Продуктам давали ласковые уважительные прозвища: «хлеб — хороший человек», «сахареус», «масленский». Как волшебную сказку мы слушали рассказы старых зеков (кстати, в Каргопольлаге говорили «зыков») о довоенном времени, когда в лагерных ларьках можно было купить халву. Халва — она сладкая, жирная, тяжелая. Чего еще надо для счастья?

Посылку из дому ждали, как второго пришествия — и некоторым, в том числе мне, «обламывалось». Съедал я посылку не один, а вместе с Петькой и новым начальником Федей Мануйловым. Якир продолжал учить меня лагерным правилам хорошего тона:

— Зачем ты ешь хлеб маслом кверху? Переверни, как я. Вкус такой же, а никому не завидно.

У него я пытался выяснить, почему по фене посылка «бердыч». Может, в честь Бердичева? (Еврейские мамы, как известно, очень заботливы.) Петька не знал.

Обязанности хлебного табельщика были не очень сложны: получить от бригадира рабочие сведения — листок оберточной бумаги со списком работяг и процентом выполнения нормы против каждой фамилии — и начислить питание на завтра.

Разные виды работ вознаграждались по-разному. Скажем, лесоруб мог заработать три дополнительных, т. е., кроме «гарантийки», шестисот пятидесяти граммов, получить еще 300гр. хлеба и три дополнительные каши — не скажу сейчас, за какой процент выполнения, кажется, за 120. А вот на откатке, где раньше трудился я, такого не дадут и за двести процентов.

Память у меня тогда была хорошая, все нормы я помнил

наизусть и без труда составлял ведомость, по которой кухня получала нужное количество продуктов из каптерки. Считать на счетах я не умел, но насобачился складывать цифры в уме с удивлявшей всех скоростью. Я и сейчас быстро считаю.

Главную часть работы приходилось делать вечером, когда бригады вернутся в зону. А днем я праздно сидел в конторе, за барьером, отвечал любопытным на вопросы и наблюдал за лагерной жизнью.

Она была пестрая — как и население лагпункта. Которое делилось по трем признакам: по социальному, по национальному и по половому. (К этому времени — 45-й год — еще не было строгого размежевания лагпунктов на мужские и женские, в отличие от школ на воле. А когда там вернулись к совместному обучению, нас, наоборот, отделили от женщин, что сразу же ужесточило нравы).

В социальном плане зеки делились — по горизонтали — на блатных, бытовиков и контриков, а по вертикали — на работяг и придурков.

Придурки — это заключенная администрация, от комендантов и нарядчиков до дневальных и счетоводов — словом, все, кто сидит в тепле под крышей. «Придуриваются, будто работать не способны», — завистливо говорили те, кто вкалывал на общих. Вот откуда малопочетное название. Со временем оно утратило первоначальный смысл — как всякий привычный образ. Ведь не представляем мы себе яму и лопату, когда говорим «встал, как вкопанный».

Кто такие блатные, я уже рассказывал. Бытовиками считались все осужденные за «бытовые преступления», от насильников и растратчиков до прогульщиков. (Сейчас уже трудно поверить, что при Сталине можно было угодить в лагерь на два-три года за обыкновенный прогул, а то и за опоздание.) А контриками (так же и фашистами) назывались все подпавшие под какой-нибудь из пятнадцати пунктов пятьдесят восьмой. Судили за измену Родине, за террор, за антисоветскую агитацию, за саботаж, за никому не понятное пособничество иностранному капиталу — не то 3-й, не то 4-й пункт 58-й. Особенно много было изменников (58-1а и 1б) — думаю, больше половины списочного состава. Случалось, вся бригада сплошь состояла из изменников.

— Предатели! — весело кричал бригадир-бытовик. — Получай пайку!

Или просил у другого бригадира:

— Одолжи мне на трелевку двух предателей поздоровше.

Никто всерьез не принимал суровых формулировок УК. Понимали, что изменники — это побывавшие в плену, агитация

— неосторожная болтовня, а саботаж (58–14) — неудавшийся побег из лагеря. Любопытно, что получив срок по 14-му пункту, блатные автоматически превращались из социально близких в «политиков» и попадали, как кур во щи, в особые лагеря для особо опасных. Но об этих лагерях разговор позже.

Побегов за время моего пребывания на комендантском было два, причем один из них прямо-таки анекдотический: возвращаясь с работы в зону, воришка бежал «на рывок», т. е. рванул прямо на глазах у конвоира в лес. Вохровец стрелял вслед наугад: за деревьями разве увидишь. Была зима, морозный день. Беглец заблудился, замерз и, проплутав в лесу целый день, к вечеру прибежал на вахту Хлам Озера и сдался. Его даже не судили — вернули на комендантский, дали десять суток карцера, и все.

Второй побег был посерьезнее. Бежали с Юрк Ручья, штрафной командировки; и не блатные, а контрики — один русский, три норвежца. Русский — вернее, советский поляк — был, говорили, в войну нашим разведчиком, работал против немцев в Норвегии. В награду получил 25 лет за измену Родине. А норвежцы — их у нас было пятеро, один журналист и четверо рыбаков — попали в лагерь по обвинению в шпионаже в пользу англичан.

Троих норвежцев, крепких молодых парней, еще не успевших дойти на лагерной пайке, полячок выбрал себе в спутники неспроста: от Кодина до Норвегии было не так уж и далеко, а границу ему случалось переходить не раз, дело привычное.

Бригада, где работали все четверо, прокладывала в лесу дорогу. Водил их на работу один конвоир — с каждым днем все дальше от лагпункта. Готовились к побегу они солидно. У посылочников выменяли на хлеб сало и еще кое-что из еды и припрятали в придорожных кустах. А бежали, как и тот воришка, «на рывок». В назначенный день и час по сигналу поляка бросились врассыпную и скрылись в густом лесу. Конвоир растерялся: в кого стрелять?.. Пострелял все же для порядка, потом построил бригаду и бегом погнал в зону. А путь был не близкий. Пока дошли, пока оповестили кого следует, беглецы получили фору часа в четыре. Понятно, за ними отправилась погоня — стрелки, собаки. (У одной из овчарок, самой заслуженной, был — так рассказывали — золотой зуб: сломала свой при исполнении служебных обязанностей.) И через два дня население Юрк Ручья оповестили: беглецов настигли, они оказали сопротивление, и всех пришлось перестрелять. В доказательство привезли и повесили на гвоздь у вахты кепку поляка — очень приметную кепочку в шахматную клетку. А на

место поимки повезли заключенного врача — составить акт о смерти. Что он и сделал.

Но никто из зеков не поверил. Я и до сих пор думаю, что этот побег был одним из немногих удачных. Да, как правило, живыми беглецов не брали, стреляли на месте. Но трупы всегда привозили и оставляли на день перед вахтой в назидание всем остальным. А тут под предлогом трудностей транспортировки привезли одну кепку. Что же касается акта о смерти, то доктору оставалось до освобождения две недели — к чему ему было конфликтовать с начальством? Могли ведь и в последнюю минуту навесить новый срок по 58-й — такое случалось. Попросили подписать туфтовый акт — подписал. И спокойно ушел на свободу. Но, конечно, это только мое предположение, может, все было и не так…

Норвежцев осталось двое — Вилли-Бьорн Гунериуссен, журналист, и совсем молоденький Биргер Фурусет. С их сложными именами лагерным писарям нелегко было справиться, особенно с Биргером. Имя это или фамилия? В результате на него завели две «арматурные книжки», куда вписывалась вся выданная одежда: бушлат, телогрейка, куртка и брюки х/б: одну на Биргера Ф., другую на Фурусета Б. По незнанию русского языка он не мог объяснить, что ему выдают лишний комплект обмундирования — и сменял его на хлеб. В скобках замечу, что необязательно было быть норвежцем, чтобы твою фамилию перепутали местные грамотеи. И татарин Сайфутдинов превратился у нас — навсегда — в Сульфидинова, а Прошутинская — в Парашютинскую[34].

Что до Фурусета, он был рослый парнишка и все время хотел есть. Я ему симпатизировал — вот уж кому выпало в чужом пиру похмелье! И злоупотребляя служебным положением, время от времени исхитрялся выписать ему пайку побольше (для себя не жульничал, честно говорю!)

Русского языка ни один из норвежцев не знал. Разговаривали мы с Вилли-Бьорном на английском, а с Биргером — на немецком, в котором я был, мягко говоря, не силен, да и он тоже. Но лагерь, как я уже отмечал, мобилизует способности, и к своему удивлению, вспоминая обрывки фраз из школьного учебника, («Ich weiss nicht was soll es bedeuten…», «Odysseus irrte…», «Wir bauen Traktoren…») я ухитрялся кое-как объясниться. Да много ли для этого надо?

Был у нас знаток английского языка, малолетка[35] из Мурманска, города, куда в войну из Англии приходили караваны судов, конвои. Так он на воле подрабатывал сводничеством, предлагая морякам:

— Джон, вонт фик-фок рашен Маруська?

И матросики прекрасно понимали его.

Лагерь тех лет — настоящее Вавилонское столпотворение; имею в виду обилие языков и говоров. Прощаясь на Лубянке с Олави Окконеном, я был уверен, что больше уж ни с кем говорить по-английски не придется. А на комендантском оказались два американских финна — шофер Фрэнк Паюнен, очень славный малый, приехавший, как и Олави, строить советские пятилетки, и коминтерновец Уолтер Варвик. И еще была английская еврейка Эстер Самуэль, работавшая в Мурманске переводчицей, за что и поплатилась. Английские и американские капитаны, естественно, предпочитали ее другим переводчицам, знавшим язык не на много лучше предприимчивого малолетки. Приятельские отношения с британцами и янки обошлись ей в пять лет ИТЛ (гражданство у Эстер было советское).

Не знаю, что стало с финнами — оба не отличались здоровьем. А Эстер вышла из лагеря инвалидом, на костылях, и умерла в Ленинграде — лет десять назад.

Кроме финна Варвика был у нас еще один коминтерновец — врач-китаец по фамилии Гладков. Не очень китайская фамилия, но и Варвик (как у «делателя королей») тоже не очень финская. У воров клички, у коминтерновцев псевдонимы…

Русские, пожалуй, были на комендантском в меньшинстве. Преобладали украинцы-бандеровцы (почему-то у нас говорили «бендеровцы», а собирательно — «бендера»), латыши и литовцы. Этих называли «йонасы-пронасы»: Ионас и Пранас — не Пронас! — самые распространенные литовские имена. Их дразнили — довольно безобидно:

Возле мяста Каунас
Йонас, Пронас, Антанас.
Все на камушке сидят
И на бибисы глядят.

(«Място», кому не понятно, это город, а «бибис» — анатомическая подробность.) Или еще так: «Герей, герей, десять лет лагерей». «Герей», а точнее, «гяряй», по-литовски «хорошо».

Как-то раз по лагпункту пронесся слух: пришел этап эстонцев, разгружается на станции. Все в шляпах, в фартовых лепенях! Т. е., в хороших костюмах. Этап действительно прибыл, но в нем оказались не одни эстонцы, а и блатные. Именно на них были эстонские лепеня и шляпы: отобрали в пути. На комендантском большую часть барахла вернули эстонцам. Впрочем, вскоре и шляпы, и костюмы перешли к лагерным придуркам — нарядчикам, нормировщику, прорабу — в обмен на обещание

легкой работы.

А я этот этап запомнил потому, что в зону их впустили поздно вечером, когда я уже выписал продукты на завтра. Надо было составлять дополнительную ведомость — а я только что получил письмо от мамы, вскрыл и успел прочесть: умер отец. Хотелось уйти куда-нибудь, погрустить в одиночку, но не оставишь же людей голодными!.. До сих пор стоят перед глазами эстонские фамилии, которые я вписывал в ведомость: Хаак, Ратх, Линдпере, Тоомсалу, Мандре…

Новоприбывшие оказались честными и несмышленными. Их собрали в одну бригаду — и не обманули, послали на сравнительно легкую работу, на лесобиржу. Но бригадир-эстонец весь объем выполненной работы делил по справедливости — поровну на всех. И вся бригада изо дня в день получала урезанную пайку, так называемые «минус сто», т. е. 550 граммов вместо положенной гарантийки — потому что нехватало двух-трех процентов до выполнения нормы.

Каждый божий день ходок от бригады, пожилой эстонец, помнивший русский язык еще с царского времени, возникал на пороге конторы, снимал шапку и вежливо здоровался:

— Драстутте… Доппры ден… Доппро поссаловат. Касытте, сто мы будем покуссат сафтра?

И я ничем не мог его обрадовать. Завтра они опять «будут покушать» минус сто. Им просто не приходило в голову, что можно посадить двух работяг на 60 %, а освободившиеся проценты разделить между остальными — так, чтоб у всех, кроме тех двоих, вышло выполнение на 103–104 %.

Все бригадиры владели этой лагерной арифметикой. Наказывали работяг по очереди и за счет наказанных кормили остальных.

Кончилось тем, что эстонцам дали бригадира из русских — ссученного вора по фамилии Курилов. И я стал начислять им по 650, а то и по 750 граммов хлеба вместо пятисот пятидесяти. Для оголодавшего человека разница немаленькая.

Но тут бригаду подстерегла новая беда. Курилов был заядлый картежник — то, что воры называют «злой игрок». Три дня подряд он проигрывал весь хлеб своей бригады. Два дня эстонцы терпели, а на третий пожаловались лагерному куму — оперуполномоченному.

Меня вызвали в «хитрый домик» как свидетеля и переводчика.

— Курилло — лейба нетт, — жалобно повторял голодный эстонец. А Курилов, разыгрывая праведное негодование, божился:

— Гражданин начальник! Не брал я ихних паек, гад человек

буду — не брал! — И поворачивался к работяге. — Я ж тебе отдал пайку! Ты что, падло, не помнишь?!

Эстонец кивал:

— Да… Да. — И твердил свое. — Курилло — лейба нетт.

На хлеб играли многие. В лазарете самым доходным из игроков доктор Розенрайх собственноручно крошил пайку в миску с супом — чтоб не проиграли. Впрочем, играли и на суп, со сменкой: проигравший отдавал победителю гущу, а тот ему шлюмку… Но чтобы проиграть хлеб всей своей бригады — это уже слишком! Пришлось еще раз менять бригадира.

Я эстонцам очень симпатизировал. Да и все знали: эстонец не украдет и не обманет, при эстонце можно что хочешь говорить — стукачей среди них почти не было. Называли их куратами. Самое страшное ругательство, какое можно было услышать от эстонца, это «курат» — черт.

Другие национальности тоже имели лагерные названия. Я уже упоминал, что цыган по фене «мора», татарин звался почему-то «юрок», кавказцы были «звери». Евреев блатные называли жидами, но у них, как у поляков, это не звучало оскорбительно, евреи-воры пользовались среди своих уважением.

Национальной розни — во всяком случае, на нашем комендантском — не было. Ну, дразнили блатные среднеазиатов, но вполне добродушно:

— Моя твоя хуй сосай, твоя моя рот ебай! — Так, якобы, узбек «тянет» (ругает, отчитывает) русского.

Ворья на нашем лагпункте было не очень много. Самых заметных спроваживали на Юрк Ручей.

Откуда-то с этапом пришел и Васька Бондин, тот, с которым я дрался на Красной Пресне. Увидел меня в конторе, забеспокоился: вдруг захочу «устроить ему»? (Так зеки и говорили: «Ну, падло, я тебе устрою!» — не уточняя, какую именно неприятность.) Я, конечно, мог устроить, я ведь был уже авторитетный придурок, но мне и в голову не пришло: я считал, мы с Васькой квиты, и вообще — я человек злопамятный, но не мстительный. А он и без моей помощи проследовал на штрафняк.

Кое с кем из блатных мне было интересно разговаривать. Часто заходил к нам в контору Серега Силаев, чахоточный щипач. Мне нравился его совершенно неожиданный, даже компрометирующий настоящего вора, интерес к литературе. Я давал Сереге читать, что у меня было, и он прекрасно отличал хорошую книгу от плохой. Но ходил он в контору не только за книжками.

Ошиваясь около барьера — вроде бы («с понтом») пришел узнать про завтрашнюю пайку, он «насовывал», т. е., шарил по

чужим карманам. Почти каждый раз его ловили за руку и били.

Вообще-то серьезные воры в лагере не воруют, фраера им и так принесут, «за боюсь». Ворует мелкота, торбохваты — Серега был как раз из таких. Метелили его здорово, но это и в сравнение не шло с тем, как разделывался с провинившимися комендант Иоффе, который сменил на боевом посту грузина Надараю. Иоффе был высокий красавец еврей, балтийский моряк — капитан второго ранга. В лагерь загремел за длинный язык. С трубкой в зубах он разгуливал по зоне во флотском кителе и хорошо начищенных ботинках. Я видел, как он, не вынимая из кармана рук, а изо рта трубки, бил своей длинной худой ногой проворовавшегося полуцвета — не Серегу, другого. Иоффе выбрасывал ногу как-то вбок. Наверно, так бьет своего врага страус. (Не ручаюсь, как дерутся страусы, не видел.) Воришка пытался встать, но удар комендантской ноги снова валил его на землю. Я не вмешивался: знал, что бесполезно. Бог наказал капитана: через год он умер от рака в лагерном лазарете.

Вольное начальство во всех лагерях поддерживало порядок с помощью самих заключенных — комендантов, нарядчиков, заведующих ШИЗО, завбуров (БУР — барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма). Чаще всего это были ссученные воры или бытовики. Для контрика Иоффе сделали исключение — он сидел по легкому десятому пункту.

Была у нас и самоохрана из расконвоированных бытовиков-малосрочников. Но не та, про которую пелось в старой песне:

Далеко, на Севере дальнем,
Там есть лагеря ГПУ
И там много историй печальных —
О них рассказать я могу.
Там, братцы, конвой заключенный,
Там сын охраняет отца,
И он тоже свободой лишенный,
Но должен стрелять в беглеца.

Наши самоохранники ни в кого не стреляли, им, по-моему, винтовок не доверяли.

x x x

Внутри нашей зоны была еще одна, женская. Хоть лагпункт и был смешанный, зечек полагалось изолировать от мужчин. Изоляция была довольно условная: все бригады кормились в

одной столовой, сдавали рабочие сведения одному нормировщику, да и зону женскую огораживал заборчик, через который пролезть не составляло труда. Правда, на вахте сидел сторож з/к, в чью задачу входило не впускать мужиков. Но за полпайки или за одну закрутку махорки он охотно изменял служебному долгу. Я по неопытности поперся «без пропуска», а когда он загородил дорогу, да еще и обматерил меня, стукнул его в грудь. Стукнул не сильно, но он упал как подстреленный. И я к ужасу своему увидел, что из одной штанины торчит деревянная нога. Помог встать, стал извиняться — что его очень удивило. Чего извиняться? Нашел слабее себя — бей! Сам он сидел за хулиганство… Сказать не могу, как мне было стыдно.

С этого дня инвалид приветливо здоровался со мной и пропускал в женскую зону без звука. (Зато однажды обознался и не пустил домой Эстер Самуэль. И я могу его понять: тощая, плоскогрудая, в ватных стеганых штанах, она больше походила на доходягу мужского пола, чем на женщину.)

Ходил я в ихнюю зону с самыми невинными намерениями. Еще когда работал на общих, стал учить английскому языку старосту женского барака, а она за это подкармливала меня. Это была Броня Моисеевна Шмидт, польская комсомолка. Году в тридцать пятом она по заданию компартии нелегально перешла советскую границу и вскоре очутилась в лагере. Подвела фамилия: был какой-то враг народа Шмидт, которого чекисты записали ей в родственники.

Срок у Брони кончился в начале войны, но ее оставили в лагере «до особого распоряжения». Таких пересидчиков — их еще называли указниками — у нас была куча. Многие из них так привыкли к лагерю, что о свободе думали со страхом. Когда старичка, заведывавшего больничной каптеркой, вызвали на освобождение, он упросил врачей положить его в лазарет. Но держать вольного в лагере нельзя, и пришел повторный приказ: вывести из зоны и, если надо, положить в больницу для в/н в/н. Тогда он спрятался на чердаке. Его искали целый день, к вечеру нашли и поволокли к вахте, а он упирался и плакал вот такими слезами. Это было на моих глазах. Маразм? Да нет, не совсем. На комендантском он жил в отдельной каморке, в тепле и сытости — даже девочку имел, прикармливал ее. А что его ждало на воле?..

Броню Шмидт тоже в конце концов освободили — по-моему, уже после смерти Сталина.

Кургузенькая, с выпученными базедовыми глазами и сильным еврейским акцентом, она пользовалась всеобщей любовью и уважением. Была добра, справедлива и рассудительна, без труда улаживала все склоки, возникавшие в вверенном ей бараке. А

публика там жила всякая: воровки, бытовички и — как же без нее? — пятьдесят восьмая. В бабском бараке я услышал такую веселую частушку:

Подружка моя,
Моя дорогая!
У тебя и у меня
Пятьдесят восьмая…

По другой статье, 155-й, получила свои пять лет переводчица из Мурманска с заграничным именем Хильда. При ближайшем знакомстве выяснилось, что по-настоящему она Рахиль, а проституция — это роман с английским моряком. Статьи своей она стеснялась не меньше, чем имени — говорила всем, что сидит по 58-й.

Из того же Мурманска были две подружки, Катя Касаткина и Маша Пиликина. Попали они вместе, по одному делу, о котором стоит рассказать подробней.

На воле обе они тоже завели романы с морячками — но с американскими. Те, видимо, всерьез увлеклись красивыми русскими девчонками и придумали увезти их из голодного Мурманска в Америку. Девушки охотно согласились, пробрались на корабль, и матросики спрятали их в трюме, загородив ящиками и бочками. Строго-настрого наказали: сидеть и не высовываться!.. Корабль отошел от причала, шли часы, но никто из Катиных и Машиных покровителей не появлялся. Девочкам захотелось есть, а главное, писать. Они решили на свой страх выбраться из убежища. Раздвинули ящики и отправились на поиски своих ребят — но напоролись на офицера, который совсем не обрадовался: ведь они все еще были в советских территориальных водах. Сразу же отправлена была радиограмма: «Всем, кого это касается! На борту две русские девушки!»

Кораблю еще предстояло — о чем Катя с Машей не знали — стать на короткую стоянку в порту Полярное, заправиться углем. «Все, кого это касается» отреагировали оперативно. Как только судно стало на якорь, к борту пришвартовался катер, энкаведешник помахал голубой фуражкой и весело крикнул:

— Приехали, девчата! Американский порт Сан-Франциско!

Дальше, рассказывала Машка, события развивались так. Еще на берегу они с Катей договорились: если что, обе бросаются за борт и топятся. Но Машка забоялась и не прыгнула. А Катя прыгнула. Ее выловили, высушили и вместе с подругой отправили в тюрьму.

Они славные были девчонки, не жаловались на судьбу: ну, не

получилось, так не плакать же? Обе, надеюсь, вышли в свое время на волю — срока у них были небольшие: Кате за незаконный переход границы дали три года, а Машке, которая не прыгала за борт, пять — наболтала себе довесок по 58–10 уже в камере.

Любопытно, что три года за незаконный переход границы причитается и по новому УК. Знакомый парень уже в наше время получил те же три года за то, что перевел отказника-еврея через финскую границу — перевел, а сам вернулся в Россию. Кате с Машкой, я считаю, повезло: могли бы судить за измену родине…

Женщинам в лагере приходилось туго. Тем из них, кто спал с нарядчиком или еще с каким-нибудь влиятельным придурком, жилось, конечно, полегче. И не всегда это были самые хорошенькие. Как мне с гордостью объяснила хорошо устроившаяся блатнячка, «симпатия ебет красоту». (Прямо, как героиня Раневской: «Я некрасива, но чертовски мила»).

Но были и другие способы избежать общих работ — например, самодеятельность. На комендантском я познакомился с Софой Каминской, ленинградской актрисой-кукольницей. Узнав, что я учился на сценарном факультете, она попросила меня дописать текст опереточной арии: она ее собиралась петь на концерте, а половину слов забыла. Эту просьбу я исполнил — что-то на уровне «Ах, боже, боже, а муж на что же?» Потом она уговорила меня сыграть с ней в комедии «Весна в Москве» — кажется, так.

В лагерном формуляре, в графе «профессия», у меня значилось: киносценарист. Что такое «сценарист» мало кто знал, но можно было предположить, что я имею отношение к сценическому искусству. Все участники самодеятельности ревниво ожидали моего дебюта. На премьере я опозорился: говорил так тихо, что из зала кричали: «Громче! Громче!» Но этим я завоевал расположение остальных артистов — им не надо было бояться конкуренции. А раньше относились настороженно, с опаской: москвич, учился в специальном институте…

Кроме Софы в спектакле принимал участие только один профессионал — Сашка Клоков, игравший до ареста в театре Северного флота, которым в годы войны руководил Валентин Плучек. Остальные были любители — но посильнее меня.

Потом уже, на другом лагпункте, я освоился и играл не без успеха молодых красавцев лейтенантов. Красавцем я не был никогда, но молод был — а кроме того, успеху помогал отцовский китель: его после смерти отца прислала мама. Я надевал его не только на сцене, носил всегда, и он производил впечатление. Однажды пожилой надзиратель робко обратился ко мне:

— Гражданин начальник, как бы мне рисом получить?..

Дело в том, что лагерный продстол выписывал продукты «сухим пайком» не только зекам-бесконвойникам, но и вохровцам. И тот надзиратель хотел бы получить свою норму не «конским рисом», т. е. овсянкой, а настоящим. Такое одолжение я ему сделал, он был не вредный.

Вохра, охранявшая нас, набиралась из местных архангельских мужиков. Про себя они говорили — полувсерьез: «Мы не русские, мы трескоеды». И охотно выменивали у бесконвойников треску, отдавая мясо из своего пайка. Тамошнее присловье — «тресоцки не поешь, не поработаешь»— известно всем. Чем им так хороша была соленая лежалая «тресоцка» — понятия не имею. Но вернусь к пище духовной.

В программу лагерных концертов обязательно входили танцевальные номера — чечетка или цыганочка, обычно в исполнении какого-нибудь «полуцвета». (Серьезным ворам по их закону не полагалось принимать участие в официальных забавах.) Певцы исполняли и романсы, и советские песни, и народные. А что до драматического репертуара, то ставились как правило одноактные пьески из сборников для самодеятельности. В соответствии с духом времени там действовали шпионы, диверсанты и разоблачающие их чекисты. Зеки играли и тех и других с одинаковым рвением: к реальной жизни эти персонажи отношения не имели, были чисто условными фигурами, как все равно пираты или индейцы.

На мужских лагпунктах женские роли исполнялись — как в шекспировские времена — мужчинами. С улыбкой вспоминаю Борю Окорокова, рослого парня с длинными как у девушки ресницами и грубыми шахтерскими руками. Он очень хорош был в ролях обольстительных шпионок. Но с Борей мы познакомились много позже, на Инте. А в Кодине женщин играли женщины.

Имелась у нас и акробатическая пара. «За низа» работал только что прибывший крепыш Ян Эрлих, а «за верха» — профессиональный цирковой акробат Володя. Его отыскали в ОП — оздоровительном пункте, и был он таким доходным, что с трудом держал стойку на исхудалых, почти без мышц, руках. Но держал все-таки, а со временем слегка отъелся и работал прекрасно.

Особым успехом пользовался у зрителей клоун Еремеев. Это был мрачный неразговорчивый мужчина, что вполне соответствует литературному клише: клоун — меланхолик, трагик — весельчак и мечтает сыграть комическую роль… Откуда-то — видимо, из армейской самодеятельности — Еремеев вынес запас дурацких балаганных реприз и, размалевав лицо белилами и румянами, во всю потешал нетребовательную

публику. Но вскоре его сценической карьере пришел конец.

Дело в том, что основным местом работы у Еремеева была хлеборезка. Хлеборез — это очень завидная должность: хлеборез всегда сыт — и не хлебом единым, хлеб можно менять на продукты из посылок. Что Еремеев и делал. На него настучал его же помощник. Завели дело — и меня как свидетеля вызвали на допрос. Хлеборезу предстояла очная ставка с моим начальником, бухгалтером продстола Федей Мануйловым. Главный вопрос почему-то был такой: пили Мануйлов с Еремеевым водку в хлеборезке? Я, конечно, знал, что пили, знал и про более серьезные их прегрешения, но делал честное лицо и уверял следователя, что не пили и вообще никаких предосудительных поступков не совершали.

Вторым свидетелем был помощник хлебореза — тот, что настучал.

— Ты вспомни, — уговаривал он меня. — Ты ж сам приходил с Мануйловым.

— Приходил. А водку никто не пил, пили какао — я угостил, из посылки… Что ты можешь знать? Ты шестерка, тебя к столу не приглашали.

Следователь прекрасно понимал, что я нагло вру. Ну и что? В протокол ему пришлось записать: водку не пили, ни о каких махинациях не договаривались.

Эх, поздновато пришла зековская мудрость: ни в чем не признаваться, все начисто отрицать. Уговоры следователя, угрозы, мат — все это в протокол не попадает. В деле остается только: не знаю, не видел, не слышал. Нам бы понять это раньше, на Лубянке. Конечно, в конце концов сломали бы нас, правильно говорил мой ст. лейтенант Макарка: «И не таких ломали!»{36} Но не сразу же — и это помогло бы сохранить к концу следствия хоть каплю самоуважения. Следователи во все времена уверяют: «чистосердечное признание облегчает совесть». «И утяжеляет наказание», добавляют опытные арестанты…

Еремеева все же судили, добавили ему два года. Срок пустяковый, да и дело было несерьезное. Не то, что прогремевшая на весь Каргопольлаг афера, когда продстол и кухня выписали по всей форме ведомость на 31 апреля, получили по ней продукты и продали за зону. И ни одна из ревизий не вспомнила, что в апреле нет тридцать первого числа — пока кто-то не настучал из зависти. Но это было давно, до нас с Федей.

По еремеевскому делу Мануйлов отделался пятью сутками карцера. Эти пять суток он провел не без пользы. Каждую ночь вертухай, не желая портить отношения с продстолом, впускал к нему в камеру медсестру Лиду, Федькину возлюбленную. А роман

их начался не без моей помощи, чем я до сих пор горжусь.

На фронте Федя был лейтенантом{37}, его контузило, и он жаловался на потерю потенции. Ладный, в суконной комсоставской гимнастерке и хромовых сапогах, да еще на такой хлебной должности — ясное дело, к нему подкатывались многие девчонки. Но Федька только разводил руками, отшучивался:

— Девочки, бесполезняк. У меня давно на полшестого смотрит.

(Стрелки часов, показывающих полшестого, смотрят, если помните, безнадежно вниз.) Девушки верили, отступались. Все, кроме медсестрички Лиды: она влюбилась в Федю, вполне бескорыстно, еды ей и в санчасти хватало. Но мой шеф панически боялся опозориться. Он уже домой успел написать, чтоб жена не ждала его, выходила за другого: сам он теперь для семейной жизни не пригоден.

Не знаю, почему я, с моим минимальным опытом, взял на себя роль сексопатолога (мы тогда и слов-то таких не слышали) и психотерапевта. Наверно, потому, что, как сказал однажды Саша Галич, «евреи любят давать советы». И я уговорил Федю попробовать: Лидочка хорошая, добрая, уже и не такая молоденькая — знает, что к чему. (Лиде было лет 28, но мне-то всего 23). И потом — она медсестра, она поможет… Короче говоря, Федя послушался, решил попробовать. И ведь пошло как по маслу!..

После карцера Мануйлов вернулся на свой пост, а хлеборезом сделали бухгалтера Тимофея Гостищева, донского казака. Этот очень дорожил репутацией неподкупного честняги. Ходил исключительно в лагерной одежонке, перепоясывался веревочкой, и на всякий случай изображал из себя совсем темного мужичка-простачка. Как-то раз я застал его в бараке с книгой в руках и удивился:

— Тимофей Павлович, читаете?

Он испуганно вздрогнул и бросил книжку на нары:

— Сызмальства не приучен.

А был неглуп, наблюдателен — и в самом деле честен.

Придурки жили в бараке ИТР — все, кроме самых важных: коменданта, зав. ШИЗО, старшего нарядчика. Тем полагались отдельные кабинки. ИТР — инженерно-техническими работниками — считались и повара, и бухгалтера, и кладовщики.

Однажды зашел ко мне Петька Якир. Мы сидели, болтали. Петька рассказывал, как замечательно они жили до ареста отца — по-моему, даже на курорт в Чехословакию ездили. Рассказывал про седого красавца Балицкого, отцовского приятеля — украинского наркома НКВД. Его тоже расстреляли… И вдруг на

соседних нарах вскинулся пухленький старичок, сказал взволнованно — каким-то жалобно лающим голосом:

— Товарищ Якир! А товарищ Якир! Я ведь вашего отца знал. Хорошо знал… И Балицкого тоже знал — работали вместе.

Это был Кузьма Горин, старый чекист, сидевший с незапамятных времен. Говорили, что однажды во время обхода его увидел на комендантском полковник Коробицын, начальник Каргопольлага, и распорядился пристроить Кузьму на какое-нибудь теплое местечко: вроде бы Коробицын служил когда-то под его началом. И Горина поставили заведывать стационарной кухней — т. е., кухней при лазарете.

Жить в бараке ИТР было хорошо. И тепло, и клопов поменьше, и надзор не тревожит частыми бессмысленными шмонами, и сапоги не надо класть на ночь под подушку — чтоб не украли. Якир был бригадиром и жил со своими в другом бараке. Там зимой подушка примерзала к стене. Топили хорошо — все-таки лесной лагерь — и посередине барака было тепло. Но стены проконопачены халтурно, оконная рама прилегает неплотно — от этого и обледеневала подушка. До итээровского я тоже там жил, спал рядом с Петькой и тоже отдирал по утрам подушку от стены — но не ругал строителей: помнил, как сам туфтил, шпаклевал стамеской баню на Хлам Озере.

От моей дружбы с Якиром выигрывала вся его бригада: я им начислял питание по высшей шкале, делая вид, что путаю нормы выработки лесоруба с нормами на распиловку дров. Если бы придралась ревизия, отговорился бы неопытностью, несмышленностью. Но никто не придрался. Правда, очень скоро лафе пришел конец.

Началось с событий, к нам прямого отношения не имеющих.

Был на комендантском бригадир Толик Анчаков, не блатной, но приблатненный. С законными ворами отношения у него не сложились: проигрался в стос, рассчитаться не смог, и настучал куму, будто воры проиграли в карты коменданта лагпункта Надараю. И что уже приготовлен и где-то спрятан топор.

В тот же день в шалман — так называется воровской барак — заявился опер вместе с Надараей и двумя стрелками вохровцами. Вообще-то входить в зону с оружием не положено: зазеваешься, налетят заключенные и отберут. Но в исключительных случаях это правило нарушалось. Кум потребовал:

— Отдайте колун, по-хорошему прошу!

Выполнить его просьбу было трудно, поскольку ни колуна, ни топора в бараке не имелось: никто из присутствующих убивать Надараю не собирался. Поэтому переговоры, как пишут в коммюнике, зашли в тупик.

Всех этих воров я знал, они пришли с нашим этапом — в том числе и Петро Антипов, и Иван-дурак, и Корзубый. Был среди них и москвич Валька Родин, «домашний вор», т. е., живший в семье (не путать с домушником, специалистом по ограблению квартир). Домашних воров блатные не очень уважают. Полноценный, полноправный вор — «полнота» — это босяк, не имеющий постоянного пристанища. И понятно, что Вальке Родину, «молодяку», до смерти хотелось доказать своим, что он ничуть не хуже их. До смерти и получилось: «насовав во все дыхательные и пихательные», т. е., облаяв по всем правилам кума, Надараю и вохру, Валька картинно прыгнул с верхних нар. А вохровец с перепугу выстрелил в него. Целил в ноги, но ведь прыгая с нар, приземляешься на корточках — и пуля попала Вальке в живот. Через два дня он в жутких мученьях умер в лазарете — весь лагпункт слышал его крики.

Опасаясь, что воры устроят «шумок», их спешно отправили на штрафную командировку. Этапировали туда и Толика Анчакова, но он, боясь расправы, в первый же день отрубил себе палец и вернулся к нам. Это не помогло, палец зажил — вот уж действительно, зажило как на собаке! — и Толика через неделю отправили обратно на Юрк Ручей. Там блатные повесили его на чердаке, но заметил надзиратель и полузадушенного Анчакова вынули из петли. Тогда он, то ли с целью оправдаться перед ворами, то ли чтоб вырваться со штрафного любой ценой, кинулся с ножом на зав. ШИЗО Бирюзкина, пожилого одноглазого суку. Это наконец сработало: Анчакова препроводили на комендантский, а от нас отправили в следственный изолятор на станцию Ерцево — чтобы судить.

Всю эту длинную историю я рассказал только потому, что в день отправки воровского этапа на Юрк Ручей ко мне пришел грустный Петька Якир и сообщил, что его снимают с бригадирства, этапируют с блатными на штрафняк. С ворьем он «водил коны», т. е., якшался. Они и называли его уважительно, как своего — не Петька, а Петро. Но ни в каких лагерных грехах Якир повинен не был. За что же на штрафняк?!

— Посылают разрабатывать Ивана Ивкина, — объяснил Петька. — Я ж у них на кукане.

А я опять не понял — у кого «у них»? Да и термин «разрабатывать» в таком контексте я слышал первый раз в жизни. И тогда Петька поведал мне свою невеселую историю. Оказывается, еще когда он отбывал свой первый срок, совсем мальчишкой, его завербовали «органы». И вот теперь он должен был по заданию кума ехать с блатными на Юрк Ручей, чтобы там втереться в доверие к Ивану Ивкину и выяснить, не скрыл ли тот

чего-нибудь от следствия. Потому что, хотя Ивкин считался законным вором, срок он получил по ст. 58-1б, измена родине — побывал в финском плену.

Не знаю, что заставило Якира «расшифроваться». Но был он по-блатному сентиментален и в нервном порыве время от времени раскрывал передо мною душу, рассказывая и такое, о чем не рассказывают.

Скажу прямо — я не удивился и не возмутился. Знал, как делаются такие дела. Меня и самого вербовали. Случилось это в Алма-Ате, куда эвакуировали наш институт. Времена были голодные, мы выкручивались, как могли. Продавали третью декаду хлебной карточки, чтобы купить что нибудь из жратвы — сейчас. А что будет в конце месяца — так до этого надо еще дожить!.. Отоваривали поддельные талоны, которые мастерски изготовляли ребята мультипликаторы — за это нам полагалась половина добычи. Этой деятельностью я занимался так активно, что три раза попадал в милицию — по счастью, в разные отделения, так что рецидивистом у них не числился. Но оказалось, что в НКВД, куда меня пригласили под каким-то невинным предлогом, обо всех этих приводах знали. И начали, как водится, с угроз: из комсомола выгонят, из института исключат, возможно, и судить будем! Потом перешли на доверительный тон. Вы же советский человек? Ничего плохого от вас мы не потребуем — напишите объективные характеристики на студентов, которые нас интересуют, и только.

Меня продержали там до ночи, то пугая, то уговаривая — и я дрогнул, подписал согласие давать информацию. «Псевдонимом» взял фамилию матери — Высоцкий.

Они сразу стали милы и доброжелательны, заверили: если опять попадетесь с поддельными карточками — ничего страшного, сразу звоните из милиции вот по этому номеру… И, сами понимаете, не надо разглашать.

Я вернулся в общежитие и немедленно разгласил — рассказал Юлику Дунскому. Три дня я не мог ни спать, не есть. Сразу похудел так, что все испугались: что с тобой? Потом уже я узнал, что есть такой медицинский термин — «катастрофическая кахексия», истощение на почве переживаний.

Мне велено было написать характеристики на однокурсника Мишку Мелкумова, на студента режиссерского факультета Ярика Лапшина и на старшекурсника Лазаря Каца. (Мелкумов сейчас в Ташкенте, засл. деят. иск. Кара-Калпакской АССР; Ярополк Лапшин в Екатеринбурге, народный артист РСФСР; а Кац стал прозаиком Лазарем Карелиным и секретарем Союза Писателей).

Каждую характеристику я отдавал на явочной квартире

энкаведешнику по фамилии Филиппов, крепенькому, невысокому, со сплошным рядом золотых зубов — наверно, был из оперативников. При первой же встрече он заложил своего коллегу, капитана Ханина. Ханин, очень импозантный господин, ходил во ВГИК смотреть трофейные фильмы, выдавая себя за представителя цензуры.

— Да нет, врет. Работник нашего отдела, — сказал Филиппов.

Он слегка робел перед моей интеллигентностью (очки, киноинститут), был вежлив и дружелюбен — но выражал сожаление, что в моих писаньях только общие рассуждения, а фактов нет.

Не знаю, как оно обернулось бы дальше, но бог помог: это было в сентябре 1943 года, а уже в конце октября мы реэвакуировались — ВГИК вернулся в Москву. Я боялся, что меня по эстафете передадут московским чекистам, но этого не случилось, и мы с Юликом вздохнули с облегчением.

В лагере меня не пробовали вербовать, а после делали две попытки. Первый раз разговор происходил в Инте, в комендатуре, второй — в Москве, на улице Горького, в знаменитом передвинутом доме, где до войны жил Леша Сухов. Одна из квартир на первом этаже значилась как «Помещение №…» — не помню, какой. Но к этому времени я знал, как надо разговаривать в подобных случаях. Не дерзил, не грубил и даже уверял, что не считаю их работу чем-то низким. И если бы мне случилось носить голубые погоны, служил бы добросовестно. Но в данных обстоятельствах…

— Вы же сами будете презирать меня. Будете думать: только что из лагеря, струсил, боится, что опять посадят.

— Почему же? Не будем думать!

— Будете, будете, — мягко настаивал я.

И в конце концов, уже поняв, что толку не будет, оба раза они завершали разговор до смешного одинаково:

— Ну, ладно. Но если б вы узнали, что кто-то хочет взорвать (не помню, что в Москве, в Инте это была электростанция)…?

— Рассказал бы сразу. Сам прибежал бы!

На том и расставались — я довольный собой, а они, по-моему, не очень.

Могу рассказать и другой случай, уже не ко мне относящийся.

В сорок четвертом году, незадолго до нашего ареста, у меня на квартире в Столешниковом жила первокурсница Нора Грошева. Во ВГИК она поступила с моей помощью — потому что были осложняющие обстоятельства.

В начале войны Нора побывала на оккупированной

территории и успела закончить только восемь классов. В справке, выданной вместо аттестата, она неискусно переправила восьмерку на десятку и с этой липовой бумажкой хотела поступить в наш институт. Девочка она была способная, ее повесть о жизни под оккупацией нам с Юликом очень понравилась: об таком никто и нигде еще не писал. И мы попросили тех же умельцев-мультипликаторов изготовить ей красивую полноценную справку — штамп, печать, подписи и все прочее.

Это было сделано, Норка поступила на сценарный факультет и прониклась к нам с Юликом благодарностью и доверием.

Поэтому именно к нам прибежала она в феврале сорок четвертого, испуганная и растерянная. Ей нужен был совет. Оказалось, что она, вдохновленная удачей с поддельной справкой, решила избавиться от немецкого штампа «Stadtkommandantur» в паспорте: афишировать пребывание на оккупированной территории было совершенно ни к чему. И тогда один из Норкиных ухажеров предложил ей «потерять» паспорт, а взамен он брался устроить ей новый, без штампа. И устроил — только вместо подписи начальника 50-го отделения милиции там стояла почему-то подпись самого ухажера. Не прошло и недели, как Нору вызвали на Лубянку. По ее словам, офицер-энкаведешник первым делом вынул из ящика и положил на стол, рядом с телефоном, большой черный пистолет. Затем взял ее паспорт и потребовал объяснить, каким образом она добыла эту фальшивку. Нора сделала то, что делают все женщины в затруднительных ситуациях — разрыдалась. Офицер стал утешать ее: мы знаем этого прохвоста, давно следим за ним… Это он интересует нас, а не вы. (Врал, конечно. Думаю, что всю эту провокацию они затеяли для того, чтобы легче завербовать Норку: она ведь была из нашей компании, а за нами — чего мы не знали — уже шла слежка. И «ухажер» был, без сомнения, их человеком). Короче, офицер пообещал, что Нора получит настоящий паспорт, а вообще-то они знают, что у нее хорошая память, большие литературные способности — так не согласится ли она… и т. д. «Ведь вы советский человек?» Ей даже дали три дня на размышление — и она решила размышлять вместе с нами.

Что мы могли посоветовать? Девушке грозила вполне реальная опасность. Попытка скрыть пребывание в оккупации, подделка паспорта — за это могли не только выгнать из ВГИКа, но и посадить. И мы сказали: соглашайся. Пиши им какую-нибудь чушь, и поподробней, чтоб они сами от тебя отцепились, поняв, что связались с дурочкой. Жалуйся на то, что разговариваешь во сне и боишься проболтаться — ну, и все такое.

Нора так и поступила. Ей действительно сделали новый паспорт, но уже через несколько месяцев после нашего ареста она бросила институт и удрала из Москвы в Калининград, бывший Кенигсберг.

Лет шесть назад мы увиделись в Москве. Она стала журналисткой, живет и работает там же, в Калининграде. А пришлось ли ей — тогда, в сорок четвертом — писать что-нибудь про нас, я не спрашивал. Да оно и не важно…

Итак, я не удивился и не возмутился, услышав про задание, которое получил Якир перед отправкой на Юрк Ручей. И больше мы не разговаривали на эту тему — до встречи в Москве, когда и он, и мы с Юлием вернулись из лагерей. Шел уже пятьдесят седьмой год. Отозвав Петра в сторонку, я спросил:

— Скажи, они от тебя отвязались?

Он искренне удивился:

— Кто?

— Ну помнишь, ты мне рассказывал… Про Ивана Ивкина… Что ты у них на крючке.

А он, представьте себе, забыл. Скривился, помрачнел:

— А-а… Да, давно отвязались, давно… Но ты никому не рассказывал?

— Нет.

— И не надо.

Я и не рассказывал — пока не началась Петькина диссидентская активность.

Кое-что нас с Юлием Дунским удивляло и раньше. Подозрительным казалось, что Якира, с его восемью классами, после лагеря приняли в институт — Историко-Архивный, живший под покровительством «органов». Странно было, что у Петькиных сподвижников случаются неприятности, а с ним все в порядке. Слышали мы и такую историю: группа диссидентов шла под его предводительством на Красную Площадь протестовать, не скажу сейчас, против чего, а Якир в последнюю минуту вспомнил, что ему надо зайти на почту, дать телеграмму в Киев — чтоб и там устроили демонстрацию протеста. И всех протестантов, кроме Петьки, на площади арестовали…

Много чего слышали. Но все равно, из какой-то нелепой, может быть, лояльности, мы, предупреждая близких людей, не говорили прямо: «Якир стукач», а остерегали: «Он у них под таким ярким прожектором, что лучше держаться подальше — а то ведь можно попасть в непонятное и непромокаемое».

Только Мише Левину и Нинке Гинзбург, в девичестве Ермаковой, мы объяснили все прямым текстом, без эвфемизмов — потому что очень уж настойчиво Петька стал вымогать подписи

у Мишиного тестя академика Леонтовича и Нининого мужа академика Гинзбурга.

Были у нас кое-какие сведения и о неблаговидной роли, которую Якир играл во время воркутинской забастовки зеков (лагерный срок он кончал на Воркуте). Но об этом мы молчали: все-таки слухи и умозаключения недоказательны — не то, что наш с Петькой разговор на комендантском. А из него я помню каждое слово и «готов дать правдивые показания». Только это никому уже не нужно: Якира давно нет в живых, забыто уже и его поведение на процессе — позорное с точки зрения тех, кто не знал истинного положения дел, и естественное в глазах тех, кто знает.

Интеллигентам свойственно искать и находить оправдание не только собственным слабостям, но и слабостям своих политических кумиров. Некоторые и сейчас верят версии, придуманной во время суда над Якиром и Красиным: Петр Ионович честный и отважный борец с режимом, но, к сожалению, алкоголик, больной человек. Следствие пользовалось этим, Якира мучили, не давая водки, и вымогали признания в обмен на 200 граммов.

Но другие, в том числе Ильюша Габай, прелестный парень, идеалист в лучшем значении слова, поняли все, как надо. Я предполагал, а теперь и его друзья подтвердили, что и покончил с собой Илья из-за жестокого разочарования в идейном вожде. Ну, не только из-за этого: были, говорят, и другие причины.

Меньше всего я хочу, чтобы создалось впечатление, будто Петр Якир был просто-напросто стукачом, заурядным сексотом. Уверен, что он искренне разделял диссидентские идеи и страстно желал крушения советской системы. Но судьба связала его с «органами» и он пошел по пути всех знаменитых провокаторов прошлого — таких, как Азеф, таких, как Малиновский. Он работал и на кагебешных своих хозяев, и на дело революции (диссидентское движение кто-то неглупый назвал «ползучей революцией»). Причем Якир наверняка утешал себя тем, что выдавая мелкую сошку, он покупает свободу действий себе, лидеру движения. Так думать было удобно. А может, была еще в этом и достоевщина, бесовская радость от сознания своей власти и над теми, и над другими.

Эта наша с Юлием теория не особенно оригинальна, да я и не претендую ни на что. Я просто рассказываю, что знаю и что думаю{38}.

А сейчас вернусь в 1946 год, на комендантский лагпункт Обозерского отделения Каргопольлага.

Пока будущий вождь московских диссидентов выполнял на

Юрк Ручье особое задание, у меня начался первый лагерный роман — с Петькиной будущей женой Ритой Савенковой, светловолосой всегда грустной девочкой. Коротко стриженая, худенькая, она похожа была не на взрослую женщину, а на двенадцатилетнего мальчика. А между тем у нее в ее двадцать лет уже была за плечами жутковатая любовная история. Вообще с ее биографией обстояло не так все просто. Во-первых, она была не Рита, а Валентина. Во-вторых, не Ивановна, а Георгиевна. В-третьих, не Савенкова, а Рижская. По Ритиным словам, ее отец Георгий Рижский еще в начале тридцатых годов сбежал каким-то образом за границу, и дед Иван, охраняя девочку от неприятностей, дал ей свою фамилию и новое отчество. Как видим, от неприятностей дед ее не уберег, но они никак не связаны были с ее именами, отчествами и фамилиями. На воле, по паспорту, и в лагере, по формуляру, она числилась Валентиной Ивановной Савенковой. Но я буду называть ее, как звал тогда — Ритой.

Как и многие другие девушки из Мурманска и Архангельска, в лагерь она попала из-за союзников. Ее первым любовником был англичанин, сотрудник какой-то миссии. Иностранцев советские девушки всегда любили{39}. А этот еще и подкармливал Ритку и ее стариков. Все было бы хорошо, но он оказался извращенцем — садистом в прямом сексопатологическом смысле. Он мучил свою любовницу, щипал, выкручивал руки, колол булавками — и добился того, что у Риты появилось стойкое отвращение к физической близости. Свой арест и пятилетний срок она приняла с облегчением.

Не знаю, что ее привлекло во мне — скорее всего отсутствие грубости и агрессивности. Я Риту очень жалел, старался обращаться ней как можно осторожней и нежнее.

Попробовал убрать ее с общих работ. Для этого я пошел к доктору Куркчи, давнему сидельцу, крымскому татарину. Говорили, что он граф. Понятия не имею, водились ли среди крымских татар графы, но что Куркчи был интеллигентнейшим человеком с аристократическими манерами — это точно.

Стесняясь своего нахальства, я косноязычно попросил:

— Доктор, как бы это… как бы устроить Савенковой кант? Она же совсем фитилем стала, дошла на общих… Может, сунете в стационар?

В переводе это значило: как бы облегчить Савенковой жизнь? Она превратилась в дистрофика, отощала на общих работах. Может быть, положите ее в больницу?

Куркчи посмотрел на меня с сожалением:

— Фрид, дорогой мой Фрид. Что за язык? Вы первый год в

лагере — подумайте, что с вами будет к концу срока?

Я смутился, покраснел, пробормотал такое же косноязычное извинение. Доктор был, конечно, прав — но только в широком смысле. Надо, надо было стараться сохранить человеческий облик. Но сказать по правде, о конце срока я тогда не думал. Это теперь, когда мне за семьдесят, десять лет выглядят коротким отрезком биографии. А тогда казалось, конца им не будет. Что же касается лексики, которая так шокировала доктора Куркчи, тут я останусь при особом мнении: феня — одно из моих важных приобретений. Трудно рассказывать о лагере, не пользуясь лагерным жаргоном. Солженицын с блеском доказал это не только «Одним днем Ивана Денисовича», но и «Архипелагом»…

Медики в лагере — большая сила. Это понимали все, даже блатные. Хотя случалось и такое: вор идет в санчасть, просит освобождение.

— На что жалуешься? — спрашивает врач.

— Живот болит. — Урка задирает рубаху, и доктор видит у него на пузе пресловутый «колун» с засунутым под штаны топорищем. Как тут не дать освобождения?.. Но до такого редко доходило: с врачами-зеками можно было договориться по-хорошему.

Доктор Куркчи не положил Риту в лазарет, он сделал лучше: велел нарядчику перевести ее в пошивочную мастерскую.

А в стационар она попала потом, совсем по другому делу. На комендантском уже год, как не было сахара. В конце концов его привезли и всю задолженность ликвидировали одним махом. Сахар был неочищенный — бурый, как будто политый нефтью. Зеки шипели: сами, падлы, белый хавают, а нам какой?! Но рады были и бурому. (Уже в наши дни я узнал, что просвещенные европейцы и американцы только такой неочищенный сахар и признают: он якобы полезней белого).

Ритке Савенковой причиталось килограмма два. Ей насыпали чуть не полный котелок. Она залезла с ним на верхние нары и слопала все за один присест — ела, ела, и не могла остановиться. А к вечеру температура сорок. Взяли девочку в лазарет, еле выходили. (Вот вам и «полезней белого». «Что немцу смерть, то русскому здорово» — и наоборот).

Ко мне Рита очень привязалась, но длиться долго нашему роману было не суждено. В один совсем не прекрасный день нарядчик объявил мне: готовься к этапу, поедешь в Ерцево.

Станция Ерцево южнее Кодина, там располагалось управление Каргопольлага и несколько его лагпунктов. Ехать ужасно не хотелось: здесь у меня была непыльная работенка, друзья и — не последнее дело! — любовь. Я кинулся в санчасть к

доку Соловьеву. Доком, на американский манер, мы его звали за очки в золоченой оправе, пижонские усики и китель, на котором все армейские пуговицы были разные: английская, немецкая, польская, румынская. Такое у него было хобби. Медицина тоже была не профессией. Доктором Саша Соловьев не был, да и фельдшером стал в лагере: в Москве его главным занятием была игра на скачках. Ко мне, как к земляку — он жил когда-то в нашем Столешниковом переулке — док благоволил. Я спросил совета: как бы «закосить», лечь в стационар, чтоб не идти на этап?

Соловьев объяснил, что есть верный способ нагнать температуру: надо ввести под кожу кубиков двадцать дистиллированной воды.

— Но к сожалению, — развел руками док, — дистиллированной воды у меня нет.

— У меня есть! — Я выскочил из барака. На крыльце стояла бочка с дождевой водой. Набрав поллитровую банку, я вернулся к фельдшеру. Док не стал уточнять происхождение воды — игрок, человек азартный, он был заинтересован в исходе эксперимента. Набрал грязноватую воду в шприц, закатал мне под кожу полную порцию — и никакого эффекта! Ни воспаления, ни температуры — ничего. Соловьев удивился. Подумав, сказал:

— Есть еще один способ. Я не пробовал, но блатные это практикуют. Надо очистить небольшую луковицу, надрезать и ввести в задний проход.

Я огорчился: луковицы у меня не было.

— У меня есть! — с готовностью сказал док. Сказано — сделано. Очистили, надрезали, ввели, куда следовало — и снова нулевой результат. Я целые сутки ходил с этой луковицей, даже переночевал в таком виде со своей девушкой. Измерили температуру — 36 и 6!

Петька Якир — он только что вернулся с Юрк Ручья — объяснил мне, что температуру можно повысить простым напряжением мышц. Сам он не раз так делал: сидел раздетый до пояса, в каждой подмышке по градуснику (хитрое нововведение фельдшера Загорулько) и пыжась, напрягая мышцы, выжимал десятые градуса — до субфебрильной температуры 37,3 — 37,4. Если делать это изо дня в день и при том покашливать, могут положить в лазарет — с подозрением на ТБЦ.

Я этого не умел. Попробовал — не получилось. И решил воспользоваться тем, что прием в этот день вел не бдительный Загорулько, а старый доктор Розенрайх, который два градусника не ставил. Да ему и не до меня было: утром он в очередной раз извлек из кабинки пожарников свою возлюбленную, пышнотелую рыжую Машку, и пребывал в расстроенных чувствах. И я,

вспомнив школьный, а также лубянский опыт, нащелкал себе ногтем тридцать восемь и одну. По болезни меня «отставили от этапа» — такая была формулировка. Но рано мы с Петькой и Ритой радовались. Уже через два дня пришла на лагпункт телефонограмма: «С первым проходящим вагонзаком отправить со всеми вещами и учетно-хозяйственными документами… и т. д.» Делать было нечего, пришлось собираться в дорогу.

Ритка плакала не переставая. Чтоб развеселить ее, я составил акт передачи по всей форме: «Передается Петру Якиру в состоянии, не требующем капитального ремонта и годном к эксплоатации…» Нам с Петькой казалось это очень остроумным; Рите не казалось. Но честное слово, никакого непристойного смысла мы в текст не вкладывали. Просто Петька пообещал заботиться о Рите, опекать ее по-дружески.

Я уехал, они остались. Прошло какое-то время, и у них начался роман. Как говорил армянин из анекдота: «Ишто думал, ишто вышло». Прошло еще несколько месяцев, и малосрочница Рита ушла на волю уже беременной. И вскоре родила Петьке дочку Иру.

В 1957 году мы с Юлием Дунским вернулись с «вечного поселения» в Москву и встретились с Якирами: Рита — теперь уже Валя — разыскала мою маму и от нее узнала, что мы приехали. За это время Петька успел побывать на Воркуте и в Сибири на поселении. Он сам попросился туда, потому что там уже были Валя с дочкой. Но это другая, грустная и трогательная история, не мне ее рассказывать.

А девочку Иру я увидел, когда ей было лет семнадцать — и с тех пор не встречал. Как я уже писал, наши с Якиром пути сильно разошлись. К сожалению, и с Валей мы перестали видеться.

Теперь ни Петра, ни Вали нет в живых. А Ира замужем за Юлием Кимом. Мне не хочется, чтобы мои записки попали им на глаза, но и умолчать о провокаторстве Якира я не имею права: он слишком заметная фигура в истории диссидентского движения. Для будущих историков я и решился написать, как было.

VIII. Малинник

Переезд в Ерцево ничем примечателен не был — разве что отсутствием обычных этапных неприятностей. Этапов з/к з/к не любят и боятся, о чем свидетельствует и лагерный фольклор: «Вологодский конвой шуток не принимает», «Моя твоя не понимай, твоя беги, моя стреляй» (это о среднеазиатах, якобы отличавшихся особой жестокостью. В песне об этом поется: «Свяжусь с конвоем азиатским, побег и пуля ждут меня»).

Не помню, какой конвой вез меня из Кодина — да я их почти не видел и не слышал. Столыпинские купе, огороженные решетками как камеры в американской тюрьме, случалось, набивали зеками до упора, не повернешься. Но я ехал в комфорте — один, и недолго. К вечеру мы прибыли в Ерцево.

15-й лагпункт, куда меня привели, оказался сельхозом. Население зоны было смешанным, как и на прежнем моем месте жительства. Но мужчины пребывали здесь в подавляющем меньшинстве — человек сто при списочном составе чуть более семисот.

Женщины трудились на сельхозработах, большинство мужчин в ремонтно-механических мастерских. Туда направили и меня, на должность уборщика цеха.

В РММ я проработал недолго, но успел познакомиться и на всю жизнь подружиться со слесарем Лешкой Кадыковым. Слесарем он стал уже в лагере, а до того был московским — вернее, подмосковным — пареньком без специального образования и политических убеждений — и то, и другое появилось потом. Когда мы спустя десять лет встретились в Москве, он был обладателем инженерного диплома и работал прорабом на монтаже самых сложных металлоконструкций: это он строил Бородинскую панораму и новый цирк на Ленинских горах. А что до политических взглядов, так он при первой же московской встрече объявил:

— Валерий Семеныч, ты поверишь: в банду меня тянут!

— Какую банду?

— Да в партию. Но со мной этот номер не прохонже!

А в лагере мы с ним о политике не разговаривали, нас берег здоровый инстинкт: еще не прошла мода навешивать дополнительные лагерные срока за болтовню.

Языки развязались много позже, когда я попал в Минлаг: там уже терять было нечего. Сталина называли не иначе, как «черножопый», «ус» или «гуталинщик». И ничего, проходило. Году в 51-м запретили получать в посылках чай — чтоб не чифирили.

Чай мы все равно добывали, через вольняжек: и переиначив следовательское клише, смеялись: «Собравшись под видом антисоветских разговоров, занимались чаепитием» (на Лубянке почти во всех протоколах было: «Собравшись под видом чаепития, занимались антисоветскими разговорами»).

Минлаг обогатил и мой запас частушек. В бараках, не таясь, распевали:

Троцкий Ленину сказал:
Пойдем, Ленин, на базар,
Купим лошадь карию,
Накормим пролетарию.

Вариант:

Ленин Троцкому сказал:
Я мешок муки украл,
Мне кулич, тебе маца —
Ламца-дрица-а-ца-ца!)

А то и такое пели:

Эх, огурчики, да помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике!

Почему «органы» не реагировали, не берусь судить, стукачей и в Минлаге хватало. Возможно, всерьез рассчитывали на то, что мы и так из зоны никогда не выйдем?..

Мой ерцевский друг Лешка Кадыков в Минлаг не попал, у него были две легкие статьи. Хотя формулировка одной из них звучала грозно: «разоружение Красной Армии», другая была — «незаконное хранение оружия». Лешкино преступление заключалось в том, что он нашел в лесу пистолет (в их местах осенью 41-го шли бои). Вместе с другими пацанами Леха упражнялся в стрельбе по пустым бутылкам. Сосед-энкаведист сообщил, куда следует, и парень получил восемь лет. Если бы пистолет был немецкий, Лешка отделался бы пятью годами — за незаконное хранение. Но на беду ему попался не «вальтер» и не «парабеллум», а наш советский ТТ… В 45-м по амнистии Кадыкову скостили три года и вскоре он вышел на свободу.

Лагерь пошел ему на пользу, как и мне — в смысле общего образования. Но ему повезло и в узко-профессиональном

отношении: в РММ он трудился под руководством Александра Сергеевича Абрамсона, крупного специалиста в области моторостроения, и стал классным автомехаником.

Как малосрочника, его в посевную расконвоировали, он работал трактористом и удивлял окрестных трескоедочек ростом и мощным сложением:

— Парень-то какой большой огромный! — восхищенно окали они.

Алексей Михайлович и сейчас, в эпоху акселератов, заметен в московской толпе. А тогда, на фоне низкорослых архангельских мужичков, смотрелся как Гулливер среди лилипутов.

Абрамсон его ценил: у Лешки и голова была хорошая, и руки. Этими огромными как окорока ручищами он выполнял самую тонкую работу. У меня хранится изящная алюминиевая пудреница, которую он сделал в подарок моей маме — в 47-м году она приезжала на свидание.

А с Абрамсоном они изготовили какой-то не то карбюратор, не то приспособление, заменяющее карбюратор — и дающее 10 % экономии бензина. Это изобретение Абрамсон сделал еще в Чехословакии. Он был «невозвращенцем»: поехал в конце тридцатых в заграничную командировку и остался в Праге. При немцах он выдавал себя за шведа и тем спасся. А от своих спастись не удалось — дали десять лет за измену родине и привезли к нам. С абрамсоновским карбюратором (или не карбюратором) начальник РММ Шатунов ездил в Москву, демонстрируя его преимущества. Уговорил одну московскую газету опробовать изобретение на редакционной машине. Испытания прошли успешно. Начальник вернулся в Ерцево счастливый: он, по-моему, верил что им с Абрамсоном дадут Сталинскую премию{40}.

В ожидании премии Александра Сергеевича перевели жить в отдельную кабинку и выдали новое х/б обмундирование. А вскоре его забрали на этап и срок он кончал в какой-то московской шараге. Леша Кадыков — уже вольный — видел его там. А изобретению хода не дали: как объяснил мне Лешка, из-за ревности и интриг академика Чудакова, «карбюраторного бога»…

Подбирать металлическую стружку и сметать в кучу опилки было не трудно, однако звание уборщика не вызывало уважения. Может быть, со временем меня приставили бы в РММ к какому-нибудь стоящему делу, но стать слесарем или токарем мне не было на роду написано.

Моим трудоустройством занялась Ира Донцова — до посадки московская студентка. На Лубянке она сидела в одной камере с Ниной Ермаковой и была «наседкой». Об этом я узнал еще на

Красной Пресне. Подозреваю, что и перевели меня из Кодина в Ерцево для того, чтоб Ира меня «разрабатывала»: Якир-то в Кодине на меня не стучал. А тут — есть надежда: все-таки землячка, знакома с моей невестой… Впрочем, не исключено, что они об этом и знать не знали. Часто мы в своем воображении делаем «органы» куда умнее и осведомленнее, чем они есть. (Юлик Дунский сказал бы «антропоморфизируем».)

Донцова не оправдала доверия кумовьев. Уже после Ириного освобождения (срок ей дали божеский, пять лет), ее любовник Марк Антошевский отозвал меня в сторонку и сообщил:

— Ирка просила сказать: на тебя она не стучала. Так что не думай.

— Я и не думаю, Марк. Будешь писать, передай ей привет — и спасибо за все хорошее.

Марк сильно ее любил. Повесил в бараке Ирину фотографию — красивое лицо, большие светлые глаза, — а ниже, для подсветки, пристроил лампочку — он был электриком. Ребята посмеивались: как икона с лампадой!.. Не знаю, почему Ире важно было, чтоб я узнал о ее — как бы это сказать? — лояльности… И еще одна стукачка призналась мне, что кум интересовался моей персоной — совсем малознакомая девка, я даже имени не помню. Она, Ира, Петька — три признания! Исповедь облегчает душу?

По Иркиной протекции меня взяли в бухгалтерию счетоводом.

Из шести конторских работников трое были пересидчики: у них в формулярах значились не цифры — номера статей и пунктов, а буквы. У Володи Волина, как помнится, КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность, у Ольги Алексеевны и Жозефины Иосифовны — ЧСИР, члены семей изменников родины. Обе были вдовами расстрелянных в ежовщину военных. Ко мне они отнеслись прямо-таки по-матерински заботливо: учили бухгалтерским премудростям, не сердились на мои промахи.

Но еще снисходительней к этим промахам был мой непосредственный начальник Иван Трофимович Обухов. Жозефина мне внушала, например: баланс должен сойтись с точностью до копейки, это святая святых двойной бухгалтерии! И я искал эти не желающие сойтись копейки, по десять раз перепроверяя каждую проводку. А Иван, видя мои мученья, изящным жестом не по-крестьянски маленькой руки отодвигал проблему в сторону: «Баланс составляется в тысячах рублей!» И бессовестно округлял цифры.

Но он же и оберегал меня от служебных неприятностей. Сын

саратовского крестьянина, он окончил классов пять средней школы, но был наделен практической сметкой, которой мне в те времена так не хватало. Помню, я ничтоже сумняшеся вывел в калькуляции себестоимость одного куриного яйца — 720 руб. (Не в том месте поставил запятую.) А Ивану и считать не нужно было, для него цифры не были абстрактны, он сразу видел: ну, не может одно яйцо столько стоить! Теперь-то, в 93 году, такая цена не кажется фантастической — то ли еще нас ждет… Но тогда это было прямым доказательством моей профнепригодности.

Просвещал меня Иван Трофимович и по всяким житейским вопросам. Я уже поминал, что сексуальные мои познания были очень невелики. Хотя первый — теоретический — урок я получил в возрасте двенадцати лет. Я тогда лежал в больнице с дифтеритом. В нашу палату попал один взрослый, заболевший этой детской болезнью. Это был ломовой извозчик, добродушный словоохотливый дядька, он рассказывал нам о своих любовных похождениях и мы с большим интересом слушали.

Желая сделать мне приятное, он сказал:

— Но самые лучшие женщины это евреечки!

— Почему?

— У них пизда поперечная.

— Как же она закрывается? — удивился я.

— А конвертом.

Сведения Ивана Обухова были менее фантастичны, хотя и не бесспорны. Это от него я впервые узнал пословицу: «На версту вершок хуйня, а на хую вершок верста». Иван не рекомендовал злоупотреблять сексом (слова этого он не знал, заменял другим).

— Надо так, — говорил он. — Один раз на сон грядущий, второй — на коровьем реву.

Вооруженный этими знаниями я отправился на 37-й пикет. Т. е., не сам отправился, а меня направили на курсы бухгалтеров — да, бывало в лагерях и такое.

37-м пикетом назывался лагпункт, обслуживавший лесопилку. Вообще-то пикет — это отрезок железнодорожного пути длиной сто метров, а так же геодезическая отметка на местности. Почему л/п носил такое название, не знаю, как не знаю и того, почему именно там, а не на головном лагпункте решено было разместить наши курсы.

Со всех ерцевских лагподразделений — с Чужги, с Алексеевки, с Круглицы и Островного — привезли зеков, человек двадцать, и стали готовить пополнение для контор: кое-кто из старожилов в тот период все-таки уходил на свободу. Правда, вскоре почти всех их снова похватали и разослали по лагерям, но как сказано в «Маугли», «это уже другая история, для взрослых».

Большую часть курсантов составляли такие же как я придурки. Но были и работяги, с общих, получившие двухмесячную передышку.

Преподавали опытные бухгалтера: главбух всего Каргопольлага — офицер, и с ним два отсидевших свое зека. Атмосфера на занятиях была вполне деловая и доброжелательная. Особенно благоволил ко мне неулыбчивый и немногословный горьковчанин Соломонов. Однажды принес книжку, сунул мне.

— Почитайте. Хорошая, — сказал он, окая. Книжка и вправду была хороша — «Спутники» Пановой.

Учился я неплохо, и помогал самой отстающей, Шурочке Силантьевой. Была она курносая, веселая, голубоглазая — и я, конечно же, влюбился. (Постоянство вкусов — моя отличительная черта.) Хочется верить, что это господь послал мне Шурочку. Неспособная к бухгалтерии, она обладала бесценными женскими способностями, в том числе редкостной чуткостью. И, в свои двадцать три года, большим практическим опытом. Все про меня поняв, она в два счета избавила меня от всех комплексов, за что я буду благодарен ей по гроб жизни. Не знаю, где она теперь, что с ней сталось. Надеюсь, что жива и здорова.

Шура была дочкой директора энкаведешного дома отдыха в Луге. Ее первыми учителями в постели были постояльцы папиного заведения — не только чекисты, а и два циркача, родные братья. «Два брата-акробата», говорила Шурочка. Обо всех она рассказывала и откровенно, и весело. Но вот о тех, кто сменил в доме отдыха и энкаведистов и циркачей, когда немцы заняли Лугу — об этом мы с ней никогда не говорили. Я не спрашивал, она тоже помалкивала. Хотя ее подружки любезно сообщили: твоя Шурочка — немецкая подстилка.

Девушек и женщин, живших в оккупацию с немцами, в лагере было много, и у каждой имелись свои причины и свои обстоятельства, бог им судья. Но судили-то их не на небесах, а на земле, причем на советской, и всем подряд давали срока по 58-й — кому больше, кому меньше. Я их не осуждал — жалел.

Заниматься любовью в бараке, прилюдно, нам с Шурой не хотелось. И мы часами простаивали в темном тамбуре, ожидая, пока прекратится хождение. Только раз нам удалось оттолкнуться (тогда не говорили «трахнуться») в относительном комфорте: на опилках, за штабелем. Курсантов ведь выводили иногда на лесопилку — убирать территорию; вот мы и воспользовались. Правда, задержались малость, и когда прибежали к воротам, все те же доброжелательные подруги стали громко советовать:

— Шур! Хоть отряхнулась бы!..

Вся спина ее серенького довоенного пальтишка была в

опилках.

Там, в рабочей зоне, можно было добыть через вольных курево, а то и выпивку — за деньги, понятно. В Шурин день рождения мне принесли целых два поллитра. Отпраздновать мы решили вечером, в бараке. Но вот проблема: как пронести водку в зону? Эту задачу я решил с гениальной простотой. Заложил по бутылке в каждый рукав повыше локтя и во время обязательного шмона перед воротами с готовностью распахнул бушлат, разведя локти в сторону. Вертухай привычно скользнул ладонями по моим бокам и буркнул: «Ходи». Если б нашел водку, мне обломилось бы суток десять ШИЗО. Но ради любимой девушки стоило рискнуть. Да, да, любимой! Шурка была вторая в моей жизни женщина, которой я сказал это слово — «люблю». Потом говорил и другим — но не часто. И не в лагере…

Занятия на курсах кончились, мы сдали экзамен — я на пятерку, Шура на троечку с минусом — и разъехались по свои лагпунктам. Мы потом переписывались, через бесконвойников. Я старался переправить ей что-нибудь вкусненькое из маминых посылок, а однажды мы даже смогли увидеться — но об этом немного погодя.

На выпускном занятии начальник курсов, старший лейтенант, чью фамилию я, к сожалению, забыл, приятно удивил нас. Свою прощальную речь он начал давно забытым обращением: «Товарищи!» Оговорился? Не думаю. Были, были среди лагерного начальства вполне порядочные, многое понимавшие люди.

На 15-й я вернулся старшим бухгалтером производственной группы. На меня смотрели с уважением, а девушки с новым интересом: подружиться со мной, считали они, было бы полезно.

Попадая в тюрьму, женщины в первые же дни узнавали от опытных сокамерниц: в лагере надо сойтись с кем-нибудь из придурков, лучше всего с нарядчиком — пристроит на легкую работу. А одной быть нельзя, дойдешь на общих. И блатные приставать будут.

К нам на 15-й пришел этап из Иванова — молодые девчонки, в большинстве ткачихи, получившие срок по статье 162-й, воровство: вынесли с фабрики две-три бобины пряжи и променяли на хлеб.

Пока они все вместе жили в карантинном бараке, их навещали наши старожилки — познакомиться и узнать, не пришел ли кто из землячек. Заодно инструктировали: тут на сельхозе с мужиками плоховато, человек сто всего, да и то половина доходяги. Но есть в хлеборезке грузин Моисей, он баб любит; а в бухгалтерии — очкастый молодой еврей. У него, вроде, никого нет… Девушки слушали, принимали к сведенью. И жалели

свою товарку, которая была на седьмом месяце беременности:

— Любочка, а ты-то как будешь? С таким-то пузом.

— А я, девочки, рачком[{41}].

Об этой беседе мне рассказала, хихикая, Люська Беляева, с которой у нас случился скоротечный роман: она воспользовалась наводкой.

У нее было милое курносое личико, тоненькая фигурка и, как отметил мой друг Леха Кадыков, «подстановочки под ней выполнены очень аккуратно». (Лешкина речь и по сей день отличается своеобразием. Про одну знакомую даму он сказал, что у нее большое обоняние). А подстановочки, т. е., ножки, были у Люськи действительно хороши. И удивительная походка — куда до нее нынешним манекенщицам! На этапе Люсю постригли: завшивела в тюрьме. И теперь она ходила, не снимая голубой косынки, каждую ночь проверяла, не отросли ли волосы. Об этом ее нетерпеливом ожидании знал весь лагпункт. И Венька Стряснин, зав. ШИЗО, вместе с надзирателем Серовым, сыграли над Люськой пакостную шутку: сорвали косынку и снова постригли наголо, объявив, что у Беляевой вши. Как она рыдала, бедная девка! Ведь нагло врали, сволочи. Она была чистюля, заботилась о своей внешности, даже чистила зубы два раза в день — чего я, например, не делал никогда.

Женщины в этом смысле — да и не только в этом — существа удивительные. Моя тетка Нюрочка, посаженная в 37-м как ЖИР, жена изменника родины, рассказывала: в Темниковских лагерях, в женском бараке, она наблюдала интересную сцену. Новенькая, тоже жена изменника из только что прибывшего этапа, делала на нарах массаж лица, похлопывая по щекам кончиками пальцев. При этом она причитала:

— Ужас, ужас… Мужа, конечно, расстреляли… (Тюп-тюп-тюп.) Детей отправили в приют… (Тюп-тюп-тюп.) Боже, десять лет, десять лет! (Тюп-тюп.) Нет, я знаю — я не переживу!..

Сама Нюрочка вышла через пять, сохранив, как видим, чувство юмора — и ангельский характер. Ее первого мужа расстреляли, а вторым стал мой овдовевший дядька Володька, который мучил ее, думаю, не меньше, чем лагерное начальство — хотя любил. Он еще в гимназии был влюблен в Нюрочку…

Люська была не Людмила, как полагалось бы, а Лариса. Лариса Яковлевна Беляева, 1927 года рождения. Расстались мы в сорок восьмом, а в шестьдесят первом, уже вольным человеком, я по киношным делам попал в Иваново. Наугад поинтересовался в справочном киоске: где живет такая-то? Оказалось, что живет на этой улице, только теперь у нее другая, немецкая или еврейская фамилия. Я постоял-постоял перед ее домом, но так и не решился

зайти: наверно, замужем, наверно, не хвастается своим лагерным прошлым. Зачем осложнять человеку жизнь? Тем более, что и любви-то не было — ни с ее, ни с моей стороны. Так «курортное знакомство».

Разнообразием статей, сроков и, соответственно, человеческих типов наша женская зона превосходила, пожалуй, любой чисто мужской лагпункт. Кроме воровства, растрат, мошенничества и всех пунктов 58-й статьи, были и специально женские преступления — проституция, криминальные аборты. В те годы криминальными считались все аборты — советское законодательство их то разрешало, то запрещало. И судили абортисток за детоубийство, по ст. 136. К ним в зоне относились сочувственно, хоть и подозревали, что некоторые врут, будто сидят за аборт, а в действительности придушили уже родившегося ребеночка: времена были тяжелые, голодные. Почему-то больше всего не любили у нас на 15-м некрасивую угрюмую бесконвойницу: она схлопотала года три за растление малолетних. Вот уж нетипичная для женщин статья!..

Воровки — не ивановские расхитительницы гос. имущества, а настоящие блатнячки — держались особняком. Себя называли «крадуньи, жучки, воровайки». Перед начальством не тушевались, вели себя нагло и вызывающе.

Я сам видел, как пришла такая жучка в кабинет к Козлову, инспектору ЧИС, части интендантского снабжения, и потребовала, чтоб ей выдали комплект обмундирования. Инспектор отказал: она была «промотчица» (промотом называлась утрата казенной одежды. Украли у тебя, потерял или спалил по-нечаянности на костре — все равно считалось, что промотал. Было б что!) Девка напирала, Козлов стоял на своем:

— Не дам, и не проси!

— А в чем я на работу выйду?.. Вот так? — И она распахнула телогрейку, под которой не было ничего, кроме голого тела.

Инспектор смутился, даже покраснел — а ей только того и надо было. Этот спектакль блатнячки разыгрывали во всех лагерях нашей родины. И во всех лагерях известна была изящная формула отказа от работы:

— Начальник, этими ручками не лопату, а хуй держать!

Бригадирша из блатных, дородная и не слишком молодая — все величали ее Анна Петровна — спала в почетном углу барака, отгороженном занавеской. Во время вечернего обхода она голышом разлеглась поверх одеяла, и выпятив белый живот, ждала, пока вертухай не отдернет занавеску. Дождалась-таки желанного эффекта:

— Испугался! — заливалась смехом Анна Петровна. — Думал

— куль с мукой, а на нем крыса сидит!

Молодые воровайки щеголяли наколками — звезды вокруг сосков или надпись на ляжке: «Умру за горячую еблю». Своими глазами не видел, врать не буду: я с блатнячками не шился. Одна, правда, сказала про меня — «красюк». Зато другая объявила, что не покажет мне и с десятого этажа. А третья называла меня «крокодил в разобранном виде». Что за разобранный вид, не знаю, но так говорили. Или еще так: «страхуила в разобранном виде».

Что же касается лозунга «Умру за…», то он, как и многие другие, с реальной жизнью мало соотносился. Бытующее в народе — и литературе, к сожалению — представление о похотливости и ненасытности оголодавших лагерниц сильно преувеличено. Не верю в рассказы (кто их не слышал?) о зашедшем в женский барак монтере, которому бабы перевязали обрывком электрошнура мошонку и долго пользовали — все по очереди. Еще глупее байка про залежи узких мешочков, набитых кашей — их якобы обнаружили на развалинах снесенного бабского барака. Мешочки!.. С кашей… Тьфу!

Разумеется, были и в лагере чувственные женщины, всерьез страдавшие от воздержания. Одной нашей бесконвойнице, невзрачной молодой бабенке, с глазами всегда грустными и виноватыми, вольная врачиха Роза Самойловна даже назначила специфическое лечение: ее послали уборщицей на вохровскую псарню, к молодым солдатам-собаководам. Другая, постарше, некрасивая веселая полька пани Зося, откровенно приставала к ребятам из РММ — и иногда добивалась успеха. Токарю Витьке Кофляру она благодарно сказала:

— Пане Кофляр, меня много кто ебал, но как вы — никто! У вас, пане Кофляр, хуй в золотой оправе.

Но были и вполне равнодушные к сексу девки, занимавшиеся любовью по необходимости. Одна во время полового акта (дело происходило в женском бараке, на верхних нарах) крикнула подружке, собравшейся на ужин:

— Тань, возьми на меня, ладно?

Это я слышал своими ушами.

Имелись на 15-м и ковырялки — этим противным словечком называли тех, кто мастурбировал. Имелись и коблы, они же кобелки. Эти вызывали повышенный интерес — и не только у меня. Двух из них считали гермафродитами. Возчица фекалия Сашка, немолодая, низенькая, говорила про себя «я был», «я ходил». В телогрейке и ватных штанах пол ее определить было трудно. Одна моя приятельница знала лагерное поверье: если плеснуть на гермафродита холодной водой, мужское естество

выйдет наружу. Она и проделала это в бане, окатила Сашу из шайки. Та разозлилась, крикнула:

— Увидеть хочешь? Приходи ночью, увидишь.

Любовь Сашка крутила со своей напарницей-фекалисткой, такой же низкорослой и, как любили говорить в те годы, «семь раз некрасивой». Нормировщик Носов, мужик совершенно бессовестный, выпытывал у Сашиной сожительницы:

— Нет, ты расскажи — как вы с ней это делаете?

— Так ведь натуральный мужчина, — слегка стесняясь объясняла допрашиваемая.

Вторая «гермафродитка», бригадирша Марья Ивановна, была поколоритней. Коротко стриженная, красивая, в офицерских брюках, заправленных в кирзовые сапоги и лихо сдвинутой набок кубанке — ни дать, ни взять, первый парень на деревне! Все тот же Носов орал на всю контору:

— Марь Иванна… Эта Марь Иванна не одну на Островное отправила!

Это была метафора. Имелось в виду: от нее не одна бабенка забеременела! Марья Ивановна слушала и польщенно посмеивалась. Хотя скорей всего она была просто мужеподобной лесбиянкой. На лагпункте с уважением говорили, что она отбила бабу у самого Степана Ильина — ссученного вора, коменданта. А отбитая и не отпиралась:

— Попробуешь пальчика — не захочешь мальчика!..

Про сколько-нибудь постоянную любовницу зек говорил «моя жена». И она про него — «муж». Это говорилось не в шутку: лагерная связь как-то очеловечивала нашу жизнь. А некоторые, выйдя на волю, становились официальными мужем и женой. Знаю по-крайней мере три такие пары. Постоянная связь уважалась и была выгодна во многих отношениях. Налаживалось какое-никакое семейное хозяйство, к «жене» как правило, другие не приставали — зачем мужикам портить отношения?

Принцип социального равенства в лагерных «браках» соблюдался не всегда. Мог, скажем, конторский придурок выбрать подругу из своего окружения, но чаще бывало по-другому. И приличные женщины, случалось, жили с ворами или суками — страдая от несоответствия. Помню, еще в Ерцеве, когда скотина Толик Анчаков «совал мне в рот и в нос», т. е., материл по-черному, возлюбленная Толика, тихая миловидная ленинградка, смотрела на меня из-за его плеча, вздыхала и глазами извинялась за сожителя.

А на 15-м была вольнонаемная врачиха Ольга… забыл отчество. Она освободилась году в сорок пятом и, как многие, осталась при лагере: бывалые контрики чувствовали, что так

безопаснее. На носу у этой очень славной дамы был глубокий шрам. Мне объяснили его происхождение: оказывается, в бытность заключенной, она жила с блатным. Эта связь стала ее тяготить, и врачиха попросила опера отправить неудобного любовника на этап. Тот узнал об этом, но промолчал. А когда настал час разлуки, пришел к подруге, поцеловал на прощанье и вцепился зубами в нос. Откусил, но не напрочь: удалось поставить на место и сшить. Но шрам остался памятью на всю жизнь…

За свой срок я погостил на трех лагпунктах, где были женщины. И как ни странно, не могу вспомнить ни одного случая изнасилования или убийства из ревности. Драки, понятное дело, случались. При мне одноногий сапожник Сашка, застигнутый в женском бараке соперником, отбивался от него отстегнутым протезом. Да что там отбивался: молотил как цепом и его, и еще двоих, прибежавших на подмогу. Страшно было смотреть — но и приятно: шесть ног спасовали перед одной.

Я и сам однажды подрался «из-за бабы» — но это уже из области комического. В тот вечер в клубе (он же столовая) были танцы — девчата упросили инспектора КВЧ разрешить. Чудеса! Весь день вкалывали на общих, а тут — откуда силенки взялись? — пошли плясать под баян и плясали до самого отбоя. Молодость великое дело, она и в лагере молодость — как в Африке туз.

Я-то и в молодости не умел танцевать, так что в клуб не пошел. А незадолго до того я рассорился с Катькой Серовой, хорошенькой и совершенно бессмысленной девчонкой из Вологды. Но весь лагпункт продолжал считать ее моей барышней. И вот прибегает ко мне в барак ее подружка, кричит:

— Там Витька-парикмахер твоей Катьке по морде дал! При всех!

Ну не стану же я объяснять, что Катька уже три дня, как не моя?.. Надел сапоги пошел в столовую.

У дверей я подождал, пока выйдет Витька, сказал:

— Хочу с тобой поговорить. — И не дожидаясь ответа, дал ему по уху. Он взвизгнул и кинулся бежать — вприпрыжку, как заяц. Мы с Лешкой Кадыковым потом измерили длину первого прыжка по следам на снегу — метра три, не меньше. Шапка с Витькиной головы слетела, я подобрал ее, принес к себе в барак и повесил на гвоздик — как скальп врага. Владелец придти за шапкой побоялся, прислал надзирателя Серова. Тот спросил — с уважением:

— Чем ты его?

— Кулаком.

Серов не поверил: Витькино ухо здорово распухло. Так ведь вмазал, что называется, от души.

По-настоящему парикмахера звали не Виктор, а Мечислав. Чем-то его не устраивало красивое имя. Он выдавал себя за блатного, но позорное бегство сильно подпортило его репутацию — а мою укрепило, совершенно незаслуженно.

Потом мы помирились и я ходил к нему бриться. Иметь бритву, даже безопасную, зеку не положено. Некоторые ухитрялись бриться осколком стекла, но я бы не смог. Витька объяснил:

— У тебя щетина как у кабана, а шкура как у зайца.

Я садился в парикмахерское кресло, не боясь, что он перережет мне горло опасной бритвой. Витька-Мечислав отомстил по-другому. Узнав, что в Ховрине, подмосковном лагере, вместе с ним в сорок пятом году сидела моя невеста Нина, он «вспомнил»:

— Такая блондинистая? Ну, скажу я тебе, она там давала жизни! Сто грамм на трассе, килограмм на матрасе.

Поганый был мужичонка — но мастер хороший.

IX. Не все коту Масленица

Столовая на 15-м могла служить не только танцплощадкой. Иногда она становилась зрительным залом, а случалось — и залом суда. Но об этом после, в самом конце главы.

С головного лагпункта к нам привозили иногда целые спектакли. Не знаю, как назвать труппу: «крепостной театр?». Не моя стилистика. Обойдусь официальным «драмколлектив». А играли они комедии: «Вас вызывает Таймыр» и «Одиннадцать неизвестных» — оперетку, вдохновленную победным турне московских динамовцев по Англии, а нынче напрочь забытую. Но я помню:

Вылетает быстрой птицей на поле он, Томми Мак-Клют.
Кто британского футбола Наполеон? Томми Мак-Клют!..

(А может, не Томми, а Джонни. И не Мак-Клют… Чей текст, не знаю, а музыка, по-моему, Никиты Богословского).

Нам нравилось. Но чаще мы обходились своими силами. Всё, как и в Кодине: одноактные пьески про шпионов, чечетка, пение. К репертуару художественное руководство в лице добродушного старшины-украинца не особенно придиралось. Мне старшина откровенно признался, что в этом деле он не того… (Злые языки утверждали, что это он объявил как-то раз со сцены: «Женитьба Гоголя», сочинение Островского). Его бы самокритичность всем киноначальникам, с которыми мы с Дунским имели дело потом, уже на воле! Отвлекусь, чтобы рассказать: наш министр, раскритиковав «Служили два товарища», особо отметил, что в фильме крайне неудачен образ Буденного.

— Буденного? — удивились мы. — Но ведь там нет Буденного.

— Как нет? А этот, с усами?

— А!.. Так это же безногий комбриг. Вы разве не заметили: у него нет обеих ног.

Слегка смутившись, министр пробормотал:

— Вот это и вызывает недоумение.

Не называю фамилий: старшины — потому, что забыл, а министра помню, но не хочу обижать, человек он был не злой.

А на 15-м, пользуясь нетребовательностью начальства и аудитории, со сцены пели всякую муру. Голосистая Неля Железнова, симпатично картавя, вызванивала:

Там мор-ре синее, песок и пляж!
Там жизнь пр-ривольная чар-рует нас!
То небо синее, мор-рскую гладь
Я буду часто вспоминать!..

Но в бараке, для своих, она со слезой в голосе пела совсем другую песню:

Над осенней землей, мне под небом стемневшим
Слышен крик журавлей всё ясней и ясней.
Сердце просится к ним, издалёка летевшим,
Из далёкой страны, из далеких степей.
Вот всё ближе они и как будто рыдают,
Словно грустную весть они мне принесли.
Из какого же вы неприветного края
Прилетели сюда на ночлег, журавли?
Я ту знаю страну, где луч солнца бессилен…
Там, где савана ждет, холодея, земля
По пустынным полям бродит ветер унылый —
То родимый мой край, то отчизна моя.
Холод, голод, тоска… Непогода и слякоть,
Вид усталых людей, вид усталой земли.
Как мне жаль мой народ, как мне хочется плакать!
Перестаньте ж рыдать надо мной, журавли…{42}

Этот вариант «Журавлей», привезенный вояками с запада, нравится мне куда больше, чем тот, что теперь поет — хорошо поет, согласен — Алла Боянова.

Неля была очень музыкальна и даже любовь крутила с парнем по фамилии Музыка. После лагеря они с Жоркой поженились, о чем написали мне из Владивостока.

Певуний у нас было много, но самым большим успехом пользовалась Тамашка Агафонова. Маленькая, худенькая — чистый воробышек! Мы с Жоркой Музыкой забавлялись тем, что перекидывали ее из рук в руки как мячик. А голос у нее был на удивление сильный, низкий. Тамашка (по-другому никто нашу звездочку не звал — ни Тамарой, ни Томой) была прямо-таки влюблена в Ольгу Ковалеву — замечательную исполнительницу русских песен, которую теперь мало кто помнит. А Тамашка её спокойную, неаффектированную манеру решительно предпочитала эстрадной удали Руслановой. Рассказывая о ней, она никогда не говорила «Ковалева» или «Ольга Ковалева», а только полностью, с придыханием: «Оль-Васильна-Ковалёва». И

пела все песни из её репертуара — и на концертах, и до, и после.

Девчоночке этой не было и двадцати лет. В лагерь она попала за прогул. Своим родителям написать об этом не посмела — как же: не было у них в роду каторжников! И все три года просидела без посылок. А когда освободилась, прислала своей — и моей — подруге Вальке Крюковой письмо.

«Валечка, — писала она — меня дома не ругали, жалели. На работу не пускают, велят кушать. Я уже поправилась на двенадцать килограмм…» Кончалось письмо так: «Валечка, как освободишься — приезжай! Валечка, передай привет Валерию Семеновичу, пускай он нарисует мне морячка и девочку».

И я нарисовал — как и раньше рисовал для неё — картинку. Конторским сине-красным карандашом изобразил матросика и девочку с огромными как у самой Тамашки глазами.

С Валькой — доброй, весёлой, бесхитростной — они очень дружили, хотя та была постарше года на четыре и москвичка. (Тамашка была из Вологды). В самом начале нашего знакомства Валька меня предупредила:

— Валер, на воле я прошла огонь и воду, а в лагере у меня была любовь только с одним человеком. Я тебе честно говорю: если он придёт к нам с этапом, я буду с ним.

Но конец нашему — очень счастливому — роману положил не приезд «одного человека», а совсем другое событие. Валентина, с её пустяковой бытовой статьёй попала под так называемую «частную амнистию». Такие амнистии объявлялись без особой рекламы довольно часто: для беременных, для мамок, просто для малосрочниц. (Пятьдесят восьмой это не касалось).

Нарядчик встретил меня у конторы и показал список — не очень большой.

— Твоя Валька тоже тут.

Я побежал искать её. Ещё издали крикнул:

— Валь, ты на волю идешь!

И — такая странная реакция — она вся залилась краской. Шея, лицо, уши стали пунцовыми. Я и не знал, что такое бывает. От стыда краснеют — но от радости?!

Сразу стали думать, в чем ей идти на свободу. У кого-то из женщин выменяли лиловое вискозное платьишко, еще какое-то шмотье. Раздобыли три лишних пайки хлеба — и простились.

А дня через три я получил письмо — такое же милое, как сама Валька. Вспоминала всё хорошее, писала, что не забудет… Может, и забыла, а я вот почти полвека спустя вспоминаю с нежностью. Оно и понятно: хорошие люди прочно застревают в памяти.

Правда, другого очень хорошего человека с 15-го ОЛПА я

вспоминаю всегда с чувством вины. Он тоже ушел на волю, но это было не досрочное освобождение — совсем наоборот. «Старый Мушкетер», как мы с Лешкой Кадыковом прозвали его, отсидел свой червонец, потом пересиживал лет шесть — и наконец-то дождался.

Работал он писарем у старшего нарядчика, осетина Цховребова, и тот, надо сказать, робел перед своим подчиненным: так независимо и с таким достоинством писарь держался. (А был Цховребов не робкого десятка и свой срок, говорили, получил за то, что на фронте собственноручно расстрелял перед строем троих, которых, как выяснилось, стрелять не следовало. Помню, как Старый Мушкетер решительно отказался сесть с нами за стол, когда мы с Лешкой в гостях у нарядчика собирались встречать Новый 47-й год — с тройным одеколоном вместо шампанского. Большая гадость, между прочим: будто пьешь самогон, закусывая туалетным мылом… Хотя закусывали мы салом из Лешкиной посылки…

Седоусый, с дореволюционной выправкой и петербургским говором, писарь был, я не сомневался, офицером царской армии. Но он о себе говорить не любил, предпочитая вспоминать со мной хорошие старые книги. А на вопрос — кто вы? — отвечал одно:

— Я?.. Пьяница землемер.

В Куйбышевскую область, где он действительно работал до ареста землемером, Старому Мушкетеру предстояло ехать через Москву. Я попросил его зайти к маме, дал адрес и письмо. Но он не зашел.

Письмо опустил в почтовый ящик, а мне написал открытку с извинениями: постеснялся зайти в лагерном облачении. Только тогда я со стыдом подумал: мог ведь, мог приодеть его перед выходом на свободу! У меня кроме отцовского кителя была еще «американская помощь». Предназначалась она не мне: профессору Фриду по разнарядке выделили два пиджака разного размера, присланных из Америки какой-то благотворительной организацией. Пиджачки были б/у: обтрепанные рукава аккуратно подшиты, все пятна уничтожены без следа, на внутренней стороне лацкана заплата не того цвета. Но это внутри, а так очень даже нарядные пиджаки — клетчатые, один зеленый, другой бежевый. Мать прислала их мне. И конечно же, я должен был предложить один из них Старому Мушкетеру — но вот, не сообразил. А две девчонки, его землячки, сообразили: одна сшила кисет, другая набила его махоркой на дорогу…

Американские пиджаки у меня не залежались. Один не помню куда делся, а в другом ушла на освобождение, отбыв свои пять лет, Шура Юрова по прозвищу Солнышко — круглолицая,

бело-розовая, как пастила. Как такое могло сохраниться на лагерных харчах, на общих работах? У нее даже дыхание пахло парным молоком.

Конечно, на 15-м с кормежкой было получше, чем на других лагпунктах. Во-первых, сельхоз, во-вторых, за воровство беспощадно карал поваров заключенный зав. кухней горбун Кикнадзе. И каша была кашей, а не жидким хлёбовом, как у других. Но всё равно: картошка в баланде всегда была черная, гнилая. Круглый год на овощехранилище картофель перебирали, и на нашу кухню попадали только отходы. Настоящих доходяг у нас не было, а голодных — полно. Я слышал как хорошенькая Лидка Болотова делилась с подружками девичьей мечтой:

— Залезть бы, девки, в котел с кашей и затаиться. Повара уйдут, а ты сиди и наворачивай… Я бы хавала, хавала — аж до самого утра!

Это от нее я узнал лагерную переделку старой песни:

Вдруг в окошке птюха показалася.
Не поверил я своим глазам:
Шла она, к довеску прижималася —
А всего с довеском триста грамм.

Птюхой нежно называли пайку…

Кикнадзе (его все звали Сулико. Наверно, Шалико?) удивлялся, почему я не приду к нему, не попрошу лишнего? Но я знал: для других он не даст. А самому мне и посылок хватало. Ну, вообще-то не совсем хватало — что там могла прислать мать с её лаборантской нищенской зарплатой! Но я не хотел попадать в зависимость от хитромудрого зав. кухней. Вот с его земляком Мосе Мгеладзе я подружился. Мосе заведовал продкаптеркой; подворовывал, конечно — но в меру. И мы варили отборные куски «мяса морзверя», отбивая луком отвратительный вкус ворвани. Нам казалось — вполне съедобно! А вот на Инте, когда я попал туда, обнаружилось, что непривычные к моржатине и тюленятине зеки из других лагерей этим блюдом брезгуют. (Про них говорили: «зажрались, хуй за мясо не считают!») И лотки с порциями морзверя, от которых отказывались целые бригады, доставались нашим каргопольчанам.

С Мосе интересно было разговаривать и про еду, и про гурийское многоголосное пение, и про любовь, и вообще про жизнь.

— Ненавижу, кто прощает зло! — говорил он и свирепо скалил все тридцать два белых зуба. — Кто зло не помнит, тот и добро забудет!

Я с ним соглашался. Не было у нас разногласий и по поводу женщин: нам нравились одни и те же.

Понимаю, что к этому предмету я возвращаюсь слишком часто, но напомню: на 15-м женщин было в семь раз больше, чем представителей противоположного пола. Придурки и ребята из РММ, которые на работе не слишком изматывались, не теряли времени, словно предчувствуя: скоро хорошая жизнь кончится. Она и кончилась. В 48–49 годах уже нигде не было «совместного проживания» — отдельно мужские лагпункты, отдельно женские.

Свального греха на нашем 15-м не было. И вообще грязи в отношениях было не больше, чем на воле. Правда, не было и романтики.

Единственная по-настоящему романтическая любовная история, о которой мне известно, случилась не у нас, а в Кировской области, на лагпункте, где был Юлик Дунский. Случилась не с ним: её героями были зечка-бесконвойница и молоденький солдат вохровец. Об их отношениях узнало начальство и девушку законвоировали — так что видеться они уже не могли. А это была нешуточная любовь, такая, что солдатик решил застрелиться. Выстрелил в себя из винтовки, но неудачно. Или наоборот, удачно: только ранил себя. Его положили в больницу за зоной. А его возлюбленная, узнав об этом, подлезла под колючую проволоку и прибежала к нему… Её, конечно, силой оторвали от него, уволокли распухшую от слёз. А стрелка, когда он поправился, перевели в другую часть, подальше… Конца истории Юлий не знал, вряд ли он был счастливым{43}.

У наших на сельхозе отношения глубиной не отличались. Не было конкуренции, не было и ревности. Если и оказывалось, что девушка делит внимание между двумя мужичками, это редко становилось поводом для ссоры. Просто эти двое считались теперь «свояками». Так и приветствовали друг друга при встрече: «Здорово, своячок!»

Одна, выражаясь по-старинному, интрижка сменялась другой отчасти из-за текучести состава. Только начнется роман — девчонку увозят. Хорошо, если на освобождение, как Шуру и Валю, но чаще — на другой ОЛП. Начальство ведь знало от стукачей, кто с кем, и время от времени разгоняло «женатиков» по разным лагпунктам. Причем отправляли на этап того или ту, в ком администрация меньше нуждалась. Например, если она бухгалтер, а он простой работяга, уходит он. А если на общих она, а он агроном — он, естественно, и останется.

Существовал и такой неписанный закон: если во время облавы на женатиков в мужском бараке застукают женщину, ей дадут от пяти до десяти суток карцера, а ему ничего. Если же его

застанут в женском бараке, тогда наказание заслужил он, а на ней вины нет.

Облавы такие проводились часто. Я сам однажды спасся позорным способом: забежал в женскую уборную, присел над очком и закинул на голову полу бушлата, чтоб не видно было небритого лица.

«Встречались» пары и в бараках, и в служебных помещениях — например, в пустой бане, в конторе. У придурков имелось больше возможностей — хотя случались и накладки. Про одну из них расскажу.

Посреди зоны, в отдалении от вахты, стоял маленький одноэтажный домик, точнее, конурка с громким названием «учкабинет». Днем в его единственной комнате вольный агроном по прозвищу Помаш (так он произносил «понимаешь?») обучал девчат премудростям сельхозработ, а ночью там можно было с кем-нибудь из его учениц уединиться.

Заведывал учкабинетом Федя Кондратьев, одноглазый красавец, морской офицер, до лагеря чемпион по гимнастике Черноморского флота. Глаза и части скулы он лишился в бою — но не с фашистскими захватчиками, в с родной милицией. Их было много, а он один — зато пьяный. И решил взять не числом, а уменьем: бросил себе под ноги гранату. Противник понёс серьезные потери, а Федя отделался увечьем и десятью годами срока. Случай был нетривиальный. Даже история Панченко, застрелившего двух милиционеров, меркнет по сравнению с Фединым подвигом. Лагерное начальство им даже гордилось: Федю демонстрировали всем приезжим комиссиям.

— Расскажи, Кондратьев, как ты их!..

И он, поправляя идеально белую повязку на глазу, рассказывал. Так было на обоих лагпунктах, где я с ним пересекался. И всегда для Феди находилась блатная работенка.

Мы с ним приятельствовали, и когда мне потребовалось убежище, Кондратьев с готовностью предоставил в мое распоряжение учкабинет.

Впустил нас с Ирочкой Поповой, моей приятельницей, и запер снаружи на большой висячий замок. Договорились, что ровно через час Федя придет и откроет. Но кто-то стукнул на вахту. Я даже знаю кто: настучал на нас не мой, а Федин враг, зав. баней — до ареста полковник, между прочим. Идея была — сделать Кондратьеву гадость.

И не успели мы с Ирочкой расположиться на столе с образцами сельхозпродукции, как послышались шаги и лязг железа: кто-то открывал замок. Я крикнул:

— Федя, ты? — В ответ ни звука. И я понял что это дежурный

надзиратель Пелёвин, самый вредный из всех. У них на вахте был второй комплект ключей от всех помещений. Хорошо еще, что я — сам не знаю почему и зачем — едва мы вошли, запер дверь изнутри на здоровенный засов.

Отомкнув, надзиратель подергал дверь и, убедившись, что ее не открыть, снова накинул замок и побежал на вахту за подкреплением: ему однажды устроили темную в бараке РММ и он боялся повторения.

Я посоветовал Ирочке одеться, а сам стал в панике ковырять какой-то железкой оконную раму. В отличие от меня Ирочка — вот что значит офицерская дочка! — сохраняла присутствие духа и ясность мысли. Сказала:

— А ты просто выбей раму.

Я разбежался и вышиб хлипкое окошко сапогом. Помог Ирочке вылезти и велел скорей бежать в барак, пока не вернулся Пелёвин. А сам остался ждать неприятностей. Ирочка удивилась:

— А ты чего ж?

Это трудно объяснить, но я ведь высаживал окно для нее, а не для себя: очень не хотел чтоб эту девочку застали на месте преступления. И когда она выбралась наружу, решил, что дело сделано Как-то не подумал, что могу уйти тем же путём. Такой вот заскок. В оправдание своей глупости могу напомнить известный эпизод из биографии Ньютона. Великий физик велел прорезать в двери своего кабинета специальное отверстие для кошки, чтобы она могла приходить и уходить, не отрывая его от работы. А когда у нее родились дети, попросил сделать еще три маленьких лаза — для котят. Аналогия не полная, но тоже пример странной блокировки интеллекта. Не знаю, кто объяснил Ньютону его ошибку, а я последовал Ирочкиному совету, выбрался из учкабинета и помчался в барак — не к себе, а к друзьям, организовывать алиби. Прошло благополучно… А Пелёвина, кстати сказать, через месяц убили — не в зоне и, разумеется, без всякой связи с моим приключением. Пробили голову железнодорожным молотком — видимо, зуб на него имели не только зеки.

Особых злодеев среди лагерных начальников я не встречал. Были хуже, были лучше, попадались и тупые злобные скоты, но на настоящего злодея никто не тянул.

А на 15-м нам, считаю, с начальником просто повезло. Это был шестидесятидвухлетний младший лейтенант Куриченков. Как и вся каргопольская «вохра» он был из местных. Начинал надзирателем, и дослужился до должности начальника лагпункта. Когда вышло распоряжение аттестовать всех, кто был на офицерских должностях, старику навесили на погон одну

звездочку — на большее образования не хватило (по-моему, там и пяти классов не было).

Году в девяностом мы с режиссером Миттой побывали в моих местах — искали натуру для фильма о сталинских лагерях «Затерянный в Сибири». Подходящего ничего не нашли: теперешние «учреждения» выглядят совсем по-другому. Но меня поразило, что начальником маленького лагпункта (сейчас это называется как-то иначе) был полковник, а в подчинении у него ходили подполковники и майоры. Видимо, излишки офицерского состава армия сбывает теперь в исправительно-трудовые заведения. А в наше время на весь Каргопольлаг имелся только один полковник — Коробицын, начальник управления. Интересно, в каком звании нынешние начальники управлений? Наверно, генералы армии, а то и маршалы…

Наш младший лейтенант был мужик не злой и справедливый. К мелким нарушениям режима не придирался, больших строгостей при его правлении не было. Как-то раз он вызвал меня к себе в кабинет и посоветовал поменьше заниматься бабами.

— Конечно, без греха один бог, — хмуро сказал он, глядя мимо меня. — Но надо поаккуратней, чтоб разговоров не было.

Насчет того, что без греха один бог, Куриченков говорил со знанием дела. Его старушка жена, такая же низенькая и круглолицая как он, жаловалась заключенной медсестре Лиде, что дед никак не угомонится, седьмой десяток пошёл, а всё лезет, лезет. (Совсем как Нехама в бабелевском «Закате»: «Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка!» Только Нехама не окала). На наших девчонок старик тоже поглядывал, а было ли еще что — про это не знаю.

Полной противоположностью начальнику был его заместитель Купцов, тоже младший лейтенант. Это равенство в чинах Куриченкова наверняка ранило: заместитель был моложе его лет на сорок с лишним — наглый крикливый мальчишка. Но приходилось терпеть: родной брат Купцова, майор, был по каргопольским меркам большой шишкой, начальником оперчекистского отдела, кажется.

В отличие от Куриченкова, Купцов-младший вечно искал повод сделать кому-нибудь из зеков пакость. Мне — маленькую: привел в бухгалтерию парикмахера Витьку и приказал:

— Этого кудрявого остричь!

(А кудри-то и отросли сантиметра на три, не больше). Другим приходилось хуже.

В очередь с прочими придурками я иногда дежурил в адм. корпусе. Из-за перегородки доносился голос вольнонаемной телефонистки: «Мостовича! Мостовича! Дай Кругличу!» Иногда

она принималась напевать:

Мама, цаю, мама, цаю, цаю, кипяцёного,
Мама, дролю, мама, дролю, дролю заключённого!..

(В тех краях смешно путают «ц» и «ч», меняя их местами. Я своими глазами видел бумагу, адресованную в Череповеч).

Но мне и более интересные вещи случалось слышать во время тех дежурств. Например, спор Купцова с командиром дивизиона охраны старшим лейтенантом Наймушиным.

Во время шмона на вахте у девчонки за пазухой обнаружили три килограмма унесенной с поля картошки.

— Судить будем! — кричал Купцов. — Судить!

А Наймушин, фронтовой офицер, урезонивал его:

— Не пори хуёвину. Ну, получит девка по году за килограмм. Это хорошо?.. Дай десять суток — и хватит с неё.

На том и порешили… И другой их спор я запомнил.

Расконвоированные зеки обязаны были возвращаться в зону к определенному часу. И вот на поверке выяснилось, что один, бесконвойник-прораб, отсутствует.

— Сбежал! — кричал Купцов. — Давай, объявляй его в побеге!

А Наймушин отвечал негромким ленивым голосом:

— Не пори хуёвину. Куда он сбежит? Ему через неделю на освобождение идти.

— А где он?! Ты знаешь?

— Знаю. На Островное пошел, к своей бабе. Прощаться.

У прораба действительно на Островном, лагпункте «мамок», готовилась рожать его подруга.

Вообще-то побеги изредка случались: «ваше дело держать, наше дело бежать». Уйти с 15-го было не слишком сложно. Нестрогий режим, вместо сплошного забора — проволочное ограждение. Один молоденький вор по-пластунски подлез под колючую проволоку — и с концами. Поймали его случайно: в Вологде на базаре столкнулся нос к носу с оперативником, знавшим его в лицо.

Второй побег я описал со всеми подробностями в сценарии «Затерянный в Сибири». Семеро блатных договорились спрятаться от развода. Их отыскали и вывели «доводом» — т. е., отправили догонять свою бригаду в сопровождении одного вохровца. Это входило в их планы. В лесу один из воров, симулируя мучительную боль в желудке, повалился на землю и стал кататься по хвое. Подкатился к ногам конвоира, обхватил его за сапоги и повалил. Налетели остальные, обезоружили стрелка — он и не

сопротивлялся, только просил не убивать. Большинством голосов — шесть против одного — решили не пачкать рук кровью. Запихали ему в рот кляп, привязали к сосне и двинулись дальше. Ножом, отобранным у вохровца, вожак строгал палочку. Шел и строгал, а остальные держались чуть поодаль — такая ничем не приметная компания деревенских парней. Но подлость натуры взяла своё: не слушая уговоров, вожак вернулся и тем же ножом перерезал связанному конвоиру горло. Дикое, совершенно бессмысленное убийство… Их поймали в той же Вологде, поэтому привезли обратно живьём и судили. Этим всем дали по четвертаку.

Ст. лейтенант Наймушин, не в пример Купцову, «понимал сорт людей». Блатные одно, бесконвойный прораб-бытовик совсем другое…

Ко мне Наймушин испытывал — не знаю, почему — явную симпатию. Может быть, ему нравилось, что в моем голосе он не слышал заискивающих ноток, какие неизбежно появляются, когда зек разговаривает с начальством. (Когда я обещал Куриченкову вести себя скромнее, эти нотки в моем голосе были, сам слышал. Но от командира дивизиона охраны я мало зависел: ведь не собирался же я уйти в побег?) И Наймушин часто заходил в бухгалтерию специально, чтобы поболтать со мной. Подсаживался к моему столу, расспрашивал о Москве, о моей прошлой жизни. Как-то раз сказал:

— Вчера вечерком хотел зайти потолковать. Заглянул в окошко — а ты сидишь, с Ленкой разговариваешь. Ладно, думаю, не стану им портить настроение.

Эта Ленка Ивашкевичуте, хорошенькая литовка, как-то раз мыла полы на вахте. Наймушин, чтоб не мешать, присел на край стола. По Ленкиным словам, он был сильно выпивши. Сидел и вполголоса разговаривал сам с собой:

— На хуя мне жена, которая детей рожать не может?.. Брошу, пойду крутить мозги заключенной.

Мне показалось, что Ленка ничего не имела бы против, если б это ей он пошел крутить мозги: крепко сколоченный, с неулыбчивым смуглым лицом, старший лейтенант был очень хорош собой.

Жену его Августу мы тоже знали, она работала кассиром. Заключенные получали не зарплату, а что-то вроде красноармейского денежного довольствия «на махорку» — несколько рублей, меньше десяти, по-моему.

Кроме этих денег и зарплаты вольным, Августа, случалось, выплачивала вознаграждение местным доброхотам за содействие в поимке беглеца — как всё равно премию за истребленного

волка.

Один такой ловец, узнав, что сумму вознаграждения урезали против прежних лет чуть ли не вдвое, объявил:

— Хуй я им буду ловить! За такие деньги пускай сами имают!

Августа не выдержала, крикнула из своего окошка:

— Иди, иди! Скажи спасибо, что и это получил.

А я подумал про сибирского беглеца из старой песни: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни дарили махоркой»… Где те крестьянки, где те парни?!.

Семейные проблемы Августы у нас в бухгалтерии широко обсуждались: её любили. Она действительно не могла иметь детей и от этого страдала. Её грустную улыбку не портил даже сплошной ряд стальных зубов. Августа охотно брала наши письма, чтобы отослать их, минуя лагерную цензуру, приносила из дому пирожки, угощала. Думаю, ни она, ни ее муж не принимали всерьёз обвинения и срока, которые нам навесили — кому трибунал, кому «тройка», кому ОСО.

Во всяком случае, меня, с моим режимным восьмым пунктом, Наймушин на свой риск выпустил за зону, когда Шура Юрова — Солнышко — уже свободной гражданкой пришла к нашей вахте, попрощаться. Так что теперь я могу похваляться, что и у меня был роман с вольняшкой — правда, короткий, не длиннее часа. (Нас приютил у себя в инструменталке бригадир «газочурки» однорукий Виктор Соколовский. До чего же лихо управлялся он с пудовыми чурбанами, закидывая их единственной рукой под циркульную пилу! Я бы и двумя не смог).

А еще раньше старший лейтенант разрешил мне сходить с бригадой РММ на чужой ОЛП: там в центральном лазарете лежала другая Шура, Силантьева. Я навестил ее, принес передачку.

В конце лета случилось ЧП, и я — опять-таки властью Наймушина — был отправлен без конвоя на сенокосную подкомандировку.

ЧП было несерьезное: бухгалтер подкомандировки Сашка Горшков вообразил, что у него триппер. Он впал в панику, не мог работать, сидел целыми днями и разглядывал воспаленное место. Начислять питание сотне женщин, посланных на сенокос, стало некому. На выручку бросили меня. Отправили без охраны: в разгар страды конвоиров не хватало. Дорогу взялся показать бесконвойный нормировщик Носов.

До подкомандировки было километров двенадцать. Мы шли лесом, собирая по дороге ягоды. Заглянули к лесничихе, попили парного молочка. И я впервые понял, как замечательно красив северный лес, в котором я прожил уже три года. Раньше не

замечал — и когда через месяц возвращался с сенокоса вместе с бригадой, в сопровождении конвоира с винтовкой («под свечкой») опять стал равнодушен к красотам природы.

На сенокосе я был царь и бог. Жил в отдельной кабинке, пил молоко — не такое вкусное, как у лесничихи. Коровы были доходные, настоящие лагерницы. Некоторые при всем желании не давали и двух литров в день — меньше, чем коза.

На сенокосе к моим бухгалтерским обязанностям неожиданно добавилась довольно деликатная миссия. Мне позвонили с 15-го и попросили собрать у женщин из бригады косарей подписи в пользу бригадирши: на нее завели дело по обвинению… не помню в чем, помню только, что она была не виновата. Вся бригада с готовностью подтвердила это, не хватало только одной подписи.

И тут я впервые столкнулся с явлением, о котором раньше знал понаслышке. Оказывается, многие из тех, кто пострадал за веру — чаще всего это были сектанты, — наотрез отказывались ставить свою подпись под казенными бумагами. Упирались так, будто их понуждали продать душу дьяволу. Понимаю: в некоторых случаях так оно и было, но здесь-то, в истории с бригадиршей, дело было чистое. И вот мне надлежало уговорить упрямую монашку, чтобы она поступилась принципами.

Она, как выяснилось, монашкой не была — но во всех лагерях, куда я попадал, монашками называли женщин верующих и демонстративно придерживающихся религиозных обрядов. Моя подопечная была из какой-то неизвестной мне секты. Малообразованная, она не умела толком просветить меня.

Монашеством в их секте и не пахло. Моему вопросу, разрешались ли отношения с мужчинами, она удивилась: разрешались, очень даже разрешались. Она заметно оживилась при воспоминании — нестарая была и довольно миловидная. Разговаривал я с ней уважительно и дружелюбно. Настороженность постепенно ушла, и на второй день наших собеседований мои доводы подействовали: подписать *эту* бумагу не грех, а наоборот, христианская обязанность. Не дай бог, навесят новый срок бригадирше! Громко, как иностранке, я прочитал ей — в который уже раз — текст объяснительной, и «монашка» сдалась, подписала. Этой победой я очень гордился — много больше, чем своей ролью в другом судебном разбирательстве, о котором скоро расскажу.

А пока что упомяну два события, которые нарушили тихую жизнь 15-го за время моего отсутствия.

Первое — «шумок». Это по-лагерному нечто вроде бунта. Шумком называли и серьезные дела, вроде забастовки воркутинских шахтеров-зеков в 53 году. Но на пятнадцатом было

совсем другое.

В зону завели и временно разместили в пустующем бараке этап, состоящий в основном из ворья. От нас их должны были сразу препроводить на штрафной лагпункт Алексеевку. А они уперлись, не захотели идти на этап. Забаррикадировались в бараке и приготовились к обороне: разобрали печку на кирпичи. И когда «кум», пришедший уговаривать их, наклонился к окну (барак был полуземлянкой), в скулу ему засветили половинкой кирпича.

После этого в зону нагнали вооруженных синепогонников. Съехались чуть не все офицеры из Управления. Голубые фуражки, золотые погоны — Лешка Кадыков рассказывал: прямо как васильки во ржи!.. Началась стрельба. Двоих подранили, остальные попрятались под нары, оставив наверху фраеров. Но к вечеру блатные решили сдаться. По одному их выводили из барака и в наручниках отправляли за зону. Этим шумок и кончился.

А второе событие было трагикомическое. Кто-нибудь из читателей еще помнит первую послевоенную денежную реформу. Тогда разрешено было поменять старые деньги на новые из расчета один к одному — до определенной суммы и до определенного дня. Нас всё это мало тревожило: у большинства денег не было ни копейки. Но нашелся среди нас и богач, бесконвойный скотник. У него скопилось что-то вроде шестидесяти рублей.

Патологически скупой, он держал свои сбережения зарытыми в землю — где-то за зоной. И надо же такому случиться, что как раз перед реформой скотника за какое-то прегрешение законвоировали. Выйти за зону он не мог, а чтоб доверить кому-то свой капитал — об этом и речи не было: обменяют, а ему не отдадут!.. Прошёл срок, отведенный для обмена, шестьдесят рублей превратились в шесть. И банкрот повредился в уме. Ходил по зоне черный от горя, что-то бормотал себе под нос — а под конец повесился в недостроенной бане.

Это было единственное лагерное самоубийство, о котором мы с Юлием знали — и такое нелепое{44}. Вообще-то, казалось бы: где самоубиваться, если не в лагере? Доходиловка, безнадёжность, изнурительная работа… А вот ведь, мало кто решался свести счёты с жизнью — такой тяжелой жизнью. Правда, и на воле больше всего самоубийств в странах сытых и благополучных. Так утверждает статистика — а психологи пусть объяснят, в чем тут дело. Я не берусь.

Теперь, когда всё далеко позади, могу сказать, что время, проведенное на 15-м ОЛПе было самым безбедным отрезком моей

лагерной жизни. Да и вообще особых бед на мою долю не выпало — по сравнению с другими.

Когда несколько лет назад опубликованы были мои воспоминания о Каплере и Смелякове («Амаркорд-88»), двое моих близких друзей — один классный врач, другой классный токарь; один сидевший, другой несидевший — попрекнули меня:

— Тебя послушать, так это были лучшие годы вашей жизни. Писали стихи, веселились, ели вкусные вещи…

(Нечасто, но ели: симпатичный грузин Почхуа угостил меня хурмой из посылки — а я и не знал, что есть такой фрукт. В лагере же впервые я ел ананас: мама прислала баночку «Hawaiian sliced pineapple»).

— Люди пишут о лагере совсем по-другому! — сердились мои друзья.

Что ж, «каждый пишет, как он дышит»{45}. Нет, конечно не лучшие годы — но самые значительные, формирующие личность, во всяком случае, очень многому меня научившие. И по счастливому устройству моей памяти — я уже говорил об этом — я чаще вспоминаю не про доходиловку, не про непосильные нормы на общих, а про другое.

Прочитавши про «малинник» эти два моих друга наверно обругали бы меня и за то, что хвастаюсь победами над девицами. Но во-первых — разве это победы? Я же объяснил: «браки по расчету»{46}. А влюбилась в меня за всё время только одна, рыженькая Машка Рудакова. Так ведь я о ней и не писал.

Во-вторых, уже и ругать меня некому: один, Витечка Шейнберг, с которым я дружил с первого класса, год назад умер, другой, мой лагерный керя Сашка Переплетчиков, уехал в Израиль и токарничает там — ему не до моих писаний.

А в третьих, — райская жизнь на 15-м рано или поздно должна была подойти к концу — и подошла (раньше, чем мне хотелось).

Вскоре после моего возвращения с сенокоса мне опять пришлось принять участие в следствии и — на этот раз — в судебном процессе.

Проворовалась очень славная девка, бухгалтер продстола Галя. Как сказано было в обвинительном заключении, «вступив в преступный сговор» с землячкой-бригадиршей она довольно сложным способом ухитрялась по два раза выписывать питание на бесконвойных, работавших за зоной на дальних участках: один раз сухим пайком, который они получали сами, а второй раз — по общебригадному списку. Тут уж супы и каши доставались девчатам из бригады. Точно так же, в двойном количестве, выписывался и сахар.

В целом, ущерб, нанесенный государству сводился к четырем килограммам сахара и скольким-то порциям первых и вторых блюд. Тем не менее дело было возбуждено и грозило нешуточными сроками самой Гале, бригадирше и еще одной участнице преступления, их подружке Ниночке — та, по простоте душевной, в ведомостях на получение сахара расписывалась за всех сухопайщиц своей фамилией. Эту третью сообщницу мне было особенно жалко: срок у Нины был крохотный (на воле что-то не так сделала с продовольственными карточками), была она еще девушка — «нетронутая», говорили, гордясь ею, подруги — и надеялась в этом же состоянии вернуться домой. Её мне удалось отбить: велел двум другим сказать следователю, что её подпись они сами подделали. Это только бревно нести легче втроем, чем вдвоем, объяснил я, а в уголовном деле чем больше участников, тем длиннее срок. Они мне поверили.

Судебное заседание состоялось в зоне, в той самой столовой-клубе. Еще одним обвиняемым — халатность, ст. 111 УК, если не ошибаюсь — оказался вольнонаемный бухгалтер Ромашко.

Вольнонаемным он стал совсем недавно: отбыл срок по пятьдесят восьмой и остался работать при лагере (так многие делали — от греха подальше). Ромашко выписал семью, ждал их приезда — и вот теперь ему светил новый срок — небольшой, года два-три, но всё-таки. При этом вины за ним не было никакой. Да, не доглядел — но не мог же он сидеть и по часу проверять каждую ведомостичку? Тем более, что подписывал их, как правило, его заместитель Костя Хаецкий — старый лагерник, стукач и вообще пакостный мужик. Свою точку зрения я изложил и следователю, и на суде, когда был вызван в качестве свидетеля.

— Тут Фрид выступает адвокатом, выгораживает Ромашко! — сердился прокурор. — Не выйдет!

А Хаецкий на всякий случай сбегал в «хитрый домик» к куму. Что он там наговорил про меня, не знаю. Но только после суда (девочкам навесили по несколько лет, Ромашко получил год условно) меня сняли с работы и отправили этапом на Чужгу, серьёзный лесозаготовительный ОЛП-9. Прощай, сладкая жизнь!..

X. Чужга, проездом

С каждым лагпунктом, где я побывал — а их, сейчас посчитаю, было девять — связана какая-нибудь мелодия. С Чужгой, где мне предстояло пробыть недолго, это, как ни странно, гавайский вальс-бостон:

> Honolulu moon, now very soon
> Will come a-shining
> Over drowsy blue lagoon…

Нет, гавайцев там не было. Хотя население ОЛПа-9 было интернациональным: русские, западные украинцы, поляки, эстонцы, литовцы, латыши, немцы…

Вместе с Ираклием Колотозашвили, научившим меня словам и мелодии «Honolulu moon», мы поражались бесстыдству властей: собрали в лагеря чуть не пол-Европы, хитростью и обманом выманили из западных зон Германии власовцев и вообще всех побывавших в немецком плену (кажется, это будущий министр ГБ, генерал Серов, ездил по Тризонии, уговаривал), а по радио гремят бодрые патриотические песни:

> …Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!..
> …Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна!..

И еще:

> Бананы ел, пил кофе на Мартинике,
> Курил в Стамбуле злые табаки,
> В Каире я жевал, братишки, финики, —
> Они, по мненью моему, горьки.

А для тех, кто не сразу понял, почему вдруг финики горьки, разъяснялось повтором строки:

> Они вдали от Родины горьки!..

Нет, лучше уж споем в бараке про луну над Гонолулу… Хотя врать не стану: и те мелодии мне нравились.

Колотозашвили был кавэжединец. Для тех, кто не знает, вкратце объясню: КВЖД, железную дорогу построенную русскими в Маньчжурии еще при царе, советская власть после некоторого упирательства продала китайцам. Часть русских специалистов вернулась домой еще в тридцатых — и почти все они были посажены в пору ежовщины. А до тех, кто оставался в Китае, чекисты добрались после победы над Квантунской армией в 1945 году. Если мне не изменяет память, это именно Колотозашвили, прибыв в Каргопольлаг, встретился со своим родным братом, арестованным до войны и уже досиживающим срок. Принял, можно сказать, эстафету.

Меня Ираклию рекомендовал запиской другой кавэжединец, Виктор Иванников. С тем мы подружились на 15-м. Он был страстным любителем театра. Проживший всю жизнь в Китае Виктор лицом был похож на китайца. И не он один: на китайца смахивал наш интинский друг, поручик Квантунской армии Свет Михайлов. Похож на сына поднебесной и московский профессор-китаист Владислав Сорокин. Мы с Дунским искали и не смогли найти объяснения этому феномену.

Но Ираклий Колотозашвили был похож на того, кем был: на интеллигентного грузина. Он сейчас в Москве, время от времени мы перезваниваемся.

Настоящий джентльмен, с изысканными манерами и петербуржским говором, он пользовался на Чужге всеобщим уважением.

Сразу же по прибытии на Чужгу я очутился на общих. Наша бригада прокладывала железнодорожную колею. На мою долю выпало разносить по всей длине участка шпалы. Они, на беду, были местного производства, нестандартные. Двое работяг «наливали» — брали шпалу с земли и наваливали мне на спину. Я горбился под чугунной тяжестью, но кое-как дотаскивал ношу до места. Один только раз попалась такая, что я не совладал: она пригнула меня чуть не до земли и я, не дойдя шагов десяти, сбросил её — под неодобрительные взгляды собригадников. Ничего, подняли, налили, и я понёс эту гадину дальше.

С непривычки я здорово уставал, и Ираклий, который на Чужге был влиятельным придурком — экономистом, кажется — посоветовал мне передохнуть. С его помощью я попал на несколько дней в лазарет.

За эти несколько дней произошло два чрезвычайных события.

В мою палату положили с высокой температурой — 39 с лишним — совсем молодого парнишку. Врачиха никак не могла поставить диагноз: не кашляет, в легких чисто, стул нормальный — а температура держится и даже растет. Загадка разрешилась на

третий день. Малолетка пошел в уборную (она была в помещении), долго не возвращался — и вдруг из под двери вытекла струйка крови. Вышибли дверь и увидели: парень лежит без сознания в луже крови.

Оказалось, он сделал себе мастырку: продернул под кожей на икре нитку, вымоченную в какой-то гадости. Образовалась чудовищная флегмона, а он молчал — боялся, что подлечат и опять выпишут на общие. И вот прогнила стенка артерии, хлынула кровь.

Врачиха, не имевшая большого лагерного опыта, когда в первый раз осматривала, выстукивала и выслушивала больного, раздела его только до пояса — заставить снять штаны она не догадалась. А как догадаешься, если не признается, где болит?.. Теперь его уложили на спину, обработали рану и подвесили ногу к потолку. Так он пролежал до конца моего пребывания в лазарете.

А за стенами санчасти тем временем происходили события, не менее драматические.

Как все войны на свете, здешний вооруженный конфликт начался с пустяка: какой-то блатарь стал заедаться на разводе с работягой из бригады лесорубов. За того вступились товарищи, и агрессор, получив по морде, отступил. А вечером, когда лесорубы вернулись с работы, подстерег своего обидчика в сенях барака и рубанул его топором. По счастью, топор при замахе стукнулся о низкую притолоку и удар не получился, пришелся вскользь. Раненого отвели в лазарет, перевязали — но на этом события не кончились, а только начались.

Дело в том, что в лесорубной бригаде все ребята были, как на подбор: крепкие, дружные, уверенные в себе. Лесоповал — это, наверно, самая тяжелая из всех тяжелых работ. Особенно зимой: стоишь, согнувшись в три погибели, и лучковой пилой в одиночку пилишь и пилишь толстенную сосну. Причем высокий пенек оставлять нельзя, а снега навалило столько, что вязнешь по пояс. А рабочий день длинный, а норма большая… Я сколько-то времени поработал на подхвате, сучкорубом — и то, вернувшись в зону, еле дополз до нар, валился спать. Да что там говорить! Ясно, что на лагерном пайке в лесу долго не протянешь…

Так вот, та бригада, о которой речь, состояла сплошь из «посылочников» — в большинстве своем прибалтов. Вкалывали они на совесть, и лагерное начальство их подкармливало: подкидывало к домашнему салу из их посылок три дополнительных (три порции каши), 950 граммов хлеба вместо гарантийки (650 гр.) и, изредка — премиальные «запеканки» (та же каша, только густая и слегка поджаренная на противне).

— Три пекканки рамбовал! — похвастался как-то Петьке Якиру его приятель финн-лесоруб. (Т. е., получил и утрамбовал три запеканки. Но я отвлекся).

Бригадой лесорубов начальство гордилось: это была как бы трудовая гвардия Чужги. Так они и воспринимали себя. И давать своих в обиду не собирались.

Блатных на Чужге было много, их боялись и предпочитали с ними не заводиться — но только не эта бригада.

Бригадир пошел на вахту и предупредил, что в зоне будет рубка. Просил не вмешиваться: сами разберемся!.. Надзор обещал соблюдать благожелательный нейтралитет.

В санчасти, узнав о готовящейся варфоломеевской ночи, всполошились. Особенно волновался заключенный фельдшер, Паша-педераст{47}. Его нежной душе ужасна была мысль о предстоящей сече. Он заранее заготовил перевязочный материал. В палатах и в коридоре лазарета поставили дополнительные койки, устелили пол матрасами. В том, что урки, с их беспредельной жестокостью, одержат верх над фраерами, никто не сомневался.

Часам к одиннадцати в санчасть доставили первого раненого. Его волокли за руки и за ноги, стриженая голова стукалась об пол, а на шее болтался здоровенный медный крест. Естественно, это был не священнослужитель, а блатной. Не думаю, что кто-нибудь из воров верил в бога, но носить кресты и выкалывать на спине или на груди распятие было так же модно, как надевать на зубы — даже на здоровые — «рыжие фиксы», т. е., золотые, а то и латунные коронки.

Итак, первым пострадавшим оказался урка. Мы ждали, что же будет дальше. А дальше было то же самое: одного за другим в санчасть приносили и приводили израненных, избитых в кровь воров. Некоторые, правда, прибегали сами. Прибегали они и на вахту, спасаясь от разъяренных преследователей: к лесорубам присоединились и другие работяги, у кого с ворьём были старые счеты. Блатных били, чем попадя: лопатами, дрынами, случайными железяками.

В лазарете, понятное дело, в эту ночь никто не спал. К рассвету мы убедились с удивлением и радостью, что среди фраеров пострадавших не было. А из блатных испугом отделался только один: он забежал на кухню, залез в пустой котел и накрылся сверху крышкой. Так и просидел до утра.

Не так давно один приблатненный московский юноша, услышав от меня эту историю, не поверил:

— Фраера? Воров?! Не могло этого быть.

Могло, не могло, а было.

XI. Штрафняк

Сражение на Чужге вошло в историю Каргопольлага. Из работяг никого не наказали: зачинщиками выгоднее было считать не победителей, а побежденных. Воспользовавшись поводом, администрация ОЛПа-9 решила сплавить блатных на штрафной лагпункт Алексеевку. С их этапом ушел на штрафняк и я.

На Алексеевку свозили нежелательный элемент со всех лагпунктов Каргопольлага — в основном, воров-рецидивистов. Это был особый мирок, не похожий ни на «комендантский», ни на 15-й, ни даже на Чужгу. О нем есть, что порассказать. Но поскольку пребывание на новом месте начинается, по лагерным законам, с бани, с бани я и начну.

Водопровода у нас не было. Горячую воду напускали в огромную, трехметровой высоты, кадку с краном. У крана дежурил доходяга дневальный: его обязанностью было следить за соблюдением нормы. Каждому моющемуся полагались две шайки воды, не больше. Деревянные шайки были довольно вместительны — но всё равно не хватало. И дневальный за небольшую мзду — скажем, за щепотку табаку — разрешал набрать лишнюю шайку. А без взятки не разрешал.

Там я впервые постиг основу чиновничьего благоденствия: главное — иметь возможность запретить. Взятку берут не за содействие, а за непротиводействие.

Авторитетные воры, разумеется, пользовались водой в неограниченных количествах. Каких только татуировок я не насмотрелся в алексеевской бане! Кроме обязательных распятий, кинжалов, обвитых змеей, орлов с голой дамой в когтях и клятвенного обязательства «Не забуду мать родную», очень популярна была композиция из колоды карт, бутылки и тюремной решетки с пояснительной подписью: «Вот что нас губит». Реже попадалась другая композиция: на одной ягодице мышка, на другой кошка с протянутой лапой. При каждом шаге мышь норовит юркнуть в норку, а кошка пытается её поймать.

Наколки на запястье, на тыльной стороне ладони и на фалангах пальцев удивить никого не могут, а вот татуировку на лбу я видел только один раз: «заигранному» вору, т. е., не имевшему, чем расплатиться, его партнеры по стосу (штосс пушкинских времен) выкололи на лбу слово из трех букв. По прошествии времени он эти три буквы попытался вытравить — но всё равно, «икс» и «игрек» явственно просвечивали.

В бане на Алексеевке имелась парная. Там воры парились и занимались рукоблудием.

Спустившись по деревянной лесенке, красный и разомлевший блатарь сообщил мне, счастливо улыбаясь:

— Сейчас два раза Вальку Штранину пошворил!

Пошворил он, конечно, не Вальку Штранину, вольную телефонистку, которую видеть мог только через проволоку, а «Дуньку Кулакову» — так это называлось.

Этого занятия блатные совершенно не стеснялись, мастурбировали прилюдно и даже удивлялись, если кто-то из них воздерживался. Они приставали к Грише Немчикову по прозвищу Заика:

— Гриш, ты же тоже дрочишь, просто стесняешься. Скажи нет?

Грише надоело отнекиваться. Он вытащил член, проделал всю операцию и сказал:

— Ну, видали? Не стесняюсь я, просто мне не интересно.

К слову сказать, Заика был «полнота», один из самых уважаемых «законников» — как считалось, последний честный вор. И вдруг, уже на Инте, мы узнаем, что Гриша, оказывается, давно стучит на своих оперу. Я даже огорчился: вот тебе и лучший из них!..

С баней — правда, не алексеевской, а в кировском лагере, где Юлий Дунский отбывал первую половину срока, — связано и такое воспоминание. Женскую бригаду возглавляла там молодая красивая татарка Аля Камалова. Была она очень целомудрена и стеснительна: даже в баню вместе со своими девчатами не ходила. Для неё, как для лучшего бригадира, топили отдельно. Об этой ее особенности знал весь лагерь. И один из блатных побожился, что увидит её голую. Заранее залез в кадку с теплой водой, затаился, а когда Аля разделась и приготовилась мыться, вор вынырнул из кадки — как чертик из табакерки. От неожиданности и испуга девушка совсем лишилась соображения: в панике выскочила за дверь и как была голышом помчалась через всю зону в свой барак.

(В фильме «Затерянный в Сибири» это комическое происшествие превратилось в драматический эпизод: там блатные пытаются изнасиловать в бане начальницу санчасти).

Блатные публика пакостная, с совершенно опрокинутой моралью. На штрафняке это стало мне еще понятнее. Хотя здесь они были не так опасны — очень жесткий режим Алексеевки разгуляться ворью не давал.

В массе своей они смекалисты, находчивы, и, как я уже упоминал, даже артистичны. Встретив меня, идущего по зоне с котелком картошки, пожилой аферист Кузьменко мгновенно сориентировался по офицерскому кителю, который был на мне, и

доверительно спросил:

— Товарищ, как военный человек военному человеку — где взяли картошечку?

Картошечку принесли ребята из-за зоны. А о разговоре этом мне напомнила реплика Гусмана в Думе: «Владимир Вольфович, как православный человек православному человеку…»

Если вор хотел войти в доверие к фраеру, он при знакомстве выдавал себя за его земляка:

— Ты из Тулы? (Воронежа, Киева, Владивостока и т. д.) И я… Я на Кирова жил, а ты?

Улицы Кирова, Ленина, Сталина, а также Красноармейские и Октябрьские имелись во всех городах Союза. А у землячка легче выпросить луковицу из посылки или даже шматок сальца.

О живости воровского ума свидетельствует и их язык. (Опять я вступаю в спор с латвийским ненавистником фени — см. примечание к гл. «Церковь»).

Почему лезвие безопасной бритвы называется «писка»? Есть на фене глагол «пописать» — изрезать в кровь. Второе название лезвия — «мойка». «Пополоскать» — значит обворовать, потихоньку прорезав карманы. По-моему, тоже очень образно. Наган называется «нагоняй». Разве плохо?.. Ну, «лохматка, косматка, мерзавка» — о вожделенном и трудно доступном предмете — это уже послабее. Зато как играет феня словами! Самоназвание этого народа «жуковатые». Отсюда игривое «жуки-куки», а там уж и «коки-наки» — переиначенная ради смеха фамилия знаменитого летчика.

Что-то детское есть в воровской дразнилке: «Черти, черти, я ваш бог: вы с рогами, я без рог». (Напомню: воры — люди, а мы, все остальные — черти, рогатики). А в страстной божбе «Руби мой хуй на пятаки!» мне слышится что-то шекспировское. Как и в крике отчаянья: «Ну что мне делать? Вынуть хуй и заколоться?!.»

Этимология некоторых выражений мне не ясна. Про испугавшегося — независимо от пола — говорили: «А, замынжевала, закыркала!» Может быть, цыганское? Надо бы проверить… Непонятно, а выразительно.

Любопытно, что песни которые слагали и пели воры, чаще всего обходились без фени и мата. Любимый жанр — трагически-романтическая баллада. Например, про отца прокурора, узнавшем родного сына в молодом воре, приговоренном с его помощью к расстрелу. Или такая:

Я буду являться к тебе привиденьем,
Я буду тревожить твой сон —
Тогда ты увидишь кровавые раны

И вспомнишь преступный закон.

Одну, услышанную на Алексеевке, приведу полностью:

Луна озарила зеркальные воды,
Где, деточка, гуляли мы вдвоем.
Так тихо и нежно забилось мое сердце —
Ушла, не спросила ни о чем.
Я вор, я злодей, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить.
Не лучше ль нам, детка, с тобою расстаться,
Друг друга навек позабыть?
Пойми, моя детка, что я ведь не сокол,
Чтоб вечно по воле летать,
Чтоб вечно тебя, моя милая детка,
Ласкать и к груди прижимать.
Гуляй, моя детка, пока я на свободе,
Пока я на воле — я твой.
Тюрьма нас разлучит,
Я буду жить в неволе,
Тобой завладеет другой.
Я срок получу и уеду далёко,
Далёко — быть может, навсегда.
Ты будешь жить богато, а может, и счастливо,
А я уж нигде и никогда.
Я пилку возьму и с товарищем верным
Решетку в окошке пропилю,
Пусть светит луна своим продажным светом —
К тебе я, моя детка, убегу.
Но если заметит тюремная стража —
Тогда я, мальчишечка, пропал:
Тревога и выстрел, и вниз головою
Сорвался с карниза и упал.
И кровь побежит непрерывной струею
Из ран в голове и на груди.
Начальство придет и склонится надо мною —
О, как ненавистны мне они!
В больнице у Газа, на койке больничной
Я буду один умирать,
И ты не придешь с своей лаской привычной,
Не станешь меня целовать…

В ходу были и романсы, которые пели еще наши мамы и

бабушки — с небольшими переделками. Начиналось по-старому:

> Не для меня цветет весна, не для меня Дон разольется,
> И сердце радостно забьется восторгом чувств не для меня…

Перечислив еще несколько недоступных ему радостей, в т. ч. «деву с черными бровями», лирический герой объяснял:

> А для меня — народный суд. Осудят сроком на три года,
> Придет конвой, придет жестокий и отведут меня в тюрьму.
> А из тюрьмы большой этап угонят в дальнюю сторонку.
> Свяжусь с конвоем азиатским — побег и пуля ждут меня!..

Я всегда подозревал, что и широко известная «Течет речка» — это переделка какой-нибудь старой казачьей песни. Ну откуда у современного жулика «конь ворованный, сбруя золотая?» И совсем недавно в книжке Рины Зеленой прочитал, что в молодые годы они пели:

> Течет речка по бережку, бережка не сносит.
> Молодой казак, молодой, командира просит…

А у воров, в одном из вариантов:

> Течет речка, да по песочку, золотишко моет,
> Молодой жульман, молодой жульман начальничка молит…

С блатными я общался по необходимости: как ни как, жили в одном бараке. Дневальным у нас был немец из военнопленных. В лагерях для военнопленных легко было заработать уголовную статью — например, украв что-нибудь на разгрузке вагона с продовольствием. Сидели с нами и другие немцы, осужденные как военные преступники, но наш был из проворовавшихся. Наш Фриц (настоящего его имени никто не знал) то ли из упрямства, то ли по тупости ухитрился не выучить за все годы ни одного русского слова. И все жильцы барака, даже блатные, научились командовать им по-немецки: «Фриц, вассер!.. Фриц, фойер!.. Фриц, зитц!..»

В воровском бараке — «шалмане» — я только ночевал[48]. А время проводил и водил дружбу с фраерами. С большинством моих новых знакомых мне пришлось вскоре расстаться. А жаль — очень славные были ребята.

Экономист Андрей Коваль приехал к нам с Колымы. Это он рассказал мне историю колымского взлёта и падения Вадима Козина. Андрей умел играть на странном инструменте, который я видел первый раз в жизни — на кобзе.

Впервые же увидел я на Алексеевке живого сиониста, молодого литовского еврея Лёву Шоганаса. В те дни шла первая война евреев с арабами. Англичане были на стороне арабов, Советский Союз и Америка, выражаясь по-лагерному, «держали мазу» за евреев. Лева Шоганас всей душой рвался в Палестину — но тело его прочно застряло в зоне. Войну евреи выиграли без Лёвиной помощи, образовали государство Израиль — и я хочу верить, что Лева сейчас там. «Узников Сиона» там уважают.

Вечерами мы слушали радио. Серая тарелка-репродуктор висела над моим столом. Совершенно случайно я услышал выступление моего одноклассника Максима Селескериди. В это время он был уже артистом Максимом Грековым и рассказывал о своем партизанском прошлом. Я обрадовался: перед самым арестом от кого-то мы услышали, что Макс погиб под Сталинградом.

Двое из этой компании стали мне друзьями на всю жизнь. Они оба, как и я, вскоре попали на Инту. Об одном, Жоре Быстрове, я расскажу, когда дойдем до Минлага. А другой — это Женя Высоцкий (Генрих Иванович, по настоящему, но в лагере он назывался Евгением Ивановичем).

Высокий светлоусый красавец, он был как близнец похож на Пьетро Джерми в фильме «Машинист». Сидел Женя с семнадцати лет: он был сыном расстрелянного в ежовщину директора военного завода. Он рассказывал, как в переполненную камеру тюрьмы к ним посадили первого секретаря горкома комсомола. Этого парня Женя хорошо знал; кинулся обниматься, а тот его осадил. Процедил сквозь зубы:

— С врагами народа не разговариваю.

Нет, так нет. Объяснять ему ничего не стали: сам поймёт. И действительно — понял очень быстро. Ночью комсомольского вожака увели на допрос. На допрос увели, а с допроса принесли — избитого до полусмерти. Сокамерники кое-как привели его в чувство. Он выплюнул выбитые зубы, выдавил из себя:

— Ребята… простите… — И снова потерял сознание.

Его расстреляли, а Женя получил сравнительно небольшой срок — лет пять и поехал в Каргопольлаг. Но там срок ему

добавили — в годы войны это случалось со многими — и ко времени нашей встречи он отсидел уже одиннадцать лет.

Человек огромного обаяния и многообразных способностей — в том числе административных — на воле он стал бы, думаю, по крайней мере министром. Ну, обаяние тут ни при чем, я понимаю, но энергия и уменье ладить с самыми разными людьми обязательно вынесли бы его наверх. В лагере тоже вынесли: здесь, на Алексеевке он был заметной фигурой — начальником работ.

Вольное начальство на него молилось: только Жениному уму и деловой хватке они обязаны были своим благополучием. Недавняя инвентаризация выявила чудовищную нехватку древесины «у пня», т. е., в лесу. И теперь лагерь в страхе ждал приезда московских ревизоров. А как не быть недостаче, если лагерная экономика испокон веков держалась на туфте — на приписках?.. Но Женя решил проблему несколькими взмахами карандаша. Проделал — на бумаге — ряд хитроумных комбинаций. Круглый лес превратился в брус, брус якобы пошел на замену венцов — и т. д. и т. п. Пронесло… Подробностей я не помню, да и тогда не смог вникнуть во все тонкости этой спасательной операции, по общему признанию — гениальной.

Годом раньше Высоцкому пришлось — недолго, правда — исполнять обязанности коменданта. Это на штрафном-то лагпункте! С ворьем он ладил: они уважали его за справедливость. Фраера видели в Евгении Ивановиче своего надежного заступника. А про начальство я уже говорил.

Кроме всего прочего Женя был блистательным рассказчиком, хранителем алексеевских преданий. Не помню, по какому поводу он рассказал мне про Филю-людоеда — так прозвали доходягу из жуковатых. Кто-то из офицеров зашел в зону со своим годовалым ребенком. Филя кинулся к нему, схватил ребенка и заорал, оскалившись как волк:

— Не принесете хлеба — сейчас схаваю! Гад человек буду!

Не схавал, конечно. Но и хлеба не получил — посадили в кандей.

(Вообще-то дети в зону забредали. Вольная кассирша приводила каждый день шестилетнюю дочку. Та играла в конторе со счетами, с трескучими арифмометрами «Феликс».

Я удивился, спросил:

— Не боитесь?

— Ой, что вы! Здесь хоть интеллигентные люди. А чего она там за зоной наслушается — от офицеров, от надзирателей! Это ж просто ужас!)

Тот же Филя-людоед мечтательно говорил Высоцкому:

— Хуй ли фельдшеру не жить? У него дрожжей от пуза.

Дрожжи давались нам в качестве антицинготного средства. Производили их на 37-м пикете из опилок (или на опилках, не знаю технологию). Сине-серые, консистенцией и вкусом они напоминали оконную замазку. Ничего, ели. И пили горький хвойный отвар — тоже от цинги.

Воры не зря называют себя босяками: ни дома, ни семьи настоящий вор иметь не должен. Посылок им ждать не от кого — а на штрафном лагпункте, где фраеров было не так уж много, некого было и «обжимать». Известное присловье: «довольно мучиться, пора и ссучиться» для многих становилось на Алексеевке руководством к действию: блатные шли в услужение к начальству. Один — Сашка Силютин по прозвищу Чилита — пал так низко, что стал дневальным оперуполномоченного.

Положенную «по нормам Гулага» крохотную порцию мясного здесь выдавали тем же мясом морзверя. Однажды в бухгалтерию пришла телефонограмма: «Вам отгружена по недосмотру партия морзверя с неотобранными половыми частями. По получении сего надлежит вернуть эти части на центральную базу для замены на полноценный продукт». Но было уже поздно: всё мясо успели пустить в дело. И на прием к начальнику ОЛПа явился юморист из бригады грузчиков, предъявил «неотобранную часть»:

— Начальник, я на тебя два года ишачу, а что заработал? Хуй моржовый!

Легендой Алексеевки был польский еврей по фамилии Кац. «Отказчики» бывали на всех лагпунктах, но этот принципиально отказывался от любой работы — наотрез!

Его таскали к начальнику, к оперу:

— Почему не выходишь на работу?!

— Я голодный.

И тогда они проделали такой эксперимент: дали Кацу целую буханку хлеба и полный котелок каши. Кашу он, по местному выражению, «метанул как соловецкая чайка», а хлеб доесть сразу не смог.

— Наелся?

— Наелся.

— Теперь будешь работать?

— Нет.

И начальство отказалось от дальнейших попыток. Каца списали в бригаду инвалидов и теперь он мог не работать на законных основаниях. Инвалиды, поголовно дистрофики, очень страдали от голода. Я уже рассказывал: часами варили траву, надеясь обмануть желудок, копались в помойках. А Кац действовал по-другому: подстерегал какого-нибудь работягу на выходе из столовой и вырывал у него из рук пайку. Потом падал

на живот и сразу вгрызался в нее. Каца били ногами по спине и по бокам, а он продолжал — давясь, не пережевывая — пожирать украденный хлеб. Если же добычу пытались отнять силой, он совал остаток пайки себе в ширинку. Доставать хлеб оттуда мало кто решался. Каца продолжали бить нещадно, как мужики конокрада — а он терпел. Секрет его терпения скоро стал известен: свой бушлат Кац изнутри подшил кусками старых автомобильных покрышек, так что спину его защищал панцирь — как у черепахи…

Но самой впечатляющей личностью на Алексеевке был зав. буром Петров. БУР — барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма. Решетки на окнах, крепкие запоры на дверях камер. Легко можно представить, кто попадал в бур на строгорежимной Алексеевке: отборные из отборных, «самый центр», как говорили воры. Человеку обычному справиться с ними было не под силу. Но Петров был человеком (человеком ли?) не обычным.

Необычным было и его появление на Алексеевке — года за три до моего, вполне обычного.

Тогда на штрафняк пригнали спецэтап — все сплошь законные воры, рецидив. Такие этапы начальник лагпункта Цепцура всегда лично встречал на вахте. Отличный психолог, он по первому впечатлению «с почерку» решал, кого сразу отправить в бур, кого оставить в общей зоне. И почти никогда не ошибался.

Воров пропускали в зону, сверяясь с формулярами. Нагруженные шмотками, награбленными за время их странствий по пересылкам, блатные называли свои фамилии и под внимательным неласковым взглядом Цепцуры следовали — все, как один — в бур.

Дошла очередь до Петрова. Он назвался. Цепцура подался вперед, вгляделся в грубо вытесанное жестокое лицо, переспросил:

— Петров?

— Ну, Петров, — угрюмо пробурчал новичок — и вместе со всеми отправился в барак усиленного режима.

Но в тот же день Цепцура вызвал его к себе в кабинет и после часовой беседы с глазу на глаз Петров вернулся к своим, но уже в другом качестве: зав. буром.

Оказалось, что никакой он не вор: служил оперативником на севере, в лагере, где начальником был тогда Цепцура, за какую-то серьезную провинность получил срок, а попав на пересылку решил выдать себя за вора в законе. Ему это было нетрудно: феню и все блатные повадки он изучил за годы работы в системе Гулага. А по своим моральным качествам он вписывался в их среду просто идеально. Считаться законным вором в лагере, а

особенно на пересылках, было выгодно — и вот, надо же! Попал на старого знакомого…

На привычной должности тюремщика Петров чувствовал себя превосходно. Он стал грозой всего лагеря, настоящим пугалом. Алексеевка надолго запомнила историю Вальки-боксера. Она случилась до меня, поэтому не знаю, был ли этот Валька боксером и вообще кем он был на воле. А в лагере он был дневальным бура — правой рукой Петрова и его дружком. И был, видимо, такой же жестокой скотиной, как Петров.

Сидевшие в буре Вальку ненавидели. Однажды во время раздачи обеда устроили — «с понтом» — драку. Валька бросился наводить порядок. Миски с баландой обычно он подавал своим подопечным через кормушку, а тут пришлось открыть дверь. Не успел он войти, на него кинулись сразу пятеро, скрутили и зарезали его же ножом: «лагерной милиции» из заключенных разрешалось — правда, не официально — иметь ножи, на случай самообороны. Но в этом случае не сработало…

Петров к тому времени уже стал расконвоированным — убийство произошло в его отсутствие. Вернувшись в зону и узнав о смерти своего «помогайлы», он взялся собственноручно навести в буре порядок. Надзор был только рад: никому из них не хотелось лезть на нож.

Петров вооружился железнодорожным молотком на длинной ручке и отправился в бур — один. Чувство страха у него было атрофировано (как и все другие человеческие чувства). Ворвавшись в камеру, он стал лупить молотком всех без разбора. Двоим сломал руки, пробил чью-то голову. Потом выхватил троих и повел их через всю зону к вахте.

На крыльце барака, где жила бригада грузчиков, стояло человек семь-восемь. А надо сказать, что все грузчики были из блатных. Они и работали по уговору с начальством не так, как прочие, а аккордно. Выходили грузить кругляком поданый к лесобирже состав, вкалывали, если надо, полторы-две смены без передыху, а потом возвращались в зону, и дня три их никто не тревожил — до следующего аврала. Все они были законными ворами, все — молодые крепкие парни, здоровые лбы.

И вот они стояли на крыльце и смотрели, как Петров конвоирует их товарищей на вахту. А Петров нарочно остановился и стал избивать своих пленников все тем же молотком. Все, кто был на крыльце, повернулись и без звука ушли в барак. Вдогонку им Петров крикнул:

— Позор вам, воры!..

Об этом происшествии я слышал от других, а своими глазами видел такое: перед отбоем Петров зашел в наш барак. И урки —

вся бригада грузчиков — накрылись с головой одеялами: чтобы Петрову, не дай бог, не показалось, будто кто-то из них косо посмотрел на него. Мне и самому захотелось укрыться с головой.

Как-то раз в конторе я слышал, как Петров похваляется своими военными похождениями. Особенно гордился он случаем, когда они со старшиной похарили вдвоем пустившую их на ночлег украиночку, а утром нахезали на пол посреди хаты и ушли, прихватив недоеденное хозяйское сало. Рассказал и победно оглядел слушателей, ожидая одобрения… Я думаю, Петров был тяжелым психопатом, не может так вести себя нормальный человек.

Немногим уступал ему новый комендант зоны, ссученный вор Васёк Чернобров-Рахманов. Рослый, с коричневатым румянцем на щеках и красивыми дикими глазами, Васёк, как говорил мне еще в Кодине всё знающий Якир, в юности был «бачей» — мальчиком-проституткой где-то в Средней Азии. Может быть, за это и мстил человечеству? По ночам он подстерегал работяг, вышедших отлить на снег возле барака, и в момент мочеиспускания бил их по нежному месту длинным железным прутом{49}.

На что только ни шли жители Алексеевки, чтобы вырваться из под власти таких, как Петров и Чернобров-Рахманов! На стене ШИЗО появилась надпись мазутом «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕРЧИЛЛЬ!» Автор надеялся, что его увезут с Алексеевки в следственный изолятор и будут судить по 58-й. Ну, дадут сколько-то лет за антисоветскую агитацию — всё лучше, чем мучиться на штрафняке!.. Не получилось.

Другой — воришка-полуцвет — как только попадал в кандей, объявлял смертельную голодовку: зашивал рот нитками. Искали иголку — ни разу не нашли. Оказалось, у него в губах привычные дырочки — какие прокалывают в ушах под серьги.

А один жуковатый на глазах у главврача разломал на три части и проглотил иголку. Упал, стал корчиться в муках. Но врач все эти номера знал и велел санитару Степке выбросить симулянта в снег. Степка — здоровенный верзила с ассиметричной плешью набекрень (горел в танке) — сграбастал пациента в охапку, вынес его на улицу, но в снег не бросил, а аккуратно уложил на скамью.

Доктор вышел на крыльцо и громко, чтобы все слышали, объявил:

— Запомни: старший блатной тут я, а главный блатной — Кучин. Других нету!

Кучин был «кум», оперуполномоченный. А фамилию врача я не помню, все звали его — за глаза — Антон, а еще чаще — Чиче. (Глубоко посаженными глазами и головой, ушедшей в

высокоподнятые плечи он очень напоминал злодея профессора Чиче из немого фильма «Мисс Менд»).

Проглотивший иголку блатнячок покорчился еще немного, потом встал и пошел к себе в барак.

Не надо думать, что наш Чиче был таким же бессердечным злодеем, как Чиче из фильма. Врач он был хороший и заботливый. Но на Алексеевке надо было найти правильный тон для общения со здешним специфическим «контингентом» — и Антон избрал вот такой…

Блатных, сидевших в буре, выводили на работу в лес. Трое из них, чтобы спастись от непосильных норм, от побоев и издевательств Петрова, решили поломать себе руки. Так и сделали: парень клал левую руку на два отставленных друг от друга полена, а кто-то из товарищей бил по ней изо всей силы обухом топора. С открытыми переломами предплечья всех троих привели в зону, отправили в лазарет. Но Чиче отказался принять их:

— Саморубов мне надо! — А сам, узнав о происшествии, уже успел вызвать по телефону дрезину, чтобы отвезти их в центральную больницу: там условия были лучше.

Антон был не «контрик». Срок он получил за хищения в особо крупных масштабах, совершенные в бытность его начальником военного госпиталя. В армии он был, как и мой отец, подполковником медицинской службы, а по врачебной специальности венерологом. Отец мой тоже работал когда-то в ГВИ — Государственном Венерологическом Институте им. Броннера{50}. А в гражданскую войну д-р Фрид написал две «народные лекции в стихах». Обе выдержали несколько изданий, и одну — о сыпном тифе — похвалил Л. Д. Троцкий: наркомвоенмору понравилась сентенция «Сколько горя и обиды терпим мы от всякой гниды!». Об этой похвале отец предпочитал не вспоминать.

Вторая лекция в стихах, «Бич деревни», была о бытовом сифилисе. Так что у нас с Чиче нашлось много тем для разговоров. Я даже рассказал ему, как мы с моим другом детства и будущим однодельцем Мишей Левиным поспорили с отцом, что за три часа напишем «народную лекцию» не хуже «Бича деревни». Было нам тогда по четырнадцать лет.

Мы накатали целую поэму под названием «Любовь моряка». Её герой Сёма (тезка Семена Марковича Фрида) подцепил в сингапурском борделе гонорею.

Дней примерно через пять
Начал Сема замечать,

Что неладное творится:
Он не может помочиться,
Неприятное колотье
У него под крайней плотью
И обильный желтый гной.
Сёма стал совсем больной…

Корабельный кок пытается лечить Сёму, но неудачно. Пришлось обратиться к врачу. Тот возмущается Сёминой самодеятельностью:

Понимает ли ваш кок,
Что такое гонококк?!
Почитай, что говорит
О таких болезнях Фрид,
Знаменитый венеролог,
Так же микро он биолог…

Антон одобрил наши познания в венерологии. Но сам он больше занимался не гонореей, а сифилисом: сифилитиков свозили на Алексеевку со всех концов Каргопольлага.

Сифилис в больших количествах привезли в Советский Союз вернувшиеся из Европы победители — и те, что попали в лагеря, и те кто остался на свободе. Привозили вместе с другими трофеями — аккордеонами и мейссенскими сервизами.

В Кодине, недалеко от «комендантского», работала артель лесорубов — вольных. Их было девятнадцать мужиков, и с ними повариха, побывавшая в Германии и Польше. Она кормила их и спала со всеми девятнадцатью. Шестнадцать из них она заразила сифилисом, а троим повезло — не заболели.

Как бы ни ругали советское здавоохранение, а тоталитарное государство в борьбе с эпидемиями даст фору демократиям. С помощью «органов» перед войной в два счета выловили всех вероятных носителей инфекции — когда в Москве врач-экспериментатор заразился чумой от своих подопытных крыс. Всех, кто был с ним в контакте, изолировали. Вылечить всех не удалось, но вспышку ликвидировали в самом начале.

С такой же энергией после войны взялись за сифилитиков. В результате, как рассказывал мне мой дядька-дерматолог, уже в сорок девятом году в Москве нельзя было найти свежий случай люэса, чтобы продемонстрировать студентам мед. института.

А в лагере условий для систематического принудительного лечения было еще больше, чем на воле. Не придешь на укол —

приведут под конвоем.

Лечили и вылечивали. Антон агитировал:

— Если не хотите рисковать, живите с моими леченными сифилитичками!

(Под его надзором проводились курсы лечения на женском ОЛПе Круглице).

Веря в скорое избавление — ну, положим, не слишком скорое, года через полтора, но спешить-то было некуда! — наши сифилитики относились к своему несчастью довольно легкомысленно. Еще в Кодине у нас была бригада Васьки Ларшина, куда собрали всех сифилитиков лагпункта. Они весело называли себя «Крестоносцами» (+, + +, + + + — один, два, три креста — так оценивались результаты РВ, реакции Вассермана).

— Жопа как радиатор! — говорил наш тракторист про свои исколотые инъекциями биохинола ягодицы.

Правда, веселились не все. Очень славный грузин, летчик Володя Ч. заразился от приехавшей на свидание жены. Какое уж тут веселье!.. А один мерзавец, бесконвойный экспедитор, мстил за свою болезнь всем женщинам, норовя заразить как можно больше девчонок. Говорят, такое и в наши дни случается — с подхватившими СПИД… А того экспедитора законвоировали: Чиче потребовал. Сам Антон страдал от другой болезни — он был наркоманом, сидел на понтопоне, которого в санчасти хватало. Но начальство закрывало на это глаза — и правильно делало.

Кстати — упоминавшийся выше Васёк Чернобров был, ко всему, сифилитиком. Это он заразил малолетку-дневального. Я спросил у пацана: зачем пошел на такое дело? Он грустно усмехнулся — разве жалко? Сказал:

— Люди хлебом делятся.

Чернобров запугивал его, требуя молчания: он не хотел, чтобы кум узнал, кто «наградил» парнишку: боялся лишиться своей завидной должности — и только. А стесняться гомосексуальных связей у блатных было не принято. Еще когда нас уводили с Чужги, вдогонку кому-то из босяков его товарищ, на этот этап не попавший, но уже побывавший на Алексеевке, весело крикнул:

— Передавай привет! У меня там две жены — Машка и Чарли!

Этот «Машка» пользовался у любителей особым успехом. О нем отзывались с восхищением:

— Подмахивает, как баба!

Кто его знает, может, действительно получал удовольствие. Но в большинстве случаев гомосексуалистами молодых ребят делали не природные склонности, а голод и желание найти

покровителя.

Главным совратителем был завкаптеркой по кличке Горбатый. Горбат он не был: высокий, но как-то странно переломленный в поясе: длинные ноги и длинное туловище под углом 45 градусов к ногам. Мрачный, крайне неприятный субъект.

Считалось, что он не пропускает ни одного мало-мальски смазливого «молодяка», попадавшего на Алексеевку. Прикармливал их, подманивал — как зверьков… Мерзость, да. Но честное слово, не самое страшное из того, что творилось на штрафняке.

И всё-таки, когда пришел «наряд» — меня и еще человек двадцать отправляли на этап — я не хотел уезжать. Знал утешительную лагерную поговорку: «Дальше солнца не угонят, меньше триста не дадут», и все-таки… Тут, на Алексеевке, хоть всё понятно, а угонят неизвестно куда — что там ждет? Попробовал отвертеться — не вышло.

Но скоро утешился: нарядчик сказал по секрету, что этап идет на Инту. А я уже знал из маминых писем, что на Инте Юлик Дунский. Он теперь в каком-то особом лагере, откуда можно посылать только два письма в год, так что я не должен обижаться на его молчание.

Женя Высоцкий пронес в зону поллитра, и мы всей компанией выпили за то, чтобы мне в Инте встретиться с Юликом{51}.

XII. Этапы большого пути

Нас перегнали на центральный лагпункт. Чтобы не разбрелись по зоне, на ночь заперли в буре — вместе с другой партией зеков, не знаю, откуда прибывшей.

Два ворёнка крутились возле латыша, владельца соблазнительного чемодана. Выбрав момент, они выхватили чемодан — «угол», по-ихнему — из под его головы и потащили в свой куток. Латыш беспомощно оглядывался, жалобно выкрикивал «Помогите, помогите», но помочь ему никто не спешил. И мне стало противно. Если бы эти двое были серьёзные воры! А то ведь шакалы, торбохваты… Среди взрослых мужиков они чувствовали себя неуверенно — но не получив отпора, наглели с каждой минутой.

Я поднялся с нар, подошел, рванул на себя чемодан. Силенок у них было маловато. В драку гаденыши не полезли, но один, пискнув как крыса, укусил меня за палец. Победа досталась мне очень недорогой ценой. Я отдал чемодан хозяину. Он не поблагодарил: смотрел на меня с подозрением — видно, ждал, что я потребую свою долю… Мне стало еще противнее.

На утро нас рассортировали. Похоже было, что на Инту со мной пойдет только пятьдесят восьмая, причем большесрочники. Из пунктов преобладали тяжелые: 6-й — шпионаж, 8-й — террор, 14-й — саботаж. Хотя и «предателей» (58.1а, 58.1б) было достаточно. К нам добавили человек сто, пришедших с других лагпунктов, и повели на станцию, грузиться в краснухи. К моей большой радости, в один вагон со мной попал киевский паренек Сашка Переплетчиков. Мы подружились еще в Кодине, на комендантском. Напомню: это он разделывал на циркульной пиле забредшую в оцепление козу.

В Каргопольлаге Сашка проходил за блатного: на руках наколки и вся «выходка», т. е., манера держаться, была воровская. Но вором он не был (кстати, и не Сашкой был, а Абрамом Евсеевичем), и сидел по пятьдесят восьмой. Я охотно прощал ему этот достаточно невинный обман: «…старая романтика, черное перо».

Багрицкого, правда, он не читал. Молодой, глупый… Нет, это я для красного словца: очень умный был парень и тянулся к культуре. Умел отличить хорошие стихи от плохих и так же хорошо разбирался в людях — а это, я думаю, первый признак ума. Но по молодости лет Сашка увлекся не тем, чем надо.

В краснухе к нам присоединился другой Сашка — Силютин, по кличке Чилита. О нем я тоже уже упоминал: он был ссученный

вор. На этап вместе с нами, фашистами, попал потому, что за неудачный побег имел, кроме воровских статей, и 14-й пункт 58-ой. С кем придется встретиться в пути, Чилита, как и мы, не знал и попросил: давайте держаться вместе. Он боялся, что в этапе его, суку, опознают законные воры — и тогда ему не уйти живым. А втроем как-нибудь отмахнемся… (Нам действительно пришлось воевать вместе с Чилитой — но не против воров. Об этом немного погодя).

Первый этап, до Вологодской пересылки, у меня в памяти не застрял: никаких происшествий или интересных встреч не было.

А на пересылке первым сильным впечатлением стал тюремный сортир. Грязью и зловонием он мало отличался от всех советских вокзальных туалетов — даже в Москве, даже сейчас, есть такие же. Но особенность вологодского была в том, что когда ты садился орлом над бездонной дырой (тюрьма была многоэтажная, и труба диаметром до метра соединяла все этажи), за твоей спиной со свистом проносились каловые массы: время оправки на всех этажах совпадало. И главная задача была не поскользнуться на мокром бетоне и не улететь вниз вместе с фекалиями.

Второе сильное впечатление — Володя-жид. В нашу камеру он не попал: вологодские надзиратели, встречая новеньких, опытным глазом отделяли козлищ от агнцев — по выражению лица, по одёжке, по повадкам. И воры отправлялись к ворам, а фраера оставались с фраерами. Это называлось «петушки к петушкам, раковые шейки в сторону».

Володя-жид был «полнота», авторитетный вор. Как-то раз, возвращаясь с оправки, мы встретили его в коридоре: Володю в наручниках вели куда-то два вертухая, крепко ухватив за локти. Третий шел позади, отстав на шаг. Глаза у Жида были налиты кровью, свирепая морда — свекольного цвета. Он на голову был выше любого из низкорослых своих конвоиров — и вдвое шире. Шел и хрипло орал, матеря тюрьму, советскую власть и всё на свете. Впечатление было такое, будто ведут на расчалках бешеного жеребца — на случку. Но Володю-жида вели не на случку, а в карцер. И всё время, пока он оставался в карцере, до нашей камеры доносился всё тот же яростный хриплый рёв.

Говорили, что он сумасшедший. Его репутации среди блатных это не вредило. Ощущение опасности исходило от него, как от дикого зверя. Даже запах, мне показалось, был звериный… Вот к такому я не полез бы заступаться за чужой чемодан, это уж точно.

Каждой камере полагался староста. В нашей мужики выдвинули на этот пост меня: завоевал уважение, «тиская

романы» по дороге в Вологду. (На меня даже не шипели, когда по случаю поноса, я вынужден был бегать к параше — прощали за прошлые заслуги). Жизнь в камере текла спокойно и мне, как старосте, делать было нечего.

Один только раз Сашка-Чилита, вспомнив свое воровское прошлое, прицепился к интеллигентному ленинградцу и попытался «взять его на бас», требуя дани: тот сидел недавно и на этапах его не успели «оказачить», т. е., ограбить. Не удалось это и Чилите: интеллигент оказался «с душком» (это означает «не слаб духом», не трус). Сашка успел стукнуть его — но тут уже в дело вступил другой Сашка, Переплётчиков. Кинулся и оттащил Чилиту за шиворот — как оттаскивают за ошейник злую собачёнку. А я подошел извиниться: начало инцидента я как-то прозевал.

Не помню фамилии и не помню, кем по профессии был этот наш сокамерник — может быть даже, театральным режиссером. Нестарый человек, благообразный, с хорошими манерами. Мы разговаривали с ним о книгах, о театре — и я здорово облажался, назвав Незнамова, героя «Без вины виноватых», Названовым, но собеседник сделал вид, что этого не заметил. (Я-то заметил, что он только делает вид).

В Вологде мы просидели долго, месяца полтора ожидая неизвестно чего. Книг в пересыльную камеру не давали. Мы болтали, пели, спорили.

В наших разговорах никогда не принимал участия пожилой литовский ксендз. Почти все время он проводил в молитве: закроет лицо ладонями — я заметил, многие литовцы так делают — и молится, отрешившись от всего земного. Но оказывается, он прекрасно всё слышал. Однажды отнял ладони от лица и сказал ядовито:

— А ваш Молотов в Женеве не дал дефиницию фашизма! — И снова углубился в беседу с богом. Так я узнал новое слово «дефиниция» — определение.

Письма из пересыльной тюрьмы отправлять разрешалось — и мы писали, не особенно надеясь дождаться ответа. Я написал домой, написал и на Сельхоз своему наставнику Ивану Обухову. Оба письма дошли: почта тогда, в сорок девятом году, работала куда лучше, чем сейчас. Помню, еще с 15-го я написал два письма, одно Юлику Дунскому в лагерь, другое в Москву тетке Вале. Перепутал конверты, и послание, предназначенное тетке, попало к Юлику, а он получил другое, адресованное тетке. И он, и она письма прочитали и переслали по правильным адресам, о чем каждый известил меня.

В Вологде писем я не получал, но из прежних маминых уже

знал, что в лагере умер Володя Сулимов, что умер и Леша Сухов — и что посадили его младшего брата, школьника Ваньку. Посадили не по нашему делу, хотя конечно, и оно сыграло роль в его судьбе. В прошлом году Ваня Сухов тоже умер — но на воле, на руках у жены Вали и дочери Машки. Ему повезло больше, чем брату — и в жизни, и в смерти, и в любви.

Пока я пишу свои заметки, успели умереть многие из тех, о ком я рассказал или собираюсь рассказать: ближайшие мои друзья Миша Левин и Витя Шейнберг, Шурик Гуревич, Олави Окконен, Женя Высоцкий, интинская красавица Ларисса Донати, дочь Карла Радека умница Соня. И два стукача: Аленцев и Виктор Луи. (Стукачи умирают, но дело их, боюсь, живёт). Наверно, надо торопиться, чтобы успеть дописать…

Политических споров на вологодской пересылке мы почти не вели, поскольку не было больших идейных разногласий: своей нелюбви к Сталину уже можно было не стесняться и не скрывать. Все понимали, что едем туда, откуда возврата скорей всего не будет.

Спорили больше по пустякам: сколько было в России генералиссимусов, жива или не жива Фанни Каплан и о том, как правильно петь: «Кирка, лопата — это мой товарищ» или «Кирка, лопата, стали мне друзьями». А в другой песне: «Я вор, я злодей» или «Я вор-чародей». Спорили и ни до чего не договаривались.

Я старался примирить спорящих: и ты прав, и ты прав. Ведь едва ли найдется мало-мальски популярная песня, текст которой не оброс вариантами. Очень часто слова оказываются слишком сложны для поющих и они их упрощают. Уверен, что в русском тексте «Интернационала» когда-то рифмовалось «разроем» и «построим», и только потом «разроем» превратилось в «разрушим»: так привычнее, а рифма — бог с ней.

Написанный эстетом-стихотворцем текст «Волочаевских дней» подвергся еще большей вивисекции. Строчка «Наливалися знамена кумачом последних ран» превратилась в «Колыхалися знамена кумачом в последний раз». Почему, почему в последний раз?.. Бессмысленно? Зато без интеллигентских ваших выкрутасов!.. И другая строчка, «Партизанские отряды занимали города». Раньше у автора было «Партизанская отава заливала города», это показалось слишком красиво. Правда, пропала рифма «отава — слава», но в этих изменениях была хоть примитивная, но логика. А я слышал, как поют «Кони сытыми бьют копытами» и даже «Любимый город, синий дым Китая» — вместо «в синей дымке тает».

Но рекорд побили товарищи Саши Митты по детскому саду. Вместо непонятного «Выше вал сердитый встанет» они пели

«Вышивал сердитый Сталин». Александр Наумович сообщил мне это в прошлом году. Жаль, я не мог привести этого примера спорщикам на вологодской пересылке…

Когда кончился мой запас голливудских фильмов, я с горя стал пересказывать наши с Юликом Дунским вгиковские сочинения. Наш недописанный в связи с арестом дипломный сценарий «Ермак, покоритель Сибири» для этого вполне годился: он отличался чисто голливудским презрением к исторической правде. Придуманный нами голландский мореход предлагал идти в поход на Сибирское царство морским путём. А Ермак, приставив клинок сабли к компасу морехода, отчего стрелка отклонилась, победно вопрошал: «Ну, немец? Чья стрелка надежней?..» Что-то в этом роде. Только что не говорил «Мы пойдем другим путём».

Моим преданным слушателем был Сашка Переплетчиков. Привязчивый и доброжелательный, он фантазировал на тему сценария о лагере, который обязательно должны написать мы с Юлием. Даже придумал название: «Конвой применяет оружие». Я не был так оптимистичен, не верил ни секунды, что буду когда-нибудь писать сценарии, но чтоб не огорчать симпатягу Сашку, обещал. Так и не выполнил обещания…

От нечего делать мы с обоими Сашками решили изготовить в камере колоду карт — «пулемет», «бой», «колотьё». Технологию оба моих спутника знали в совершенстве. Теперь знаю и я.

Разумеется, пришлось обходиться только подручными материалами — как Робинзону Крузо. Для начала надо было найти бумагу. Сгодилась бы и газетная (нарезанные обрывки газет — на закрутку — были у многих). Но это был бы второй сорт. Повезло, нашлась и белая — правда, папиросная. Не беда: можно склеить вместе два листика. Когда высохнет, будет негнущаяся, звонкая как слюда пластинка. Клей же сделать проще всего: нажевать или размочить мякиш тюремного черного хлеба и протереть через носовой платок. Получится отличный белый клейстер.

Затем следовало аккуратно обрезать склеенные листки папиросной бумаги. Тут нельзя было спешить. Сашка Чилита отломал черенок казенной алюминиевой ложки, заточил узкий конец об кирпичный пол и, связав ниткой будущую колоду крест-накрест, обрезал ее под линеечку — чью-то расческу — неторопливыми размеренными движениями. Сначала один бок, потом другой, третий, четвертый.

Тем временем Сашка Переплетчиков изготовил трафареты. Для этого пришлось сломать вторую ложку и заточить обломок. (За компанию проделал то же самое и я. Получилась коротенькая заточка, как сказали бы сейчас. Мы этого термина не знали.

Какое-никакое, а оружие, в дороге может пригодиться). Своим заточенным обломком Сашка вырезал на клочке газеты сердечко, ромбик, крест и репку с ботвой — черви, бубны, трефы и пики.

Теперь предстояло приготовить краску. Можно было, конечно, обойтись одной черной, но мы хотели, чтобы всё получилось по высшему классу.

Соврав, что болит горло, попросили у медсестры красного стрептоциду: в те годы им лечили ангину. Красного у нее не оказалось. Тогда тем же отточенным черенком Сашка надрезал мне руку и нацедил в ложку несколько кубиков крови. Черную краску сделали заранее: отрезав от резиновой подошвы полоску, подожги и накоптили на дно эмалированной кружки нужное количество сажи. Сажу соскребли, смешали с остатками клейстера и получилась густая стойкая краска.

Осталось только натрафаретить «стиры» — карты назывались и так. Для воровских игр — стоса и буры — двойки, тройки, четверки и пятерки не требуются. Поэтому вместо «картинок» в центре стиры тесной кучкой собираются обозначения мастей. Скажем, два сердечка нос к носу — червонный валет, три — дама, четыре — король.

Описание творческого процесса заняло меньше страницы — а на изготовление колоды ушло двое суток. Но, как уже сказано, спешить зеку некуда. Тем же способом мы изготовили и вторую колоду. Обе засунули в подушку, чтобы не погореть во время шмона. В подушке мы привезли их и в Минлаг. Провезли через три шмона, а сыграть ни разу не сыграли: ни я, ни Сашка не были картежниками. Весь этот эксперимент мы проделали исключительно с познавательной целью.

Так же с познавательной целью я попросил Сашку Переплетчикова сделать мне наколку. Вспомнил иллюстрации Ватагина к «Маугли» и нарисовал силуэт оленя в прыжке — небольшой, со спичечный коробок. Вместо туши мы использовали оставшуюся после изготовления карт черную краску.

Сашка связал ниткой три швейных иголки и приступил к делу. Он обкалывал рисунок по контуру через бумажку и втирал краску пальцем.

Боли я не чувствовал. Назавтра наколотые линии слегка воспалились и припухли, а дня через три краснота прошла и остался как бы рисунок пером. У меня хватило ума поместить татуировку на верхней части бедра, трусики ее прикрывают.

Когда наш этап прибыл в Инту, минлаговский парикмахер из западных украинцев, «обрабатывавший» нас в бане, увидел наколку и сказал с вежливой издевкой:

— О! Пан блатный?

А я как-то упустил из виду, что «олень» — презрительная кличка работяги-фраера. Почему олень, не знаю. В нашем первом фильме мы с Юликом попробовали придумать объяснение: с рогами, а забодать никого не может…

Ничего более поучительного про Вологодскую пересылку рассказать не могу. А в один прекрасный день нас, наконец, вызвали на этап. Вывели из камеры и торопливо, будто уходил на Север последний эшелон, погнали к вагонам.

Состав показался мне очень длинным, конца его я не видел. Для нас, тех, кого привели из Вологодской тюрьмы, отведено было пять или шесть теплушек. Мы с Сашкой Переплетчиковым опять попали в один вагон — но на этот раз не по счастливой случайности, а благодаря вовремя проявленной инициативе.

В ходе переклички мы заметили: в краснухи грузят по общему списку, в алфавитном порядке. Чтобы не расставаться, я, по выражению Сашки, «крутанул чертово колесо»: рискнул поменяться на время пути фамилией и статьей с соседом по камере Ромкой Полторацким — он, как и Переплетчиков, был на «п», а значит, попадал в один с ним вагон. Теперь он стал Фридом, а я Полторацким Романом Владимировичем. Правда, не обошлось без конфуза: когда начальник конвоя выкликнул мою новую фамилию, я с непривычки среагировал не сразу. И только услышав второй раз «Полторацкий!», торопливо отбарабанил:

— Роман Владимирович, двадцать третьего года, пятьдесят восемь один «а», двадцать пять и пять по рогам.

Чилита, чья фамилия начиналась на «с», попал с нами.

В нашей краснухе, кроме каргопольчан, ехало человек десять литовцев — свеженьких, только что с воли (точнее — из следственной тюрьмы). Мы с обоими Сашками заняли престижные места на верхних юрцах. Литовцы разместились внизу — кто попроворней, на нарах, остальные на полу.

Посреди теплушки стояла печка-буржуйка. На Севере апрель холодный месяц. Печку топили, но для всех желающих погреться места возле нее не хватало.

Перед кем еще изображать урку, если не перед новенькими? Сашка Переплетчиков нагло, по-блатному, потребовал, чтоб его пустили к печке. Кто-то из литовцев уперся, Сашка стукнул его, оттолкнул и стал греть озябшие руки. Литовец смолчал, но затаил злобу.

Прошло часа два. Под перестук колес хорошо спится даже на жестких нарах. Я задремал у себя наверху — и проснулся от громкого крика. Кричал Сашка. Пятеро литовцев окружили его и принялись лупить, мстя за земляка.

Чилита оторвал доску, которой заколочена была щель в

стенке вагона, и прыгнул с нар. Я надел было очки, но вовремя сообразил, что вряд ли они понадобятся. Снял и тоже спрыгнул вниз.

Там уже шла настоящая битва: Чилита орудовал доской, а Сашка хватал с пола глиняные миски и метал их в противников. Я включился с ходу: «надел на калган» первого попавшегося литовца, то есть, ухватил за шею и боднул в лицо. Отчетливо помню, что в голове у меня как боевая инструкция проносились фрагменты виденных мною лагерных драк. Можно было, например, ударить оппонента ребром крышки от параши. В краснухе параши не имелось, но стоял бачок с питьевой водой. Я нагнулся за деревянной крышкой, не увидев по близорукости, что ее нет на месте. Но она немедленно обнаружилась: кто-то из литовцев стукнул меня этой крышкой по голове. А я в отместку «порвал ему пасть» — это тоже рекомендовалось: сунуть пальцы в рот и разодрать. Щеки тянулись как резиновые, но одну в конце концов мне удалось разорвать. От изумления литовец даже не попытался укусить меня.

Глиняные миски к этому времени были все перебиты. Сашка действовал теперь заточенным черенком ложки — как ножом. Чилита отбросил свою доску и тоже стал рубить и колоть.

И неприятель дрогнул. Их было вдвое, а может, втрое больше, чем нас. Крепкие ребята — литовские партизаны или, по тогдашней терминологии, «бандиты» — они без труда одолели бы нас в нормальной человеческой драке. Но в нашем мире они были новичками, и растерялись, впервые встретившись с лагерной, не знающей запретов жестокостью. А мы, войдя в раж, пугали их блатняцким боевым кличем:

— Под нары, падлы! Под нары!

Они действительно полезли под нары: это было самое безопасное место. На том нам бы и успокоиться, но злопамятный Сашка Переплетчиков пополз, не слушая увещеваний, за тем литовцем, с которым полаялся в самом начале, догнал и воткнул в его ягодицу острый черенок. Литовец дернулся и тяжелым армейским ботинком попал Сашке по морде. Это сыграло известную роль в развитии событий.

А пока что я снял с одного из побежденных рубаху и отдал на сменку свою, порванную в драке и перепачканную кровью — моей и чужой. Он отдал без звука: знал уже, что так положено.

Спустя сколько-то времени поезд остановился перед очередным семафором. Дверь краснухи стремительно отъехала в сторону, и к нам ворвались трое краснопогонников. Старшой заорал:

— Что тут у вас?.. Ну?!

Оказывается, именно на нашей теплушке была узенькая площадка над буферами. Такие площадки — для сопровождающего груз — бывают на товарных вагонах, но далеко не на всех. Нам просто не повезло: стрелок, дежуривший на площадке, слышал через тонкую стенку крики и шум драки. Доложил начальству, и на первой же остановке они прибежали наводить порядок.

Сказать им, что ничего особенного не случилось? Это не проходило: весь пол был усыпан черепками, ни одной глиняной миски не осталось в живых.

Кто-то из каргопольских нашелся:

— А тут у нас эстонец есть психованный. Это он побил миски, у него припадок был!

Психованный эстонец с нами действительно ехал. Этого несчастного на следствии так били, что он повредился в уме. Панически пугался любой голубой чекистской фуражки. Когда в камеру заходил вертухай, эстонец хватал мокрую тряпку и принимался мыть пол около параши, демонстрируя покорность и усердие.

Сейчас, по незнанию русского языка, он не мог опровергнуть возведенную на него напраслину — но этого и не потребовалось. Конвой и так понимал, что к чему:

— Кто здесь Сашка?

Кричали: «Сашка брось, Сашка, брось!»

Никто не отозвался. Тогда старшой приказал всем перейти на одну сторону вагона и стал пропускать зеков мимо себя по одному. Каждого он несильно ударял длинным, похожим на крокетный, молотком — подгонял и заодно пересчитывал. Такими деревянными молотками они обстукивают пол и стенки вагонов, угадывая по звуку, нет ли где подрезанной доски, не готовится ли побег.

Я сидел у себя на нарах, привалившись разбитой стороной головы к стенке — чтоб не видна была засохшая над ухом кровь. Через очки смотрел на происходящее, изображая лицом интеллигентский испуг и непонимание. Это сработало: при пересчете я остался последним и меня не стронули с места — а иначе опознали бы и во мне участника драки. Первым из всех разоблачили Сашку Переплетчикова: у него на скуле вздулся огромный синяк — отпечаток литовского каблука. На Сашку, на Чилиту и на всех, у кого были синяки, порезы или царапины, конвой надел наручники и увел с собой: остаток пути они проделали в отдельном вагоне, походном карцере на колесах.

Забавно, что в этой истории все старые лагерники, ехавшие с нами, приняли нашу сторону. Хотя виновата во всем была

Сашкина блатная фанаберия. Нет на свете справедливости!.. А я и сейчас не уверен, мог ли я в той ситуации вести себя по-другому…

На следующий день мы прибыли на Инту. Несколько вагонов отцепили, остальные поехали дальше — на Воркуту. Тот, в котором был поменявшийся со мной Ромка Полторацкий, остался на Инте. А уехал бы Ромка в другой лагерь — не тем, кем был до этапа, а Фридом — не знаю, как бы мы выпутывались.

Этот этап оказался последним в моей жизни — хотя прожить на Крайнем Севере мне предстояло еще целых семь лет.

XIII. Начало второй пятилетки

Нас выстроили в колонну и повели со станции на ОЛП-5, в интинском просторечии «Сангородок». Название условное: на пятом ОЛПе действительно был большой стационар с хорошими врачами — в/н в/н и з/к з/к, но большую часть населения Сангородка составляли не медики и не больные. Это был центральный распределитель рабочей силы: при каждой шахте на Инте имелся свой лагпункт, куда после сортировки отправляли новоприбывших. Всё это мы узнали несколько позднее. А сейчас стояли у ворот в ожидании первого шмона.

Шмонали старательно и неторопливо. У меня нашли десять рублей и отобрали, с удовольствием объяснив: тут вы денег не увидите! Не положено! Затем вертухай вытянул у меня из-за голенища отточенный обломок ложки и дал по уху. Я окусываться не стал: уже догадывался по многим признакам, что с этими особенно не подискутируешь.

— Давай раздевайся! Всё сымай!

Я разделся догола, слегка смущаясь присутствием женщин — они пришли с нашим этапом и теперь стояли отдельной кучкой, дожидаясь своей очереди. Торчать голышом на холодном ветру пришлось недолго — больше ничего запретного при мне не было.

В конце концов нас запустили в зону. Сводили в баню и определили на временное жительство в пересыльный барак. До отбоя у нас было время оглядеться.

Внешним видом 5-й сильно отличался от каргопольских лагпунктов. Пожалуй, в лучшую сторону: бараки добротной постройки, разумная планировка, чистота. Но было в этой упорядоченности что-то неприятное — например, фальшивые клумбы, на которых вместо цветов красовались аккуратно выложенные шлаком красно-бурые узоры. Мне вспомнилась привычная, почти уютная, неприбранность нашего 15-го.

Но вообще-то, сейчас было не до эстетики. Местные старожилы успели рассказать: это специальный лагерь для пятьдесят восьмой, охранять нас будут не сине-, а краснопогонники — внутренние войска МВД. При смене караула здешние «попки» — часовые на вышках — рапортуют так: «Пост по охране врагов народа, изменников Родины сдал», «Пост по охране врагов народа, изменников Родины принял!» (Сам ни разу не слышал, за что купил, за то и продаю). Наши формуляры помечены буквой «О» — «опасный», а на некоторых «ОО» — «особо опасный». (Опять-таки — своими глазами не видел). Блатных очень мало: только те, у кого 58.14 или восьмой пункт,

террор — за убийство милиционера или еще какого-нибудь советского начальника. Здесь зекам сразу дают понять: если что случится, например, война с Америкой, вас всех постреляют и покидают в шахты!..

Эти малоприятные новости не помешали нам хорошо выспаться в первую ночь после этапа. Утром повели на завтрак. Кормежка была не хуже и не лучше, чем везде.

А после завтрака к нам в барак явился улыбчивый молодой человек в очках. Спросил: нет ли у кого шерсти на продажу? Старых свитеров, шарфов, носков? Можно грязные, рваные — это не играет роли. Платить будут хлебом.

Оказалось, шерсть требовалась для изготовления ковров, а молодой человек был как бы агентом по снабжению. Возглавлял же ковровую мастерскую венгерский еврей Шварц, это он подал идею здешнему начальству. Красители он получал в посылках, а работницы — к слову сказать, самые красивые девушки на ОЛПе — стирали добытое очкастым снабженцем рванье, распускали и на простеньких станках ткали ковры и коврики. Коврики — маленьким начальникам, ковры — большим.

Шерсти у меня не было. Но расспросив о моем деле и услышав, что я учился во ВГИКе, очкастый сказал:

— А вы знаете, что здесь Каплер?

Откуда мне было знать? Я и Каплера не знал — лично. Т. е., мы, конечно, встречали его во вгиковских коридорах — красивого, победительного, всегда оживленного. А когда были с институтом в эвакуации, узнали, что Каплер арестован. Дальше — тишина.

Скупщик шерсти представился: Виктор Луи. Рассказал, что он тоже москвич, работал в посольстве — на чем и погорел. И повел меня к Каплеру: тот заведовал посылочной.

Тут я должен извиниться: мне придется повторяться. О своей встрече с Алексеем Яковлевичем Каплером я довольно подробно уже писал. («Амаркорд-88», альм. «Киносценарии» № 2, 1988 г.) Но, в конце концов, не каждый же обязан читать всё, что я напишу. А кто читал — не обязан помнить. И опять же: если человек одними и теми словами много раз рассказывает какую-то историю — значит, он не врет… Итак, мы с Луи пришли в посылочную.

— Дядя Люся! — сказал Луи. — Этот мальчик из ВГИКа.

Каплер приветливо улыбнулся:

— Из ВГИКа? А Юлика Дунского вы знаете?

— ?!

— Тогда я знаю, кто вы. Вы Валерий Фрид?

Алексей Яковлевич тут же сообщил, что Юлик сейчас на

третьем ОЛПе, что здесь есть офицер по фамилии Шапиро, который выдает себя за татарина. К Каплеру он относится хорошо, и через него, вероятно, можно будет устроить так, чтоб и я попал на третий.

— А пока что, Валерик, — и Каплер улыбнулся еще шире, — если вы не хотите иметь крупных неприятностей, будьте очень осторожны с этим человеком.

— Дядя Люся! — обиделся Луи, а Каплер, всё с той же улыбкой, продолжал:

— Вы думаете, я шучу? Совершенно серьёзно: это очень опасный человек.

Опасный человек, оказывается, кроме обязанностей снабженца, исполнял и другие: был известным всему лагерю стукачом.

Мое общение с ним кончилось на том визите к Каплеру. Но вернувшись через семь лет в Москву, я услышал, что есть такой журналист, корреспондент двух лондонских газет Виктор Луи. Он женат на англичанке, живет богато, в загородном доме — кто называл этот дом виллой, кто — поместьем. Репутация у него неважная.

Потом мы с Ю. Дунским по сценарным делам поехали в Югославию, и там на глаза нам попалась заметка в какой-то лондонской газете. Это было сообщение из Тель-Авива о том, что туда приехал некто Виктор Луи, человек, которого считают тайным эмиссаром Москвы. Это он продал на Запад рукопись книги Светланы Аллилуевой. А не так давно он побывал с таинственной миссией на Тайване, с которым у русских нет дипломатических отношений — как и с Израилем. На вопрос, зачем он приехал в Тель-Авив, Луи отвечал, что хочет проконсультироваться по поводу своих почек (или печени, не помню) с доктором, который лечил его в Москве. Пикантность ситуации, по словам автора заметки, заключалась в том, что бывший московский врач стал чуть ли не министром иностранных дел Израиля…

Спустя еще сколько-то времени мой каргопольский друг Леша Кадыков сказал мне:

— Валерий Семёныч, а я у Луя был, на фазенде (разговор происходил во времена незабвенной «Рабыни Изауры»). У него там штук пять машин — бентли, БМВ, мерседес-340, на котором фельдмаршал фон Манштейн ездил…

Лешка, классный автомеханик, вернул к жизни одну из них, совсем безнадёжную — и к его удовольствию Луй, как он его величал, расплатился долларами. Кстати, где-то я читал, что настоящее имя и фамилия Виктора Луи — Виталий Луй…

Кадыков бывал на «фазенде» еще много раз, курируя луёвский автопарк, и ничего плохого о владельце не говорил.

> А недавно Луи умер. Вот передо мной отрывок из американского некролога:
>
> «…shadowy Russian journalist, who served as a conduit for the Communist Party and KGB to the west…
>
> «Why do you people always call me a colonel in KGB?» — he once asked British writer Ronald Payne.
>
> «Goodness, have you been promoted to general at last, Victor?»— replied Payne.»
>
> (TIME, Aug. 3, 92)[{52}]

Раз уж пошли цитаты, позволю себе еще одну — из «Рассказа о простой вещи» Бориса Лавренева:

> «— Скильки ще гамна на свити!»

На пятом я встретил еще одного участника Большой Игры (опять литературная реминисценция: «Ким» Р. Киплинга, роман о мальчике-шпионе).

Это был очень славный паренек, бывший московский школьник Эрнст Кернмайер. В лагере его звали Сережей — мы познакомились еще на Алексеевке. А здесь он сказал мне — почему-то с виноватой улыбкой:

— Только я теперь Кернтайер.

Смена фамилии не имела ничего общего со шпионскими хитростями, просто перепутал буквы лагерный писарь. (Это еще что, я же рассказывал про «Сульфидинова» и «Парашютинскую»). А шпионом он-таки был — причем «двойником».

Сережа-Эрнст был сыном политэмигранта, австрийского коммуниста. В мои школьные годы я повидал их немало. «Шуцбундовцы» — так их называли. Что такое шуцбунд я раньше знал, но теперь не помню. Дети шуцбундовцев учились сначала в немецкой школе — до войны была такая в Москве. Когда же ее в пору ежовщины прикрыли (и учителей, и родителей школьников почти всех пересажали), ребят перевели в обычные школы — в нашей училось двое или трое.

Сережа рассказал мне свою грустную историю.

Как только началась война, ему предложили добровольно отправиться в немецкий тыл разведчиком. Сбросили на парашюте где-то над Германией, дав задание: пробраться в Вену, где была явка.

Немецкий язык был для него родным. Маленький, щуплый, по документам он числился членом гитлерюгенда — молодежной

нацистской организации. Не учли только одного: без взрослых ребятишки из гитлерюгенда путешествовать по стране обязаны были в форме. Взрослого при парнишке не было. Он был в штатском костюме — слава богу, хоть не советского производства. Правда, кепочка на нем была английская, что не намного лучше: при первой же проверке документов на вражескую кепку обратили внимание. Сережа не растерялся: объяснил, что отец служил в той части, которая первой вошла в Париж, и кепку прислал оттуда — как сувенир. Ему поверили. Поругали за то, что не в форме и отпустили.

Кепочку он выбросил. Но всё равно, рано или поздно Сережа должен был попасться — что и произошло. В немецкой тюрьме его быстро раскололи и перевербовали. Через него в Москву потёк ручеек дезинформации — обычный трюк всех разведок мира. Это не помешало Советской Армии победить.

После победы Сережу в советской тюрьме раскололи с такой же легкостью, как в немецкой. Свой четвертак — двадцать пять лет срока — он честно заработал и потому не роптал на судьбу. А мне его было очень жалко…

Интеллигенция, согласно учению Маркса-Ленина — прослойка. В Минлаге прослойка эта была толще, чем в других лагерях. Попадали сюда и ученые мирового класса. Юлик рассказывал, что на 5-м он слышал отрывок спора, который вели два почтенных старца, пронося мимо него носилки с мусором:

— Но это же был паллиатив, согласитесь!!

В одном из спорящих он узнал знаменитого египтолога Коростовцева.

За недолгое свое пребывание в Сангородке я мало с кем из местной интеллигенции успел пообщаться. Почти всё свободное время проводил с Каплером, а свободного времени хватало: в ожидании отправки на шахту нас редко гоняли на работу.

Алексей Яковлевич был одним из самых уважаемых людей на ОЛПе. Уважалась и сама его должность «посылочного бога» (а про счетовода продстола зеки говорили: «хлебный бог»). Но Каплера любили не за должность.

Доброжелательность, которая была, возможно, главным талантом Каплера, воплощалась в добрые дела везде — и на свободе и в лагере. Знавшие его в Москве помнят, сколько начинающих сценаристов он за ручку привел в кинематограф. А на пятом все знали, что это он придумал «извещения».

Я уже говорил, что зекам Минлага разрешалось отправлять только два письма в год. А получать можно было сколько угодно — и писем, и посылок. Связь оказывалась односторонней. Домашние мучились неизвестностью, гадали: дошло ли письмо?

Дошла ли посылка? И вообще — жив ли?.. В придуманный Каплером текст на узеньком типографском бланке «Посылку выдал…….. Посылку получил……..» нельзя было вписать ни слова — даже «спасибо». Но подпись-то там была, была дата — значит, жив пока еще!.. Слали посылки, конечно, не всем, но многим.

Выдавались они в присутствии надзирателя, чтоб не проскочило что-нибудь недозволенное. Проскакивало, конечно. Можно было, например, туго свернутую тридцатку засунуть с тыльного конца в тюбик с пастой. Или вложить ее в пачку махорки и аккуратно заклеить — голь на выдумки хитра. Вот со спиртным было сложней.

Одному мужичку прислали из деревни посылку. В ней оказалась бутылка с мутноватой жидкостью и приклеенной бумажкой, на которой трогательно корявыми буквами выведено: «малако». А на дне бутылки — слой белого порошка с палец толщиной. Это наивные сельские жители забелили самогон зубным порошком. Взболтали — получилось похоже, но за время пути порошок выпал в осадок. На глазах у получателя — и у Каплера, и у меня — вертухай вылил самогон на землю. Спасибо, хоть акт не составил.

В ту пору самому Каплеру жилось неплохо. Заведующий пекарней (по воле — инженер-полковник) нет-нет, да принесет ему белого хлеба — из чистой симпатии. И почти каждый из получавших посылку чем-нибудь угощал Алексея Яковлевича — это была как бы символическая жертва доброму богу почты. А Каплер угощал меня. Мне неловко было, я даже перестал заходить в посылочную. Но он или сам разыскивал меня, или посылал на поиски своего помощника, тихого человечка со смешной фамилией Компас.

Подкармливал Алексей Яковлевич не одного меня. Каждый день ходил в больницу к чахоточному интеллигентному немцу, гитлеровскому дипломату Валленштейну. Немец был интересен Каплеру: потомок шиллеровского Валленштейна! Они часами разговаривали — по-французски. Перед смертью Валленштейн сказал своему кормильцу: да, в национальном вопросе Гитлер был глубоко неправ!

В последние годы наши газеты много писали про Валленберга, шведского дипломата, спасавшего в Австрии евреев, арестованного чекистами и исчезнувшего без следа. В Швеции не теряют надежды, что след еще отыщется. Вот и недавно, по сообщению одной из московских газет, некая Валентина Григорьевна Павленко вспомнила, что видела Валленберга в лагере на станции Козье Северной железной дороги. А я думаю: не Валленштейна ли она видела? Спутать легко: тоже дипломат,

фамилия похожа. И странная станция Козье — не Косью ли это в Коми АССР?

Валленштейн был, в общем, симпатичен и мне — чего не скажу про его дружка Мюллера фон Зайдлиц (которого за педерастические наклонности быстро переименовали в Мюллера фон Задниц). Этот был патологический лжец: выдавал себя за американца, зачем-то наврал, будто провез через все этапы «For whom the Bell tolls»— «По ком звонит колокол» — видимо, узнал, что мне очень хочется прочитать эту книжку. Для достоверности он добавил, что вез ее в переплете с русского романа «Отцы и дети» — детали для лжецов великое подспорье! Никакого Хемингуэя у него, разумеется, не оказалось… Такое бессмысленное и бескорыстное вранье встречается довольно часто: это, наверно, легкое психическое расстройство.

А по-английски фон Задниц говорил очень хорошо, хотя и с сильнейшим немецким акцентом.

Моим американским произношением я в те поры очень гордился. Да и Каплеру приятно было: вот какие ребята у нас по ВГИКе! Он даже продемонстрировал меня Фридману, американскому еврею, преподававшему язык в МГИМО. Тот послушал немножко и кисло сказал: «три». Увидел наши с Каплером огорченные лица и выдавил из себя: «С плюсом?.. Нет.»

Был на 5-м и еще один «англоязычный»: индиец Джонни Рауд. Его похитили в американской зоне Германии и привезли к нам — не знаю, за какие грехи. У него как и у Валленштейна был диагноз ТБЦ — туберкулез. «I'll kick the bucket soon», — сказал он мне с грустной улыбкой. Скорее всего, так и случилось.

(А на Воркуте, говорили мне, умер негр-чечеточник, которого мы видели в Москве: он выступал перед сеансами в «Центральном». Генри Скотт, если я правильно запомнил…)[{53}]

Когда мы встретились с Каплером, мне не было тридцати, а ему пятидесяти, но, естественно, он казался мне очень пожилым человеком, хотя выглядел прекрасно. Он боялся располнеть от сидячей жизни и каждый вечер быстрым шагом проделывал два-три круга по немаленькому периметру ОЛПа. Я не любитель прогулок, но с удовольствием присоединялся к Алексею Яковлевичу, чтобы послушать его рассказы.

Есть люди, которые воспринимают трагически даже мелкие житейские неприятности. У Каплера, как всем известно, неприятности были крупные — те, что привели его в лагерь. Но в его голосе я ни разу не уловил трагических ноток. И все истории, которые я от него слышал — а чаще всего они были про арестантские судьбы — рассказывались с улыбкой. Так, он весело сообщил мне, что здесь на пятом встретил двух своих соседей: в

Москве они жили с ним в одном доме и даже на одной площадке. И всех посадили — по разным делам, но почти в одно время. Смешно? А. Я. познакомил меня с ними: Илья Мостославский, полковник Коновалов.

Вот не помню, этот ли полковник или другой, упомянутый выше зав. пекарней, попал в тюрьму при таких забавных обстоятельствах: сильно пьяного, его задержал патруль и отвел в военную комендатуру. Полковник бушевал, свирепо матерился. Комендант укоризненно напомнил ему:

— Товарищ полковник, не забывайте: вы в военной комендатуре.

— Ебал я вашу комендатуру!

— Товарищ полковник! Я сейчас зам. министра позвоню!

— Ебал я вашего министра!

Комендант не терял надежды урезонить его.

— Постыдитесь, товарищ полковник. Посмотрите, чей над вами портрет!

— Ебал я ваш портрет!!!

На этом дискуссия закончилась — для полковника полновесным сроком.

От Каплера мы с Юлием Дунским услышали историю «червонного казака» Гришки Вальдмана. (Юлик, правда, запомнил другое имя и фамилию: Ленька Шмидт).

Этот героический еврей-котовец после гражданской войны оказался не у дел: к мирной жизни он был мало приспособлен. За старые боевые заслуги его поставили директором какого-то завода, а в начале тридцатых даже послали в Америку — набираться опыта. Оттуда он привёз холодильник (их тогда в Москве было мало, а те, что были, называли почтительно рефрижераторами) и дюжину разноцветных пижам. Пижамы ему очень нравились, он даже гостей принимал в пижаме. А посреди вечера убегал в спальню и через минуту появлялся в пижаме другого цвета. В общем, это был бестолковый добродушный еврей-выпивоха.

В 37 году начались аресты. Окружение Гришки-Леньки сильно поредело и он, при всём своем легкомыслии, забеспокоился. Понял, что заграничная командировка может выйти ему боком. Пошел к старому приятелю и спросил совета, как вести себя, если за ним придут.

Приятель (это был Андрей Януарьевич Вышинский) поджал губы:

— Зря у нас никого не сажают. Но могу сказать тебе одно. Придут — попроси показать ордер на арест: есть ли там подписи кого-нибудь из секретарей ЦК и генерального прокурора или его

заместителя. Ты номенклатурный работник, без этих подписей ордер недействителен.

Гришка поблагодарил, пошел домой. В ту же ночь за ним пришли. Позвонили в дверь, на вопрос «Кто?» ответили: «Телеграмма».

— Подсуньте под дверь, — распорядился Вальдман. Тогда они перестали валять дурака:

— Открывайте! НКВД.

Гришка велел домработнице открыть дверь. Вошли трое и замерли у порога: хозяин, в пижаме с тремя орденами Красного Знамени на груди, стоял облокотившись на рефрижератор. В руке он держал маузер; длинный ствол был направлен на вошедших.

— Покажите ордер! — потребовал Вальдман. Старшой с готовностью рванулся вперед.

— Не подходить! Клава, дай швабру. — И взяв у домработницы щетку на длинной ручке, протянул ее чекисту. — Ложи сюда.

Подтянув к себе ордер, Гришка долго вертел его в руках, по-прежнему держа энкаведешников под прицелом. В грамоте он был не очень силен, но всё что нужно, углядел.

— Где подпись секретаря?

— А что, нету? Так это мы сейчас. Поедемте, там подпишем.

— Никуда я с вами не поеду. Вы самозванцы, пошли вон!

Старшой потоптался на месте, попросил:

— Товарищ Вальдман! Разрешите позвонить по телефону.

Тот разрешил: телефон висел на стене в коридоре.

— Не идет, — сказал чекист кому-то в трубку. Последовала пауза. Видимо, на том конце провода ругались: чего вы с ним чикаетесь? Хватайте его и везите.

— Нельзя… Я говорю, нельзя. Обстоятельства не позволяют.

Вся троица покинула квартиру, пообещав, что скоро вернутся.

Не вернулись. То ли других забот было много, то ли самих посадили — тогда такое было не в диковинку. Как бы там ни было, Вальдман остался на свободе. Посадили его года через три — за растрату. Старые котовцы пустили шапку по кругу, набрали чуть ли не миллион и принесли в прокуратуру — выкупать Вальдмана: его любили. Разумеется, их погнали в шею…

Эту историю рассказали Каплеру ее участники, когда он собирал материал для фильма «Котовский».

Во время «Прогулок с Каплером» я узнал от него, что таких особых лагерей, как Минлаг, теперь уже несколько — и все на базе старых, обычных. Названия им дали не географические, а шифрованные — видимо, чтобы обмануть американскую разведку. Интлаг стал Минлагом (Минеральным лагерем),

Воркутлаг — Речлагом… А были еще Морлаг, Озерлаг, Степлаг, Песчанлаг, Камышлаг и даже один с былинным названием Дубровлаг, в Мордовии, недалеко от станции Явас.

— Я вас! — смеялся Каплер. — Страшненькое название!

Но как раз этот Дубровлаг, по слухам, был помягче других: для слабосилки и инвалидов.

В наш Минлаг Каплер с Юликом прибыли одним этапом, но из разных мест: Алексей Яковлевич с Лубянки (это был его второй заход), а Юлий из Кировской области. Подробно про их встречу рассказал Юлик, когда мы наконец встретились.

В первый же день после приезда он обратил внимание на шустрого не очень молодого человека, который торопился сообщить всем минлаговским начальникам, что он кинорежиссер. Юлику он не понравился. А Юлик привлек его внимание — я думаю, своей молчаливостью, стеснительностью.

— Скажите, вы из Москвы?

— Да.

— Вы наверно были студентом? В каком институте?

— В институте кинематографии. Слыхали про такой?

— Слыхал — ВГИК… Давайте знакомиться. Моя фамилия Каплер.

А до Юлика все еще не доходило. Из вежливости он поинтересовался:

— Не родственник Алексею Каплеру?

Каплер грустно усмехнулся:

— Вы английский язык знаете?

— Немножко.

— Ай эм.

Юлик так и сел на борт тачки. У него сделалось такое лицо — об этом мне рассказывал уже Каплер, — что Алексей Яковлевич на всю жизнь проникся к нему нежностью.

Вдвоем они таскали носилки со шлаком — и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Их бригада строила дорогу для вывозки мусора. Я видел эту дорогу: она доходила до края оврага и круто обрывалась. Грешным делом, я подумал, что они, увлекшись разговором, завели дорогу не туда, куда следовало. Но мне объяснили: именно туда. Там мусор сбрасывали в овраг.

Про этот отрезок их лагерной жизни Каплер рассказывал и такое. Когда бригада — по пятеркам, взявшись за руки — возвращалась в зону, сосед Алексея Яковлевича по шеренге каждый раз жалобно просил быть поаккуратней: очень болит рука, привычный вывих. Кто-то из работяг по секрету шепнул Каплеру, что его сосед в немецком лагере военнопленных работал «жидоловом» — выявлял евреев. Ему же немцы доверяли

расстреливать их. Вот так и получился вывих — от отдачи автомата…

С блатными Алексей Яковлевич общался мало: так уж сложилось его лагерная судьба. Но как писатель он сумел оценить богатство их языка.

— Представляете, Юлик, они даже в числительные ухитряются вставить свое любимое словечко. Мишка мне сказал: «И дали мне два, блядь, с половиной года!»

От этого же Мишки он впервые услышал: «Вот. Дали ему год. Отсидел тринадцать месяцев и досрочно освободился». Услышал и восхитился Мишкиным остроумием. Но мы это слышали тысячу раз: самая ходовая лагерная присказка.

О своем деле Алексей Яковлевич рассказывал неохотно. Теперь-то оно ни для кого не секрет, но на всякий случай напомню — коротко.

В него влюбилась дочка Сталина Светлана. В те годы Каплер был на вершине успеха — «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 г.». Был обласкан властями, принят в «высшем обществе»— если условно назвать так кремлевскую элиту. Влюблялись в него женщины и покрасивее рыжей вчерашней школьницы. Но внимание «кронпринцессы» ему очень льстило. Романа, собственно, не было: держась за ручку, они гуляли по Москве, разговаривали. И повсюду за ними ходил провожатый — дочери Сталина полагалась охрана.

Светланиному папе эти прогулки сильно не нравились. В один прекрасный день раздался звонок. Грубый голос велел:

— Каплер, перестаньте крутить мозги дочке Сталина! Будет плохо.

Алексей Яковлевич не поверил, а зря.

Как-то раз Светлана пришла в слезах: из-за Каплера она опоздала на папин день рождения. Он рассердился, шмякнул об пол тарелку с праздничным пирогом, накричал на дочь… В общем, Алексею Яковлевичу лучше уехать.

Он послушался, уехал. Сначала отправился в «партизанский край», потом на сталинградский фронт — собкором «Правды». И погорел на литературном приеме: своим корреспонденциям с фронта он придал форму писем некоего лейтенанта к любимой девушке. Лейтенант писал примерно так: «Помнишь, любимая, как мы гуляли по Александровскому саду, как смотрели на Кремль с Каменного моста?..» Именно эти маршруты фигурировали в ежедневных отчетах Светланиного охранника.

Сталин пришел в ярость: он решил, что этот наглый еврей таким хитрым способом объясняется в любви его дочери. Газета «Правда» получила первый в своей истории выговор по партийной

линии. А Каплера арестовали, дали пять лет по ст. 58.10 ч. II (антисоветская агитация: «восхвалял мощь германской армии… выражал сомнение…») и отправили на Воркуту.

Начальником Воркутлага был тогда генерал Мальцев, человек не глупый и не трусливый. Он не побоялся расконвоировать своего знатного узника и предложил написать что-нибудь о «заполярной кочегарке» — Воркуте.

Алексей Яковлевич, походил, присмотрелся — и отказался писать. Объяснил: рассказать, как оно есть, не позволят, а писать, что Воркуту, как «город на заре», Комсомольск, построили комсомольцы-добровольцы — это ему совесть не позволяет. Генерал не настаивал.

Каплер хорошо фотографировал. Ему разрешили выписать из дому всё необходимое, и он стал городским фотографом. Возможно и по сей день сохранилась в Воркуте будочка «Фотография «Динамо». Лет двадцать назад она еще стояла: Каплер ездил на Воркуту с женой, Юлей Друниной, и показывал ей свою бывшую резиденцию. Правда, мемориальной доски: «Здесь жил и работал А. Я. Каплер» не было…

Воркута гордилась своим театром. Труппа была смешанная: вольные и зеки. Смешанным был и репертуар — даже оперы, по-моему, ставили. Или оперетты? Главные роли играла длинноногая красавица Валентина Токарская. Кто видел довоенный фильм «Марионетки», наверняка помнит ее.

В войну она вместе с фронтовой бригадой московских артистов попала к немцам в плен. Явных евреев расстреляли, а неявные вместе с русскими стали работать в теперь уже немецких фронтовых бригадах — выступали большей частью перед власовцами. Репертуар был совершенно аполитичный. Когда война кончилась, особых претензий к артистам «органы» не имели. Но на беду в руки одного из военных корреспондентов (знаю кого, но из симпатии к его дочери не назову фамилии) попала фотокарточка: Токарская и другие актеры сняты были в компании власовских офицеров. В сердце корреспондента застучал пепел Клааса. Этот стук был услышан, и Валентину Георгиевну посадили, дав ей на бедность лет пять.

На Воркуте она, как и Каплер, была расконвоированной. У них начался роман.

Встречаться и всё прочее можно было в фотографии «Динамо». Для безопасности в заднем торце кабинки Каплер устроил узенький тамбур. Внутреннюю дверь загородили шкафом с химикалиями. Подкованный шарикоподшипниками, он легко отъезжал в сторону. В случае тревоги Токарская пряталась в тамбуре и там пережидала. Если же нежелательные гости

задерживались надолго, она уходила: массивный замок на наружной двери был декоративным — так хитро, на одну сторону, крепились обе петли.

В сорок восьмом году у Каплера кончился срок, и они с Токарской решили пожениться. Алексей Яковлевич, превратившийся из з/к в в/н, продолжал работать фотографом, но мечтал вернуться в кино. Понимал, что в Москву или Ленинград его не пустят — но ведь была и на Урале студия, в Свердловске? И он отважился попытать счастья. Взял командировку в Киев, а по дороге заехал в Москву, к старым друзьям — Константину Симонову и Ивану Пырьеву. Те встретили его с распростертыми объятьями, обещали похлопотать — но не успели: на второй день московского визита Каплера арестовали, отвезли на Лубянку и дали второй срок. На этот раз обвинение было пустяшным: придрались к нарушению паспортного режима (зачем сунулся в столицу?) и осудили по ст. 7-35 УК — по-другому это называлось СВЭ, социально вредный элемент. По этой статье судили бродяг и проституток, когда за ними не числилось конкретных преступлений.

Сокамерник-юрист поздравил Алексея Яковлевича: статья легкая, дадут два-три года высылки, не больше! Но для Каплера сделали исключение: дали еще раз пять лет и отправили в лагерь особого режима, в Минлаг. К тому времени, когда мы встретились, он отсидел чуть больше года из своего второго срока.

Свое обещание — помочь мне перебраться к Юлику — Алексей Яковлевич выполнил. Отвел меня к татарину по фамилии Шапиро, объяснил ситуацию. Тот пообещал отправить меня на 3-й ОЛП — спросил только, не родственники ли мы с Дунским? Нет, не родственники.

И вот пришел день отправки. Расцеловавшись с Каплером, я побежал становиться в строй. Но в последнюю минуту нарядчик выкрикнул мою фамилию и меня выдернули из колонны: оказывается, знакомый доктор, симпатизировавший мне, решил оставить меня в Сангородке «по состоянию здоровья». Я, конечно, поблагодарил доктора — не очень искренне.

Теперь надо было ждать следующей оказии. Ждать пришлось не долго: на шахтах нехватало рабочей силы, требовалось пополнение. И недели через две нарядчики стали готовить следующую партию для отправки на ОЛП-3.

В список попал и я. Но на этот раз меня подвело вечное еврейское беспокойство: а вдруг отправляют не на третий? Я пошел выяснять. И нарвался на «покупателей» — так называли представителей шахт, приезжавших к нам за пополнением.

Главный инженер шахты неодобрительно поглядел на мои очки и спросил:

— А вы, собственно, что собираетесь там делать?

— Работать! — бодро сказал я.

— Нет, очкастых мне в шахту не надо. Вычеркните этого.

Вычеркнули.

Дождавшись, когда шахтерское начальство уедет, я пошел к старшему нарядчику. Сказал:

— Слушай, кто-нибудь обязательно попросит, чтоб его оставили на пятом. Вот и оставь. А меня впиши на его место.

Нарядчик так и сделал, вычеркнул кого-то — наверняка за «лапу» — и я снова оказался в списке. Чтобы не рисковать, снял очки, сунул в карман и пошел становиться в строй.

XIV. Юлик и другие

На третий ОЛП нас доставили с комфортом — на автомобиле. Грузовом, конечно. В кузов зеки садятся по пять в ряд, назад лицом. Уселась первая пятерка, дают команду второй и т. д. Сидим тесно, не шелохнешься. А два конвоира с винтовками, отгороженные от нас деревянным переносным щитком, стоят спиной к кабине.

Лагпункты на Инте привязаны были к шахтам, разбросанным на довольно большом пространстве. Но нам ехать было недалеко, километров десять.

ОЛП-3 показался мне огромным, я таких раньше не видел: огороженный колючкой поселок с четырьмя тысячами жителей. Нас завели в карантинный барак и велели не расходиться. Далеко не отлучаясь, я стал высматривать знакомых. И почти сразу углядел эстонца Сима Мандре. Попросил: найди Дунского, он тут работает нормировщиком Шахтстроя, скажи, что я приехал.

Этого Сима я знал по Ерцеву. Там был еще и Ной, еврей по фамилии Гликин, так что кто-то сострил: Ной у нас есть, Сим есть, хамов много — только Яфета не хватает. Вот я и запомнил его имя и фамилию. А он мою нет. Сходил, отыскал Юлика и сказал:

— Иди карантинный баракк, твой кирюкка приехал. Такой длинный, отьках.

Юлик не сразу пошел: почему-то он подумал, что «длинный кирюха в очках «это Виктор Луи, к которому симпатии не испытывал. Потом всё-таки решил сходить, посмотреть…

Два дня и две ночи мы с ним говорили без передышки. Ну, не совсем так: на обед и на ужин всё-таки ходили — порознь. Говорил больше он, у меня из-за ларингита совсем сел голос. Мы не виделись пять лет, только переписывались — и вот такой, как говорили в старину, подарок судьбы.

В тюрьме и лагере многие безбожники становятся верующими. Со мной этого не случилось. Но когда я вспоминаю историю нашей с Юликом дружбы, все трудно объяснимые случайности, все неожиданные, неправдоподобные встречи — нет-нет, а придет в голову мысль: а может быть и правда есть бог?

Мы проучились в одной школе семь лет, а познакомились только на восьмой год. Он был в классе «А», а я в «Б». Правда, и ему, и мне математичка Надежда Петровна говорила:

— Вот есть у меня в классе «Б» такой Валерик Фрид (или, соответственно, «в классе «А» такой Юлик Дунский«.) Тоже царапает, как курица лапой, тоже на полях рожицы рисует. И

кляксы такие же…

Познакомил нас на переменке общий приятель. И мы сходу стали ругать только что увиденную картину «Дети капитана Гранта». Там играл Яша Сегель. Он был на класс младше нас и жил с Юликом в одном доме. Хорошо помню объявление в «Вечерке»: Мосфильм искал мальчиков английского типа на роль Роберта Гранта. Яшина мама была ассистентом на этом фильме. По странному совпадению, самый английский тип оказался у ее сына. Юлика она тоже водила на фотопробу — просто, чтобы бесплатно сфотографировался.

Нас, знатоков Жюля Верна, особенно возмущали отступления от канонического текста. Мы даже решили написать пародию на этот сценарий. Разошлись по домам и написали — каждый свою. Назавтра прочитали друг дружке, давясь от хохота, а после уроков пошли домой ко мне — писать третий вариант уже вдвоем. Так началась наша кинодраматургическая карьера.

Но тут выяснилось, что мой класс «Б» переводят в другую школу, новостройку. А класс «А» остается в старой 168-й. (Раньше она была 27-я, а еще раньше — «12-я им. декабристов». Моя не очень образованная родственница удивлялась: декабристов? Наверно, октябристов?.. Теперь там «полтинник» — 50-е отделение милиции).

Расставаться нам не хотелось. Юлик пошел в мою новую школу, никому ничего не сказав, и сел со мною за одну парту. Недели две учителя его не замечали. Потом заметили, удивились: а ты, мальчик, откуда взялся?

Как ни странно, в те очень недемократические времена бюрократии в школе было куда меньше, чем теперь. Юлика даже не заставили писать заявление, просто позвонили в 168-ю и попросили переслать документы в 172-ю. Так мы и доучились до десятого класса. Вместе редактировали школьную стенгазету, вместе руководили драмкружком. Актерских способностей ни у него, ни у меня не было, но оба играли и в «Интервенции», и в «Очной ставке». Учились одинаково плохо. Нам предрекали: не кончите ведь школу! Кое-как кончили: мне помогла сломанная челюсть. (Баловались, я свалился в подвал. Мне поставили «шину» — приковали алюминиевой проволокой верхнюю челюсть к нижней — и освободили от экзаменов). По всем гуманитарным предметам мне поставили пятерки — я думаю, почти заслуженно. А по всем точным наукам из жалости выставили тройки.

Вот с продолжением образования было посложней. Тогда на приемных экзаменах во все даже самые что ни на есть гуманитарные вузы, надо было сдавать математику и физику. А может, и химию. Этого мы бы не осилили.

И опять везенье! Вышел новый закон, по которому после десятого класса мальчиков забирали в армию. Мы обрадовались: призыв осенью, а значит, всё лето можно жить в свое удовольствие, не думать об институте, не готовиться к экзаменам. Юлик со старшим братом Виктором впервые в жизни поехал к морю, в Коктебель, а я бездельничал на даче в Малаховке.

Правда, в начале лета, в электричке, у нас случился такой разговор с соседом: он слышал, как мы обсуждаем сборник американских сценариев.

— Вы, как я понял, окончили школу? А куда думаете поступать?

Мы объяснили, что никуда: идем в армию.

— Жаль. Вам надо бы во ВГИК. Я б мог помочь, я Плотников.

Плотников был замечательным актером-вахтанговцем. Снимался он и в кино.

— Тот Плотников?! — спросили мы почтительно. Сосед как бы засмущался:

— Какой это тот?

— Тот, тот, — сказала его жена.

И мы на минуту огорчились: так хорошо он рассказывал нам о ВГИКе… Не судьба!

И вдруг в августе меня повесткой вызывают в военкомат. Там куча ребят, и все в очках: оказывается, изменили медицинские требования к призывникам, и всех, у кого больше четырех диоптрий, от армии освобождают.

У нас с Юликом было по четыре с половиной. (Все размеры у нас совпадали, кроме обуви: я мог носить его ботинки, а мои были ему малы).

Тем летом — словно специально для нас — отменили экзамены по точным наукам в гуманитарных вузах. Наши шансы поступить очень выросли — но к сожалению, во всех институтах уже закончились приемные испытания. Только один единственный вуз перенес их на сентябрь — Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии, ВГИК!

Он переезжал из здания бывшего «Яра» (где сейчас гостиница «Советская») на новое место, к Сельхозвыставке. В Коктебель пошла телеграмма: «Выезжай готовиться в вуз». И хотя телеграфистка перепутала, написала «готовиться в ус», Юлик всё понял правильно.

Приехал, мы спешно подготовили вступительные работы: он перевод стихотворения, и я перевод стихотворения (он — Гейне, я — Бернса); он экранизацию рассказа О.Генри, и я экранизацию рассказа О.Генри… Мы прошли по конкурсу — и в институте, в отличие от школы, учились хорошо. Но не успели мы сдать

экзамены за первый курс, как началась война.

Всем курсом поехали на трудфронт: копать эскарпы, контрэскарпы и противотанковые рвы в Смоленской области, под Рославлем. Нас вернули в Москву за день до немецкого наступления. А в октябре немцы уже подошли к самой Москве.

Похоже было, что столицу сдадут: еще раньше из Москвы эвакуировали все важные учреждения и предприятия, а теперь отгоняли подальше весь вагонный парк, вывозили на грузовых платформах московские троллейбусы.

У Юлия на руках была очень больная мать — астматичка, да еще почти слепая. Отец нашего однокурсника Игоря Пожидаева{54} руководил эвакуацией своего наркомата. Сотрудников с семьями грузили на пароходы и по каналу Москва-Волга отправляли в Ульяновск. Игорь добыл два билета — для Юлика и его мамы. Юлик тут же их потерял и стеснялся пойти попросить дубликаты — но я его заставил. Сам же я решил пока остаться и посмотреть, что будет. Семнадцатого числа я увидел пожарную машину, груженую чемоданами, узлами и матрасами. Подумал: ну, дело плохо, это последний звонок — пора удирать.

Набил едой один рюкзак, обувкой второй — даже «гаги» отвинтил от конёчных ботинок. Один рюкзак на груди, другой на спине, обе руки свободны. И пошел на Казанский вокзал, чтобы отъехать на электричке хотя бы до Раменского, километров пятьдесят. А дальше можно пешком — как мой отец, когда уходил под бомбежкой из Минска.

Вот тут-то и выяснилось, что электричек уже нет — угнали на восток. Зато стоял готовый к отправке эшелон с эвакуированными. Я нахально влез в теплушку, набитую людьми так плотно, как и гулаговские краснухи не набивались зеками. Куда повезут, никто не знал. Поехали потихоньку… На какой-то станции я увидел поезд «Москва-Казань». Двери вагонов были заперты изнутри. Но я уцепился за поручень и на подножке отправился к Мише Левину — он с родителями был в Казани{55}.

Из Казани так же зайцем я поплыл на пароходе в Куйбышев — там была Военно-медицинская академия, где работал мой отец. А по дороге, в Ульяновске, увидел у причала пароход — кажется, «Профессор Мечников», — который увез из Москвы Юлика с мамой. Побежал искать их, но не нашел. Еле вытащил ноги из черной и вязкой, как вар, ульяновской грязи и двинулся дальше, к своим.

В Куйбышеве — нечаянная радость. Моего отца разыскал Юлик, чтобы узнать, что со мной, и рассказать о себе. Они с матерью пробирались в Чкаловск — в тамошнем госпитале лежал мамин брат полковник Иоффе, тяжело раненный{56}. (Мы

обнялись на прощанье — как тогда, на Лубянке — когда еще доведется увидеться?)

Через пару дней произошла еще одна неожиданная встреча: увидел на улице Валентина Морозова, однокурсника. Он эвакуировался вместе со ВГИКом. До Куйбышева ребята путешествовали в тех самых троллейбусах, которые уехали из Москвы на грузовых платформах. Институт направлялся в Алма-Ату. В Куйбышеве ВГИКу дали целый вагон — пассажирский, бесплацкартный.

Я простился с родителями и поехал дальше с ребятами.

По дороге мы подобрали еще двух гиковцев — студентку и преподавателя, а когда выгрузились на станции Алма-Ата-I, я увидел еще издали знакомое бежевое пальто с черным мазутным пятном на ягодице: это Юлик в Куйбышеве присел отдохнуть на шпалу.

Я побежал, догнал его — и вовремя. В его паспорте уже стоял лиловый штамп: «эвакуируется в Усть-Каменогорск». Оказывается, в госпитале у дяди Миши они встретились со вторым братом Минны Соломоновны, Ароном. И решили путешествовать дальше втроем.

Я категорически потребовал, чтобы Юлик остался с нами. Будет учиться, а мама пускай едет в Усть-Каменогорск, дядька присмотрит за ней. Минна Соломоновна горячо поддержала мою идею, но Арон — не лучший из ее братьев — был не в восторге. В письме из Усть-Каменогорска он потом спросил Юлика: «Как поживает твой пройдоха Фрид? Он пройдоха, это точно…» Точно, не точно — но теперь-то я понимаю, что только эгоизм молодости не дал подумать, какую ношу я взваливаю на чужого мне человека. По счастью, все обернулось хорошо, и Юлик ездил из Алма-Аты в Усть-Каменогорск навещать маму.

В эвакуации ВГИК оставался до осени 1943 г. В октябре мы вернулись в Москву, новый 44-й год встретили со старыми друзьями — и с ними же чуть погодя угодили в тюрьму. После бутырской «церкви» наши с Юликом дорожки разошлись. Домой он писал не обо всех своих приключениях — не хотел, чтоб волновались. А волноваться были причины.

В первом же лагере, куда он попал, на него полез с топором приблатненный собригадник. Юлик топор отнял, отбросил и как следует отметелил этого типа. Силенки набрался в Бутырке, на передачках, а храбрости ему хватало: у Дунских это семейное. Всегда вежливый и мягкий, он впадал прямо-таки в беркерскую ярость, если его оскорбляли — его или кого-то из близких. Как тогда полез на топор, мог и на танк попереть. Уже после лагеря, в Москве, наш сосед по дому Фимка, будущий американский

писатель Эфраим Севела, очень точно определил: у Юлика мягкости — на один миллиметр.

Эта твердость характера была его главной опорой в лагере: передач из дома он не получал. Отец к этому времени умер, мать была совершенно беспомощна, а брат Виктор отрекся от него, узнав, по какому пункту пятьдесят восьмой статьи Юлик получил срок. Отрекся не по трусости: в первые дни войны он ушел на фронт добровольцем, хорошо воевал, был ранен и снова воевал. Но Виктор Дунский был идейный коммунист, в партию его приняли чуть ли не семнадцати лет от роду, и он совершенно искренне считал своего любимого младшего брата врагом народа. А раз так, то следовательно… Какая-то дикая слепота — хуже, чем глаукома Минны Соломоновны. Черная магия сталинизма.

К чести Виктора надо сказать, что всё поняв — но только после XX-го съезда, как и многие такие же — он трижды приходил к брату каяться. Два раза Юлик прогонял его, но на третий простил. И никогда не вспоминал об этой позорной странице их семейной хроники…

Чувство собственного достоинства привлекало к Юлию самых разных людей. В первом его лагере — это было в Курской области — вольный прораб обратил внимание на несуетливого молодого человека в очках. Подошел, поговорил — и назначил десятником. А в подчинение ему дал военнопленных немцев. Там рядом с их лагпунктом был асфальто-битумный заводик, на котором вместе с зеками работали военнопленные немцы и мадьяры. Их положение было получше, чем у з/к з/к: их кормили не «по нормам Гулага», им давали армейский паёк, такой же, как своим.

Юлик вспоминал меланхоличного немецкого генерала с железным крестом на мундире. При нем состояли два его прежних адъютанта. Этим жилось совсем недурно: все трое не работали, читали, беседовали. Иногда и Юлик со своим небогатым запасом немецких слов принимал в их беседах участие.

Там же он оказался свидетелем необычного — и похоже, удачного — побега. Бригада заключенных ремонтировала полотно железной дороги. Раздалась команда: всем отойти в сторону!

По соседнему только что отремонтированному пути медленно шел воинский эшелон. Это возвращались по домам победители. Двери теплушек были открыты — жара… В одном из вагонов ехали моряки, радовались жизни, горланили песни. Проезжая мимо зеков, приумолкли. И вдруг от костра, на котором разогревали битум, к эшелону поскакал на костылях одноногий инвалид, морячок. Он махал бескозыркой, кричал:

— Братишечки! Я свой, я с Балтики… Не дайте пропасть!..

— Стой! Куда попер? Стрелять буду! — орали конвоиры. И действительно стреляли — в воздух. Не палить же им по своим?..

Морячок бросил костыли, скакал вдоль вагонов на одной ноге. Из теплушки, где ехали матросы, протянулись руки — наверно, с десяток рук — и втащили его в вагон. Поезд набрал ход и ушел, увозя беглеца. Возможно, его и не очень-то искали: кому инвалид особенно был нужен?.. Сошел на какой-нибудь станции и потерялся в людском месиве.

Этот эпизод, ничего не прибавив к рассказу Юлика, мы с Миттой воспроизвели в «Затерянном в Сибири»{57}.

В тот курский лагерь Юлий попал вместе с нашим однодельцем Шуриком Гуревичем. Но очень скоро их сравнительно безбедная жизнь кончилась. Шурика отправили в Коми, в Устьвымлаг, (где, кстати сказать, он познакомился и подружился с хорошими и значительными людьми — Евгением Гнединым, Львом Разгоном), а Юлик уехал в Кировскую область.

Вот там ему пришлось туго. Я уже упоминал о жутком лагпункте, где смертность составляла 120 %. Юлик «доходил», несколько раз он попадал в стационар. Но каждый раз приходили на выручку друзья — новые.

С нежностью он вспоминал Линду Партс — пожилую, как ему тогда казалось, интеллигентную даму, жену какого-то крупного деятеля досоветской Эстонии. Линда работала в хлеборезке и опекала Юлика прямо-таки по-матерински. Её фамилию мы дали симпатичному эстонцу в «Красной площади». Вдруг увидит, вспомнит, отзовется? Хотя Юлик понимал: надежды на это мало.

Таким же способом мы пытались отыскать еще одного его друга — Сашу Брусенцова, геройского парня, бывшего лейтенанта. Его имя, отчество, фамилию и даже воинское звание мы присвоили одному из героев фильма «Служили два товарища» — поручику Александру Никитичу Брусенцову. И тоже — ни ответа, ни привета. Скорей всего погиб: очень рисковый был мужик. Он даже подбивал Юлика на побег, но тот его отговорил. Куда бежать? Побег не для тех, кто дорожит семьей, родными, друзьями. Пускай босяки бегут — им терять нечего. Понимаю — спорная позиция. Но мы с Юликом так считали оба… Тогда он Сашку отговорил, а что было потом — этого мы не знаем.

Именно из-за Брусенцова, чтобы не выдавать его — не помню уже, в чем там было дело — Юлик попал в тот карцер, где резал себе вены. Опер и это поставил ему в вину, грозил: будем судить за саботаж, дадим 58.14.

Драться Юлику пришлось и в кировском лагере. Но первая же драка создала ему репутацию непобедимого бойца — так удачно

подбил он своему противнику оба глаза. Они сразу заплыли, даже щелочек не осталось. И побежденного повели под руки — как слепого — в лазарет. По лагпункту прошел слух: боксер приехал. С ним старались не связываться.

Правда тамошний «старший блатной» решил проверить, есть ли у боксёра душок. Дело было на кухне, на ночном дежурстве (Юлика после болезни взяли в контору). И вот, этот Шурик стал задирать его, издеваться над его боксерской славой. Блатарь нарочно распалял себя. Начал со спокойного: «Боксер хуев, я тебя в рот ебу», и завелся до истерики — испытанный воровской прием, на фраеров действует устрашающе. Юлик эту игру понимал, но понимал и другое: стоит сейчас спасовать, жизни не будет. Не торопясь, взял со стола тяжелый секач и пошел на своего обидчика. Он не блефовал. Решил: будь что будет, всё равно нехорошо… И вор — хороший психолог — дал задний ход. Засмеялся, сказал:

— Ты чего, в натуре, шуток не понимаешь? Не бери в обиду, Юрок.

(Непривычное имя «Юлий» в лагере превратилось в «Юрий», отсюда и Юрок).

С этим Шуриком, серьёзным взрослым вором, со временем сложились почти дружественные отношения. Беседы с ним очень обогатили познания Юлика в области блатной этики и воровского языка.

Наладились отношения и с «малолеткой». Как именно — об этом я уже писал. Более того: столкновение с ворёнком по кличке Ведьма в слегка измененном виде вошло в фильм «Затерянный в Сибири» — как и многое другое из рассказанного тогда Юликом.

А на память о самом трагическом происшествии, свидетелем — да нет, можно сказать, участником которого он был, Юлий долгое время хранил гильзу от винтовочного патрона. Напомню: одно время он был учетчиком на лесосплаве и ходил на работу с бригадой малолеток. В зону они возвращались вместе с другими бригадами. Торопясь в голодном нетерпении к вечерней каше, малолетки обгоняли взрослых, колонна растягивалась — в ней было много «фитилей», которые не могли идти быстро. В тот день конвоиры несколько раз переставляли мальчишек в хвост колонны — а они, отчасти из озорства, снова пробирались вперед. У конвоя лопнуло терпение.

Поиграв затвором винтовки, вохровец пригрозил:

— Еще хоть раз нарушите строй, стрелять буду.

— Пацаны, не бойтесь — заорал сосед Юлика по шеренге. — Нету у них прав стрелять!

— Ах, нету? — Конвоир вскинул винтовку и с шести шагов

всадил мальчишке пулю в лоб. Тот рухнул без звука. Из-под телогрейки выкатилась алюминиевая миска с выцарапанной на дне надписью: «Повар поимей совесть». Юлик нагнулся подобрать её. Заодно подобрал еще теплую гильзу и незаметно сунул в карман. А вохровец сказал злорадно:

— Не хотели идти медленно, теперь три часа будете стоять.

И стояли — ждали начальства. В конце концов оно явилось. Пацаны загалдели:

— Без дела шмольнул! Век свободы не видать!.. Теперь срок получит!..

— Отпуск получит, — сказал в ответ офицер. — Внеочередной, за образцовое несение…

Но не только эти воспоминания сохранил Юлик о своем втором лагере. Я уже говорил: и там были друзья, были веселые минуты. Случалось и такое: кто-то из жуковатых вбил в забор, огораживающий лагерный сортир, большой гвоздь — изнутри. Ошивался около и ждал, когда придет кто-нибудь из латышей или эстонцев: эти ходили еще в привезенных из дому длинных пальто. Сидеть над очком в пальто очень неудобно — а тут такой подходящий гвоздь! Дурачок-прибалт вешал на него свое пальто. Дождавшись, пока он спустит штаны и займется делом, хитрован хватал добычу и удирал. Все, кроме обворованного, очень веселились…

С этим же отхожим местом связан и другой случай — скорее грустный, чем смешной. Следить за чистотой в сортире поставлен был доходяга-японец из военнопленных. Юлик оказал ему какую-то мелкую услугу, когда работал в конторе, и японец не знал, чем отблагодарить. Наконец придумал: когда Юлик зашел в уборную, японец подхватил его под локоток и с поклоном подвёл к второму от края очку: оно, по его мнению, было лучше других.

(Японцев и в Минлаге было несколько. Они как-то не по-нашему кланялись — короткими наклонами совершенно прямого туловища. И при этом то ли присвистывали, то ли пришипывали сквозь оскаленные в улыбке зубы: с-с-с!.. Мы с Юликом вспомнили дореволюционный вежливый слово-ерс: «Позвольте-с! Прошу-с!»)

В Минлаг Юлик попал на полгода раньше меня и ко дню нашей встречи был уже авторитетным придурком — нормировщиком. Вообще-то нормировщиков в лагерях не любили: от того, какую даст норму, зависит процент выработки, а стало быть и кормёжка. Из лагеря в лагерь переезжала вместе с этапами поговорка: «Увидишь змею и нормировщика — убей сперва нормировщика, змею всегда успеешь». Но Дунского уважали — он был самым либеральным изо всех.

Интинская его карьера началась так. Когда Юлика привезли на третий ОЛП, кто-то из старожилов посоветовал:

— Говоришь, нормировщиком работал? Здесь старший нормировщик твой земляк, сходи к нему, он тебя пристроит.

«Земляк» означало — еврей, как и ты. А известно же: еврей еврея всегда тянет, не то что мы, дураки русские… Эти рассуждения Юлик слышал сто раз и всерьёз не принимал. Но к старшему нормировщику всё-таки пошел.

Старшим нормировщиком на третьем ОЛПе был некто Лернер, румынский еврей, по специальности джазовый музыкант — саксофонист. Как и когда он превратился в нормировщика — понятия не имею. Но на третьем он был самой влиятельной фигурой. Замечено: в лагере это зависит не от должности, а от личности. На Алексеевке всем командовал завбуром Петров, на 15-м — комендант, ссученный вор Степан Ильин, в курском лагере у Юлика — почему-то фельдшер Грейдин, а здесь на третьем — нормировщик Лернер. Все они были стукачами, все — людьми энергичными и, как правило, подлыми. Лернера ненавидели и боялись даже надзиратели и вольные из обслуги: каждый день ходит к Бородулину, начальнику ОЛПа — кто его знает, чего он там нашептывает?

Визит к нему начался не очень удачно. «Земляк» кровного родства не признавал.

— Работали нормировщиком? — брезгливо переспросил Лернер. — Ну и что? Я-то здесь причем?

— Извините. — Юлик повернулся, чтобы идти. Это Лернера озадачило: к такому он не привык, думал — сейчас посетитель будет жалобно канючить: «А может, найдется какое-нибудь местечко? Я вам буду так благодарен, мне скоро посылка придет…» — что-нибудь в этом роде. А тут — буркнул «извините» и пошел.

— Погодите, — сказал Лернер в спину Юлику. — Вы москвич?.. Нормировщиком и на воле были?

— Нет. Студентом был.

— Какого института?

— Вы вряд ли знаете. Есть такой Институт Кинематографии. — И Юлик опять взялся за дверную ручку.

— Погодите! Профессора Тиссэ знаете?

— Его — нет. А с его женой немножко был знаком.

— Не может быть.

— Почему не может? Красивая женщина. Брюнетка… Со странным именем — Бланка, по-моему.

— Бьянка! Бьянка! — Лернер вскочил со стула. — Идите сюда.

Он выдвинул ящик стола и достал фотокарточку — портрет молодой женщины, с которой мы познакомились в Алма-Ате, на дне рождения Майи Рошаль. Оказалось, что эта Бьянка родная сестра Лернера. Он просто обожал ее, гордился ее красотой и образованностью.

Этот неожиданный поворот разговора решил проблему трудоустройства: немедленно нашлось место нормировщика. А Лернер часто зазывал Юлика к себе в кабину — поговорить о Бьянке, об американских фильмах. В своей Румынии он их насмотрелся достаточно. Он даже сыграл для Юлика — на скрипке, саксофона у него не было. По мнению знатока музыки Абрама Ефимовича Эйслера, сына капельмейстера санкт-петербургской императорской оперы, играл Лернер хорошо. Но тот отмахивался от похвал: вот на саксофоне, говорил он, я действительно умею играть. А скрипка — это так[58]…

Раз уж я упомянул Абрама Ефимовича, расскажу о нем поподробней. Это был прелестный старик, умница, похожий как близнец на актера Адольфа Менжу — тот же аристократический длинный нос, те же усики, тот же иронический прищур глаз — и та же нелюбовь к коммунизму. По своим политическим убеждениям Эйслер был монархистом и этого не скрывал.

— Абрам Ефимович, — удивился Юлик, — с такими взглядами — и на свободе до пятьдесят первого года?

Подумав, старик ответил:

— Видите ли, Юлик у меня были очень качественные знакомые[59].

Эйслер, по профессии инженер, был страстным пушкинистом. Знал наизусть множество стихов, биографию Пушкина помнил, как свою. Однажды Юлик проснулся посреди ночи и увидел, что Эйслер тоже не спит. Сидит призадумавшись на нарах и смотрит в одну точку. Вообще-то, ему было над чем призадуматься: по ст. 58.10 старику дали четвертак, отсидел он только год. А если тебе за семьдесят? Не так уж просто досидеть до звонка. Всё-таки Юлий спросил:

— О чем задумались, Абрам Ефимович?

— Я думаю: если бы он женился не на этой бляди Гончаровой, а на Анне Петровне Керн — представляете, Юлик, сколько он мог бы еще написать?!

Что касается срока, Эйслер обманул-таки советскую власть: освободился после XX-го съезда, не досидев лет двадцать, и вернулся в Москву одновременно с нами…

Когда я попал на 3-й, Лернер доживал там последние денечки: через неделю он должен был освобождаться. Юлик познакомил меня с ним и спросил, нельзя ли найти для меня

работу в бухгалтерии. Лернер согласился помочь и действительно поговорил, с кем следовало. Ему обещали — сделаем!.. Но как только он уехал, всеобщая нелюбовь к нему, естественно, перенеслась на меня: никто не хотел помогать протеже Лернера. В конце концов все устроилось само собой. Бухгалтера были нужны; недели две-три походил на стройку, а потом меня взяли в бухгалтерию ОЛПа.

Ничего интересного про эту контору вспомнить не могу при всём желании. Даже забыл редкое имя самого противного из коллег: Гурий? Или Милий? У него и фамилия была противная — Золотарев. Помню очень приятного рижанина Володю — русского из первой эмиграции. Он рассказал мне, как сочинялось знаменитое танго «Черные глаза»: когда-то Володя ухаживал за дочкой автора «Черных глаз» Оскара Строка, тоже рижанина. Только тому повезло больше — в России жил и умер свободным человеком… Помню и Володину смешную реплику. При нем Золотарев громко, чтоб услыхал главбух, похвалялся своим служебным рвением:

— Столько дел, столько дел — другой раз и пообедать не пойдешь.

— Другой раз и не дадут, — сказал Володя.

И помню офицера-главбуха, злобного карлика по прозвищу Трубка. Трубку он не выпускал изо рта, но чтобы поделиться табачком с зеками-подчиненными — это никогда! Водились за ним грехи и посерьёзней: к концу зимы он попал под суд — за растление собственной дочери. Девочке было шесть лет. Но это к делу не относится.

Отсидев положенные часы в конторе я бежал к Юлику. Мы жили в разных бараках: он в шахтстроевском, я — в бараке лагерной обслуги.

Третий ОЛП, вообще-то, официально именовался третьим лаготделением, л/о № 3, но это труднопроизносимо, все говорили — ОЛП. Так вот, наш ОЛП поделен был на четыре колонны: Шахтстрой, Шахта-9, Шахта-13/14 и Лагобслуга. Каждой колонне начальство отвело по нескольку бараков и строго следило за тем, чтобы зеки проживали, так сказать, по месту прописки. Но ходить из барака в барак днем разрешалось. Это потом уже скотина Бородулин ввёл почти тюремный режим: ходить приказано было строем — даже если втроем или вчетвером. На ночь бараки запирали снаружи. Но и тогда бессмысленные эти строгости долго не продержались.

А пока-что о строгости режима напоминали номера на спинах. Я знаю, что в других особлагах номера нашивали еще и на шапку и на колено. У нас — только на спине. Но появиться в

зоне или на шахте без номера было нельзя: сразу угодишь в карцер. Мы не были безымянными «номерными арестантами», как лубянские. Вольные обращались к нам по фамилии, а на производстве и по имени. Но для вертухаев номера служили большим подспорьем. Попробуешь от него удрать, а он даже не побежит вдогонку — просто запишет номер, проводив тебя взглядом, как гаишник удирающую от свистка машину.

К моему стыду должен признаться, что после первого шока, я быстро привык к этому нововведенью и даже стал находить в нем некоторое удобство. Рабская натура? Может быть. Но вот принесут из сушилки одежду и вывалят горой посреди барака — иди ройся, ищи свое! А по номеру в куче одинакового лагерного тряпья легко было опознать свой бушлат и свою телогрейку. Я был Н-71, Юлик Дунский — К-963.

В номере не могло быть больше трех цифр: после 999 меняли букву и начинали новую тысячу — с единицы.

Носить свою, вольную, одежду запрещалось категорически — ни шапки, ни сапог, ни свитера — ничего! Зато казенная была получше, чем у нас в Каргопольлаге. Бушлаты и телогрейки первого срока доставались почти всем. Вот с обувью, особенно с валенками, обстояло похуже.

Публика на 3-м, как и всюду, была очень разношерстная. Попадались и совсем свеженькие, только что с воли. Мы познакомились с молоденьким москвичом, почти мальчиком, Сережей Закгеймом. Стали расспрашивать: что там в Москве? Оказалось, всё как было — так же сажают за ерунду. Понизив голос, он прочитал стихотворение, которое ходило по Москве в списках:

Можно строчки нанизывать
Посложней и попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.
Мы не будем увенчаны,
И в кибитках снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Фамилию автора мы не запомнили, зато запомнили эти восемь строчек. В 1956 г., едва мы вернулись в Москву, нас позвал в гости Леонид Захарович Трауберг — он был нашим мастером во ВГИКе. Его интересовало: неужели все двенадцать лет мы были совершенно отрезаны от культуры, от литературных новинок? Мы ответили, что нет. Просачивались и в лагерь какие-то сведенья.

Вот, например, там мы услышали такие стихи. И стали читать:

Можно строчки нанизывать…

Раздался смех. Нам показали круглолицего молодого человека в очках, очень симпатичного. Он застенчиво улыбнулся, представился: Эмка Мандель. Стихи были его. После он побывал у нас, рассказал, что и он сидел, дал почитать новые стихи — в рукописи. Теперь-то все они напечатаны, и не раз. А он теперь известный поэт Наум Коржавин и живет в Америке (куда за ним и настоящая женщина поехала). Он часто бывает в Москве и для своих остался Эмкой Манделем…

Когда я написал, что были на третьем свеженькие с воли, следовало бы добавить: свеженькие, но не новенькие. К концу сороковых годов, как эпидемия, прокатилась по стране волна новых арестов. Брали главным образом тех, кто после войны вернулся из лагерей. Судили за старые грехи, но срока давали новые, очень большие. Что породило эту кампанию — объяснить не могу. Возможно, очередной приступ сталинской паранойи. Или — что, в общем, одно и то же — усилившийся страх перед американцами.

В числе тех жертв холодной войны попал к нам инженер Рубинштейн, побывавший еще на Соловках. Вернулся на Север Билял Аблаевич Усейнов, наркомпищепром довоенной республики крымских татар. В наших краях его звали Борисом Алексеевичем.

Усейнов рассказал нам с Юликом, как он освобождался из лагеря, отбыв свой первый срок. Было это на Воркуте, зимой, в лютый мороз. Выйдя за ворота лагпункта, он сразу же кинулся искать ночлег — но никто из вольных не захотел впустить в дом вчерашнего врага народа.

Голодный, полузамерзший, Борис Алексеевич вернулся на вахту своего лагпункта и попросился в зону — хотя бы до утра. Вохра отнеслась по-человечески. Его впустили, и он побежал в контору, к ребятам, с которыми раньше работал. Там его обогрели, накормили чем бог послал — много бог не мог послать, время было военное, голодное, но бутылка водки у конторских нашлась. Выпили, посмеялись: плохо ли в лагере? Сам попросился обратно!.. И разошлись, оставив Усейнова ночевать в конторе.

Ночью он проснулся от нестерпимого жара: горели сложенные вдоль стены «рабочие сведения» — штабеля финской стружки, на которой писали за неимением бумаги. (У нас на комендантском такое тоже практиковалось. Финская стружка —

это плоская щепа, ею на севере кроют дома — как черепицей). Кто-то из пировавших оставил непогашенной керосиновую лампу, ночью она опрокинулась — и теперь сухая щепа полыхала вовсю. Уже и стены занялись.

Борис Алексеевич кинулся к двери, но за ночь снегу намело столько, что дверь не поддавалась. Тогда он выбил стекло и с трудом протиснулся наружу сквозь узкое окошко — в чем был, успел только сунуть ноги в валенки, а телогрейку надеть не успел…

Пожар потушили довольно быстро, но огонь свое дело сделал еще быстрей — от бревенчатого домика мало что осталось. Ударом в рельсу всё население лагпункта подняли на поверку — все ли целы. Выстроили, пересчитали — со списочным составом сошлось, можно было расходиться. И вдруг кто-то из вертухаев сообразил: как это сошлось? Один должен быть лишний — Усейнов-то уже не з/к!..

Борис Алексеевич говорил, что от напряжения, от волнений этой ночи он не чувствовал холода — ничего не отморозил, даже не простудился. Второй раз пересчитали зеков, и опять сошлось. Только тогда ребята из бухгалтерии хватились: а где хлебный табельщик? Вспомнили, что после вчерашней выпивки его развезло, в барак он не пошел, а полез на чердак — спать.

Все побежали к пепелищу и увидели: сидит среди еще непогасших головешек доходяга и гложет обгорелую человеческую руку…

Кроме бывшего наркома Усейнова был у нас еще один бывший — второй или третий секретарь ленинградского обкома Кедров. Он попал по знаменитому «ленинградскому делу». В чем оно заключалось, мы толком не знали. Говорили, будто тамошняя партийная верхушка обвинялась в том, что они хотели сделать Ленинград столицей — и вообще сильно тянули одеяло на себя. Срок у Кедрова был солидный — лет двадцать. (Другим «ленинградцам» дали вышку). О деле я Кедрова не расспрашивал: лагерная этика советует ждать: сам расскажет. А он не рассказывал. Был сдержан, осторожен, вежлив. Мне любопытно было послушать его: с людьми его круга раньше — да и потом — общаться не доводилось. Их я видел только на портретах — тучные, мордастые, все на одно лицо. Кедров же был худощав и это несколько поднимало его в моих глазах. Я как-то сказал ему, что на этих портретах единственное добродушное лицо у Ворошилова. Помолчав, Кедров буркнул:

— Ворошилов строг.

— Строг? В каком смысле?

— Сажать любит, — пояснил он и снова закрылся.

В другой раз он с гордостью рассказал мне такую историю. Во времена секретарства его возил прикрепленный к нему шофер. Однажды они проезжали мимо «Крестов», ленинградской тюрьмы, и водитель весело сказал:

— Родные места! Погостил здесь.

Кедров не стал спрашивать, за что и долго ли гостил. Просто позвонил, куда следовало и спросил:

— Моего водителя проверяли?.. Да? Проверьте еще раз.

И всё. Водителя убрали. Меня удивило: неужели Кедров не понимает, чем гордится, какой автопортрет рисует?.. Видимо, у них, также как у воров, какая-то своя вывернутая наизнанку мораль.

Вообще же наш лагконтингент состоял в основном из инородцев, «западников». Меня часто спрашивают: а как насчет антисемитизма в лагере? Мы от него не страдали: все, кто населял Советский Союз в границах 39-го года, здесь стали одним землячеством. Всё равно как в эмиграции: там русскими становятся все — и кавказцы, и татары, и евреи. Вероятно, это родовой инстинкт самосохранения — объединиться, чтобы устоять против враждебного окружения.

Могу рассказать и про единственного виденного мной человека, осужденного за антисемитизм. Это был молодой московский еврей, патриот и правоверный коммунист. Когда в 1953 году возникло дело «убийц в белых халатах», в центральных газетах появилась рубрика «Почта Лидии Тимашук». Это она разоблачила кремлевских врачей-отравителей — Вовси, Когана, Эттингера, Раппопорта и других с такими же фамилиями. И благодарные граждане писали ей письма: «Спасибо тебе, дочка!..», «Как хорошо, что это подлое племя не сможет больше вредить…» — и т. д., и т. п.

Молодой еврей-патриот испугался: в Политбюро, подумал он, просто не знают, какой мутный поток хлынул в приоткрытую ими щелку. Так ведь и до погромов может дойти! Надо им объяснить.

Он достаточно долго жил на свете — на нашем, советском свете, чтобы понимать: письмо до высокого адресата не дойдет, завязнет в бюрократическом болоте. И он стал писать письма в поддержку Лидии Тимашук. Писал от имени старых пролетариев, комсомольцев, тружеников колхозных полей: «Правильно, тов. Лидия! Мало их Гитлер поубивал…» или «Эта нация самая вредная, всех их надо повесить на одном суку…«. И еще: «Жиды злейший враг русского народа, их надо истреблять, как тараканов!».

Сегодня, в 94-м году, эти тексты кажутся цитатами из газеты «Пульс Тушина» и никого удивить не могут. Но тогда они

производили впечатление. Хитроумный автор рассчитывал таким приемом открыть глаза партии и правительству. Они прочтут и задумаются: а не перебрали ли мы? Не пора ли дать отбой?

Дальше случилось то, что хорошо описано в романе Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку». Там гестапо хитрым научным способом выходит на след супружеской пары, рассылавшей из разных районов города антифашистские листовки. Московский еврей пользовался тем же методом, что и берлинские антифашисты, а чекисты — тем же, что гестаповцы. Сочинителя писем очень быстро засекли, отловили и судили по ст. 58.10 — за «разжигание национальной розни».

Я написал, что от антисемитизма не страдал, и это правда. Но слышал в бараке такой разговор — связанный как раз с делом врачей-отравителей. Они ведь обвинялись в том, что хотели злодейски умертвить Молотова, Ворошилова и еще кого-то такого же. И вот, обсуждая на нарах эту новость, мои соседи бандеровцы ахали:

— Чого бажалы зробиты, ворогы!

Казалось бы, нелогично: им бы радоваться, сами, небось, с радостью удавили бы и Молотова, и Ворошилова — а вот же, ужасались еврейскому злодейству. Мой близкий друг, бандеровский куренной Алексей Брысь уверяет меня, что антисемитизм бандеровцам совершенно чужд. Идеологам и вождям — может быть, но рядовой боец имеет право на собственное мнение.

Кроме украинцев, литовцев, латышей и эстонцев в Минлаге к нам прибавились в больших количествах венгры, немцы и японцы — смешение языков, как на строительстве вавилонской башни! (Хоть т. Сталин предупреждал, что исторические параллели всегда рискованы, как не вспомнить, что и конец двух великих строек был одинаковым: «ферфалте ди ганце постройке», как говорила моя бабушка). В санчасти Юлик слышал, как немец-шахтёр объяснял врачу, что у него нелады с сердцем:

— Hertz — пиздец!

Даже песенки, которые приехали в лагерь с Запада, были разноязычными — по-ученому сказать, «макароническими»:

Ком, паненка, шляфен,
Морген — бутерброд.
Вшистко едно война,
Юберморген тодт.

(Юлик знал другой вариант:

Ком, паненка, шляфен,
Морген дам часы.
Вшистко едно война —
Скидывай трусы!)

Тут тебе и русский, и немецкий, и польский. Были и чисто польские:

На цментаже вельки кшики:
Пердолён се небощики…

А власовцы привезли и немецкую солдатскую:

Эрсте вохе маргарине,
Цвайте вохе сахарине,
Дритте вохе мармаладе —
Фирте вохе штейт'с нихт граде!

Что пели литовцы, не знаю, хотя в лагерях их было очень много. Воркуту так и называли — «маленькая Литва». (Думаю, не на много меньше большой.) Не знаю и эстонских песенок, а латышскую — одну, про петушка, — запомнил:

Курту теци, курту теци, гайлиту ман?..

Имелись у нас западники и позападнее украинцев, поляков и прибалтов. Самым западным из европейцев был Лен Уинкот, английский моряк, able seaman — матрос I-й статьи Королевского флота. Когда-то в начале тридцатых он стал зачинщиком знаменитой забастовки военных моряков в Инвергордоне. Бунт на корабле!.. Но времена были либеральные: вместо того, чтобы повесить бунтовщиков на рее, их списали на берег с волчьим билетом. Друзья-коммунисты переправили Лена в СССР. Он работал в ленинградском морском интерклубе, написал рассказ из жизни английских моряков и был принят в Союз Советских Писателей. Женился на русской женщине, но в блокаду она умерла, а Лен наболтал себе срок по ст. 58.10. А может, и не болтал ничего, просто решили убрать иностранца из Ленинграда от греха подальше. (Куда уж дальше — на Крайний Север). Он был человек с юмором того хорошего сорта, который позволяет смеяться не только над другими, но и над собой. Уинкот говорил,

что на вопрос советских анкет: «Бывали ли за границей, и если бывали, то где?» — он всегда отвечал: «Не был в Новой Зеландии». Он рассказал нам, что однажды здорово надрался в сингапурском клубе иностранных моряков. Пошел пописать, свалился в жолоб и там заснул. Это был Сингапур двадцатых годов, не сегодняшний сверхсовременный, и уборная была вроде общественной советской — с жолобом вместо писсуаров, перегоревшую лампочку, как у нас, никто не торопился заменить.

— Было темно, как у негра в заднице — рассказывал Лен. — И всю ночь, всю ночь на меня мочились моряки всех флотов мира!

Он говорил об этом с какой-то даже гордостью. А я позавидовал ему — не этому именно приключению, в «бананово-лимонном Сингапуре», а тому, сколько интересных стран он повидал.

В 44-м году, незадолго до ареста, Юлик Дунский, Миша Левин и я зашли в коктейль-холл на улице Горького. Его только что открыли, и нам было любопытно. Взяли два коктейля на троих — на третий не хватило денег — попросили три соломинки и сидели, растягивая удовольствие. К нам подсел пьяненький моряк. Рассказал, что он чиф-механик (почему-то он именно так выразился), плавает на торговых судах по всему миру, от, только что вернулся из Сингапура… Повернулся ко мне и неожиданно трезвым голосом сказал:

— А ты, очкарь, никогда не будешь в Сингапуре.

Мы ему завидовали — как завидовали в Инте Лену Уинкоту. Не сомневались, что пророчество чиф-механика сбудется. Но вот, я пишу эту страницу хоть и не в Сингапуре, но в Калифорнии. Я в гостях у сына и делать здесь нечего, кроме как вспоминать недобрые старые времена. И жалеть, что Юлик не дожил до новых…

Вторым иностранным моряком, ставшим на якорь в Инте, был капитан Эрнандес — маленький, тихий, похожий на загорелого еврея. Когда республиканцы проиграли гражданскую войну, капитан привел свое судно в Одессу. Там женился и прожил лет десять. Но быть иностранцем в Стране Советов — рискованное занятие, почти всегда оно кончалось лагерем.

Земляк Эрнандеса Педро Санчес-и-Сапеда был как раз из тех испанских детей, которых капитан вывозил со своей родины на родину победившего социализма.

Этих ребят в Москве было много. Москвичи им симпатизировали, старались помочь чем могли. Но шло время, интерес к Испании ослаб, и «испанские дети» — так их и взрослых называли — стали рядовыми советскими гражданами, без особых привилегий.

Взрослый Педро Санчес-и-Сапеда пел в хоре театра им. Немировича-Данченко и всё больше тосковал по своей первой родине. Понимая, что по-хорошему его в Испанию не выпустят, он вместе с надежным товарищем, тоже испанским дитятей, решился на авантюру. В каком-то из южно-американских посольств (кажется в бразильском, но не ручаюсь) нашлись сочувствующие.

Как известно, дипломатических багаж таможенной проверке не подлежит. Кто-то из посольских как раз собирался улетать домой. Ему купили два больших чемодана, кофра. В один запихали Педро, в другой — его компаньона. В днищах проделали дырочки, чтобы ребята не задохнулись.

С двумя этими чемоданами дипломат отправился в аэропорт. И там выяснилось, что накануне изменился тариф: на оплату тяжелого багажа у дипломата не хватило денег — нескольких рублей. Взять валютой в кассе побоялись, одолжить советские иностранцу никто не решился. Ему предложили: берите с собой один чемодан, а второй мы отправим завтра, когда ваши привезут деньги.

Так и сделали. Друг улетел, а чемодан с Педро остался. Его поволокли в холодную камеру хранения — дело было зимой — и там оставили.

Педро забеспокоился: он замерз, затекли руки-ноги, хотелось есть — а главное, непонятно было, что происходит. Стараясь согреться, он заворочался. На шум пришел дежурный, чемодан открыли, и всё выяснилось.

В те времена самолеты Аэрофлота летали с промежуточными посадками. Этот не успел долететь даже до Киева, как на борт поступила радиограмма: проверить багаж. В Киеве сняли и второго беглеца… Педро был приятным молодым человеком невысокого роста и с пожизненным испанским акцентом. Петь в хоре это не мешало. Я с ним мало общался: вскоре его куда-то увезли. Хотелось бы узнать, как сложилась его судьба.

Из немцев самым интересным был дневальный нашего барака — одноглазый летчик. И не просто летчик, а — говорили — знаменитый ас. В отличие от алексеевского немца-дневального, летчик по-русски говорил — с акцентом, конечно. Немцу от акцента избавиться также трудно, как испанцу.

— Лейвая зекцья, на завтр-р-рак! — выкликал он, возникая в дверях с черной пиратской повязкой на глазу. — Пр-равая зекцья, на завтр-р-рак!..

И с верхних нар прыгал застывший в позе Будды японский полковник. Прыгал, не меняя позы — просто взлетал в воздух, приземлялся в проходе — и шагал на завтр-р-рак.

Летчика однажды вызвал к себе другой полковник —

начальник ОЛПа Бородулин. Произошел такой диалог:

— Говорят, ты Гитлера видел?

— Видель.

— Что ж ты его не убил?

— А ты Шталина видель?

— Ну, видел.

— Зачем его не убиль?

И одноглазый ас из кабинета начальника прямиком отправился в бур. Там он, возможно, встретился с еще одним летчиком — Щировым, Героем Советского Союза. Тот из бура практически не вылезал, поэтому я с ним лично знаком не был, о чем до сих пор жалею.

Лагерный срок Щиров получил за то, что обиделся на Берию. Лаврентию Павловичу приглянулась красивая жена летчика, и ее доставили к нему на дом. Про то, как это делалось, написано и рассказано так много, что нет смысла вдаваться в подробности. Как правило, мужья бериевских наложниц шума не поднимали, а Щиров поднял. Вот и попал в Минлаг. Он и здесь не унимался: о своем деле рассказывал всем и каждому, а как только в лагерь приезжала очередная комиссия и спрашивала, обходя бараки: «Вопросы есть?» — Щиров немедленно откликался:

— Есть. Берию еще не повесили?

Его немедленно отправляли в бур, но ведь и туда время от времени наведывались комиссии с тем же обязательным вопросом. И всякий раз Щиров выскакивал со своим:

— Есть вопрос! Берию не повесили?

Его били, сажали в карцер, но Герой не поддавался перевоспитанию.

Берию так и не повесили, но расстреляли — в 1953 г. И Щирова немедленно выпустили из лагеря. Полковник Бородулин захотел побеседовать с ним на прощанье. Спросил:

— Надеюсь, лично к нам у вас претензий нет? Мы только выполняли свой служебный долг.

— Претензий у меня нет, — ответил летчик. — Но я еще вернусь, и ты мне будешь сапоги целовать.

Этому не суждено было сбыться: Бородулина перевели на Воркуту и там он умер от инфаркта. Рассказывали подробности: какой-то зек не поздоровался с ним, как предписывали лагерные правила («не доходя пяти шагов остановиться, снять головной убор и приветствовать словами: здравствуйте, гражданин начальник!») Полковник разволновался, стал кричать, топать ногами, и — «Hertz пиздец». Боюсь, что это легенда. Красивой легендой оказался и слух, будто Щиров действительно вернулся на Инту в составе «микояновской тройки» — разгружать

лагерь[60].

Буром заведовал Владас Костельницкас. Такая же сволочь, как наш Петров, и тоже в прошлом эмведешник. Но внешне — полная противоположность своему каргопольскому коллеге. Литовец, профессорский сын, он обладал вполне интеллигентной наружностью — был близорук и носил очки с очень толстыми стеклами. Обладал он и тем прекрасным цветом лица — белая кожа, нежный румянец — который, по нашему с Юлием наблюдению, бывает только у ангелов или у людей, не знающих угрызений совести (за отсутствием таковой). Костельницкас ангелом не был: с садистическим удовольствием заливал пол в камерах бура ледяной водой — чтоб сидели на нарах, поджав ноги; по малейшему поводу надевал на своих подопечных наручники, избивал. При этом всегда пребывал в превосходнейшем расположении духа: по деревянным тротуарам ОЛПа ходил приплясывая и аккомпанируя себе на воображаемой губной гармошке. Срок у него был небольшой — три года, но и их Владасу досидеть не удалось: его зарезали. Подозреваю, что земляки. Литовцы, как и бандеровцы, к минлаговским временам превратились в серьезную и хорошо организованную силу, можно даже сказать — в тайную армию.

Собрав весь ОЛП в столовой, Бородулин произнес гневную речь:

— Враги убили советского офицера Костельницкаса. Не пройдет! Мы найдем убийц и сурово накажем!

Стоявший рядом со мной зек негромко сказал:

— Хуй вы найдете.

Так и вышло. Меня всегда удивляло: почему в большом многомиллионном городе убийц ухитряются найти, а на лагпункте не могут. Здесь ведь, в наглухо запертой зоне, всего четыре тысячи человек. Может, не очень-то и искали — ну, одним зеком больше, одним меньше… Почти все лагерные убийства в Минлаге остались нераскрытыми.

Блатные убивали по-старому — работая на публику. Так зарубили нарядчика, ссученного вора по кличке Рябый: за ним «давно ходил колун», т. е., он был приговорен воровской сходкой.

Сашка Переплетчиков рассказывал: он колол дрова возле барака. К нему подошли двое и попросили на минутку топор. Он дал, хотя понимал что вряд ли топор понадобился им для хозяйственных нужд. Минут через двадцать обоих провели мимо Сашки в наручниках. Один крикнул:

— Сашок, сходи возьми топор.

— Где?

— В черепе у Рябого.

Рябый отдыхал у себя в кабине, когда вошли эти двое. Один занес над его головой топор, другой тронул за плечо: «по соникам» убивать не полагалось. Рябый приоткрыл глаза. Этого было достаточно для соблюдения формальностей. И исполнитель приговора, не дожидаясь, пока нарядчик сообразит, что к чему, рубанул его по черепу. После этого они пошли на вахту и, как требовал ритуал, сказали:

— Уберите труп!

Обычно такие дела поручались молодым ворам долгосрочникам. Двадцать три года сидеть или двадцать пять — большой разницы нет. Зато — какая заслуга перед преступным миром! (Смертная казнь в те годы уголовным кодексом не предусматривалась. Чтобы припугнуть блатных, пришлось ввести специальным указом высшую меру наказания за «лагерный бандитизм». Потом-то узаконили «вышку» и за другие преступления).

Бандеровцы и литовцы убивали стукачей по-другому, показуха им была не нужна. Втроем или вчетвером подстерегали приговоренного в темном местечке и поднимали на ножи. Так было с Костельницкасом, так было и с Лукиновым, начальником колонны шахты-9.

Этот мерзкий тип сидел с незапамятных времен (в формуляре стояло: «троцкист») и знал все лагерные подлости. Однажды зашел в барак с перевязанным горлом, жалобно просипел:

— Ребятки, нет ли у кого стрептоцида, красненького? Ангина у меня.

Кто-то кинулся к тумбочке:

— У меня есть!

Тогда Лукинов сорвал повязку и торжествующе закричал:

— Теперь понятно, кто у меня красным на снег ссыт! С крыльца… Десять суток ШИЗО!

В угоду начальству он изобретал ненужные режимные строгости — как мог, портил людям жизнь. Убили Лукинова за неделю до освобождения. Уже жена успела приехать — хотела встретить у ворот после долгой разлуки…

Совсем другого склада человек был Костя Рябчевский, начальник колонны шахты 13/14. На этом посту он сменил хорошего парня Макара Дарманяна, футболиста из Одессы. Рябчевского представил колонне сам Бородулин такими словами:

— Дарманян вас распустил. Теперь начальником будет серьезный человек, он наведет порядок!

Порядок Костя навел быстро: у него был большой опыт руководящей работы.

В плен к финнам он попал капитан-лейтенантом Балтийского

флота. Пошел к ним на службу — не морскую — и за особые заслуги был передан немцам. Он сам похвалялся:

— Я воевал с коммунизмом на двух континентах, в Европе и в Африке.

(В Африку Рябчевский бежал после поражения немцев. Вступил во французский Иностранный Легион и стал служить четвертым по счету хозяевам).

Из Африки в Коми АССР он переехал по причине романтической: в России у Кости была любимая женщина. И он вернулся к ней — под чужим именем. Но и эмгебешники ели хлеб не даром: разнюхали, кто он такой, дали срок и отправили в Минлаг. Своей женщине он и здесь оставался верен. «Обжимал» зеков из своей колонны (т. е., брал взятки продуктами из посылок) и умудрялся через вольных отправлять посылки ей.

Чем-то Рябчевский сильно обидел Сашку Переплетчикова, и тот не раз божился: гад человек буду, я Костю работну начисто!

Как-то раз мы втроем — Сашка, Юлик и я — сидели в сушилке барака и гадали, чем бы открыть банку тушонки: Сашка только что получил «бердыч». В сушилку заглянул Костя — он делал обход своих владений. Увидел Сашку с банкой в руках, понял суть проблемы и вытащил из-за голенища большой нож, вроде финки. Протянул его Сашке как воспитанный человек, наборной ручкой вперед:

— Нож ищешь? На, Саша. Открывай.

А презрительно сощуренные глаза говорили другое: «Ты же, тварь, хлестался, что работнешь меня?.. На, делай!» Он стоял, чуть наклонившись вперед — рослый, плечистый, с квадратным по-офицерски выбритым черепом — и ждал. Сашка открыл банку, вытер нож о брючину и отдал владельцу. Даже пробормотал смущенно:

— Спасибо, Костя.

Такой был Костя Рябчевский. Имел душок. И Сашка был не трус, но конечно же, он не собирался никого убивать — просто играл в блатного. Романтик…

С Лукиновым, при всём несходстве, Костя приятельствовал. Помню, сидели они в столовой и лениво наблюдали за репетицией местной самодеятельности. Пел Печковский, отбивал чечетку Лен Уинкот, загримированный под негра. Лукинов сказал:

— Может, и мы чего-нибудь покажем? А, Костя?

— Ну, давай. Покажем, как вешают.

Такие были у них шутки. Рябчевского тоже пытались зарубить, но неудачно — удар оказался слаб. И сразу родилась легенда: хитромудрый Рябчевский носит под казенной шапкой

другую, стальную — вроде тюбетейки. (Если бы знали терминологию оружейников, сказали бы: мисюрку, наплешник…)

Летом 49 года произошло приятное событие: на третий ОЛП с очередным этапом пришли двое, с которыми я подружился на Алексеевке: Женя Высоцкий и Жора Быстров.

Жорина история стоит того, чтоб на ней задержаться. До войны он жил в Пскове, учился в институте, был физкультурником и даже победителем какой-то всесоюзной военно-спортивной игры. В ее комплекс входило и ГТО — «Готов к труду и обороне», и «Ворошиловский стрелок», и ориентировка — всё на свете.

Когда началась война и фронт оказался совсем близко, в городе стали формировать из спортсменов истребительный отряд для борьбы с немецкими диверсантами. Жора, естественно, записался одним из первых. Но в последний момент его вызвали в военкомат. Там Жору ждал энкаведешник в штатском. Поздоровался за руку, назвал Георгием Илларионовичем и объяснил: в истребительный отряд идти не надо. Жора останется в городе и предложит свои услуги немцам. Отец Быстрова, большой железнодорожный начальник, был арестован, как враг народа. Это, по словам чекиста, было сейчас большим плюсом: немцы проникнутся к Жоре доверием. Тем более, что внешность очень подходящая, арийская: рыжие волосы, рост под метр девяносто. А дальше — надо стать для них своим человеком, пойти на службу в полицию, в жандармерию, на худой конец, в армию. И работать на нашу разведку. Ведь вы советский человек?..

Жора сказал, что да, и всё пошло по чекистскому плану. Через полгода он уже преподавал рукопашный бой в школе диверсантов в эльзасском городе Конфлансе (Жора произносил его название на немецкий манер: Конфлянц). От него я получил некоторые разъяснения по поводу власовцев. Это материя сложная. Скажу только, что наша пропаганда называла власовцами всех русских, согласившихся воевать на стороне немцев, а это не точно. Кроме собственно власовских частей (до армии они по количеству не дотягивали), были еще вкрапления в воинские части вермахта. И всюду — в т. ч. и среди настоящих власовцев — публика была очень неоднородная: идейные бойцы с коммунизмом, карьеристы, а чаше всего — бедолаги, попавшие в плен, наголодавшиеся и голодом загнанные в чужую армию.

Рассказывали и такое: военнопленных заводили в баню, всю одежду отправляли на прожарку — а обратно не возвращали. Помывшимся предлагали надеть серо-зеленую немецкую форму (а иногда — черную, не то голландскую, не то из какой-то

прибалтийской республики). Надевай чужую форму или гуляй голышом… Не знаю, так ли было — но чувствую, что очень похоже на правду.

Жора Быстров предателем себя, понятно, не считал: он выполнял задание, совершал, можно сказать, подвиг разведчика. После капитуляции немцев явился к советскому командованию и рассказал свою историю. Жору обласкали, долго выдаивали сведения о всех частях, где он успел послужить, а когда он выложил всё, что знал, арестовали и осудили на десять лет по ст. 58.1б — измена Родине.

В лагере ему пришлось очень тяжело: куда эвакуировались его мать и брат, он не знал, посылок ждать было не от кого. Несколько раз он совсем доходил — но кое-как выкарабкался: на Алексеевке ему очень помог Женя Высоцкий. Жорка относился к нему с молчаливым обожанием. Он и вообще был не болтлив, сдержан — но с чувством юмора у Георгия Илларионовича обстояло хорошо. Так же, как у Евгения Ивановича. Про то, что Женя был отличный рассказчик, я уже упоминал. Рассказы у него были на любой вкус — и жутковатые, и весёлые (хотя, как правило и они кончались не очень весело для главного героя).

Он рассказывал, например, про сослуживца своего отца, большого подхалима. На дне рождения Высоцкого-старшего, директора военного завода, этот сослуживец произнес тост:

— Кто у нас был Ленин? Теоретик. А кто у нас Сталин? Практик. А вы, товарищ Высоцкий — вы у нас и теоретик, и практик!

Год был неподходящий — тридцать седьмой. Подхалима посадили. Немного погодя посадили и старшего Высоцкого, а потом и младшего.

На следствии Женя держался молодцом, ни в чем не признавался — да и не в чем было. Следователь орал на него, материл, но не слишком жал. Может, жалел? Жене было тогда семнадцать лет.

Однажды его вызвали на допрос. В кабинете, кроме его следователя, было еще четверо. У троих в руках резиновые дубинки, у одного — отломанная от стула ножка.

— Вот он, Высоцкий, — объявил его следователь. — Не сознаётся, гадёныш.

— Сознается, — сказал чужой следователь и поиграл дубинкой.

— Спорим, не сознается! — азартно крикнул «свой». — А, Высоцкий?.. Говори, писал троцкистские листовки?!

— Не писал.

— Ну вот. Что я сказал?

— Сознается, — заорали чужие, и двинулись на Женю, размахивая дубинками. — Говори — писал?

— Не сознавайся, — приказал свой.

— Не писал. — Женя стал пятиться в угол.

— Сознавайся!

— Не сознавайся!

Концы дубинок прижали парнишку к стене. Тот, что был с ножкой от стула, замахнулся. Женя зажмурил глаза и отчаянно крикнул:

— Не писал!

Раздался хохот. Дубинки полетели на пол.

— Молодец, Высоцкий, — удовлетворенно сказал Женин следователь. — Ладно, иди пока.

Женя говорил, с него семь потов сошло. Вернулся в камеру, зная: свое он так и так получит…

Юлику и Женя и Жорка сразу понравились. После работы мы собирались у него в каморке (он там не ночевал, только обрабатывал шахтстроевские наряды). Его помощником был эстонец по фамилии Нымм. При нем мы болтали, не стесняясь — эстонцы народ надежный. Еще одним членом компании стал электрослесарь Борька Печенёв, горьковчанин. Этот тоже был начинен всевозможными историями. Он и предложил: а давайте устроим конкурс — пускай каждый напишет рассказ на лагерную тему. Жора Быстров отказался писать, а остальные решили: почему не попробовать? Бумага была под рукой, сели писать.

Рассказики получились короткие. К нашему удивлению, Женины истории, которые он рассказывал просто артистически, на бумаге превратились в вялое школьное сочинение. Борькино произведение тоже не блистало — как и мое. Победу единогласно присудили Юлику.

Нас с ним позабавил ряд совпадений. Он писал от первого лица, лирическим героем сделав вора, — и я тоже. У него была любовь и измена — у меня тоже. У него карточная игра — и у меня. У него герой убивал возлюбленную… Вот тут было расхождение. Мой только пришел с топором к ней, спящей — и пожалел. Порубил все шмотки, которые дарил — так у блатных было заведено, — и тем дело кончилось. Оно и естественно: у Юлика главным действующим лицом был решительный и жестокий сука, а у меня — довольно жалкий полуцвет. Из моего рассказика я запомнил только одну фразу: «Но нам сказали, что вы рецидив и к амнистии не принадлежите». А у Юлика… Короче, в воскресенье мы сели вдвоем сочинять второй вариант его истории. Совсем как в самом начале нашего соавторства, когда сочиняли в восьмом классе пародию на «Дети капитана Гранта».

Получился довольно длинный рассказ, почти повесть — «Лучший из них».

XV. Грех жаловаться

Особые лагеря — такие как наш Минлаг — иногда называют каторжными. Это говорится и пишется для красного словца: знающий человек так не скажет. Всамделишную каторгу воскресили в годы войны для устрашения предателей-коллаборантов, которых оказалось больше, чем думали. (Тогда же вспомнили и про виселицы: стали вешать прилюдно). В Инте каторжных лагпунктов не было, а у соседей, на Воркуте, до какого-то времени были.

По слухам, каторжники носили одежду грязно-свекольного цвета. На груди, на спине, на колене и на шапке — номера. Рассказывали, что по зоне они передвигались в кандалах. Кроме ТФТ — тяжелого физического труда — никаких других занятий им не полагалось, даже до должности дневального каторжанин не мог дослужиться. Придурками на тех лагпунктах были то ли вольные, то ли бытовики… Не знаю, что из этих слухов правда, а что нет. Вроде бы и к нам на третий ОЛП прибыл кто-то из бывших каторжан — сверхопасный, что ли? (Про тех, кто из обычных лагерей попадал в Минлаг, говорилось: «заминировали». А про тех, кто угодил в Морлаг — «заморозили»). Можно было бы расспросить новичка, но я же не знал, что буду писать эти заметки. Так и не поговорили…

О неприятных особенностях минлаговского режима я уже упоминал. Но кроме жилой зоны была ведь и производственная. Вот там жизнь была совсем другая.

Ценой не очень больших усилий — все-таки шесть лет лагерного опыта за спиной! — мы с Юлием перевелись на шахту 13/14, я — бухгалтером, он — нормировщиком. Теперь мы и жили в одном бараке, (на работу ходили в одной колонне.

Водили нас под усиленным конвоем — с автоматами, с овчарками. Ребята говорили, что замыкающий колонну краснопогонник тянет за собой пулемет на колесиках. Своими глазами этого я не видел, может, и правда.

Но как только мы оказывались на территории шахты, строй рассыпался, и при наличии живого воображения можно было представить себя свободным человеком — на целых восемь часов, пока не кончится смена.

Почти все шахтное начальство состояло из бывших зеков. Отбыл срок по 58-й начальник участка Яков Самойлович Урбанский, отец Жени Урбанского, будущего «Коммуниста»[{61}]. Главный инженер шахты Наконечный — тот самый, что забраковал меня при попытке перебраться с Сангородка на третий

ОЛП — тоже отсидел свое в Интлаге: так назывался наш лагерь пока не стал особым. Ясно, что ни враждебности, ни высокомерия ожидать от них не приходилось. А кто из вольняжек не сидел, те тоже не имели оснований заноситься. Начальник другого участка Федя Газов был, говорили, власовцем, получившим вместо лагерного срока не то три, не то пять лет спецпоселения. Бледненькая Ильза Мауер, дочь и внучка ссыльных немцев с Кавказа, смотрела в рот заключенным бухгалтерам, обучаясь у них профессии, а начальница вентиляции Лидочка Шевелева, златозубая и златоволосая красотка, выпускница горного техникума, прямо-таки молилась на своего заместителя з/к Сурина, старого горного инженера, и на десятника Славку Батанина. Об этих двух разговор особый, а пока что скажу, что и в забоях работали бок о бок зеки и вольные. И конечно же, вторые подкармливали своих напарников, таскали им курево, а то и выпивку.

На вахте вольняжек шмонали так же старательно, как нас. Но горючее можно было перелить в резиновую грелку, а грелку засунуть под рубаху: на ощупь мягко, как живот. Впрочем, кое-кто ухитрялся пронести и бутылку.

Поллитровку оставляли на хранение у дневального шахткомбината (так называлось здание конторы), а когда эту должность упразднили, нашелся другой надежный способ. Как-то раз нас с Юликом пригласил Костя Карпов, помощник начальника участка, выпить с ним в честь не помню какого события:

— Пошли. У меня есть.

— А где?

— У Великого Дневального.

Мы не поняли, но Костя привел нас в техкабинет, положил руку на лоб гипсового Сталина, наклонил — и в полом бюсте обнаружилась бутылка водки. Расчет был безошибочный: кто посмел бы дотронуться до изваяния великого кормчего? Не дай бог, уронишь — а за это и в тюрьму загреметь можно.

Юлик рассказывал, что у них в кировском лагере сидела женщина — шизофреничка, влюбленная в Иосифа Виссарионовича. Свой срок она получила за то, что в присутствии сослуживцев украсила бюст любимого человека своим шарфиком и беретом, приглашая всех полюбоваться: ведь правда он душка? Она и в бараке время от времени замирала и умиленно шептала, уставясь в потолок:

— Он слушает меня!

Угостивший нас Костя Карпов сел за более серьезный проступок: он служил у немцев в карателях. Но на шахте Костя работал на другой должности — горным мастером. И у

начальства был «в авторитете». Я своими ушами слышал, как он тянет — т. е., распекает — вольного взрывника, который явился на смену выпивши.

— Ты же комсомолец, еб твою мать! — гремел Костя. — С тебя пример должны брать — а ты в каком виде?!.

— Прости Костя, — лепетал комсомолец. — Больше не повторится. Гад человек буду!

На зеков-специалистов, да и просто на толковых ребят, вроде Карпова, вроде мадьяр Феди (Ференца) Факета и Юрки (Дьюлы) Веттера, ставших уже в лагере горняками, вынужден был против воли полагаться сам начальник шахты Воробьев. Этот был кадровым гулаговцем, работал до Инты начальником какого-то лесосклада и о горном деле не имел ни малейшего представления. Когда на шахту приезжал кто-нибудь из Управления, Воробьев выбегал к вахте встречать высокое начальство и, поддерживая за локоток, вел до своего кабинета. А получив очередной нагоняй за обнаруженные неполадки, в порыве служебного рвения выскакивал на улицу, хватал длинный шест и принимался оббивать с крыши шахткомбината длинные серые сосульки. На другие действия у него не хватало квалификации, их он передоверял своему главному инженеру или еще кому-то из помощников…

Жалею, что я не застал на Инте главного инженера всего комбината «Интауголь» Хромченко. Работник той же системы, что Воробьев, он был птицей совсем другого полета. Орлом, если уж пошла в ход орнитология.

Про Хромченко ходили легенды. Рассказывали, будто он стрелялся на дуэли с другим минлаговским начальником — из-за женщины. Но самый звонкий его подвиг — и тому есть свидетели — был такой. На копре шахты — кажется 9-ой — заел шкив. Стоял лютый мороз, дул ветер и никто из шахтеров не решался лезть на высокий копер, делать ремонт. Приехал Хромченко, оценил обстановку и сам полез на копер. На сгибе локтя у него болталась авоська, в которой — все видели — было полдюжины бутылок спирта. Главный инженер повесил эту авоську на самой верхотуре и объявил, что она достанется бригаде, которая исправит поломку. Немедленно нашлись добровольцы. Окончив работу, они тут же распили спирт, а Хромченко позвонил на вахту ОЛПа и распорядился, чтобы к пьяным зекам на сей раз не цеплялись.

Из Инты он уехал в Калининград-Кенигсберг — командовать янтарным производством. Говорили, что в первый же год он отделал янтарем свой автомобиль. Такой мог.

Теперь расскажу, как обещал, про зам. начальника

вентиляции з/к Сурина. Это был очень немолодой человек, деликатнейший и скромнейший. Его чекисты привезли из Болгарии, куда он попал в потоке белой эмиграции. Там он работал главным инженером рудника, в политику не лез — но это его не уберегло. В сорок пятом году Сурина арестовали и отправили на Лубянку. Напрасно он пытался объяснить следователю, что он не тот Сурин, который им нужен, а только однофамилец: тот был Николай Александрович, а он Алексеевич. Никто его не слушал. Он и на Инте ходил к оперуполномоченным, надеясь что недоразумение выяснится. А оно никак не желало выясняться. Возможно, что эмгебешники давно поняли свою ошибку — но не извиняться же перед арестантом, не выпускать же его, белого эмигранта, на волю? (Мы с Миттой использовали эту ситуацию в «Затерянном в Сибири».)

В лагере Сурину, можно сказать, повезло. Он был горным инженером самой высокой квалификации и шахтное начальство очень уважало его. Но… Шахта работает в три смены. Восемь дневных часов Сурин был фактическим начальником вентиляции, под началом у него ходило несколько вольных и заключенных десятников. А когда кончалась смена и Николай Алексеевич становился в общий строй, он превращался в очень неудобного для конвоиров зека, который плелся в хвосте колонны, то и дело отставая. Сурин бы и рад идти быстрее, но возраст и больное сердце не позволяли. Конвоиры подгоняли его и, забавляясь, подпускали овчарку совсем близко, притравливали старика.

После очередной такой забавы с Суриным случился сердечный приступ. Мы вызвали в барак фельдшера, он делал больному какие-то уколы, а тот, задыхаясь, чуть слышно повторял:

— Доктор, помогите… если можно… Очень не хочется умирать… Помогите, если можно…

С этими словами и умер.

На шахте сколотили для него гроб, понесли в зону, но вахта не пропустила: не положено. И Борька Печенев, любитель черного юмора, уверял, что ночью на вахту явился призрак Сурина и загробным голосом потребовал:

— Отдайте мне мой гроб! Если можно…

В бараке, где мы теперь жили, было довольно чисто и очень тепло: возвращаясь со смены, мы прихватывали куски угля, самого отборного — для себя ведь! Правда, часть нашего груза оседала на вахте ОЛПа: вертухаям тоже хотелось сидеть в тепле. Но нам хватало, мы даже придумали себе развлечение. Встаешь ночью по малой нужде, суешь ноги в валенки и выскакиваешь к писсуару ночного времени в одном белье. После жарко

натопленного барака мороз нипочем. А на вышке за зоной «попка» мерзнет в своем тулупе до пят. Кричишь ему:

— Стрелочек! А, стрелочек!.. Озяб?

— Пошел на хуй, — бурчит стрелочек. И завистливо смотрит с высоты на зека в исподнем, от которого клубами валит пар.

Спали мы на двухэтажных нарах. По идее это была «вагонная система», но на втором этаже из-за перенаселенности просветы между крестовинами заложили щитами, так что получился сплошной помост.

В ногах у каждого жильца приколочена была фанерка с именем-отчеством, фамилией, статьей и сроком. Все эти паспортные данные бездумно перенесла из формуляров чья-то равнодушная рука. Поэтому Дунский Юлий превратился из Теодоровича в Пиодоровича, а Леонид Монастырский, новичок Ленька, студент из Одессы — в Леонша. Так я и по сей день зову его, когда пишу — правда, не в Одессу, а в Берлин: «Здорово, Леонш!» Числился у нас и какой-то не поддающийся расшифровке Псиша Моисеевич…

Главным украшением барака была серая тарелка репродуктора. В 52-м году мы слушали трансляцию драматического футбольного матча СССР — Югославия с Олимпиады в Хельсинки. Должен с грустью констатировать, что только я один болел за наших, а весь барак — против. Кто-то из великих написал: «Патриотизм — последнее прибежище негодяев». А для меня спорт был и остается последним прибежищем патриотизма…

Заниматься спортом зекам было не положено. Тем не менее ребята устроили волейбольную площадку, притащили с шахты сетку и мяч и, разбившись на две команды, играли по выходным. Олповское начальство смотрело на это сквозь пальцы, а в случае приезда какой-нибудь комиссии столбы быстренько вынимали из врытых в землю обрезков трубы и прятали. Я-то ни во что не умею играть, а Юлика брали в игру с удовольствием. Хотя были в команде почти профессиональные игроки: горьковчанин Голембиевский (правда, футболист, а не волейболист), спортсмен-эстонец Ральф, нарядчик Юрка Сабуров.

Узаконенным развлечением были концерты самодеятельности и еще кино — очень редко и не самое лучшее. А мы знали от вольного киномеханика, что за зоной в Доме Культуры он крутит трофейный «Тарзан в Нью-Йорке». Скинулись по десятке (иметь наличные было запрещено, но как-то мы устраивались), и механик притащил «Тарзана» в зону. Сеанс для избранной публики проходил в строгой секретности. В тесном закутке под сценой клуба (он же столовая) поставили на

табуретку проекционный аппарат, повернули тыльной сторой снятый со стены портрет Сталина и согнувшись в три погибели смотрели, как на маленьком экране — не больше телевизионного — Джонни Вейсмюллер моется под душем, не сняв смокинга, как он скачет по крышам нью-йоркских автомобилей.

Пока начальником ОЛПа был полковник Новиков — спокойный полноватый человек с грустным лицом — режим был достаточно либеральным: полковник ни во что не вмешивался. Поговаривали, что был он не чекистом, а кадровым офицером и что у него у самого кто-то из родни сидит. А его заместитель по хозяйственной части майор Картежкин — тот был просто симпатяга. (За глаза все его называли Картошкин.) Коренастый, кривоногий, он и говором, и ухватками был больше похож на старшину, чем на старшего офицера. Да и обязанности у него были старшинские.

Уголь, доски для ремонта и все прочее лагерь полулегально добывал на «своих» шахтах: у Минлага и у комбината «Интауголь» был один начальник, полковник Халеев — кстати, тоже не самый вредный.

Однажды мы с Юликом стали свидетелями такого диалога: Картежкин пришел на шахту, увидел заведующего пилорамой з/к Вербицкого Адама Ивановича, и крикнул:

— Ты, хуй очкастый! Ты чего мне одну сороковку присылаешь? Ты двадцатку дай!

(Т. е., дай доску толщиной в два, а не в четыре сантиметра).

Адам Иванович очень оскорбился. Покраснел, надулся и сказал сдавленным от обиды голосом:

— Вот вы назвали меня хуем очкастым, а между прочим вы, гражданин начальник, только майор, а я был полковником и служил в генеральном штабе!

— Обиделся? — беззлобно сказал Картежкин. — Ну хочешь, назови ты меня хуем очкастым. Только двадцатку дай!

Не знаю, как кому, но у меня язык не повернется, рассказывая о таких, как Картежкин и Новиков, называть их по сегодняшней моде палачами. Система была свирепая, безжалостная, но служили ей разные люди — и по-разному.

Вот сменивший Новикова полковник Бородулин действительно был злодеем, я о нем уже писал. По слухам, на Инту он попал как штрафник: был чуть ли не министром внутренних дел в какой-то из прибалтийских республик, провинился и был разжалован. Может, поэтому так и злобствовал, выслуживался, карабкался наверх.

Мелких пакостников среди лагерного офицерства было полно. У нас особенно отличался кум Генрих Иванов. Меня он

заставил сдать в каптерку отцовские хромовые сапоги{62}, а подловив на минутном опоздании к разводу, посадил на пять суток в карцер.

Там я познакомился с забавным мужичком — прототипом нашего с Дунским сектанта Володи в фильме «Жили-были старик со старухой». Вспоминаю его с симпатией и уважением. Это знакомство, я считаю, вполне окупило мое недолгое сиденье на штрафной пайке.

«Прототип» был молод, но бородат — редкое в те времена сочетание. А глаза у него светились невероятной — так и хочется написать «небесной» — голубизной. Ко мне он проникся доверием, узнав, что я читал и даже помню Евангелие. Я не очень понял, к какой именно секте он принадлежал. На ОЛПе его и двух-трех его однодельцев называли «апостолами». А причина, по какой он попал в карцер, заключалась в том, что по ихней вере работать в субботу — великий грех. Он и не выходил на работу по субботам, пока об этом не пронюхал Генрих Иванов. Напрасно бригадир пытался объяснить оперу, что сектант труженик, он и за субботу отработает и еще за много дней. Иванов объяснений слушать не стал и посадил «отказчика» на десять суток. Тот безропотно принял очередную несправедливость советской власти, но в карцере объявил молчаливую голодовку. То есть, не объявил, конечно — раз молчаливая, какое же «объявил»? Просто он не ел полагающиеся на день триста граммов хлеба. Брал и не съедал. Мы пробовали уговорить его поесть: ведь сектанта уже стало, как он выразился «поднимать» от легкости… Или уж отдал бы пайку кому-нибудь из соседей… Но он не отдавал и с тихим упрямством твердил свое:

— Вот выйду отсюда, пойду к Иванову, положу все паечки на стол и скажу: «Вы, гражданин начальник, мне хлеба пожалели. Нате, возьмите!»

Я вышел из карцера раньше и не знаю, удался ли кроткому мстителю его план — мы были в разных колоннах. Если удался, боюсь, страдалец за веру по новой загремел в кандей.

А я снова стал ходить на шахту. Года через полтора начальство сообразило построить огороженный колючей проволокой коридор — от вахты лагпункта до рабочей зоны. А пока что нас каждое утро выстраивали за воротами ОЛПа, пересчитывали и начальник конвоя косноязычной скороговоркой читал «молитву»:

— Внимание, колонна! По пути следования в строю не разговаривать, шаг вправо, шаг влево считаю — побег, неподчинение законных требований конвоя. Оружие принимаю без предупреждения. (Почему-то никому из них не давалось

простое слово «применяю».)

В конце молитвы вместо «аминь» звучало:

— Ясно?

В ответ колонна хором должна была орать:

— Ясно!

Но за семь-восемь лет сидки всем так осточертела эта бессмысленная процедура, что вместо стройного хора зековских голосов начинался кошачий концерт:

— Я-я-я-сно! Я-яу-сно! Яу-яу!.. — завывали мы — и не в унисон, а нарочно отставая на полтакта.

Этот безобидный саботаж, зачинщиков которого обнаружить было невозможно, кончился тем, что конвойные перестали интересоваться, все ли нам ясно. Постановили считать, что ясно.

Как-то раз, слякотной осенью, в ожидании команды «следуй вперед» мы от скуки глазели по сторонам. К домику перед вахтой, где жил кто-то из начальства, направились три офицера. Мой сосед по шеренге Славка Батанин вдруг засмеялся:

— Хочешь, скажу, кто из них в этом доме живет?.. Вон тот, капитан.

— Откуда знаешь?

— А он один перед порогом ноги вытер.

Этот Славка был первым, с кем мы подружились на шахте 13/14. Родом из Горького, он учился в Москве и часто бывал в моем Столешникове переулке — а конкретно, в том снесенном сейчас двухэтажном доме, где жила Леля, жена нашего Моньки Когана. Там же, оказывается, жила и Славкина возлюбленная. Он рассказал про такой случай: только это они с ней собрались заняться делом, как вдруг звонок. А в том доме — это мы с Юликом помнили — на замок закрывалась дверь парадного: внизу квартир не было, на втором этаже — только две. И звонить надо было с улицы — как в лондонских домах.

Славкина дама выглянула из окна и ахнула: неожиданно — прямо как в анекдотах — вернулся из командировки муж. Кто у нее муж, Славка не знал и не имел желания знакомиться в сложившихся обстоятельствах.

Дело было зимой. Под окном, выходившим во двор, намело сугроб. И спортсмен Славка, наскоро одевшись, спрыгнул в снег. Отряхнулся и пошел со двора.

Муж все еще стоял возле парадного, ожидая пока жена спустится и откроет. Увидел Славку и заулыбался:

— Батанин?!. Ты что тут делаешь?

— Да вот, поссать зашел во двор…

— Слушай! Такое дело надо отметить. Пошли, я тебя со своей бабой познакомлю.

С этим парнем Славка часто играл в теннис на кортах «Динамо», на Петровке, но о семейной жизни своего партнера ничего не знал. Попробовал отбиться от приглашения, но в этот момент открылась дверь.

Женщина оказалась на высоте. Не моргнув глазом представилась, поздоровалась за ручку, и все втроем поднялись наверх выпивать и закусывать…

Поведал нам Слава и свою военную одиссею. В войну он служил во фронтовой разведке. В апреле 44-го, как раз тогда, когда нас с Юликом посадили, его забросили в тыл к немцам: несколько танков прорвали линию фронта и вернулись к своим, высадив разведчика. Батанину не повезло: обе явки, которые ему дали, не сработали. А через какое-то время немцы его задержали и отправили в лагерь военнопленных. Вот там ему подфартило. Вместе с другими пленниками он ковырял лопатой землю, ремонтируя дорогу, и вдруг услышал:

— Славка? А ты как сюда попал?

Это спросил — везло же Славке на встречи с товарищами по спорту! — московский немец, легкоатлет. Теперь он был в форме немецкого обер-лейтенанта — чем это объяснялось, я уже не помню. Немец обещал вытащить приятеля из лагеря и слово сдержал — пристроил его водителем к большому начальнику из организации Тодта. Начальник этот хорошо знал русский язык, любил Россию и очень привязался к своему шоферу.

— Слава, — говорил он ему. — Германия уже проиграла войну. Но у меня приготовлен самолет, мы с тобой улетим в Швейцарию. У меня нет детей, я тебя усыновлю.

Этот разговор происходил во Франции, куда они отправились по служебным делам.

На этом месте Юлик перебил Славку:

— А ты не пробовал наладить контакт… ну, хотя бы с французскими партизанами? С маки?

— Контакт? Был один случай. Мы с моим шефом зашли в какую-то забегаловку… Немцы-то больше пьют пиво, а французы вино… Ну, выпили, выходим, смотрю — стоят три разъебая и гогочут. Ясно, думаю. Какую-то пакость сделали. И точно: подошел к машине, а все четыре баллона спущены. Прокололи! Взял я монтировку, как пошел их метелить… А других контактов не было.

В Швейцарию Славка с шефом не полетел. Капитуляцию Германии он встретил в другой европейской стране, в Дании. Там у него случился роман с очень хорошей, по его словам, девушкой, дочерью богатого рыбака. Рыбак тоже полюбил Славку, что не удивительно: под его беспроигрышное обаяние попадали и

женщины, и мужчины, и дети (в том числе — много лет спустя — и моя трехлетняя дочка Юля). Рыбак уговаривал симпатичного русского жениться, соблазнял всякими благами, но не соблазнил. Славка твердо решил вернуться на родину, к семье. Он рассуждал так: ну, дадут год-два по статье 193-ей, есть там пункт — «пассивное выполнение воинского долга». Отсижу и выйду на волю.

Но дали ему не год, а десять лет по статье 58.1б — измена Родине{63}. В лагерь он приехал в сорок пятом году, почти одновременно с нами — только он на Инту, а мы в другие края.

Мы даже позавидовали: за год с лишним, пока мы бездарно просиживали штаны на двух Лубянках, в Бутырке и на Красной Пресне, сколько событий — и каких! — случилось в Славкиной жизни!.. Но и с приездом в лагерь его приключения не кончились. В Инте произошла еще одна интересная встреча — на этот раз с земляком-горьковчанином, вором в законе.

Славка был в обиде на советскую власть, считал приговор несправедливым — и когда земляк предложил ему уйти в побег, согласился не раздумывая.

Побег был подготовлен по всем правилам: вор раздобыл где-то две справки об освобождении, вохровскую голубую фуражку, погоны и даже кобуру. Рукоятку нагана вылепили из хлеба, высушили и натерли истолченным грифелем — чтобы блестела, как железная. Все эти причиндалы земляк припрятал за зоной.

Выбрав подходящий момент, они со Славкой напросились чистить канаву по ту сторону проволоки. Вохровцы разрешили. Надо помнить, что год был сорок пятый, лагерь — общего режима, да еще на краю света, чуть ли не у Полярного круга. Выпустив двух зеков за вахту, дежурный приглядывал за ними вполглаза. А они, зайдя за угол амбара, бросили лопаты. Вор достал из заначки фуражку, погоны и кобуру, нацепил это все на себя и превратился в вохровца (сапоги и гимнастерка на нем были свои). Затем он нахально повел Славку через весь поселок на станцию. Зрелище было привычное: заложив руки за спину, бредет зек, его конвоирует синепогонник…

Пришли на станцию, сели в вагон и поехали. На радостях, конечно, выпили — и тут блатному Славкиному компаньону стало казаться, что поезд идет слишком медленно. На остановке — кажется, уже в Котласе — он пошел к машинисту качать права и в ходе дискуссии стукнул его здоровенным куском угля. На помощь машинисту прибежал кочегар, на помощь земляку — Славка. Обоих беглецов забрали в милицию. Ментам их справки об освобождении показались подозрительными, для проверки задержанных повезли в Инту — а там, прямо на станции их

опознал знакомый опер.

С тех пор на лагерном формуляре Батанина стояла пометка «склонен к побегу». Осень, зиму и весну он работал на почетной должности десятника вентиляции, а на все лето — сезон побегов — его запирали в БУР…

Побеги случались и в наше время — редко, но случались. Как-то раз, возвращаясь с работы мы увидели знакомую по прошлым лагерям картину: труп на пятачке перед вахтой. Это был испанец из «Голубой дивизии», сражавшейся на стороне немцев. Непонятно, на что рассчитывал беглец: языка не знал, друзей в чужой стране не было. Но вот, решился. Через плохо охраняемый шурф за зоной вылез из шахты на поверхность. Однако, далеко уйти ему не дали. Живым брать не стали, хотя какое сопротивление он мог оказать? Но так уж было заведено, я уже писал про это: пристрелить беглеца и выставить труп на всеобщее обозрение.

Был, говорят, его земляк — не у нас, а где-то в Средней Азии — которому повезло больше: знаменитый республиканский командир Кампесино. Тот сбежал и даже перебрался через границу в Иран. А что до нашего испанца — думаю, его побег был просто актом отчаяния.

Другой побег с нашего ОЛПа был посолиднее. Его подготовил тридцатилетний здоровяк по фамилии Терещенко. Был он из эмигрантов, вроде бы — из семьи дореволюционного сахарозаводчика. До ареста он побывал и в Южной Америке, и в Западной Европе — а кончил северной Интой.

В летние дни Терещенко, выехав из шахты, часами загорал на солнце. Зайдет за штабель рудстойки, скинет рубаху и греется, подставив живот и плечи под укусы комаров и прочей мошкары. Лежит и терпит, к удивлению окружающих. Оказалось, так он закалял себя, готовясь к блужданиям по тундре. Себе в компанию он подобрал таких же сильных жестких ребят. Я знал одного из них, эстонца-эсэсовца{64}. Всех их было пятеро.

Правдами и неправдами они перевелись в бригаду, которую возили на строительство дороги. В условленный день, отъехав на грузовике километров двадцать от поселка, кто-то из пятерых будто случайно уронил за борт шапку. Попросили конвой остановиться. Владелец шапки соскочил на дорогу и сразу ухватился за ствол автомата того из стрелков, который ехал в кабине. А сам Терещенко и остальные трое накинулись на двух краснопогонников, стоявших в кузове спиной к кабине: все беглецы первыми сели кузов, и от конвойных их отгораживал только хлипкий деревянный щиток. Крепким тренированным мужикам, бывалым воякам, ничего не стоило отнять оружие у

растерявшихся мальчишек. Всех трех конвоиров они застрелили. Шофер плакал, просил оставить его в живых, но его тоже убили. Потом Терещенко обратился к бригаде:

— Кто пойдет с нами?

Желающих не нашлось.

Беглецы бросились в сторону от дороги, а бригада построилась и — без конвоя — пошла назад, в лагерь.

На поимку Терещенко и его спутников Минлаг бросил серьезные силы. Погоня продолжалась не меньше недели. Одного за другим их настигли и всех перестреляли. Правда, кого-то, по слухам, убили свои: тот пошел сдаваться. Заключенный врач, делавший вскрытие, рассказывал, что в желудках у них было пусто — только несколько непереваренных ягод. Беглецы ведь шли по бездорожью, обходя населенные пункты. Припасы скоро кончились, а взять было негде…

Каждый побег вызывал у оставшихся в зоне противоречивые чувства. Кто восхищался, кто завидовал, а кто и злорадствовал. И только страх перед последствиями был общим: обязательно ужесточится режим, пойдут шмоны, всех подозрительных запрут в БУР.

Юлик говорил, что в кировском лагере ему не только Сашка Бруснецов предлагал бежать. Звали его с собой и блатные. Со стыдом он признался мне, что в первую минуту у него даже мелькнула мыслишка: не пойти ли к куму и не сказать: знаем мы ваши номера, не надо меня провоцировать!.. А в том, что это провокация, он не сомневался. Как оказалось, напрасно: трое блатных провели подкоп из выгребной ямы. И ушли бы, если б не черное невезенье: во время очередного обхода охранник провалился ногой в почти готовый тоннель — уже за зоной. По счастью Юлик — во вторую минуту — подумал: а вдруг он ошибается? Один шанс из ста — но вдруг?.. И не пошел разоблачать «провокаторов».

Сам я уже в Инте был свидетелем происшествия, назвать которое побегом отважились только чекисты.

Наша колонна возвращалась в зону. Примерно на полпути из строя выскочил пожилой зек и побежал вдоль колонны, выкрикивая какие-то литовские слова. Мы разобрали только «Сталинас, Сталинас…»

— Назад! Назад! — заорали конвоиры. Но литовец не слушал.

Краснопогонников охватила паника: нас водили новобранцы, желторотые первогодки.

— Ложись! Все ложись! — вопили они. Это уже относилось ко всей колонне. Солдаты стали палить в воздух. Но ложиться в жидкую грязь никому не хотелось, да и народ был в большинстве

обстрелянный, непугливый.

Когда пули стали жужжать над самыми головами, колонна все равно не легла — но на корточки присела. Стоять остался один Рубинштейн — тот, что побывал на Соловках. Он пытался урезонить конвойных:

— Не стреляйте! Это больной человек! Давайте мы его вернем в строй. Не стреляйте!

Его не слушали. Один из стрелков попытался передернуть затвор винтовки, но руки тряслись и ничего у него не получалось. Солдатик бросил винтовку и побежал к лесу.

Другой конвоир стал стрелять в «беглеца» из автомата. Это происходило совсем близко от меня. Я видел: бежит литовец прямо на солдата, тот выпускает в него одну очередь за другой, казалось бы беднягу должно перерезать пополам — а он, будто заговоренный, все бежит и бежит… Зато шальная пуля попала в ногу кому-то из краснопогонников.

Не добежав до стрелка двух шагов литовец упал. Сразу же протянулись руки, втащили его в строй. Происшествие это заняло не больше двух минут, но в такие моменты время как-то странно растягивается. Все смотрелось как в замедленных кадрах киноленты.

Литовец — ксендз, повредившийся в уме, как оказалось — не был заговорен от пуль. Две попали ему в ногу, не задев, по счастью, кость. Товарищи дотащили его до вахты. Там его первым делом избили надзиратели, затем погнали на перевязку. А вечером в столовой Бородулин толканул речь:

— Тут некоторые, понимаешь, психовать решили, задумали бежать… Не выйдет! Будем судить по всей строгости советского закона!

И действительно судили. Несчастному сумасшедшему добавили срок и увезли от нас — скорей всего, в психушку, было такое специальное отделение в Сангородке.

Наверно, если бы в тот день нас вел старый, не минлаговский конвой, трагедии не случилось бы. С теми было — особенно у блатных — какое-то взаимопонимание, Даже шутки были общие: «Ваше дело держать, надо дело бежать», «Моя твоя не понимай, твоя беги, моя стреляй». Но все это осталось в прошлой жизни. А с этими новыми — одно расстройство.

Помню, меня с соседом по шеренге рябым Николой Зайченко конвоир выдернул из строя за «разговоры в пути следования». Отправил колонну вперед и стал изгаляться:

— На корточки! Марш вперед гусиным шагом!

Имелся в виду не прусский парадный шаг, а ходьба в положении на корточках. Я сделал шаг — трудно, а главное очень

уж унизительно.

— Вперед! — краснопогонник передернул затвор винтовки. — Кому говорят?!

Зайченко неуклюже шагнул вперед, а меня стыд и злоба заставили заставили выпрямиться:

— Не пойду. Стреляй, если имеешь право.

Он еще раз лязгнул затвором. Право он имел: кругом тундра, нас двое, а он один. Если кто спросит — «за неподчинение законным требованиям конвоя». Да никто бы и не спросил… Но видно, не такой уж он был зверюгой, чтобы для забавы пристрелить зека. Он постоял, помолчал, потом скомандовал:

— Догоняй бегом!

И мы припустились рысью догонять колонну…

Чувствую, что пора перейти к более приятным воспоминаниям.

После первого опыта — конкурса на лучший рассказ — в Юлике проснулась тяга к писанию — из нас двоих он один обладал тем, что называют творческой энергией. «К писанию» не надо понимать буквально. Лучше сказать: тяга к сочинительству. Писать в тех условиях было сложно, а хранить написанное — опасно.

Году в 64-м, в Норвегии, мы познакомились с Оддом Нансеном, сыном знаменитого Фритьофа. Оказалось, товарищ по несчастью: во время войны был интернирован и сидел у немцев в лагере. Нансен подарил нам свою книгу «Day after day» — «День за днем» — написанную, как он с гордостью объяснил, в лагере на туалетной бумаге.

В наших лагерях туалетной бумаги не было — как и многого другого. Поэтому Юлик стал сочинять стихи: их легче запомнить. На работе можно было записать на клочках бумаги — скажем, на испорченных бланках — запомнить и выбросить: шмоны бывали и в зоне и в конторе. (Во время очередного обыска мы спрятали в печку, присыпав золой, рукопись «Лучшего из них». А в золе оказались тлеющие угольки, и рассказ сгорел. Вопреки уверениям Булгакова, рукописи горят: могут погореть и их авторы. Правда, наш сгоревший рассказ возродился из пепла, как птичка Феникс — но об этом разговор впереди.)

Юлик начал даже сочинять пьесу в стихах — «Два виконта». Стихи, по-моему, были вполне приличные:

Встает заря. Под небом алым
Раскинулась земная ширь,
И я дежурю, как бывало,
У входа в женский монастырь…

Это из монолога Дон Жуана. Но скоро оба виконта наскучили автору и он приступил к литературному обозрению.

Для затравки обругал толстые журналы:

За «Новый мир» и за чужое «Знамя»
Мы от стыда горим на этот раз —
За алый стяг, который красен нами,
За алый стяг, краснеюший за вас!..
(Чужих стихов присваивать не стану:
Я только рабски следовал Ростану).

Точнее, Вл. Соловьеву — это его перевод «Сирано» перефразировал Юлик. Сочинялось «Обозрение» в самый разгар травли космополитов и борьбы за российский приоритет в науке и технике. Самозванцами объявлены были братья Райт, Маркони, Эдисон — у нас свои имелись: Попов, Яблочков и Можайский с его так и не научившейся летать «летуньей». Доходило до смешного: французскую булку велено было переименовать в городскую, английскую булавку — не помню, в какую. А в горном деле нерусский «штрек» перекрестили в «продольную», «гезенк» в «вертикал» (более русского слова не нашлось). Памятью об этой дурацкой кампании осталась только шутка «Россия — родина слонов». Но тогда…

Сомнительный вопрос приоритета
Муссировался сотнями газет;
Средь них — «Литературная газета».
Я не всегда беру ее в клозет:
Зловонная ее передовица
Для задницы приличной не годится.
Газеты этой надо сторониться:
В ней свежей кровью каждый лист полит.
Глядите: вот подвал на полстраницы
И в нем — растерзанный космополит.
Пройдет еще неделя, и едва ли
Он не окажется в ином подвале…

Я не вытерпел, подключился к «творческому процессу». Так было всю жизнь: в нашей спарке Дунский ведущий, Фрид ведомый.

Сейчас уже трудно припомнить, кто из нас сочинил какие

строфы. (Мы с Юликом говорили «куплеты», чем очень раздражали всех знакомых поэтов.) Некоторые из куплетов-строф были совсем слабы в техническом отношении, другие — несправедливы.

Книги, которые мы обозревали, давно и прочно забыты. Ну кто сейчас стал бы читать «производственные романы» — «Далеко от Москвы», «Сталь и шлак»? А их печатали в серии «роман-газета» миллионными тиражами.

В Москве ли, далеко ли от Москвы
Страшусь индустриального сюжета.
На этих книгах — замечали вы? —
Как приговор стоит: роман — газета.
Распишут в ярких красках сталь и шлак,
Но разве это краски? Это ж лак!..

К слову сказать, прочитав «Далеко от Москвы», мы сразу вычислили: это же про лагерь! Организация работ, система поощрений — все наше. Вернулись в Москву и узнали, что Ажаев, действительно, не то сидел, не то служил при лагере на Дальнем Востоке.

К «идейно порочной» повести Эммануила Казакевича «Звезда» мы отнеслись с симпатией:

Вопросы чести, совести и долга
Лишь Казакевич ставил иногда.
Боюсь, теперь закатится надолго
Его едва взошедшая звезда:
Он, позабыв, что дважды два — четыре,
С сочувствием писал о дезертире.

Но чаще всего литературные новинки нам не нравились:

Зато звезда над Балтикой горит:
Латышка Саксе написала книгу.
Вполне удался местный колорит:
Читаешь — и как будто едешь в Ригу.
И от своих-то воротит с души,
А тут еще полезли латыши.

«Ехать в Ригу»— старый эвфемизм означающий «блевать». Теперь-то его мало кто знает, а тогда помнили.

Еще один расистский выпад мы сделали, прочитав где-то интервью с «черным Шаляпиным»:

Америка не нравится цветному.
Ну что же, к нам переезжать пора б!
У нас бы вы запели по-иному,
Поль Робсон, сходно купленный арап…

Несколько доброжелательных строчек мы посвятили детской литературе: при этом не удержались и еще раз лягнули лубянских борцов за русские приоритеты:

В поэзии ценю отдел я детский,
Один из самых мирных уголков,
Где уживались по-добрососедски
Маршак, Барто, Чуковский, Михалков —
Его стихи как детство дороги мне
(Я говорю, конечно, не о гимне).
Не взяли бы и этих за бока!
Я вижу: притаился Фраерман там,
А уж над ним занесена рука
С голубеньким сентиментальным кантом:
Признайтесь откровенно, Фраерман —
Зачем вы динго вставили в роман?
Исправим дело. Вот чернила, ручка,
И чтоб на вас не вешали собак,
Пишите: «Дикая собака Жучка,
Она же Повесть о любви». Вот так
Материал и свеж, и верно подан —
Собака — наша, автор — верноподдан.

Сколько куплетов получилось всего, я уже не помню. Боюсь, количество не перешло в качество.

Кончалось «Обозрение» октавой:

Но о себе. Закончив институт
Я снова начал курс *десятилетки.*
Уроки мне на пользу не идут:
Я знай пою, как канарейка в клетке.
Веселые минуты есть и тут,
Но до того минуты эти редки,
Что с нетерпением ученика
Я *перемены* жду… Пардон — *звонка!*

Аппетит приходит во время еды. За «Обозрением» последовало продолжение «Истории государства Российского от Гостомысла и до наших дней». У графа А. К. Толстого она начиналась: «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед», а у нас — «Послушайте, ребята, что вам расскажет внук»… Внук рассказывал и про Рыцаря Революции:

С бородкой сатанинской,
С наганом на боку
Вельможный пан Дзержинский
С чекою начеку.

И про НЭП:

Разумного немало
Сулил нам этот план.
В кого она стреляла,
Разбойница Каплан!..

И про борьбу с оппозицией тоже было сказано:

Они хотели пленум,
Они хотели съезд,
Но их — под зад коленом!
А многих под арест.

А потом мы размахнулись на целый роман в стихах. Вообще-то нам хотелось сочинить сценарий про московского паренька, похожего на нас и по сходной причине попавшего в лагерь. Стали придумывать сюжет. Обязательно в фильме должна была петься песня, которая нравилась другу героя, лихому парню по имени Сашка Брусенцов. (Песня эта — «Эх, дороги…» нравилась и нам.) Сашка должен был бежать из лагеря, но… «выстрел грянул, ворон кружит — мой дружок в бурьяне неживой лежит»{65}.

По техническим причинам сценарий написан не был. Да и роман в стихах под тем же названием «Враг народа» остался неоконченным. А из того, что было написано, в памяти остались только отдельные строчки — рукопись не сохранилась.

Вот Славка — так мы его назвали в честь Батанина — попадает на Лубянку. Он еще не верит, что это всерьез, упирается,

спорит со следователем:

А Славка избежал бы многих бедствий
И многих преждевременных морщин,
Когда бы знал, что нет причин без следствий,
Но следствие бывает без причин.

На стене тюремного сортира он читает граффити — подлинные, я их уже приводил в главе «Постояльцы»:

«Не верь им, Ивка!» «Сталин — гётверан».
А ниже — «Doctor Victor from Iran».

Вот Славка — уже в лагере — вспоминает любимые книжки своего детства:

Теперь вы не найдете этих книг
И все о них забыли понемножку.
Уже не вылетает белый бриг
На вспененную волнами обложку
И брызги не кропят со всех сторон
Три слова: РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН…

Потом шли картинки из жизни советской Родины:

…Да, широка страна моя родная,
Но от Москвы до северных морей
Всё вышки, вышки, вышки лагерей.

Описывался и утренний бой кремлевских курантов:

… сигнал к разводу
Великому советскому народу.
Нарядчик просыпается в Кремле
И, добродушно шевеля усами,
Раскладывает карту на столе,
Утыканную пестрыми флажками.
То стройки коммунизма. Каждый флаг —
Минлаг, Речлаг, Озёрлаг, Песчанлаг…

А один отрывок мы с Миттой использовали в «Затерянном в

Сибири». В фильме это выглядело так (при монтаже сценка выпала):

«Лазарет жил своей спокойной жизнью. Студент Володя (его играл Женя Миронов) читал вслух из своей тетрадки:

Да кто теперь перед законом чист?
В эпоху торжества социализма
Давно сидел бы Энгельс как троцкист,
А Маркс — за искажение марксизма.
Мне даже говорил один з/к,
Что лично видел их на ББК.
Там, якобы, прославленные патлы
Состригли им машинкой для лобков.
— Ну что, дождались коммунизма, падлы? —
Соседи попрекали стариков.
По сведеньям того же очевидца
Маркс от стыда пытался удавиться.

Слушателем был старик троцкист. Пожевав губами, он сказал:

— Зло. Очень зло, Володя… Но вообще-то да. Нельзя отказать.»

(К сведенью курящих: ББК — это Беломорско-Балтийский канал, запечатленный на пачке «Беломора».)

Первыми слушателями наших сочинений были другие лагерные любители изящной словесности — их нашлось не так уж мало. В ответ они читали нам свое. Застенчивый полтавчанин Володя — перевод из Есенина:

Николы нэ був я на Босфори…

Очкастый горьковчанин Женя — переведенную на феню поэму об Иване Сусанине:

— Куда нас завел ты? Не видно ни зги!
— Идите себе, не ебите мозги…

Но настоящим поэтом — не версификатором, как мы — оказался Алексей Николаевич Крюков.

XVI. Два поэта

Крюков сам пришел к нам знакомиться. По настоящему интеллигентных людей, сказал он, здесь мало. Польщенные, мы немедленно подарили ему свои запасные очки: в его окулярах треснувшие стекла были крест-накрест заклеены полосками бумаги — как московские окна при бомбежках.

Мы о нем были уже наслышаны. Крюков работал нормировщиком на 9-й шахте и был у начальства на плохом счету. Нет, работник он был превосходный — ту работу, на которую другим требовался целый день, он успевал сделать за полтора часа: считал в уме с немыслимой быстротой. (Сейчас сказали бы: как компьютер. Возможно, это было симптомом какого-то психического непорядка. Был ведь в Москве в двадцатые годы «человек-счетная машина» — сумасшедший, производивший в уме сложнейшие математические операции и неспособный ни на что другое. Но Крюков-то был способен на многое.)

Закончив обработку нарядов, Алексей Николаевич начинал писать что-то на обороте ненужных бумаг. Писал левой рукой, а правой прикрывал написанное от посторонних глаз. Впрочем, нужды в том не было: почерк Крюкова разобрать было невозможно — не то арабская вязь, не то стенографические закорючки. Все это вызывало у окружающих зависть и тревогу: что за таинственный шифр? Что он там сочиняет?

Он сочинял стихи — причем патриотические. (Речь идет не о советском, а о русском патриотизме. С советской властью Крюков не ладил с малолетства.) Поэма о Кутузове, которую он прочитал нам с Юликом, сомнений не оставила: — талантливый и ни на кого не похожий поэт. Взволнованная непривычная ритмика, неожиданные сравнения, сногсшибательные рифмы… Очень жалею, что не могу привести ни одного отрывка — не запомнил. А его рассказ о том, как он впервые попал на Лубянку, помню очень хорошо. Улыбчивый, предупредительный, всегда оживленный, он не похож был на человека, который провел в тюрьмах и лагерях почти половину жизни. А ко времени нашего знакомства Алексею Николаевичу было уже под пятьдесят.

В начале тридцатых годов Крюков, отпрыск старой дворянской семьи, решил эмигрировать. Отпустить его по-хорошему большевики не согласились бы, это он понимал. И решил нелегально перейти границу — финскую. Это ему удалось с первой же попытки — но, как оказалось, в самом неподходящем месте, на излучине, где кусочек финской территории узким

отростком вклинивался в нашу. Крюков бодрым шагом пересек этот клинышек и вышел на заставу, которая оказалась не финской, а советской. Не повезло… На все вопросы пограничников он отвечал по-французски, назвался принцем Мюратом и потребовал, чтоб его отправили в Москву — там он все объяснит. На Лубянке с ним быстро разобрались, и с тех пор Алексей Николаевич путешествовал только по владениям Гулага.

К нам он прибыл, кажется, с первого ОЛПа. Там осталось какое-то его имущество, о чем он написал — изящными стихами — заявление. Начальство сочло это насмешкой. Тогда — уже прозой — Крюков написал другое заявление, которое перед тем как отправить показал нам. Мы прочли и ахнули. К нам бы в барак гробокопателя Гелия Рябова!

Из прочитанного следовало, что настоящая фамилия Алексея Николаевича не Крюков, а Романов, Он — наследник российского престола царевич Алексей, расстрелянный вместе с августейшими родителями и сестрами. Его — не убитого, а только раненного и потерявшего сознание — из шахты, куда сбросили тела расстрелянных, тайно вынес екатеринбургский дворянин Крюков. Дал ему свою фамилию и воспитал как сына.

Излагая свою историю Алексей Николаевич не забыл упомянуть и о гемофилии, которой, как известно, страдал малолетний наследник. Она чудесным образом исчезла в результате пережитого потрясения.

Году в двадцать шестом к ним в Екатеринбург явился незнакомец, отрекомендовавшийся принцем Ольденбургским. Он сказал, что до поры до времени юноша должен хранить в строжайшей тайне правду о своем происхождении. Но когда сбудутся некие предзнаменования, ему — открыться и предъявить права на российский престол.

Сейчас эти предзнаменования сбылись, — писал Алексей Николаевич. — и он вправе объявить народу, кто он такой. Но желая избежать смуты в российском государстве, он настоящим письмом отказывается от своих прав на престол, а просит перевести его из Минлага во Владимирский политизолятор на пожизненное заключение. Единственное условие — чтоб ему давали книги на русском и французском языке, а также бумагу, ручку и чернила…

Честно скажу, мы не знали как реагировать. Обижать недоверием хорошего человека не хотелось. На всякий случай мы напомнили ему две строчки из нашего «Обозрения»:

> Что ж, дайте срок — услышите пророка.
> Пророку бы не дали только срока!

Крюков усмехнулся и пошел отправлять свою исповедь. Он адресовал ее И. В. Сталину, а копию послал в ООН, на имя тогдашнего председателя — Трюгве Ли, если не ошибаюсь. Оба послания сошлись, естественно, на столе у старшего оперуполномоченного. Крюкова для профилактики посадили в бур, подержали там сколько-то времени и выпустили. Даже вернули на прежнюю работу, нормировщиком.

Но уже через неделю Алексей Николаевич крупно поскандалил со своим вольнонаемным начальником и тот по злобе списал его в шахту — на должность уборщика фекалия. В обязанности его входило теперь подбирать по забоям шахтерские какашки — уборных под землей нет — и вывозить на поверхность.

В первый же день он пришел с ведром, наполненным зловонной жижей, в шахткомбинат, дождался в коридоре, пока выйдет его обидчик и надел ведро ему на голову. История эта получила широкую огласку. Опозоренный начальник уволился с шахты и вроде бы даже уехал из Инты. А Крюкова снова отправили в бур.

Отсидев положенное, он опять стал работать подземным фекалистом — на сей раз не у нас, а на шахте 11/12. Там он и окончил свою многострадальную жизнь: Крюкова раздавило опускающейся шахтной клетью. Одни говорили, что он просто пытался проскочить под ней, но не успел, другие — что он таким способом решил покончить с собой. Самоубиться с двумя ведрами нечистот в руках — чтобы в прямом смысле быть смешанным с дерьмом? По-моему, это слишком уж горькая насмешка над своей несложившейся судьбой. Но Юлий считал, что эта последняя мистификация вполне в характере «принца Мюрата».

На шахте 11/12 с Крюковым водил знакомство Алексей Яковлевич Каплер — как и мы, он проникся симпатией и уважением к этому странному человеку. После кончины Каплера его вдова Юля Друнина нашла среди черновиков и показала мне нигде не напечатанный рассказ о несчастной жизни и нелепой смерти поэта Крюкова.

Кстати, и сам Каплер переехал из Сангородка на шахту 11/12 не по доброй воле. Он погорел на романе с вольнонаемной женой одного из минлаговских начальников. Это конечно, не дочка Сталина, но все же… Тот, первый, урок, как видно, не пошел на пользу. Алексея Яковлевича сняли с поста завпосылочной и отправили на рабочий лагпункт. Там его взял под покровительство и поставил на лебедку Женя Высоцкий — к тому

времени он уехал от нас и стал на одиннадцатой-двенадцатой начальником поверхности. (До Жени на этой должности работал з/к Умник. А начальником шахты был в/н Дураков. Такие сочетания зеков очень веселили. В одной колонне со мной ходили на шахту Кис и Брысь, а в мехцехе слесарили Пушкин и Царь.)

О том, что происходит на других лагпунктах, мы узнавали от переброшенных оттуда работяг. Узнали, например, что на первом ОЛПе зарубили Сашку Чилиту, а еще где-то — другого суку, бывшего коменданта Алексеевки Черноброва-Рахманова. Эти два известия нас не огорчили.

А вообще-то можно было десять лет просидеть с хорошим знакомым в одном лагере, но на разных лагпунктах, и ни разу не встретиться. Я, например, и не подозревал, что на соседнем ОЛПе проживает Вадик Гусев, «идеолог» малолетнего Союза Четырех. Встретились уже в Москве… Но вернусь к рассказу о двух поэтах.

Вторым был Ярослав Смеляков. Заранее приношу извинения: мне придется повторяться, о нем я уже писал («Киносценарии» № 3 за 1988 г.)

Как-то раз мы с Юликом зашли в кабинку к нарядчику Юрке Сабурову. Юлий взял стопку карточек, по которым зеков выкликали на разводе — они маленькие, величиной с визитку. По привычке преферансиста Юлик стал тасовать их. Потасует, подрежет и посмотрит, что выпало. На второй или третий раз он прочитал: «Смеляков Ярослав Васильевич, 1913 г.р., ст. 58.1б, 10 ч. II, 25 лет, вторая судимость». Поэта Смелякова мы знали по наслышке. Из его стихов помнили только «Любку Фейгельман», которую в детстве непочтительно распевали на мотив «Мурки»:

> До свиданья, Любка, до свиданья, Любка!
> Слышишь? До свиданья, Любка Фейгельман!{66}

Слышали, что он до войны сидел. Неужели тот? Вторая судимость, имя и фамилия звучные как псевдоним… Решили выяснить.

Юрка сказал, что Смеляков ходит с бригадой на строительство дороги, и мы после работы пришли к нему в барак, Объяснили, что мы москвичи, студенты, здесь — старожилы, и спросили, не можем ли быть чем-нибудь полезны.

— Да нет, ничего не надо, — буркнул он. Был неулыбчив, даже угрюм.

Мы поняли, что не понравились ему и распрощались: насильно мил не будешь. Но дня через два к нам прибежал паренек из дорожной бригады, сказал, что Смеляков интересуется, чего мы не появляемся.

— Вы ему очень понравились, — объяснил посыльный. Мы сразу собрались, пошли возобновлять знакомство.

Это был как раз тот неприятный период, когда Бородулин запретил хождение по зоне. Поэтому мы со Смеляковым зашли за барак, сели на лавочку возле уборной, и он стал читать нам стихи. Стрелок с вышки видел нас, но пока мы не лезли на запретную зону, происходящее мало его трогало.

Ярослав Васильевич — он до конца жизни оставался для нас Ярославом Васильевичем, несмотря на очень нежные отношения — знал, что читать: «Кладбище паровозов», «Хорошая девочка Лида», «Мое поколение», непечатавшееся тогда «Приснилось мне, что я чугунным стал» и «Если я заболею». (Это прекрасное стихотворение впоследствии так изуродовали, переделав в песню! Говорят, Визбор. Жаль, если он).

Стихи нам нравились, нравилась и смеляковская манера читать — хмурое чеканное бормотанье. Расставаться не хотелось, и мы попробовали перетащить его в нашу колонну. Не так давно я прочитал — по-моему, в «Литературке» — статью кого-то из московских поэтов. Воздав должное таланту и гражданскому мужеству Смелякова, он сообщал читателям, что в лагере Смелякову предложили легкую работу, в хлеборезке, но он гордо отказался и пошел рубать уголёк… Было не совсем так.

Про нас и самих, в стихотворении посвященном Дунскому и Фриду, Володя Высоцкий сотворил микролегенду:

> Две пятилетки северных широт,
> Где не вводились в практику зачеты —
> Ни день за два, ни пятилетка в год,
> А десять лет физической работы.

Лестно, но не соответствует действительности: из десяти лет срока мы с Юлием на «физических работах» провели не так уж много времени.

И Ярославу никто не предлагал работу в хлеборезке, а в шахту на Инте он не спускался ни разу. Дело обстояло так: я пошел к начальнику колонны Рябчевскому, который к нам с Юликом относился уважительно. Он называл нас «вертфоллер юден» — полезные евреи. Такая категория существовала в гитлеровском рейхе — ученые, конструкторы, особо ценные специалисты.

— Костя, — сказал я. — Скоро весна, начнутся ремонтные работы, тебе наверняка нужны гвозди. Я тебе принесу четыре килограмма, а ты переведи Смелякова на шахту 13/14.

Сделка состоялась. Гвозди я выписал через вольного

начальника участка, и на следующий же день Ярослав Васильевич вышел на работу вместе с нами.

Уже на воле, в Москве, пьяный Смеляков растроганно гудел, встречаясь с нами:

— Они мне жизнь спасли!

Это тоже неправда. Во первых, его жизни впрямую ничто не угрожало — лагерь все-таки был уже не тот. А во вторых, главную роль в его трудоустройстве сыграл старший нормировщик з/к Михайлов.

Святослав Михайлов был сыном белоэмигранта, военного ветеринара, и когда подрос, пошел по стопам отца. Нет, он не стал ветеринаром. Он командовал ротой русского батальона квантунской армии Маньчжоу-го. Боевым маршем у них была слегка переделанная советская песня:

На траву легла роса густая,
Поползли туманы из тайги.
В эту ночь решили комиссары
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно,
И пошел, отвагою силен,
По родной земле дальневосточной
Асано ударный батальон!

(Асано — герой японского эпоса, чье имя присвоили батальону, в котором служил поручик Михайлов).

Когда в сорок пятом году советские войска вошли в Маньчжурию, Свет не захотел защищать честь японского оружия. Он рассказывал:

— Я собрал наших и говорю: «Ребята, наши уже на окраине Харбина. Что будем делать?» Наши решили, что против наших воевать не будем.

Поручик Свет без боя сдал свою роту, в благодарность получил 10 лет срока и поехал в Инту. Мы с ним очень подружились, спали рядышком на нарах. Хотя он ворчал:

— Сказал бы мне кто восемь лет назад, что я буду спать под одним одеялом с евреем! Я бы взял мою катану — это такой двуручный меч — и зарубил бы сукина сына!

Когда-то он был членом партии русских фашистов, ездил на их съезд в Токио, где даже сподобился лицезреть императора. Но жизнь заставляет нас менять взгляды. И последней любовью Света, уже на воле, была еврейская девушка Сима.

Он был нашим ровесником, умным и порядочным парнем с хорошим чувством юмора. Каждые полгода мы с Юликом

повышали Света в звании: сперва произвели в штабс-капитаны, потом в капитаны, потом в подполковники. А на полковнике пришлось остановиться. Хотели произвести его в генералы, но он объявил:

— В генералы может произвести только особа царствующей фамилии, к которой вы, жиды, не принадлежите.

Действительно, не принадлежали. А Крюкова, наследника престола, к тому моменту уже не было в живых. Так Свет и остался навсегда Полковником.

Полковником его звал и Ярослав Васильевич. Они понравились друг другу сразу. Для начала Свет определил Смелякова на заготовку пыжей. Работа не бей лежачего: бери лопатой смесь глины с конским навозом и кидай в раструб пыжеделки. Это хитрое приспособление, за которое заключенные рационализаторы получили даже премию, при ближайшем рассмотрении оказывалось чем-то вроде большой мясорубки. Электромоторчик крутил червячный вал и через две дырочки, как фарш выползали наружу глиняные колбаски — пыжи для взрывников.

Со строительством дороги новые обязанности Ярослава Васильевича не сравнить, но и они показалась Полковнику слишком тяжелыми для такого человека, как Смеляков. Он перевел его в бойлерную. Теперь, приходя на работу, Ярослав должен был нажать на пусковую кнопку и сидеть, поглядывая время от времени на стрелку манометра — чтоб не залезла за красную черту. Уходя, надлежало выключить насос.

Совестливый Смеляков по нескольку раз в день принимался подметать и без того чистый цементный пол. Раздобыв краски у художника Саулова, покрасил коробку пускателя в голубой цвет, а саму кнопку в красный. И все равно оставалось много свободного времени. Мы с Юликом — а иногда и со Светом — забегали к нему поболтать. К этому времени мы уже знали его невеселую историю.

Сам он был нелюбителем высокого штиля и никогда не назвал бы свою судьбу трагедией. Я тоже не люблю пафоса — но как по-другому сказать о том, что со Смеляковым вытворяла искренне любимая им советская власть?

В 34-м году молодой рабочий поэт, обласканный самим Бабелем, заметил по поводу убийства Кирова:

— Теперь пойдут аресты и, наверно, пострадает много невинных людей.

Этого оказалось достаточно. Ярославу дали три года. И немедленно распустили слух, будто посажен он за то, что стрелял в портрет Кирова. Зачем стрелял, из чего стрелял — неясно. Ясно,

что мерзавец.

Этим приемом чекисты пользовались часто. Одна очень знаменитая актриса — не помню, какая именно, но в ранге Тамары Макаровой — оказалась на кремлевском банкете рядом с Берией и отважилась спросить: что с Каплером?

— Почему вас интересует этот антисоветчик и педераст? — ответил Лаврентий Павлович.

— Это Каплер-то педераст? — удивилась про себя актриса. У нее, видимо, были основания удивляться. Но вопросов больше не задавала: не может же порядочную женщину волновать судьба педераста!.. Но это так, к слову.

А Смеляков вышел на свободу в 37-м, не самом хорошем, году. Вернулся в Москву, продолжал писать, но тут началась война. Другие писатели пошли в армию капитанами и майорами — кто в корреспонденты, кто в политруки. А Ярослава с его подпорченной биографией определили в стройбат. В первые же месяцы их часть угодила в окружение. Ярослав Васильевич рассказывал, как они метались в поисках своих, и никто не мог указать им направление. Толкнулись в штаб какой-то чужой части. Дверь открыл полуодетый майор-особист, пахнувший, по словам Смелякова, коньяком и спермой. Обматерил и вернулся к своей бабе…

Весь стройбат попал в плен к финнам. Там Ярослав вел себя безупречно. Был, выражаясь языком официальных бумаг, «организатором групп сопротивления». Поэтому во втором его лагере (втором — это если не считать финского), в так называемом «фильтрационном», Смелякова продержали недолго — грехов за ним не водилось.

Было это в Подмосковном угольном бассейне. Там он познакомился с прелестной женщиной, работавшей в конторе; освободившись, женился на ней и увез в Москву вместе с уже довольно большой дочкой.

Опять писал стихи, даже издал один или два сборника. И однажды, выпивая с Дусей и каким-то приятелем, сказал:

— Странное дело! О Ленине я могу писать стихи, а о Сталине не получается. Я его уважаю, конечно, но не люблю.

Когда приятель ушел — я ведь знал его фамилию, знал, но к сожалению забыл — Дуся заплакала.

— Если б ты видел, какие у него сделались глаза, когда ты это сказал!

— А что я такого сказал? Сказал — уважаю.

Но оказалось, что Сталину этого мало. Приятель вполне оправдал Дусины ожидания, и Смелякова посадили в третий раз, не считая финского раза. Припомнили плен и припаяли кроме

антисоветской агитации еще и измену Родине.

Я уже говорил: недолюбливая Сталина, Ярослав Смеляков всегда был и в лагере оставался советским поэтом — может быть, самым искренне советским из из всех. Послушав наши лагерные стишата, он сдержанно похвалил отдельные места в «Обозрении» и во «Враге народа», но с большим неудовольствием отнесся к «Истории государства Российского». Зло и несправедливо, — сказал он. Из написанного нами ему понравился только рассказ «Лучший из них».

Смеляков был вторым человеком, который сказал про нас: писатели. Первым был Каплер. И так случилось, что много лет спустя они оба написали нам рекомендации в Союз Писателей{67}.

В стихах самого Смелякова, написанных в тюрьме и в лагере — их не много — злобы не было. Только печаль и недоумение, особенно в одном из них — не знаю, печаталось ли оно где-нибудь, кроме моих воспоминаний. Приведу его, как запомнил:

В детские годы, в преддверии грозной судьбы,
Сидя за школьною партой, веснущат и мал,
Я в букваре нашу заповедь «МЫ НЕ РАБЫ»
С детскою верой и гордостью детской читал.
Дальше вела меня века крутая стезя,
Марш пятилеток над вьюжной страною гремел.
«Мы не рабы и не будем рабами, друзья!» —
В клубе фабзавуча я с комсомольцами пел.
(строчку не помню)
Годы я тратил и жизь был потратить готов,
Чтобы не только у нас, а на всей бы земле
Не было белых и не было черных рабов…
Смело шагай по расшатанной лестнице лет!
К царству грядущего братства иди напролом!
Как же случилось, что я, запевала-поэт,
Стал — погляди на меня — бессловесным рабом?
Не на плантациях дальних, а в отчем краю,
Не в чужеземных пределах, а в нашей стране
В грязной одежде раба на разводе стою,
Номер раба у меня на согбенной спине.
Я на работу иду, как убийца на суд —
Мерзлую землю долбить и грузить доломит…

И все. Дальше не написалось. Скорей всего, поэту страшно было найти ответ на свой же вопрос: «Как получилось?..» Это было бы крушением его веры, сломало бы соломинку, за которую Смеляков цеплялся до последних дней своей жизни. Даже в

Москве — вернее, в своем добровольном переделкинском заточении — он выспрашивал у нас с Юликом: ну, а как сейчас на собраниях? Спорят молодые? Или как раньше?..

Ничего утешительного мы ему сказать не могли.

Рабом Ярослав Васильевич в лагере не стал, рабского в нем не было ни грамма. Однажды мы втроем грелись на солнышке возле барака. Мимо прошел старший нарядчик, бросил на ходу:

— Здорово.

— Здорово, здорово, еб твою мать! — с неожиданной яростью сказал Смеляков. Мы его попрекнули: ну зачем же так? Ничего плохого этот мужик ему не делал — пока.

— Валерик, у него же глаза предателя. Вы что, не видите?!.

Между прочим его стихотворение — вернее, то место, где он, веснущат и мал, читает букварь — подбило нас с Юликом на дополнительные две строчки для нашего, также недописанного, «Врага народа»:

«Мы не рабы». Да, мы з/к з/к
«Рабы не мы». Немы, немы — пока!

Жена Дуся прислала Ярославу письмо: у дочки скоро день рождения, как хотелось бы, чтоб ты был с нами!..

Ярослав Васильевич написал ответ — но не послал, лагерный цензор не пропустил бы.

Твое письмо пришло без опозданья.
И тотчас — не во сне, а наяву —
Как младший лейтенант на спецзаданье,
Я бросил все и прилетел в Москву.
А за столом, как было в даты эти
У нас давным-давно заведено,
Уже шумели женщины и дети,
Искрился чай, и булькало вино.
Уже шелка слегка примяли дамы,
Не соблюдали девочки манер
И свой бокал по-строевому прямо
Устал держать заезжий офицер.
Дым папирос под люстрою клубился,
Сияли счастьем личики невест —
Вот тут-то я как раз и появился,
Как некий ангел отдаленных мест.
В тюремной шапке, в лагерном бушлате,
Полученном в интинской стороне —
Без пуговиц, но с черною печатью,

Поставленной чекистом на спине…
Твоих гостей моя тоска смутила.
Смолк разговор, угас застольный пыл…
Но боже мой, ведь ты сама просила,
Чтоб в этот день я вместе с вами был!

Печать, поставленная чекистом на спине — это номер Л-222. Кстати, Смеляков умудрился где-то его потерять, и я собственноручно нарисовал чернилами на белом лоскутке три красивые как лебеди двойки. Поэтому и запомнил.

После смерти Ярослава его вторая жена, Татьяна Стрешнева, опубликовала это стихотворение в одном из московских журналов, забыв указать, кому оно адресовано. Получилось, что ей.

Мне неприятно говорить об этом, потому что Таня своей заботой очень облегчила последние годы жизни Ярослава Васильевича, была образцовой женой, умела приспособиться к его трудному характеру. «Платон мне друг, но…»

О забавных обстоятельствах их знакомства я еще успею рассказать. А сейчас поспешу оговориться, что о трудном характере Смелякова я упомянул, полагаясь на чужие свидетельства. О нем говорили — грубый, невыносимый… Но в нашей с Дунским памяти он остался тонким, тактичным, и даже больше того — нежным человеком.

Как-то раз посреди барака Ярослав подошел к Юлику, обхватил руками, положил голову ему на плечо и сказал:

— Юлик, давайте спать стоя, как лошади в ночном…

Много лет спустя мы вложили эту реплику в уста одному из самых любимых своих героев — старику-ветеринару.

В лагере Ярослав Васильевич по техническим причинам не пил, но не без удовольствия вспоминал эпизоды из своего не очень трезвого прошлого. Рассказал, как однажды, получив крупный гонорар, он решил тысячи три утаить от жены Дуси — на пропой. Поделился этой идеей с товарищем — они вдвоем возвращались из издательства на такси и уже успели поддать. Товарищ одобрил.

Назавтра, протрезвев, Смеляков стал пересчитывать получку и обнаружил, что нехватает как раз трех тысяч. Позвонил своему вчерашнему спутнику. Тот сразу вспомнил:

— Я тебе сказал, что всегда зажимаю тыщенку-другую. А чтоб моя баба не нашла, прячу в щель между сиденьем и спинкой дивана.

Тогда вспомнил и Ярослав: он тоже спрятал заначку между

спинкой и сиденьем. В такси…

Дусю он очень любил, и понимал, что надежды увидеть ее снова нету — из своих двадцати пяти он отслужил только два года. Он говорил мне — то ли всерьез, то ли грустно шутил:

— Валерик, вам через год освобождаться. Женитесь на Дуське! Она немного старше вас — но очень хорошая.

Ко мне он относился с большой симпатией — хотя Юлика, по-моему, уважал больше. Уверял меня:

— Если б мы познакомились на воле, я бы вас сделал пьяницей!.. На ликерчиках. Вы ведь любите сладкое?

Ильза, вольная девочка из бухгалтерии, принесла Ярославу Васильевичу тоненькую школьную тетрадку. На клетчатых страничках Смеляков стал писать у себя в бойлерной, может быть, главную свою поэму — «Строгая любовь». Писал и переделывал, обсуждал с нами варианты — а мы радовались каждой строчке:

Впрочем, тут разговор иной.
Время движется, и трамваи
В одиночестве под Москвой,
Будто мамонты, вымирают…

О своей комсомольской юности, о своих друзьях и подругах он писал с нежностью, с юмором, с грустью. Судьба у этой поэмы оказалась счастливой — куда счастливей, чем у ее автора.

Впрочем сейчас, когда, как выражался мой покойный друг Витечка Шейнберг, «помойница перевернулась», переоценке подвергнута вся советская поэзия: уже и Маяковский — продажный стихоплет, и за Твардовским грешки водились… Что уж говорить о Смелякове! Хочется спросить яростных ниспровергателей: помните, как такие же как вы, взорвали храм Христа Спасителя? Теперь вот отстраивают…

Вряд ли кто заподозрит меня в симпатиях к коммунистическому прошлому. Да, идея оказалась ложной. Да, были прохвосты, спекулирующие на ней — в том числе и поэты. Но всегда — и в революцию, и в гражданскую войну, и после — были люди, бескорыстно преданные ей. И преданные ею. Они для меня — герои высокой трагедии.

XVII. О милых и немилых

В январе 1952 года мне стукнуло тридцать лет. Ко дню рождения я получил два подарка. Один — от Юлика: он нарисовал — чертежным перышком и акварелью — маленькую изящную картинку. А второй — от партии и правительства: сообщение о раскрытии заговора врачей-отравителей. (В этом мне везло: указ о введении смертной казни тоже подоспел к 13-му января — не помню, какого года.) Но нас, уже «заминированных», дело врачей не касалось. Лагерная жизнь текла размеренно и однообразно.

Не считать же ярким событием удаление больного зуба? Хотя как сказать. Тут есть что вспомнить.

Зубоврачебного кабинета у нас не было. Фельдшер-зек усадил меня на стул, ухватился за зуб щипцами, потянул, и я поехал — вместе со стулом. Оказалось, три корня этого несчастного зуба срослись, и просто выдернуть его невозможно. Фельдшер стал долбить зуб каким-то долотом — без обезболивания, конечно. Осколки он вытаскивал по одному. С меня семь потов сошло — а кровищи было!.. Когда эта медленная пытка кончилась, зубодер перевел дух и прочувствованно сказал: «Спасибо!» — за то, что не орал, не дергался. Но я довольно легко переношу физическую боль.

Еще раньше, в Каргопольлаге, моими зубами занялась молоденькая вольная медсестра. С первой же попытки сломала зуб и совершенно растерялась. Пролепетала:

— Просто не знаю… Его надо козьей ножкой тащить, а у меня она — для нижней челюсти.

Я предложил:

— Ну, давайте я встану на голову. Тогда верхняя челюсть станет нижней.

Она засмеялась, успокоилась и кое-как выдавила зуб неподходящей козьей ножкой. На голову вставать не пришлось…

В 52-м, чтобы чем-то разнообразить жизнь, мы затеяли любовную переписку с заключенными девчатами. Женским ОЛПом в Инте был 4-й, на других лагпунктах женщин не было. И минлаговцы с тоской вспоминали времена совместного обучения. Сколько упущенных возможностей! В лесном хозяйстве есть такой термин: «недорубы прошлых лет». Осталась на Сельхозе в Ерцеве воровайка Зойка по прозвищу «ебливый шарик», осталась другая Зойка, Волкова — хорошенькая и дружелюбная — а никто из нас не обратил на них внимания. И вот теперь приходилось обходиться любовными посланиями к девушкам, которых мы и в

глаза не видели. Прямо как солдатское знакомство по переписке… В эту игру охотно включались и придурки, и работяги. Была душевная потребность в таком самообмане.

Признания в любви писались и прозой и стихами — по качеству недалеко ушедшими от знаменитого «жду ответа, как соловей лета». Но самой увлекательной частью переписки был процесс доставки писем адресатам. На официальную почту мы, ясное дело, рассчитывать не могли. Пришлось изобрести свою.

Одну из женских бригад приводили время от времени к нашей шахте — чистить и углублять канавы по ту сторону проволоки. Инструмент выдавали из шахтной инструменталки. И кто-то из умельцев высверлил в черенке лопаты глубокое отверстие. Туда как в пенал набивались письма и записки, деревянную пробку замазывали грязью — и почта уходила к девчатам. Во избежание путаницы почтовую лопату пометили крестиком. И в конце смены вместе с инструментом мы получали — обратной почтой — очередную порцию писем с 4-го ОЛПа.

Однажды девушки прислали связанные из шерстяных ниток крохотные — на дюймовочку вязанные — рукавички. Их можно было приколоть на грудь. На этот знак внимания ответил Жора Быстров: изготовил такие же крохотные колодки и стачал по всем правилам несколько пар лагерных суррогаток — каждая размером с полмизинца.

А я всю жизнь был сторонником более практичных подарков. Пошел на служебное преступление: сделал на накладной из единицы четверку, и латыш Сашка Каугарс получил на складе четыре пары резиновых шахтерских сапог. Одна полагалась ему по закону — он работал в забое, «в мокром неудобствии», как было написано в наряде — а три Сашка через проволоку перекинул женщинам: у них с обувкой обстояло неважно, а грязь возле шахты была непролазная.

Иной раз можно было и поговорить с девчатами через проволоку, если конвоир попадался не слишком вредный. Хорошенькая блондинка в телогрейке второго срока вдруг спросила, говорит ли кто-нибудь по-английски. Ребята сбегали за мной. Блондинка оказалась не англичанкой и не американкой, а москвичкой Лялей Горчаковой. До ареста она работала на Софийской набережной. А я и понятия не имел, что там за учреждение. Английское посольство, объяснила она, убедившись, что конвоир не слышит. Она и попала за роман с иностранцем — забыл, англичанином или американцем{68}. Но фамилию запомнил: Аккман. И имя их дочки помню: Лоретта. Она родилась уже в тюрьме. Злоязычные подруги поспешили сообщить, что, по их сведеньям, Лялька забеременела от своего следователя.

Наверно, врали.

Ляля предпочитала, чтоб ее называли на английский лад Долли. (Dolly — по-английски куколка иль что тоже — лялька. А понастоящему она была Вера). Один раз, когда они работали на шурфе за зоной, Долли позвонила мне в бухгалтерию по внутреннему телефону. Мы наговорились от пуза. Она даже спела мне песенку из «Касабланки»: «A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh». Об этом фильме мне с восторгом рассказывал еще на Лубянке Олави Окконен. А посмотрел я «Касабланку» только в 93-м году. Посмотрел с большим удовольствием и перевел сценарий для журнала «Киносценарии».

По-настоящему повидаться с Лялей удалось уже в Москве. Мельком видел и ее отца, тоже к этому времени отсидевшего. До войны был он, вроде бы, нашим разведчиком, долго жил с семьей в Штатах — отсюда и Лялькин английский язык. Был у нее и брат — Овидий, кажется. С ним я не знаком. Да и с Долли долгой дружбы не получилось. Мы ведь и познакомились случайно: просто из многих, знавших язык, я один оказался в тот день рядом. А могли позвать, скажем, Лена Уинкота. Или на худой конец Эрика Плезанса.

Тот был настоящий англичанин — кокни. Во время войны служил в британских «коммандос», диверсантах. Попал в плен к немцам и перешел на их сторону. Таких было не много. «Лорд Хау-Хау», ренегат, который вел нацистскую пропаганду по радио, был, если не ошибаюсь, после войны казнен. А Плезанс уцелел. Сперва он попал в СС, а потом в плен к нашим. В лагере держался надменно, был хорошим боксером и кулаками заработал приличный авторитет. Учиться русскому он не желал, даже в бригаду пошел не русскую, а к Саше Беридзе[69]… Довольно противный тип.

Но еще противней был другой англоязычный — Эрминио Альтганц. Его национальность установить было невозможно: немцам он говорил, что немец, евреям — что еврей, но с примесью испанской крови. И что родился на корабле, плывшим из Англии в Бразилию. Ему дали прозвище «Организация Объединенных Наций». Стукач и попрошайка, рыжий, с глазками, красными как у кролика-альбиноса, с липкими ладонями — нет, Долли Горчаковой повезло, что не Альтганца привели знакомиться с ней, а меня.

Правда, работал на шахте и Игорь Пронькин, русский паренек с Украины, студент. Этот отличался феноменальными лингвистическими способностями: у пленных японцев выучился ихнему языку, у Лена Уинкота — английскому. Когда я завистливо спросил у Лена, а как у Пронькина с акцентом, тот

сказал:

— No accent at all. Никакого акцента.

Между прочим, это Игорю принадлежит теория, что «мора» — цыган, по фене — происходит от немецкого «Mohr» или испанского «moro» — мавр. Я так и считал. А недавно прочел в газете, что «морэ» по-цыгански — друг.

Году в семидесятом Игорь Пронькин приезжал к нам в Москву и рассказал такую историю. Он работал в это время мастером на заводе, изготовлявшем унитазы. На завод привезли японскую делегацию — знакомиться с производством. Игорь приветствовал их на японском языке, а объяснения давал по-английски. Японцы уехали в полной уверенности, что им под видом инженера подсунули полковника КГБ. А заводское начальство после их отъезда стало коситься на Пронькина: чего он там наболтал «потенциальному противнику»?

Игорь был малый приметливый и с юмором. Он охотно делился с нами своими наблюдениями. Изображал — актеры говорят «показывал» — проходчика немца который, картавя, орал на другого немца: «Артур, черт нерусский!..» Он же подслушал разговор двух поляков, со злобой говоривших про собригадников-литовцев:

— Пшекленты литы! На свентый хлеб мувьон: донас, донас!

(По литовски хлеб — дуонас. Так они и называли святой хлеб.)

Игорь обрадовался, услышав в первый раз расшифровку аббревиатур: з/к — заполярные коммунисты, в/н — временно незаключенные. Но эта шутка ходила по всем лагерям. Иногда вместо «коммунисты» говорили «комсомольцы» — в память о построенном зеками Комсомольске-на-Амуре.

Незаполярных коммунистов Пронькин недолюбливал. С удовольствием рассказал про редактора городской газеты, который, моментально перестроившись, продолжал выпускать ее и при немцах. В числе прочего вчерашний коммунист печатал свой вариант «Истории государства Российского»:

Тут много набежало Арончиков и Сур.
Их племя размножалось и поедало кур.

Жаль, не знаю полного текста. Можно было бы предложить «Савраске».

В день Пасхи Игорь пришел к нам в барак, чинно поклонился на все стороны и сказал:

— Христос воскрес, православные христиане! — Потом повернулся к нам с Юликом. — И вам, жиды, добрый вечер.

Эту формулу наши русские друзья и даже жены взяли на вооружение.

В лагере Игорь Пронькин с его разносторонними способностями легко мог бы устроиться на какую-нибудь придурочную должность — но не хотел, вкалывал на общих. Злой Борька Печенев уверял всех, что у Игоря есть тайные сведения: скоро придут американцы. Всех придурков повесят, а работяг с почетом выпустят на свободу…

Между прочим, этот Печенев грубо нарушил правила хорошего тона в нашей любовной переписке. Увидев воочию — из-за колючей ограды — свою «жену» Люду, был сильно разочарован. Перестал ей писать и переключился на красивую бригадиршу Аню. Мы его сурово осудили, а в утешение Люде послали такое письмо:

Пора узнать его жене:
Борис пожертвовал отчизне
Тем, что не нужно на войне,
Но важно для семейной жизни.
А выражаясь поясней,
Он ранен был в такое место,
Как написал Хемингуэй
В печальной повести «Фиеста».

Именно этим, писали мы, объясняется Борькино неджентльменское поведение. Кончалось послание так:

А что до нас, то мы, ей-ей,
Жалеем этого подонка:
При всей паскудности своей
Он так хотел иметь ребенка!..

Мне тоже удалось один раз — мельком — увидеть свою главную корреспондентку — Таню. Успел заметить только, что стройная, с хорошеньким умным личиком. Больше мы не виделись — до дня моего выхода из лагеря, о чем будет рассказано в свое время. В реальной жизни она оказалась Тамарой: псевдоним нужен был на случай, если письма попадут в руки куму.

Вскоре после печеневского предательства переписка кончилась — как-то незаметно сошла на нет. Зато у Жоры Быстрова случился настоящий роман — да еще какой!

Моей помощницей в бухгалтерии была вольнонаемная Тоня

Шевчукова, молодая, рослая, большеглазая. И вообще очень славная деваха: наши письма домой бросала в почтовый ящик на станции и даже навестила мою маму, когда ехала через Москву в отпуск, в свое село под Винницей. Ее уже вызывал к себе опер, но она, заранее проинструктированная мной, сумела отболтаться.

Женщины храбрее мужчин. Это наше наблюдение подтвердил много лет спустя такой авторитет, как Костя Константиновский, муж знаменитой дрессировщицы Маргариты Назаровой. Он обещал для фильма «Сегодня — новый аттракцион» сделать (и сделал) эффектный номер: балерины танцуют между тумбами, на которых сидят тигры. На вопрос, где он найдет таких балерин, Костя пожал плечами:

— Так ведь не «Лебединое озеро» ставим. Возьму из циркового училища девчат помоложе. Женщины вообще храбрее мужчин, а молодые — те вообще ничего не боятся. Станут постарше, может и начнут задумываться.

Тоне было чуть больше двадцати, она не задумывалась. И поэтому кокетничала вовсю с Жоркой Быстровым, когда он заглядывал в бухгалтерию. Ну, и дококетничалась: раза два, заперевшись в какой-то подсобке, они переспали.

Это было очень рискованно: ведь за связь с заключенным могли как минимум уволить и выслать из Инты — в 24 часа, без разговоров. А за минлаговца могли бы и дело пришить. И Тоня опомнилась, стала избегать Быстрова. А он уже не мог без нее — влюбился до беспамятства. Писал ей письма — не чернилами, а кровью. Не «кровью сердца», а кровью из надреза на руке. Красивым четким почерком он обстоятельно объяснял, почему она должна пересмотреть свое поведение. Тоня не пересматривала, и тогда он, совсем одурев, построил что-то вроде большой собачьей будки на полозьях. Вместе с кем-то из своих армейских дружков подстерег любимую после смены, когда она шла к вахте, и умыкнул. Запихал в будку, отвез на шурф и несколько раз проделал с ней то, что, как он полагал, наверняка заставит Тоню возобновить роман. Он рассказал нам об этом с гордостью. Юлик пришел в ужас.

Жоркин рассчет оказался ошибочным… О том, какое у этой истории было продолжение, я расскажу, когда буду писать о нашей жизни в Инте после лагеря. Пока же замечу, что это похищение сабинянки было не последним из нелепых, хотя и продиктованных самыми высокими побуждениями, поступков Жоры Быстрова.

Году в шестидесятом, приехав в Москву и не поймав такси, он поддался уговорам какого-то привокзального жучка и послал его на поиски левой машины. Машину они не нашли, и жучок

предложил за двадцатку донести Жорин чемодан до моего дома в Столешникове. Взвалил тяжеленный чемодан на плечо, двинулся в путь — и тут Жора увидел, что его носильщик сильно хромает и вообще слабак. Жора отобрал у него чемодан и с грузом на плече, проследовал пешком от площади Трех Вокзалов до Столешникова переулка. «Носильщик» шел налегке, показывая дорогу, за что Георгий Илларионович безропотно выложил обещанную двадцатку.

Тогда же, в Москве, узнав, что у нас нет стиральной машины, и не поверив, что она не нужна, Жора без предупреждения купил ее за свои деньги и приволок к нам — опять же пешком, на том же плече. Богатырь! В бараке он для смеху закидывал меня на верхние нары — без труда. Правда, весил я тогда килограммов шестьдесят, а не восемьдесят, как сейчас. Человек он замечательный, мы и сейчас дружим — но понять извилистый ход его мысли и в лагере было трудно, и на воле не легче…

Кроме Тони Шевчуковой в бухгалтерии шахты работала тогда одна женщина (вернее, девушка — Тоня-то была замужем) — немочка Ильза. Команда подобралась интернациональная: русский Уваров, литовец Даунаравичус, западный украинец Конюх — не бандеровец, а офицер польской армии, молдаванин Бостанарь и я. От каждого я узнал что-нибудь полезное. Васька Уваров сообщил, что у Дунского лицо интеллигентное, а у меня коммерческое. Владас Даунаравичус рассказывал о литовских «бандитах» — сам он не успел уйти к партизанам, взяли, как он выразился, не в лесу, а на опушке. Конюх научил неглупой поговорке: «Бог не карае, не карае, а як карнэ, то и срацю не піднимешь». Он же рассказал, что у них во Львове студенты написали на двери нелюбимого профессора такой стишок:

Стары Рейтан пьюрком гжебе,
Млодеж его цурке ебе!

(«Пьюрком гжебе»— царапает перышком, «цурка» — дочка, остальное понятно.)

На что старый Рейтан немедленно отреагировал, приписав внизу:

Ебьте, ебьте, мое дятки:
Я ебалэм ваше матки!

Яшка Бостанарь был мужичонка вздорный и большой любитель спорить. Уваров, человек немногословный, не одобрял

его. Говорил брезгливо:

— Филь шпрехен.

Как-то раз Бостанарь затеял дискуссию со своим соплеменником Митикэ — как надо произносить румынское название каменного угля, «гуила» с мягким южным «г», или «хуила»? Оба темпераментные, они всем на потеху минут десять орали, стараясь перекричать друг друга: «Гуила!.. Хуила! Хуила!»

В другой раз Яшка заспорил со мной — не помню уже, по какому поводу. Дошло до драки. Добрый Митикэ Мельничук побежал за Юликом — чтобы тот разнял нас.

— Юлиус! — кричал он жалобно. — Они дерутся! Они бьют друг друга! По лицу! Руками!

Юлика это не взволновало — он был боец не мне чета. Его — за неделю до нашей с Яшкой драки — обматерил маркрабочий Генрих Волошин. Юлик посоветовал ему никогда больше этого не делать. Генрих сделал — немедленно.

Ко мне в бухгалтерию заглянул Костя Карпов:

— Иди посмотри. Там твой кирюха Волошина убивает.

Я выскочил в коридор и увидел убегающего Волошина — вся морда в крови. А двое ребят держали дверь маркшейдерской, не выпуская Юлика. Он в ярости дергал и дергал дверную ручку — пока не оторвал… Я им гордился.

XVIII. Финишная кривая

С бухгалтерией мне пришлось в скором времени расстаться.

Начальник шахты Воробьев подписал неправильно оформленную накладную, я ее порвал — а он счел это за личное оскорбление. Я уже рассказывал, каким он был ничтожеством. У таких самолюбие всегда как печень алкоголика. (Вот его предшественник Дыгерн был совсем другим человеком. Толковый горный инженер, широкий, решительный, рисковый. И большой любитель футбола, что, по-моему, тоже может считаться плюсом. За счет шахты он построил целый стадион — незаконно, разумеется. Но это лучше, чем заказывать на шахте шкафы — по-ихнему, «шифонеры» — для себя лично, и не платить за них. Так делали все остальные. А лес, пошедший на стадион, мы списали — как крепеж. За какие-то грехи — возможно, и за этот — Дыгерна сняли и заменили законнопослушным Воробьевым.)

Меня Воробьев немедленно погнал на общие работы. Сколько-то времени я постоял на породоотборке. Работа не тяжелая, но очень уж нудная. Смотришь на медленно ползущую ленту транспортера, выхватываешь куски породы и отбрасываешь в сторону. А уголь едет дальше.

К этому периоду относится несколько новых знакомств. Рядом со мной стоял на породоотборке пожилой эстонский моряк и мы болтали, о чем придется. Эстонец философствовал:

— Се говорятт: теньги нетт, теньги нетт! Один купитт дом, тругой купитт куттор, третий купитт маленький теревенька.

Я считаю — ценное наблюдение. Он же рассказал про своего земляка, лютеранского пастора по фамилии Йопп.

Когда они были еще в общем лагере, пастора — за неимением православного священника — позвали в женский барак крестить новорожденного. За этим занятием его застукал надзиратель. Строго спросил:

— Ты чего тут делал?

Пастор, плохо знавший русский язык, помнил, что при любом допросе первым делом спрашивают фамилию. И четко ответил:

— Йопп.

Вертухай его фамилию знал. Повысил голос:

— Тебя русским языком спрашивают: ты чем занимался тут?!

А тот, решив, что ему не верят, закричал в ответ:

— Я Йопп! Мой отец Йопп! Мой дед Йопп!

Спасибо, женщины объяснили, чем он занимался на самом деле.

Другим моим напарником был очень славный паренек,

ленинградец Саша Петраков. Этот рассказал мне историю своей посадки.

В войну Саша оказался на оккупированной территории и был угнан в Германию. Ему тогда не исполнилось и шестнадцати лет. Немцы придумали неплохо: Сашу и других русских пацанов зачислили в гитлерюгенд. (Саша говорил: «Я был хитлоюнга».) Всю компанию придали как обслугу к какой-то противозенитной части на западном фронте: шел уже последний год войны, тотальная мобилизация — взрослых солдат не хватало. Вместе с русскими ребятами к зениткам поставили и немецких подростков. Кормежка была неважнецкая, но русские «хитлоюнги» нашли выход.

— У немцев как заведено? — рассказывал Саша. — Баур надоит молока и оставляет бидон на дороге. Приедет грузовик и все бидоны соберет, а на завтра привезет назад. И обратно оставит на дороге. На каждом бидоне, на крышке, кусок масла в бумагу завернутый — это бауру, сколько ему положено. Никто чужой не возьмет, они этого не понимают.

Часть баурского масла наши мальчишки стали брать себе. Немецкие ребята сначала только завидовали, потом тоже стали подворовывать: голод не тетка.

Когда Германия капитулировала, Саша Петраков оказался в американской зоне. Он попросился домой и его передали русским.

Парень вернулся в Ленинград. Прошло несколько лет. Он работал шофером и уже стал забывать про свои германские приключения. И тут к нему пришли. Сказали:

— Привет из… — я не запомнил, как называется город, откуда американцы привезли Петракова в нашу зону. Саша не понял, но ему — уже в Большом доме (так ленинградцы называют свою «Лубянку») — объяснили: он американский шпион. Завербовали его перед тем, как передать нашим.

Следователь требовал, чтобы Петраков признался, какое задание дали ему янки.

Упирался Саша довольно долго, но следователь нажимал — и нажимал так крепко, что парень в конце концов «вспомнил» — да, дали задание.

— Ну вот, давно бы так. Теперь рассказывай, какое.

— Велели считать воинские эшелоны. На железной дороге.

Саша читал много книжек про советских партизан и разведчиков, знал, чем те интересовались, и был уверен, что попал в самую точку.

— Стоп, стоп! — остановил его следователь. Впервые он заговорил человеческим голосом. Даже улыбнулся. — Не такое.

Они сказали: сиди и жди. Придет человек, назовет пароль и скажет, что тебе делать. Усвоил?

Саша усвоил. Подписал показания, которые у юристов, людей лишенных юмора и чувства языка, называются «признательными» и получил свои двадцать пять и пять по рогам. Конца истории не знаю, но надеюсь, что «микояновская тройка» не дала ему досидеть до конца…

Мы работали в ночную смену и домой возвращались в те предрассветные часы, на которые на флоте выпадает «собачья вахта». В это время суток бодрствовать труднее всего, люди становятся злыми и раздражительными.

На моих глазах, в ожидании, когда откроются ворота рабочей зоны, случилось совершенно бессмысленное убийство. Один откатчик грубо оттолкнул товарища по бригаде — чтоб не лез к воротам раньше других.

Товарищ упал. Потом поднялся, взял здоровенную лесину, зашел сзади и стукнул обидчика по голове. Тот повалился замертво… Сравнить с этим могу только дикий случай, когда в олповской столовой двое зеков не поделили место за столом и один выколол другому глаз черенком ложки. Это тоже было после ночной смены.

По счастью, скоро меня перевели на другую работу — машинистом вентилятора. Там я тоже долго не продержался: пережег мотор. (Лопасти примерзли, а я, не раскачав их, нажал на кнопку пускателя. Вентилятор погудел, погудел и спекся.) Меня с позором выгнали. Могли бы взыскать стоимость погубленного шахтного оборудования — и выплачивал бы до конца жизни. Но мне опять повезло: им неохота было возиться, составлять акт.

И тут меня взял к себе начальником штаба — по-другому сказать, писарем — начальник проходческого участка Зуев. Этим отрезком моей трудовой биографии я горжусь до сих пор. Никогда, ни до, ни после, моя деятельность не приносила столько пользы человечеству. Я не шучу.

Участок Леши Зуева был самым отстающим. До моего прихода никто не выполнял нормы — ни зеки, ни вольные. А стало быть, никто не получал прогрессивки, не говоря уже о премиальных{70}. Не надо думать, что обрадованные моим появлением ребята стали работать лучше. Просто я пустил в ход маленькие хитрости.

Скажем, на проходке коренного штрека машина С-153 должна была продвинуться за смену на четыре метра, а она не проходила больше трех с половиной — и на каждого из трех проходчиков, обслуживающих ее, приходилось не по 100, а по 80 % выполнения нормы.

Я пошел к вольному начальнику плановой части Шварцу и уговорил, пользуясь хорошими отношениями, не сокращать плановую единицу машиниста вентилятора, хотя этого вентилятора в забое не было. Мы стали показывать в рабочих сведениях не трех, а двух проходчиков, третьего проводили, как машиниста вентилятора. Первые двое получали теперь зарплату за 120 % — ну, и прогрессивку соответственно. А третий, повременщик, получал свой положенный оклад, поменьше чем его товарищи. Но чтоб никому не было обидно, я каждый месяц перетасовывал их. Машинист несуществующего вентилятора становился проходчиком — и наоборот.

После Шварца я отправился к главному геологу з/к Котэ Джавришвили и выпросил справку о том, что в самом трудном забое якобы имеется повышенная влажность. За это норма снижалась.

Потом пошел к старшему нормировщику Свету Михайлову и попросил дать норму на ручную вытаску леса через шурф, хотя лес там поднимали лебедкой. Норма снизилась бы раза в три. И тут-то произошла первая осечка.

Свет был примерным службистом — видимо, армейская выучка сказывалась. Никаких потачек работягам он не давал, за что его сильно не любили. Даже написали донос куму: мол, японцы забросили в Минлаг Святослава Михайлова с тем, чтоб он изводил русских людей. Дословно так.

Мы с Юликом упомянули об этом в стихотворном приветствии ко дню рождения Света:

Его японки целовали,
Его микадо наградил —
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил.
Был, говорят, проходчик где-то,
Шипел на Света, паразит!..
Восстал он против мнений Света
Один, как прежде — и убит.
Лишь мы, коллеги Святослава,
Отдел Зарплаты и Труда,
Владеть землей имеем право,
А паразиты — никогда!..

Шутки шутками, но вот теперь, в ответ на просьбу облегчить участь моих подопечных, Свет заявил, что поблажек он никому не делает.

— Ты знаешь мои принципы! — гордо сказал он. На что я ему

ответил:

— А ты знаешь, что у меня принципов нет. Не сделаешь — скажу Полине, что ты берешь взятки.

Полина была вольная нормировщица, очень славная. С ней у Света намечался роман. Он возмутился:

— Я же не беру!

— Я-то это знаю, а она нет. Она мне поверит.

— Черт с тобой, — пробормотал принципиальный Михайлов и дал мне липовую норму.

Заработки у моих работяг за три месяца выросли в два, а у кого и в три раза. Они меня на руках готовы были носить — особенно начальник участка Зуев.

Здесь самое время сказать поподробнее о первых двух благодетелях: Шварце и Джавришвили.

Котэ был человеком разносторонних дарований. Геолог и альпинист, он — не в Инте, а в Тбилиси — побывал даже завлитом драм-театра. Был доброжелателен, интеллигентен, хорошо и необидно острил. «Индивидуальную кухню» — плиту под открытым небом, где зеки могли сготовить себе что-нибудь из присланных родными продуктов, называл «инди-минди»: это такие грузинские частушки. А когда незадолго до его смерти мы с Котэ обедали в тбилисском ресторанчике, официанта Георгия он немедленно нарек Георгием Обедоносцем…

На шахте он познакомил нас со старым грузинским меньшевиком, эмигрантом Схиртладзе. Того чекисты привезли из Ирана, когда там стояли наши войска — году в сорок четвертом. Заманили в машину, оглушили и, переодев в солдатскую гимнастерку, обмотали голову окровавленным бинтом. Под видом раненного во время учений бойца беднягу провезли мимо иранских пограничников. Я вспомнил эту историю, когда писался сценарий «Затерянного в Сибири». Как и герой нашего фильма, Схиртладзе вышел на волю. Окончил он свои дни в родном городе.

Что касается начальника плановой части Михаила Александровича Шварца, то это случай нетривиальный. Он приехал на Инту по распределению, окончив ленинградский горный институт. Худенький, с оттопыренными и розовыми как у крольчонка ушами, он прошел соответствующий инструктаж: в особом отделе ему объяснили, с каким контингентом ему придется иметь дело на шахте. Предатели, каратели, шпионы, террористы…

Первые дни он ходил по шахткомбинату, опасливо оглядываясь. Но ему двух недель хватило, чтобы сообразить, что к чему. Мы подружились с ним еще в бытность зеками — правда,

звали по имени-отчеству, а он нас — Юлик и Валерик. Впоследствии он стал Мишкой, а мы остались Юликом и Валериком. Мы дружим и по сей день.

Шварц был истово верующим коммунистом, его даже сделали секретарем парткома. Начальство пожалело об этом очень скоро: молодой секретарь наивно полагал, что его задача — защищать интересы рабочих, а не шахтной администрации. Попытались, по указанию сверху, «переизбрать» его, но не тут то было: вольные работяги не дали Шварца в обиду. Невероятно, но факт.

Коммунистические убеждения не мешали Михаилу Александровичу относиться к Сталину, мягко говоря, критически. И в 1953 году, когда появились первые сообщения о тяжелой болезни товарища Сталина, Шварц, как и мы, с надеждой поглядывая на репродуктор, ждал очередного бюллетеня. Врачей среди нас не было, никто не объяснил, что «дыхание Чейн-Стокса» — это предсмертные хрипы, но и так ясно, что дело идет к счастливому концу.

5-го марта я работал в ночную смену. Из шахты выехал пораньше — чтобы успеть к первому утреннему выпуску последних известий. Прибежал в диспетчерскую, подождал немного и наконец услышал скорбный голос Левитана:

— От Центрального… (глубокий вздох: «Х-х-х-х…») Комитета…

— Всё, — сказали мы с дежурным диспетчером в один голос.

По такому поводу следовало выпить, но как на грех спиртного не было.

Отметили это событие всухую. Вчетвером — Свет, Ярослав Васильевич, Юлик и я — купили в лагерном ларьке кило конфет «Ассорти» и съели за один присест. Такой устроили себе детский праздник.

Радовались в зоне далеко не все — боялись, не стало бы хуже. Под репродуктором в бараке сидел молодой еврей — по-моему, тот самый, что попал «за разжигание межнациональной розни» — и плакал крупными коровьими слезами. Да что говорить: и моя мать в этот день плакала…

Что такое умный человек? Едва состоялась передача власти новым правителям, Смеляков сказал:

— Знаете, кого они погонят первым делом?

— Кагановича? — услужливо подсказали мы с Юликом.

— Да нет же! Берию.

Мы усомнились: Берия как бы помазал на царство Хрущева и Булганина, явно оставаясь — хоть и позади трона — первым лицом в государстве.

— Говорю вам — Берию! — настаивал Ярослав, — Как вы не

понимаете? Не станут они больше терпеть этот грузинский акцент. Столько лет тряслись!

И ведь оказался прав. Мы могли бы и не спорить — знали о его пророческом даре. Еще раньше, на Лубянке, у него был такой разговор со следователем-евреем. Тот орал на него, требуя показаний:

— Перестаньте упираться! Будете еще три года здесь сидеть!

— Я-то может и посижу. Но вас здесь уже не будет.

— Почему это?

— А это вы у них спросите. — Смеляков кивнул на двух русских следователей. Те понимающе усмехнулись: начинались гонения на «космополитов», в том числе на «пробравшихся в органы». Погнали таки и смеляковского космополита.

Было это в 49 году. А в 53-м, после смерти главного гонителя, начался откат — выпустили, например, «убийц в белых халатах».

Шварц рассказывал: у него в плановой части работала женщина-экономист. Впоследствии она оказалась сумасшедшей — но политическую ситуацию улавливала чутко. Когда кремлевских врачей посадили, эта дама написала донос: она слышала, как з/к Файнер и з/к Штерн о чем-то договаривались по-еврейски. Повторялись слова «зумпф» и «взрыв» — видимо, евреи готовили диверсию. А когда врачей выпустили и пожурили по радио посадившую их Лидию Тимашук, шварцевская сотрудница прибежала в плановый отдел и крикнула:

— Это хохлы проклятые виноваты! А еврейчики очень хорошие.

Продолжая тему, замечу, что перемены в политике коснулись зеков не сразу. С нами на третьем сидел инженер с автозавода им. Сталина. Посадили его как участника националистической организации, созданной Соломоном Михоэлсом. Когда — спустя годы после убийства народного артиста — Михоэлса снова начали называть в печати честным советским патриотом и выдающимся общественным деятелем, обрадованный инженер послал в Москву жалобу. Он просил пересмотреть его дело, поскольку единственным пунктом обвинения был то, что его завербовал лично Михоэлс. А теперь, когда выяснилось… и т. д., и т. п.

Месяца через два его вызвал к себе начальник особой части капитан Христенко и объявил, что из Москвы пришел отказ: оснований для пересмотра дела нет. Так что надо расписаться: ответ получен.

— Как нет оснований? — Инженер чуть не заплакал. — Ведь меня обвиняли только в том, что меня завербовал Михоэлс. Теперь я слышу по радио, что он честный патриот и выдающийся

деятель — а у них нет оснований!.. Где же логика?

Христенко был мужик с юмором. Он сказал:

— Знаешь что? Ты пока распишись — а логику они пришлют потом.

Известие об аресте Берии произвело на лагерь впечатление не меньшее, чем смерть Сталина. Для всех, кроме Ярослава Васильевича, оно было совершенно неожиданным. Во всяком случае, когда дежурный офицер пришел на вахту и велел снять со стены портрет Берии, ему не поверили. Пришлось вести всю смену краснопогонников к репродуктору и ждать повторного сообщения из Москвы. Только тогда они решились снять свою икону.

Рассказывали и такое: утром того дня начальник лагпункта прошел к себе в кабинет и хмуро распорядился, ткнув пальцем в портрет:

— Этого мерзавца — в печку!

Зек-дневальный, фамильярный, как всякий приближенный раб, возразил:

— В печку — это нам недолго, гражданин начальник. Только не вышло бы, как с евреями.

— А что с евреями?

— В прошлом году посадили, в этом выпустили.

Начальник задумался.

— Да? Ну поставь пока за печку.

Заключенные встают рано, поэтому мы узнали приятную новость раньше вольных. Печенев нарочно подстерег начальницу санчасти, когда она направлялась на работу. Дав ей подойти поближе, Борька стал выкликать:

— Ах, негодяй! Так ему мерзавцу, и надо! Повесить его, подлеца такого!

— Про кого это вы, Печенев? — улыбнулась начальница.

— Да про Лаврушку! Про Берию!

Она отшатнулась, потом припустилась от него рысью. «Бегу, чтобы не пасть с тобою!..»

После низвержения Берии в лагерях начались перемены. Первым делом нам приказали спороть номера. Тому, кто вовремя не спорол, «карячился кандей» — т. е., могли дать суток пять карцера. А раньше давали столько же тому, кто не пришил. Появилось в зоне какое-то подобие школы взрослых, стала выходить лагерная многотиражка «Уголь стране» — Родины минлаговцам пока еще не полагалось. И Ярославу Смелякову поручили вести в газете как бы семинар поэзии — консультировать местных стихотворцев.

Вышел на свободу — да еще как, я уже рассказывал об

этом! — Герой Советского Союза летчик Щиров. Готовился последовать за ним полковник Панасенко: когда-то он служил адъютантом у самого Жукова и не сомневался, что маршал вытащит его из лагеря.

Панасенко — седой, подтянутый, моложавый — в заключении вел себя очень достойно: никуда не лез, не хвастался былыми заслугами и высокими связями.

В начале войны он попал в плен к немцам. Для старшего комсостава, если не ошибаюсь, от майора и выше, у них были отдельные лагеря. Пленных — первое время, потом это кончилось — не заставляли работать. Кормили плохо, но требовали, чтоб они обращались друг к другу «господа офицеры». Те относились к этому с юмором. Панасенко рассказывал, что однажды в бараке раздался крик:

— Господа офицеры! Кто картофельные очистки спиздил?

(Вспоминаю это всякий раз, когда слышу: «Господин Фрид!»)

В том офицерском лагере, в одном бараке с Панасенко, жил старший сын Сталина Яков Джугашвили.

Когда летом 41-го вгиковцы вкалывали на трудфронте, копали эскарпы и контр-эскарпы под Рославлем в Смоленской области, немецкие самолеты изредка и без интереса обстреливали нас, а иногда сбрасывали листовки. Две из них мы с Юликом привезли в Москву.

На одной было лаконичное предложение солдату Красной Армии: «Бери хворостину, гони жида в Палестину». На другой, размером побольше, — несколько фотографий «лица кавказской национальности«, если воспользоваться сегодняшней терминологией. Вот оно — крупным планом — уныло смотрит в объектив. А вот, на среднем плане, оно хлебает ложкой что-то из большой миски. Рядом стоит немецкий офицер. Жирным шрифтом листовка спрашивала: «Кто это?» И отвечала: «Это Яков Джугашвили, сын вашего верховного заправилы». Дальше указывался номер части, где он командовал артиллерией, и говорилось: «Красноармейцы! Плохо ваше дело, если даже сын вашего верховного заправилы добровольно сдался в плен непобедимой германской армии. Переходите на нашу сторону! Вам обеспечена у нас еда и работа. Эта листовка послужит пропуском».

Не могу привести текст дословно, потому что мать Юлика Минна Соломоновна, увидев у нас в руках фашистскую листовку, пришла в ужас и потребовала, чтоб мы немедленно сожгли эту гадость. Что мы и сделали. Но и тогда, и потом мы ни секунды не сомневались, что это фальшивка. Даже советская форма на снимках не читалась — так, что-то военное. А вот оказалось — не

фальшивка.

По словам Панасенко, Яков Джугашвили в плену держался очень хорошо. Отказался встретиться с какими-то грузинскими меньшевиками, приехавшими специально, чтоб увидеть его. На вопрос: «Почему? Это же ваши земляки», ответил, что его земляки в Грузии. О плохих отношениях Якова с отцом немцы были осведомлены, но все их попытки привлечь его на свою сторону оканчивались ничем. И его оставили в покое.

Случилась там и такая история. Чтобы пленные командиры не томились от безделья, им разрешалось мастерить что-нибудь для себя. Токарный станок был в их распоряжении. Яков нашел в кухонных отходах пару подходящих костей и выточил из них шахматные фигуры. На шахматы, изготовленные сыном Сталина, позарился немец, комендант лагеря.

Происходи это в советском фильме, комендант отобрал бы шахматы силой, да еще избил бы беззащитного пленного. Но поскольку было это не в фильме, а в Германии, комендант предложил Джугашвили продать ему шахматы. Тот отказался. Упрямый немец приходил к нему ежедневно, каждый раз надбавляя цену. И когда она достигла, не скажу точно, скольких буханок хлеба и пачек «эрзац хенига», искусственного меда, товарищи по бараку стали жать на Якова:

— Отдай! Не иди на принцип!.. Хоть нажремся по-человечески.

И он в конце концов поддался уговорам…

Не знаю ничего толком о дальнейшей судьбе нелюбимого сталинского сына. Говорили, что он умер не то в немецком, не то в советском лагере — неудачно прооперировали аппендицит. Кто-нибудь наверняка знает правду. Панасенко не знал.

Сам полковник вскоре освободился. Восстановился в партии и — смех и грех! — даже стал парторгом на той самой шахте, куда ходил столько лет с минлаговским номером на спине. В шестидесятых годах мы повидались с ним в Москве. Он рассказал про свой визит к снова впавшему в немилость маршалу. Жуков с горечью говорил ему:

— Они меня в бонапартизме обвиняют. Да я, если б хотел… Ко мне Фурцева прибегала, уговаривала: «Георгий Константинович, возьмите власть, а то ведь Молотов с Кагановичем…» Но мне это ни к чему.

Рассказывал маршал и об аресте Берии. По словам Панасенко, он сказал Лаврентию:

— Видишь, негодяй? Ты меня посадить хотел, а оно вот ведь как вышло.

В войну Берия действительно копал под Жукова, это

известно. Но по некоторым свидетельствам, не Жуков лично арестовывал Берию, а кто-то еще из маршалов. Не берусь судить, у Панасенко получалось, что Жуков.

О Жукове говорил с восхищением Вася Ордынский, который снимал интервью с ним для фильма «У твоего порога». Режиссеру сильно мешали советами и поправками военные консультанты. Жуков утешал его:

— Что вы от них хотите, Василий Сергеевич? Эти генералы хотят сейчас выиграть сражения, которые просрали в войну.

Так и выразился.

На премьере фильма в кинотеатре «Москва» зрители устроили опальному полководцу овацию: стоя аплодировали минут десять…

Но вернусь от маршалов и генералов к рядовым — т. е., к нам с Юликом.

Надо же было так получиться — опять по какому-то неправдоподобному совпадению — что в разных лагерях и в разное время з/к Дунский и з/к Фрид заработали почти одинаковые зачеты{71}: он девяносто пять дней, а я — сто один. Арестовали меня на пять дней позже Юлика, а освобождаться нам предстояло почти одновременно: ему восьмого, а мне девятого. Но на девятое января 1954 года выпала суббота, значит меня могли выпустить только одиннадцатого. Обидно, конечно, что не в один с ним день.

Но в последний момент фортуна чуть-чуть довернула свое колесо — сжульничала в нашу пользу. Нам объявили, что оба выйдем на волю восьмого: держать свободного человека лишних два дня в лагере нельзя. (А десять лет держать невиноватых можно?)

К тому времени минлаговцев, отбывших срок, перестали этапировать на вечное поселение в Красноярский край, оставляли в Инте: комбинату Интауголь тоже нужна рабочая сила. Это было большой удачей. Здесь все знакомо, здесь друзья, здесь больше возможностей устроиться на сносную работу.

Последние месяцы заключения тянулись долго — но не скажу «мучительно долго»: все-таки где-то невдалеке маячила свобода. Ну, не совсем свобода — но не лагерь же!.. Мы стали потихоньку отращивать волосы.

Эти месяцы в Минлаге не были омрачены крупными неприятностями. А вот на Воркуте был большой «шумок» — забастовка зеков под лозунгом «Стране уголь, нам свободу». Приезжали из Москвы комиссии, уговаривали — а кончилось стрельбой из пулеметов. Многих, говорят, поубивали. Мы об этом знали только понаслышке, поэтому не могу рассказать подробно,

хотя понимаю: это событие поважней, чем наши приготовления к полувольной жизни… Но я ведь стараюсь писать только о том, что видел своими глазами.

Из Москвы нам уже прислали вольную одежду: одинаковые полупальто-москвички с барашковыми воротниками, одинаковые шапки и одинаковые костюмы венгерского пошива. О костюмах позаботился наш школьный друг Витя Шейнберг. Нам они не понравились: пиджаки без плеч, без талии, брюки узкие.

Поправить дело взялся зек-портной из Вильнюса. Он перешил их по последней моде. Мы только не учли, что для него последней модой были фасоны тысяча девятьсот тридцать девятого года… Когда Витечка поглядел — уже в Москве — на эти изуродованные костюмы, он чуть не заплакал.

На свободу минлаговцы уходили не прямо со своего лагпункта, а через Сангородок: там надо было выполнить какие-то последние формальности…

Пришел и наш черед. Мы расцеловались с друзьями, собрали все пожитки в один узел и с маленьким этапом двинулись в Сангородок. Там нас разыскал заключенный врач Толик Рабен. Оказалось, он москвич и даже учился в мединституте вместе с Белкой, женой не раз уже упомянутого д-ра В. Шейнберга, Витечки.

Рабен пригрел у себя в лазарете поэта Самуила Галкина — кажется, единственного оставшегося в живых из писателей, осужденных в 49-м году по делу Еврейского Антифашистского комитета. (Комитет, как установила Лубянка, оказался гнездом сионистов и антисоветчиков.)

Галкину предстояло в скором времени тоже выйти на свободу. Он пожелал познакомиться с нами.

Красивый, с ясными детскими глазами и курчавой ассирийской бородой, он мягко упрекнул нас за незнание еврейского языка. Сам он писал на идиш, но в лубянской камере сочинил маленькое стихотворение на русском языке. На память нам он записал его мелким почерком на узенькой полоске бумаги — чтоб не отобрали при последнем шмоне. Вот оно:

Есть дороженька одна
От порога до окна,
От окна и до порога —
Вот и вся моя дорога.
Я по ней хожу, хожу,
Ей всё горе расскажу,
Расскажу про все тревоги
Той дороженьке-дороге.

Есть дороженька одна —
Ни коротка, ни длинна,
Но по ней ходили много
И печальна та дорога.
Я теперь по ней хожу,
Неотрывно вдаль гляжу…
Что ж я вижу там вдали?
Нет ни неба, ни земли.
Есть дороженька одна —
От порога до окна,
От окна и до порога.
Вот и вся моя дорога.

Простившись с Галкиным и Рабеном, мы в последний раз отправились на вахту. Вертухаи тщательно прошмонали нас, галкинского стихотворения не нашли, но гадость на прощанье сделали: остригли обоих наголо. После чего выпустили за ворота.

XIX. Свобода — это рай

Нет, такой наколки в наше время блатные не делали, я впервые увидел ее в отличном фильме Сережи Бодрова «С.Э.Р.» Но свобода действительно рай. Мы почувствовали это в первую же минуту.

Нас, человек пять освободившихся, погрузили в кузов полуторки, и мы — без конвоя! — поехали в поселок. Городом Инта стала потом.

Леша Брысь, наш товарищ по третьему ОЛПу, к торжественному моменту опоздал. Бежал, чтобы встретить нас у ворот, но не поспел: увидел грузовик на полдороге от Сангородка, повернулся и побежал за ним обратно. Дороги в Инте такие, что отстать от медленно ползущей машины Леша не боялся. Он первым и обнял нас в нашей новой жизни: сам Брысь освободился за полгода до нас. Обнял и побежал к себе на работу.

А мы остались стоять со своим узлом посреди улицы, растерянно озираясь: надо было идти фотографироваться, без двух фото «три на четыре» нам не дали бы документа, заменяющего спецпоселенцу паспорт, а куда идти, мы не знали.

На выручку пришел Виктор Сводцев, вольный проходчик с нашей шахты. Привел к фотографу и сам снялся с нами на память.

Из поселка надо было идти к Ваське Никулину: он взял с нас клятвенное обещание, что жить не пойдем ни к кому — только к нему! Дом он поставил прямо против ворот шахты 13/14.

— Так что не заблудитесь, — сказал Васька.

Никулин работал на нашей шахте зав. кондвором. Вообще-то конная откатка раньше на шахтах была, мне даже показывали место, где упала и в судорогах скончалась шахтная лошадь — там, неглубоко под землей, проложен был плохо изолированный кабель. Слабую утечку тока люди не чувствуют, а лошадям, оказывается, много не надо. Но это было давно, еще до нас. А в наше время на откатке работали уже электровозы. Лошадей же запрягали в пролетку, на которой ездил начальник шахты Воробьев. Так что зав. кондвором Васька был просто напросто кучером — возил начальника с работы и на работу.

Честно говоря, если судить по уму и другим человеческим качествам, это Воробьев должен был бы возить Никулина — впрягаться в оглобли и везти.

Васька успел отсидеть не очень большой срок по бытовой статье. В подробности дела мы не вдавались, но судя по всему, он хорошо погулял в Германии, куда пришел воином-освободителем.

Мужик он был широкий, веселый и добрый. Мы не сомневались, что прегрешения его не так уж велики. Не то, что у Толика Нигамедзянова, который с удовольствием рассказывал, как в доме у «баура» построил всю семью по росту, начиная с дедушки и кончая внучатами — и всех покосил из автомата. Он показал, как именно: провел пальцем, будто стволом, сверху вниз по диагонали. (Свой срок Нигамедзянов получил, к сожалению, не за это.)

Но пограбить Никулин мог, в чем мы тоже не сомневались.

Был он на удивление невежествен. Спрашивал, например, в каком виде телеграмма приходит на другой конец провода — тем же почерком написанная? Факсов в те времена не было, про фототелеграф Васька не слыхал — интересовался простым телеграфом, изобретением Морзе. Но ум имел живой, был проницателен и, по его выражению, «сорт людей понимал»:

— На хорошего человека я хороший человек. А на гонококка я и сам гонококк.

В его устах «гонококк» было самым обидным, самым уничижительным определением. Он часто заходил в контору поболтать и рассказывал много интересного: про петуха, которого у них в колхозе уважали даже больше, чем председателя — такой был умный, про своего старшего брата, который с юных лет не вылезал из лагерей. О брате Васька говорил с почтительным ужасом, даже голос понижал — Никулин-старший был, видимо, тот еще бандюга. Но и младший был не слабак: по пьянке кто-то пырнул его ножом, и он неделю ходил на шахту с пробитым легким, к лепилам не шел.

Почему его тянуло к нам не совсем понятно. Никакой корысти в его желании взять под опеку двух очкариков не было. Наверно, в его табеле о рангах мы значились как «битые фраера», а значит заслуживали уважения.

И вот, сфотографировавшись, мы потащили довольно тяжелый сидор со своими шмотками на новую квартиру. От поселка до шахты было километра три. Мы знали, что хозяин на работе и что ключ оставлен для нас под дверью.

Нашли ключ, открыли — и увидели что в доме уже кто-то есть. Точнее сказать, увидели на полу в луже блевотины пьяного в дребезину Клементьева, начальника участка. К нему из угла тянулась и не могла дотянуться огромная овчарка — ее удерживала цепь. Мы удивились. Собака на цепи в жилой комнате — это что-то новенькое. На всякий случай оттянули Клементьева за ногу подальше от пса.

Почти сразу появился Васька — сбежал на минутку с работы, чтобы первым выпить с нами. С водкой и спиртом как раз в эти

дни случился в Инте перебой. На столе стояли две бутылки шампанского и трехлитровая банка с пивом. В пиве плавала другая банка, поллитровая. Мы сперва не поняли, как она туда пролезла через узкое горлышко, но подойдя поближе, увидели, что из стенки трехлитровой банки выломан кусок.

Мы пили шампанское, запивая пивом. Перед тем как убежать обратно на шахту, Никулин объяснил, почему в комнате цепной пес (почему здесь Клементьев, объяснений не требовалось: он был коми и, как многие представители народов Крайнего Севера, в больших неладах с алкоголем. (Зеки называли коми «комиками», а себя «трагиками…») Но про собаку.

Пес, признался Васька, был «темный», т. е., краденый. Украл его Никулин на минлаговской псарне. Поэтому на первых порах его приходилось прятать от посторонних глаз. Кобель оказался таким лютым, что даже нового хозяина не подпускал к себе. Пришлось украсть у собаководов еще и солдатский плащ. В плаще Василий проходил у собаки за своего и она соглашалась принять от него пищу…

Хозяин ушел, а мы остались сидеть за столом, залитым пивом и шампанским. Время от времени собака принималась хрипло лаять — то на нас, то на Клементьева. Ощущение счастья, с которым мы прожили первую половину дня, стало как-то ослабевать.

Не то, чтобы нас угнетала диковатая обстановка — видали мы и не такое. Просто, когда прошла эйфория первых часов свободы, мы задумались: как будем жить дальше? Что нам скажут завтра в комендатуре? Где искать работу?..

Вдруг кобель зашелся в истерическом лае и стал рваться к двери. Юлик пошел открывать.

На пороге стоял невысокий носатый молодой человек. Он представился:

— Леня Генкин.

Сообщил, что москвич, сюда приехал к маме, сейчас работает экономистом. Пришел он за нами: нас ждут в одном доме.

— Кто ждет?

— Вы их не знаете. А они про вас слышали — от общих друзей.

Мы не поняли, но упираться не стали. Оделись, пошли за Леней — очень уж не хотелось оставаться, как написали бы в старину, наедине со своими невеселыми мыслями. Правда, кроме них в доме были еще собака и храпящий на полу Клементьев, но от этого мысли веселее не становились.

Идти пришлось недалеко: домик, куда привел нас Леня Генкин, стоял возле самых ворот соседней 9-й шахты. Это было

типичное шанхайное жилище — нескладное, потому что сооружалось не за один присест, обезображенное пристройками, плохо оштукатуренное, крытое толем не первой свежести. Главный «шанхай» располагался в стороне, возле короба теплопровода. Там домишки были еще хуже — полуземлянки с крохотными оконцами. Сказать по правде, и эта хижина не показалась нам дворцом.

Но когда через низенькую дверь мы прошли, пригнувшись, внутрь, то увидели чистую, обжитую, уютную комнату, увидели хозяев, которые улыбались нам, совсем незнакомым, словно долгожданным любимым родственникам. И плохое настроение улетучилось в одну секунду.

«Улыбались совсем незнакомым» — сказано неточно. С хозяйкой дома я был хорошо знаком, хотя видел ее всего один раз и то издали. Это была Тамара Пономарева — «Таня» из нашей междулагерной переписки. Теперь у нее был муж — Гарри Римини.

А их сосед по квартире, Яша Хомченко — тот действительно только слышал про нас. Зато очень давно: он поступил на режиссерский факультет ВГИКа вскоре после нашего ареста. Пришел он туда после фронта. Воевал хорошо, чему доказательством была хромая, в пандан фамилии, нога. Учился тоже хорошо, но недолго: стал обсуждать с приятелями пути мирного усовершенствования социализма — ну, и дообсуждался. Дали Яше восемь лет, так что сел он после нас, а вышел раньше. Он познакомил нас с женой Алей.

На белой скатерти стояли бутылки и тарелки с роскошным угощением. Мы было умилились — чем заслужили?! Но выяснилось, что Тамара празднует день рождения, а тут и мы подвернулись. Пришли еще гости, все сели за стол. Первый тост был:

— За тех, кто в море!

Так пили за тех, кто еще оставался в лагере. На Инте для бывших зеков этот первый тост был так же обязателен, как «За Сталина!» для сов. и парт. работников.

Мы были счастливы. Пили весь вечер и не пьянели — или так нам казалось… Свобода это рай!

С этого дня Томка и Гарик стали нашими очень близкими друзьями — позже выяснилось, что на всю жизнь.

Одна из двух пар, живших в домике, была смешанная. Не в том смысле что, он еврей, а она русская. Хотя и это имело место в обоих случаях. Кстати, Тамара даже кидалась когда-то на своего следователя с криком «Убью, жидовская морда!» Гарри называл ее — «моя антисемитка со стажем». На вопрос Юлика, почему же

она, с такими установками, вышла замуж за еврея, Томка ответила:

— А я хочу испортить жизнь хотя бы одному.

И вскорости уехала с ним в Израиль, где они живут в мире и согласии по сей день. Но повторяю: не национальность я имел в виду. Клич из «Книги джунглей» Киплинга — «Мы одной крови, вы и я!»— в наших джунглях понимался по-своему. Томка и Гарик оба прошли через лагеря, значит, они были одной крови, их брак я не называю смешанным. А вот Аля, Яшкина жена, была не нашей крови: комсомолка, «молодой специалист» — т. е., чистая. Она работала врачом в Минлаге по вольному найму.

Когда у Али начался роман со спецпоселенцем Хромченко, ее вызвали, куда следует, и спросили:

— Товарищ Щанова, что у вас может быть общего с заключенным?

— Так ведь он не заключенный, он освободился.

— Ну, вы же понимаете, что мы имеем в виду.

— Нет, не понимаю.

— Смотри, положишь комсомольский билет!..

Аля вытащила билет из сумки, молча положила на стол и ушла.

Человек!.. В старые времена этот номер не сошел бы ей с рук, а в хрущевские — проглотили и утерлись, даже с работы не выгнали. Красивая была женщина. Мы огорчились, когда — уже в Москве — они с Яшкой разошлись.

Но самая романтическая история была у третьей пары из тех, с кем мы пировали в тот вечер.

Алеша Арцыбушев все восемь лет, что сидел, писал письма своей любимой девушке Варе. И ни на одно не получил ответа: его послания не доходили. Варины родители (приемные, кстати) и раньше не одобряли Варин выбор, а после Алешиного ареста и подавно. Все его письма они перехватывали, а девушке объясняли, что его или нет в живых, или он и думать про нее забыл — лагерь ведь!.. Они даже нашли Варе подходящего жениха. После долгих уговоров она, к их радости, согласилась выйти замуж.

Лагерные товарищи тоже убеждали Алешу, что Варя его забыла. Но он, сам человек страстный и верный, Варю знал и никого не слушал. И уже в Инте, выйдя на вечное поселение, он сделал еще одну попытку.

В Москву уезжал знакомый блатарь, чем-то обязанный Арцыбушеву — тот в лагере работал фельдшером. Алексей написал Варе письмо, а гонцу дал устную инструкцию. Пойти по такому-то адресу. Если дверь откроет она сама — отдать письмо.

Если не она — извиниться и уйти.

Дверь открыла Варя.

Через неделю, ничего не сказав домашним, она сбежала в Инту. Сбежала от родителей и мужа в чем была — зимних вещей не взяла, чтоб не вызвать подозрений, и к Алеше приехала в летних туфельках.

Жили они очень счастливо и вскоре родили дочку Мариху. Я помню, как она, двухгодовалая, требовала: «Не гиви Мариха, гиви Маришенька». Мы часто заходили в их интинское жилище, крохотную комнату, оклеенную изнутри — и стены, и потолок — красивыми обоями будто внутренность сундучка. Много лет спустя, бывали у них и в Москве{72}. Но в тот первый вечер никто из нас о Москве не помышлял. Мы с Юликом — как бы это сказать? — готовились к вечности.

На следующее утро в комендатуре каждому из нас выдали «справку спецпоселенца», взяв предварительно подписку: нам объявлено, что за попытку самовольно покинуть места вечного поселения полагается 20 лет каторги. Каторги, вроде бы, уже не существовало — но предупреждение звучало грозно. Мы и не рыпались — поначалу…

Стали жить бесплатными квартирантами у Никулина. Спали вдвоем на деревянной кровати, которую заботливый Васька заранее выменял для нас за литр водки у начальника поверхности Багринцева.

Работа для нас нашлась быстро. Я пошел бухгалтером в ремцех, Юлик — рабочим ОТК на шахту 11/12. Там ему приходилось спускаться под землю и карабкаться по горным выработкам — карабкаться, потому что пласты на той шахте были крутопадающие. Но на здоровье он тогда не жаловался и даже говорил, что это лучше, чем корпеть целый день над бумагами. Правда, приходилось и ему делать канцелярскую работу: он оформлял документы на отгрузку угля в разные концы страны.

Жизнь в Васькином доме была шумная и довольно беспокойная. Приходила его любовница, веселая дружелюбная бабенка с пятилетней дочкой Валей, приходили его дружки с женами и подругами. Один из них, слесарь Лешка Барков, настойчиво пропагандировал изобретенный им напиток. В граненый стакан — а пили в Инте исключительно стаканами — наливалось на два пальца пива. Потом через чистый носовой платок по стенке осторожно спускалась такая же порция плодоягодного вина — по-местному, «подловыгодного», Оставшийся объем заполнялся, также через платок, водкой или спиртом-ректификатом. Эту гремучую смесь изобретатель называл «хоккей Инта» — трудное слово коктейль ему не

давалось. Три слоя не смешивались и на просвет смотрелись, как триколор какой-нибудь южно-американской республики. И выпивались очень легко, залпом: водка, вино и напоследок — пиво. Ощущение, будто выпил стакан пива. Но, как известно, ощущения нас обманывают.

Юлик после первой же пробы убедился в этом. Он глотал стакан за стаканом, чтоб не отстать от компании — а надо было идти на работу в ночную смену Оделся, пошел.

— Видали твоего кирюху. Хорош, — сообщили мне утром вернувшиеся со смены шахтеры.

Куда Юлик отправил в ту ночь пять вагонов угля, он вспомнить не мог до конца жизни. Возможно, они и по сей день блуждают по России, тычутся по разным адресам…

В нашем жилище время от времени появлялись новые простыни и наволочки — чистые, но явно не из магазина. Тайну их происхождения я узнал случайно. Мы с Васькой ехали поздно вечером на воробьевской пролетке. Вдруг он натянул вожжи, сунул их мне и, соскочив с козел, нырнул в темень. Прямо как в о. генриевском рассказе про ограбление поезда: «Полковник, подержите лошадей». Поезда Васька не грабил. Он был, оказывается, «голубятником» — так называются воры, крадущие белье, вывешенное для просушки. В тот раз его добычей стал небольшой ковер.

Мораль читать нашему гостеприимному хозяину мы не стали, хотя и призадумались, не съехать ли нам с квартиры. Мы принимали его таким, как есть. А товарищем он был надежным. И по-своему тонким человеком — подчеркиваю: по-своему. Расскажу, чем кончилась история с краденым кобелем.

По настоянию Васькиной любовницы его переселили в конуру возле дома. Характер его от этого не улучшился: пес сохранил ненависть ко всем, на ком не было красных погон. Выскакивал из будки и молча кидался на прохожих. Спасибо, цепь была крепкая… Васька очень им гордился.

Но один из напуганных вернулся с длинным дрыном и, не подходя близко, жестоко избил собаку. Бил так долго, что «сломал» ее — как ломают хищников жестокие дрессировщики. И кобель перестал кидаться на людей. Теперь при виде любого прохожего он с жалобным воем залезал в свою конуру. Из свирепого сильного зверя превратился в «тварь дрожащую»… Этого Никулин вынести не мог. Взял топор и зарубил своего любимца — из тех же соображений, что и Вождь, убивший Мак-Мерфи, героя «Гнезда кукушки».

Много лет спустя, когда мы жили уже в Москве, из Инты нам написали: Никулин снова сел — за драку, ненадолго. Мы

отправили ему в лагерь посылку и велели: будешь ехать через Москву — приходи к нам! В ответном письме он поблагодарил за бердыч, а от приглашения отказался. Написал: «Увидимся на вокзале» — считал, что в нашей новой жизни он нам не компания. Зря считал, нашим московским друзьям он бы понравился… Так и не увиделись.

В 54 году подошли к концу срока у очень многих. А многие и не досидели «до звонка» — их выпустили микояновские тройки{73}. Минлага бериевская амнистия 53-го года почти не коснулась: уголовников у нас можно было по пальцам пересчитать. Мы только по наслышке знали о том ужасе, который нагнали на мирное население российских городов воры и бандиты, выпущенные на волю Лаврентием Павловичем. Их так и называли — «бериевцы». После того, как с Берией разделались, пошла молва: он эту публику выпустил с умыслом, хотел создать из них лейб-гвардию. Уверен, что это обычный чекистский вымысел, «деза».

Инту наводнила пятьдесят восьмая. Вышли на свободу наши друзья — Женя Высоцкий, Славка Батанин, Светик Михайлов, Сашка Переплетчиков. С жильем в нашей стране всегда были трудности, а в тех обстоятельствах и подавно. Комбинат Интауголь переделал в общежития для освободившихся опустевшие лагпункты. Но жить — хотя бы и без охраны — в тех же бараках мало кто захотел. Искали выход — и нашли.

К этому времени в поселке имелось два многоэтажных дома. В них жили вольные сотрудники комбината. Парового отопления не было, но на каждого жильца приходилась кладовка для дров — каморка в подвале размером с одиночку на Малой Лубянке: метра полтора на два с половиной, без окна. В эти-то кладовки и стали вселяться вчерашние зеки. Законные владельцы протестовать боялись: поспорь с этими лагерниками — возьмут, да подожгут со зла!..

Кое-кто из наших временно поселился у знакомых. А собиралась наша компания в семейных домах. Иногда у Шварца — он окончательно перестал считаться с рекомендациями особого отдела и водил дружбу с нечистыми. Его жена Галя очень полюбила нас с Юликом. На филфаке ленинградского университета она слушала лекции нашего учителя Трауберга, так что было о чем поговорить.

Но чаще мы бывали у Гарика с Тамарой. И чем ближе узнавали их, тем больше уважали.

Гарри Римини — какие имя и фамилия! — был не англосаксом и не итальянцем, а польским евреем из Вильно. Интеллигентный отец назвал его в честь латинского поэта

Горацием (по-польски — Горациушем). Семья была интересная. Старшая сестра Елка — убежденная сионистка, в их доме, по-моему, сам Жаботинский бывал. Она уехала в Палестину еще до войны. А Гарри был убежденным коммунистом и состоял в польском комсомоле. Чтобы он переменил убеждения, потребовалось многое.

Когда началась война, он перешел линию фронта: хотел в рядах Красной Армии воевать против фашистов. Раздобыл паспорт на имя поляка Иосифа Константиновича Требуца, прошел с ним по Литве и Польше через все немецкие кордоны — а через наши пройти не смог. Обвинили его, естественно, в шпионаже. Поляк, еврей — какая разница?.. И посадили на десять лет. Без посылок, в чужой стране, с чужим языком, он ухитрился не только выжить, но и достичь командных высот на производстве. Не сразу, конечно. Голодал, доходил, но не сдавался. И кончал срок чуть ли не начальником лесобиржи.

Умный, начитаный, ироничный, он и на воле умел поставить себя так, чтоб с ним считались — все и всерьёз.

К ним с Тамарой тянулся самый разный народ. Оказалось, что в Инте много выходцев из Польши, очень неглупых ребят. Один, Антон Гроссман, рассказал о своем первом знакомстве с советскими. Это было в 39 году, в первые дни после прихода наших. Перед окнами Антона каждое утро встречались два хозяйственника. Оба приехали вывозить заводское оборудование, и каждый считал, что другой сует ему палки в колеса. Утро начиналось с отчаянной матерщины: они грозили друг другу страшными карами. Голоса спорящих взвивались до самых небес:

— Я тебе яйца оторву!

— А ты у меня кровью ссать будешь!

И в тот момент, когда дискуссия, считал Антон, должна была перейти в мордобой, они резко меняли тональность:

— Значит, договорились. По рукам.

К этой советской манере вести дела Антон так не сумел привыкнуть.

Сам он славился пунктуальностью и был большим аккуратистом. К себе в бухгалтерию приходил всегда в начищенных ботинках и при галстуке — большая редкость в Инте. Но он и в Польше был франтом. Там как-то раз Гроссману не достался хороший билет, и он поехал третьим классом. Рядом сидел другой еврей и лузгал семечки. Шелуху он сплевывал на пол, но часть попадала на колени Антону. Представляю, как он, чистюля, страдал от этого. Не вытерпев, он сделал соседу замечание:

— Если бы рядом с вами сидел поляк, вы бы себе этого не

позволили.

Тот не удостоил Антона ответом. Повернулся к жене и сказал:

— Посмотри на этого еврейского Гитлера!..

Антиподом Гроссмана был его земляк, кузнец Хаим Лифшиц. В Инте он назывался Федя. Здоровяк, пьяница, он шлялся по поселку со своей овчаркой Рексом и картаво науськивал ее на встречных: «Р-рекс! Взац!» — т. е., «взять!» Рекс, трезвый в отличие от своего хозяина, виновато вилял хвостом, всем видом показывая: «Не сердитесь, пожалуйста, на пьяного дурака».

Но дураком Федя не был. Имел деловую хватку: в Инте завел свиней и жил со своей Любкой безбедно. А когда уехал в Израиль — бывшим польским гражданам это удалось довольно скоро — он и там преуспел больше других. Бросил пить, открыл мастерскую и делал бизнес на товарных весах: изготовлял их, ремонтировал, а главное — «учил», так налаживал, что они показывали вес, выгодный для владельца. Когда надо — больше, когда надо — меньше. Так что разговоры о том, что все жулики остались в России — вражеская пропаганда.

— Думаете, если Святая Земля, там и люди святые? — сказала по этому поводу Тамара Римини.

Все польско-еврейские интинцы увезли с собой русских жен (а Зяма Фельдман — мордовскую). Федя-Хаим Любку оставил. Но дочери всегда помогал, она даже гостила у него в Хайфе.

Не умея ни писать, ни говорить толком ни на одном языке, включая иврит, Федя Лифшиц разъезжал по всему миру. Хвастался:

— Если есть мани-мани, дорогу кто-нибудь покажет!

Такой вот израильский Митрофанушка…

Новый 1955 год в доме у паньства Римини встречала странная, очень разношерстная компания. Большинство — такие, как мы, вечные поселенцы: Свет, Женя Высоцкий, Ян Гюбнер. Но был там и отпущенный из лагеря на выходной день двадцатипятилетник Ромка Котин, был и другой Ромка, Шапиро. Этот сбежал на минутку с шахты 9 — поднырнул под колючую проволоку, выпил с нами шампанского и полез обратно. Охрана была уже не та — и оказалось, что не нужны ни пулеметы на вышках, ни овчарки: никто бежать не собирался. Пришла в гости бесконвойница Алла Рейф — бывшая участница антисоветской молодежной группы «Юные ленинцы». А еще там была коммунистка и народный заседатель, лагерный доктор Аня Ершова, с которой крутили любовь трое из присутствовавших. Присутствовали, конечно, и парторг шахты 13/14 Михаил Александрович Шварц с супругой.

Говорят, людей сближает общее горе. Общая радость

сближает еще больше. Мы же помним День Победы, 1945 год! (Через пятьдесят лет в 95-м так не было, к сожалению). Новый 1955 год Инта встречала в ожидании больших перемен. Чекисты ждали их с тревогой, мы — с надеждой и верой. Все самое плохое было позади.

XX. Крокодил под кроватью

Чувствую, что рассказ мой затянулся до неприличия. Обещал друзьям написать о нашей с Юликом лагерной эпопее (Каплер говорил — опупее) а все чаще тянет рассказывать чужие истории. Потому что почти у всех наших близких товарищей они были интереснее и драматичнее, чем моя.

Например, у Ромки Котина, «вольноотпущенника», с которым мы встречали Новый Год.

В первые дни войны он оказался в немецком плену. Очень еврейский нос отчасти компенсировался голубыми глазами и волосами цвета лежалой соломы. Как правило, военнопленные евреи выдавали себя за татар или осетин: мусульмане тоже обрезанные. Ромкина внешность этого не позволяла, и он рискнул, сказался белорусом. По счастью, немцы редко требовали предъявить для проверки крайнюю плоть — то ли брезговали, то ли верили на слово (немецкой доверчивостью наши пользовались вовсю). Но советского человека так легко не проведешь: Котина расшифровал кто-то из товарищей не несчастью. За молчание он потребовал хорошие Ромкины сапоги. Сделка состоялась, но на всякий случай Роман перелез ночью в соседнюю секцию: лагерь был временный, просто площадка, обнесенная колючей проволокой и разбитая на квадраты. А стационарный лагерь, куда попал самозваный белорус, был в Норвегии. Там, в постоянном страхе, что продаст кто-нибудь из своих, он прожил четыре года — а в довесок получил 25 лет ИТЛ. Вышел, не досидев, и со временем снова поехал за границу — и на этот раз не в Норвегию, а США. Там он и досидел до конца отпущенного ему судьбой срока.

Но совсем уж удивительным был немецкий отрезок биографии Яна Гюбнера. По-настоящему он был Исаак, но у себя в Польше назывался Яном, а у немцев — Гансом.

Я уже рассказывал про Эрика Плезанса, англичанина, служившего в СС. Но еврей в СС?!. Именно так. Исаак-Ян-Ганс служил при эсэсовской части буфетчиком. Было это где-то под Винницей. Или под Полтавой.

Как и Ромка Котин, Ян был голубоглазый блондин. Но курносый и красномордый — так что с успехом выдавал себя за фолькс-дойча. У него и фамилия вполне немецкая — Hubner. С русской женщиной Валей они прижили дочку, которую назвали Гретой, Гретхен.

Гюбнера тоже заложил советский человек: старик-украинец настучал солдатам, что буфетчик-то у них того… Немцы не

поверили, со смехом рассказали Яну. У того душа ушла в пятки, но он и виду не подал. Схватил эсэсовский кинжал, закричал что сейчас пойдет, убьет негодяя. Камерады его успокаивали:

— Что ты, Ганс, брось! Старикашка выжил из ума, кто его будет слушать?

(Много лет спустя Ян рассчитался с доносчиком. Съездил в тот городок навестить Валю и Грету, а заодно навестил старика. Сказал ему:

— Дедушка, теперь я могу открыть вам всю правду. Я разведчик, полковник КГБ. У немцев я выполнял особое задание. А вы знали, что я еврей, но не сказали им. Так ведь? Или не так?

— Так, так, Ганс, — лепетал перепуганный насмерть старик.

— И вот я приехал специально, чтобы сказать вам спасибо. — Тут Ян перестал улыбаться. — Сейчас еду на задание. Но я скоро вернусь, и мы еще поговорим. Вы меня поняли?

И ушел, оставив деда в полуобморочном состоянии.)

Звездный час его эсэсовской карьеры настал, когда в их часть приехал фельдмаршал фон Манштейн. Ян был знатоком ресторанного дела и приготовил для высокого гостя какие-то особо изысканные тарталетки. Тот поинтересовался: кто в этой глуши способен сотворить такое. Ему объяснили: есть тут у нас один фольксдойч, очень толковый. Фельдмаршал пожелал увидеть его.

Ян повторил ему свою «легенду», как сказал бы настоящий разведчик: старый Гюбнер держал во Львове — Ян называл его Лембергом — большой ресторан. Когда Польшу поделили между Рейхом и Советами, Лемберг достался русским. Гюбнеры знали что они, фольксдойчи, могут репатриироваться в Германию. Но отцу жалко было расставаться с рестораном. И как старик просчитался! Ресторан отобрали, отца отправили nach Siberien. А Ян при первой возможности перебежал на сторону германской армии.

— И ты никогда не был в Рейхе?

— Никогда. Но мечтаю.

— Ну, иди.

Уходя, Ян слышал, как Манштейн сказал офицерам:

— Этот парень никогда не был в Германии, aber die deutsche Kultur ist in Blut geboren. Немецкая культура — она в крови!

В Германию Ян Гюбнер попал после капитуляции: его отправили в Торгау, и в тамошней тюрьме он ожидал суда. Соседом по камере был высокий эсэсовский чин. Они болтали о том, о сем. Немец рассказал, что в молодости у него был роман с евреечкой. От нее он даже научился писать свою фамилию еврейскими буквами. И он вывел: «Шмидт». Ян взял у него

карандаш, поправил:

— Вы написали букву «самах». А надо вот так — «шин».

— Ты-то откуда знаешь? — удивился эсэсовец.

— А я еврей.

Немец не поверил. Пришлось Яну предъявить доказательство. После этого сосед по камере надолго замолчал. И под конец сказал только одну фразу:

— Теперь я знаю, почему мы проиграли войну…

В советском лагере Яна спасала та же изворотливость и уменье рисковать. На участке, где я был писарем, он работал в паре со здоровенным немцем Эмилем Гучем. Оба вкалывали на совесть, норму выполняли процентов на 130 — без моей помощи. Но тянуло Яна на более привычную работу: на вакантную должность зав. складом. Он стал подсылать к начальнику шахты ходоков из вольняшек, чтобы говорили: вот, есть такой Гюбнер, проходчик. Работает в забое, а хорошо знаком со складским хозяйством.

Воробьев вызвал Гюбнера, предложил принять склад. Ян отказался наотрез.

— Зачем мне эта морока? Я работаю, мной, слава богу довольны — и я доволен.

Вернулся в забой, но агитацию не прекратил. Его второй раз вызвали к Воробьеву.

— Давай, Гюбнер, принимай склад!

— Гражданин начальник, я не хочу. Опять будут говорить: вот, еврей лезет на теплое место.

— Так ты же не лезешь, это мы тебя просим.

— Спасибо, гражданин начальник, но мне и в шахте хорошо.

И только на третий раз хитромудрый Ян дал себя уговорить.

Вступление в новую должность он отпраздновал, подарив каждому из своих ходатаев по цинковому бачку, украденному в первый же день со склада.

(У меня, кстати, сохранилась подаренная Яном простыня — в мелких дырочках, но еще крепкая. Из такой ткани, наверно, шьют паруса.)

А освободившись, Гюбнер немедленно стал строить — вместе с Жорой Быстровым — добротный просторный дом. Стройматериалы были примерно того же происхождения, что бачки и простыня.

Это было в 55 году. Освободились они оба в 54-м. Я забежал вперед — а много важных событий происходило еще раньше.

Освободился и уехал из Инты Каплер. Мы знали, что он просил отправить его на Воркуту, к жене Валентине Георгиевне. Ответа не было, и мы гадали, в какой день его повезут к поезду —

в четный или нечетный. (Вагонозак ходил день на юг, день — на север). Каплер поехал на юг.

О том, что было дальше, Алексей Яковлевич рассказал нам уже в Москве.

С вокзала его отвезли на Лубянку. И он совсем приуныл: чувствовал, что Берия не простит ему давнего романа со Светланой: Лаврентий Павлович хотел женить на дочери Сталина своего сына Сергея.

Шли дни, а Каплера на допросы не вызывали. Это еще больше пугало. И вот, наконец, его все-таки повели к следователю. Тот спросил: есть ли у Каплера родственники в Москве, у кого можно остановиться? Потому что сейчас он выйдет на свободу…

Только переступив порог Центральной тюрьмы, Алексей Яковлевич узнал, чему он обязан чудесным избавлением: прочитал в газете на стене об аресте врага народа Берии. Сел на скамеечку в сквере на площади Дзержинского и заплакал…

В Москве он сразу разыскал мою маму. Узнав, что нас оставили на вечном поселении, Каплер стал слать нам письма, уговаривая писать заявления с просьбой о реабилитации.

«Пишите в прокуратуру, в Министерство Речного Флота, в Главкондитер, в домоуправление — куда угодно! — заклинал он. — Пусть это станет у вас привычкой — как чистить зубы, как умываться. Встали и написали. Времена меняются!»

Времена действительно менялись, но не так быстро как хотелось бы. Мы написали заявление и получили отказ, о чем нам со злорадством объявили в комендатуре: нет оснований для пересмотра. Больше мы писать не стали — нам и так неплохо жилось.

Ведь к этому времени у нас был свой дом. Нашел его для нас все тот же Васька Никулин. Не хотел отпускать нас, но мы ему объяснили главный резон: к Юлику собиралась приехать мама. Она не ладила с невесткой, женой старшего сына, и верила, что у нас ей будет лучше.

Васька понял. Договорился с женщиной, которая уезжала из Инты, а других претендентов на дом отпугнул — в самом прямом смысле слова: за столом переговоров воткнул в этот стол большой нож и велел не соваться.

Теперь надо было срочно искать четыре тысячи, хозяйка дома уже купила билет на поезд «Воркута-Москва».

Три тысячи нам одолжил мой бывший начальник Зуев — без звука снял с книжки все, что было. А тысячу дала почти незнакомая женщина Мария, которая приехала к мужу-бандеровцу и остановилась у Леши Брыся. Занять-то мы собирались у него, но не застали дома. И Мария спросила

дрогнувшим голосом: а много надо?.. Развязала узелок и дала нам недостающую тысячу. Видела она нас до того один только раз — на новоселье у Брыся.

Он готовился к приезду жены Гали, отбывшей срок в Норильске, и проблему жилья решил очень остроумно. В подвале, где другие минлаговцы оккупировали чуланчики для дров, Леша приглядел отсек в конце коридора площадью метров десять-двенадцать. Там даже оконце имелось — высоко под потолком.

Со стройки приволокли несколько досок, дверь с дверной рамой, дранку, известь и краску. И за одну ночь, навалившись всей командой, мы перегородили коридор, оштукатурили стенку и побелили. Дверь покрасили в тот же рыжий цвет, как двери всех кладовок. Наутро никто не смог бы догадаться, что это новостройка — вроде, все так всегда и было.

(Штукатурил и красил я в паре с красивой бандеровкой Дорой, которая за работой пела мне украинское танго «Гуцулка Ксеня». Немного погодя я сочинил новые, интинские, слова на эту мелодию и посвятил их Доре. Но она — еще немного погодя — вышла замуж за другого…. Опять отвлекся).

Наше будущее жилище тоже не поражало размерами, но все таки это был дом. Он состоял из комнаты и кухни, каждая по 8 кв. м. Строила его прежняя владелица в спешке: доски пола лежали прямо на мху тундры и прогнили. Трухлявыми были и каркасно-засыпанные стены. Вместо нормальных досок на обшивку пошли дощечки от ящиков. Штукатурка кое где отвалилась, и в трех местах я ударом кулака пробил в стене три сквозные дыры.

Приступили к ремонту. Как уже сказано, опыт строителя у меня был. А кроме того на помощь пришли приятели. Чувство товарищества на Инте было очень развито: без всякой аффектации, без долгих разговоров ребята наваливались и делали. Знали, что завтра и им, возможно, придется звать на подмогу. Такой обычай существовал и в других местах — в русских селах ставили всем миром избу погорельцу. Только там это делалось в давние времена, а на Инте в недавние.

Штукатурить нам помогал Женька-Кирилл Рейтер. Неприятные подробности нашей встречи на Красной Пресне мы не вспоминали. Он освободился раньше нас, успел получить комнату, жениться, родить ребенка и завести поросеночка. Тот жил в комнате и вел себя, как маленькая собачонка: лез на колени, ласкался… Рейтер уговаривал и нас жениться, обзавестись хозяйством, но мы не торопились.

Побелку сделали — очень быстро и профессионально — два немца, родичи Ильзы Маурер. Немцев на Инте Юлик сравнивал с немыслимо живучими и цепкими растениями: брошенные на

мерзлую почву, они тут же пускали корни, приспосабливались к новым условиям. Немцы были неприхотливы, работящи и практичны. Построили себе дома. Узнав, что шахтеры не облагаются налогом на скотину, немедленно завели свиней. У Эмиля Гуча, что работал в забое с Яном Гюбнером, свинарник был не меньше колхозного — только не такой грязный. Мы сходили в гости к старому Цоллеру, Ильзиному дедушке: колбасы, копчености, соленья — дом полная чаша!.. Русские немцы. Великие терпеливцы и великие труженики{74}.

Маляры-немцы ушли, и Юлик собственноручно довершил отделку интерьера: натрафаретил по периметру комнаты, под самым потолком, бордюр из тузов — пикового, бубнового, трефового и червонного. Для этого не пришлось даже вставать на стул: потолок был невысок, да и периметр такой, что узор много раз не повторишь. Но все равно, мы очень гордились новым жилищем.

Правда, первое время мы не сразу находили дорогу домой, особенно, если возвращались из гостей не совсем трезвые. Дело в том, что улица Угольная, где мы теперь жили, улицей в обычном смысле не являлась. Это был кусок тундры, застроенный как попало и кем попало. Построили домик — ему пристраивается номер, допустим, Э5. Где-то вдалеке вырос еще один — тот будет Э6. Наш адрес был Угольная 14, но рядом стояли дом 3, дом 27 и дом 9а — в порядке поступления.

А темнеет в Инте рано. И мы, заплутавшись среди строений, и на свету то похожих друг на друга, в конце концов сдавались. Стучали в какое-нибудь окошко и спрашивали:

— Где евреи живут?

В районе Угольной мы были единственными представителями этой нации. Нам показывали:

— А вон за мостиком, где овраг.

Оказывается, мы уже два раза проходили мимо своего дома…

С Васькиной помощью мы перевезли на Угольную деревянную кровать и зажили жизнью домовладельцев. Хозяйственные обязанности разделили так: Юлик топит печку, я хожу с ведрами за водой — колонка была в полкилометре от дома. Завели котенка — какой же дом без кошки?

Питались мы — и наш котенок — исключительно макаронами с маргарином: экономили, чтобы поскорее отдать долги. Правда, в обеденный перерыв мы ходили в столовую. И с завистью смотрели на нищих, которые гужевались за соседним столиком — обязательно с поллитрой. В Инте их было всего двое — оба инвалиды. Они сидели (с перерывом на обед) у дороги в поселок и пропитыми голосами окликали прохожих:

— Братишка! Поможем, чем можем! — Получив отказ, беззлобно добавляли.

— Ну и вали на хуй.

Сидели они всегда рядышком — казалось бы, в ущерб делу. Так или не так, доходы их были больше наших.

Котенка макаронная диета не радовала, он рос хилым и умственно отсталым. Вскоре он сбежал от нас — и, как оказалось, поспешил: наш друг и одноделец Миша Левин прислал из Москвы недостающую сумму. Мы одним махом рассчитались с кредиторами и перешли на человеческую пищу, особенно популярна была в Инте тресковая печень.

Беглому котенку нашлась замена — кошка редкого ума по имени Голда Мейерсон. А потом появился и щенок Робин. Рыжий в первые недели жизни, он превратился в очень красивую собаку цвета сепии с палевыми и белыми разводами. Мать его, немецкая овчарка Сильва, прославилась тем, что выхватила у пьяного милиционера пистолет и закинула в снег — только весной отыскалась пропажа. Отец Робина пожелал остаться неизвестным. Нас это мало беспокоило: ни одну собаку потом мы не любили так, как эту. Любовь была взаимной.

По звонку будильника Робин просыпался первым и лез к нам желать доброго утра. Влезать на кровать с ногами ему строго запрещалось, и он честно соблюдал договор: задняя лапа оставалась на полу. Точнее, от пола не отрывались только когти, а остальные три лапы радостно барабанили по одеялу. Юлий, в прошлом и будущем заядлый бильярдист, говорил что похожий номер проделывают бильярдные жучки: ложатся на стол, чтоб дотянуться до неудобного шара, а ногу незаметно вытаскивают из валенка — до половины голенища. Валенок же не отрывается от пола.

Поводка и ошейника Робин не признавал, ходил и так за нами, как привязанный. Иногда, для проверки, мы с Юликом расходились в разные стороны, и он метался от одного к другому, не зная кого выбрать. Мы ожидали его решения с ревнивым интересом. Но это злая шутка, мы перестали дразнить его. На Робина мы переложили часть домашних обязанностей — он мыл посуду.

К этому времени изменился наш социальный статус. Юлик перешел из рабочих в служащие — его взяли нормировщиком в ОРС, отдел рабочего снабжения. А я наоборот, из «белых воротничков» перешел в «синие» — стал дежурным на водонапорной башне. Башня была замечательная, ее проектировал заключенный архитектор швед Томвелиус. Но не красота этого сооружения приманила меня — просто так

сложились обстоятельства.

По сокращению штатов из центральной бухгалтерии уволили Фаину Александровну. Надо было срочно трудоустроить ее: член партии, объяснили мне, старый минлаговский кадр и жена офицера. Ее пересадили на мое место в ремцехе.

Старый минлаговский кадр оказался симпатичной молодой женщиной, которая чувствовала себя в этой ситуации очень неловко. Я ее утешал: на башне мне будет не хуже, чем в бухгалтерии! И пока, утешая, сдавал ей дела, у нас начался роман. Она была чудесная баба — добрая, заботливая. И всерьез влюбилась в меня. Я тоже очень любил ее, но боюсь, меньше, чем Фаина заслуживала.

В обеденный перерыв она не таясь бегала ко мне на свидание — вот когда пригодился собственный дом. Они с Робином тоже подружились.

Однажды вышел конфуз. Я шел с собакой к Шварцам. На Полярной улице нам встретились Фаина с мужем офицером. Я сделал вид, что мы не знакомы, а Робин, простая душа, кинулся к ней, положил лапы на плечи и стал лизать лицо… Ничего, обошлось. Она объяснила мужу, что ее все собаки любят. Но ему, по-моему, это было до лампочки. Кроме выпивки его мало что интересовало.

Нашего песа Фаина просто обожала — (Она была карелка и говорила не «пса», а «песа». И еще «стретились»). И очень уважала Юлика, хотя поначалу робела перед ним.

До Фаины я ухаживал за красивой уборщицей общежития Шурой — кстати, тоже Александровой. Даже предлагал жениться, но ангел-хранитель Васька услышав, с кем я завел шашни, это дело поломал: он хорошо знал ей цену и знал ее прежнего любовника, профессионального вора. Сама Шурка не воровала, она была наводчицей… Я бы все равно не отступился — тогда, после лагеря, каждой женщине, которая соглашалась лечь со мной в постель, я немедленно делал предложение. Но Шура испугалась Васькиных угроз…

На водонапорном фронте мои успехи были невелики. Я опять, как тогда на шахте, пережег мотор — на этот раз в насосной. И опять мне сошло с рук. Меня вернули в бухгалтерию — правда, в другой отдел.

А Юлик на новой, но привычной работе преуспевал. Перед ним заискивали теперь работяги совсем другого толка, чем на шахте.

Когда началась массовая разгрузка минлаговских ОЛПов, без дела оказались офицеры-охранники, надзиратели, кумовья.

Ленивые и неграмотные — а пастухам к чему грамота? — они

не способны были справиться с мало-мальски квалифицированной работой. Из оперов на Инте сколотили целую пожарную команду. Пока пожаров не было, они благоденствовали. Но на грех загорелся копер девятой шахты. Приехали пожарники — экс-кумовья, стали метаться по шахте, как петухи с отрубленными головами, не зная, за что браться… Потушили пожар зеки — в т. ч. Борька Печенев{75} и Жора Быстров. А пожарную команду с позором разогнали.

И оперы пошли работать грузчиками и чернорабочими в ОРС, в ОТС, на ТЭЦ.

Юлик своими ушами слышал, как двое грузчиков, отдыхая на тяжелых мешках, обсуждали политическую ситуацию:

— Это два авантюриста мутят, Никитка с Николкой… Ну ничего, скоро им укорот сделают! Будет, как было.

Никитка с Николкой — это Хрущев с Булганиным. А на «укорот» разжалованные чекисты крепко надеялись. В их среде ходили свои параши, полные таких же несбыточных надежд, как зековские мечты об амнистии.

— Скоро опять будут на Инте лагеря, — передавали они друг другу неизвестно кем пущенный слух. — Маленькие, но с большим штатом.

В городской бане двое пьяных грузчиков поскандалили с майором Блиндером, которого из органов погнали еще в 52 году, в разгар антисемитской кампании — и грозный эмгебист пошел заведовать пекарней. Над ним тогда потешалась вся Инта. А теперь недавние коллеги накинулись на него с руганью:

— Ваша нация хитрая! Знаете, когда слинять, куда устроиться!

Действительно, ведь обидно: он сидит в кабинете, а они для него мешки ворочают. Один из грузчиков даже стукнул бывшего майора шайкой…

Зеки освобождались в ту зиму пачками. Вышел из зоны и Самуил Галкин. Его с почетом встретили местные евреи — даже те, кто ни строчки его не читал, как например, Ян Гюбнер. На улице Кирова мы увидели смешную и трогательную процессию: соплеменники вели Галкина, поддерживая под локотки, как цадика. Каждый норовил хотя бы дотронуться до знаменитого поэта. А он шел, растерянно и счастливо улыбаясь.

Продолжить знакомство нам так и не удалось: к сожалению (хотя, почему к сожалению? К счастью!) Галкин на Инте не задержался, уехал в Москву.

Освободился и сразу пришел к нам Жора Быстров: так было уговорено еще в зоне. Тогда мы и не подозревали, что он успел перевести со своего лицевого счета на наши по тысяче рублей

каждому: знал, что у нас там копейки, а он на инженерской должности и зеком зарабатывал прилично. Эти две тысячи очень пригодились нам на первых порах.

А теперь мы взяли под расписку железную кровать со склада ЖКО и Жора поселился у нас в домике. Кровать встала вдоль задней стенки, под углом к нашей. Все оставшееся пространство занял квадратный стол, но это было даже удобно. Для стульев места все равно не хватало, и мы рассаживали гостей на двух кроватях. Человек пятнадцать умещалось: все были тощие.

Жорка сразу подружился с Робином. Он подзывал его каким-то особым, почти неслышным причмокиванием. По его словам, так фронтовые разведчики подманивают сторожевых собак. (Надо полагать, чтобы «произвести бесшумное снятие», т. е., зарезать.)

А Голда Мейерсон признала Жору за главного в доме и к нашей обиде, как собака провожала его до ворот шахты 9 — его, а не нас.

Вместе мы стали готовиться к приезду мам. Моя должна была вот-вот привезти к нам на жительство Минну Соломоновну.

В день приезда мы приготовили вкусную еду — Ян Гюбнер помог. Я сбегал в магазин за тортом, но споткнулся и у самого порога шлепнулся вместе с тортом на грязный снег. Времени бежать за вторым уже не было. Срезали крем, отдали Робину, а остальные поставили на стол.

Со станции вез мам рысак; на козлах — безотказный Васька Никулин. Собственный выезд произвел на них впечатление. А чтобы наше жилье своим убожеством не омрачило радость встречи, мы заранее приняли меры.

Дверь из кухни в комнату завесили драным лагерным одеялом. Через так называемые сени — тамбур из тарных дощечек — провели приезжих в кухню и торжественно объявили:

— Вот наша комната!

— А вы писали, еще кухня есть? — робко поинтересовалась Елена Петровна, моя мама. Мы объяснили, что сени — это и есть наша кухня.

— А почему на стене тряпка?

— Это чтоб не дуло. Там в стене большая щель.

Мама еще раз огляделась и храбро сказала:

— Что ж, очень мило.

Вот тогда мы сорвали со стены тряпку и ввели мам в комнату, где их уже ожидал роскошно сервированный стол. Эффект был именно такой, какого мы добивались: по контрасту с кухней наша комната выглядела вполне сносно.

Пришли гости, и все без исключения понравились нашим матерям. А те — им. Мамы сразу получили приглашение в

несколько солидных интинских домов — к Шварцам, к Гарри с Тамарой, к Тоне Шевчуковой…

Минна Соломоновна с ее астмой и глаукомой по гостям ходить не могла, а Елена Петровна ходила. С испугом смотрела, как «мальчики» вместе с хозяевами хлещут водку стаканами, но помалкивала: в чужой монастырь со своим уставом не совалась.

Погостив неделю, моя мама уехала, а Минна Соломоновна осталась у нас на вечном поселении. Ее это нисколько не угнетало: потом, в Москве, она говорила, что эти полтора года в Инте она считает лучшими годами своей жизни.

С Юликом она вспоминала всякие случаи из его детства:

— Помнишь, Юленька: когда мы пришли в гости к дяде Мише, во двор выбежала маленькая девочка, совсем голенькая. У кого-то в квартире играл патефон и она стала танцевать под музыку. Ей кричали: «Прекрати, Майка! Майка, иди домой!» — а она все кружилась и кружилась. Помнишь?.. Так вот, она теперь стала балериной и говорят, очень не плохой. Ее фамилия Плесецкая.

Юлик читал ей только что сочиненные стихи про наш домик и его обитателей:

У Жоры есть волосики —
Штук сто волосков.
В волосках две просеки,
Идущие от висков.
А у Валерика волос нету,
Зато есть лысина телесного цвета.
Раньше на ней были волосы,
А теперь — лысозащитные полосы…

А Минна Соломоновна слабеньким дребезжащим голосом пела нам всякие песенки — немецкие, еврейские, польские:

Тонте строне Вислы
Компалася врона.
Пан капитан мысле,
Же то его жона.
— Пане капитане,
То не ваша жона,
То ест малый пташек,
Названый врона.

Жорка называл маму Юлика поначалу фрау Минна, потом —

Соломоновна, а под конец — Саламандровна. Прозвище закрепилось, многие думали, что это ее настоящее отчество.

В Инте Минна Соломоновна была самым старым человеком: в основном поселок населяли тридцати-сорокалетние. Оно и понятно: воевавшее и угодившее в лагеря поколение. К мудрой Саламандровне приходили советоваться по самым неожиданным вопросам. Она была тактична, доброжелательна, а памятью обладала просто феноменальной — на имена, на даты, на события. Может быть это объяснялось ее слепотой: Минна Соломоновна различала только контуры предметов, а читать давно уже не могла. Для нее мы купили недорогой радиоприемник «Рекорд».

Именно она — исповедница, советчица и всеобщая заступница — послужила прототипом старика из чухраевского фильма. Отчасти и старухи, но больше — старика.

Посреди зимы, в лютые морозы, отказала печь: кое-как сложенные кирпичи разъехались и завалили дымоход. Топить по-черному мы не решились, но Жора нашел выход — в тот же день притащил с шахты «крокодила». Это обрезок водопроводной трубы, обмотанный асбестом и обвитый нихромовой проволокой. Строители подключают крокодила к сети и сушат сырую штукатурку ускоренным методом.

Мы поставили крокодила под кровать фрау Минны — чтоб не увидел контролер электросети — если вдруг нагрянет. Мощность нелегального обогревателя была, думаю, не меньше пяти киловатт. Но никто нас не накрыл, и две зимы мы прекрасно обходились без печи. Радовались: не надо заботиться о дровах.

В нашем зоопарке появился еще один жилец. Историю его появления я стихами изложил в письме к маме — позавидовал Юлику.

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из дому вышел. Был сильный мороз.
Гляжу, на снегу воробьенок, который
Клюет — извини — лошадиный навоз.
Взъерошенный, жалкий, он прыгал по снегу,
Он весь посинел и от стужи дрожал…
Он сделал, конечно, попытку к побегу,
Но доблестный Робин его задержал.

Дальше описывалось, как мы его отогрели и как он разбойничал в доме, за что получил кличку Степан Разин. Куда он потом девался — убей бог, не помню! Голда его не съела. Скорее всего выпустили на волю по настоянию Минны

Соломоновны…

В начале 55 года в гости к нам приехал Миша Левин. В первый же день показал фотографию молоденькой жены, Наташи. Мы одобрили. Мишка навез кучу подарков — фотоаппарат «Зоркий», пишущую машинку… Машинка — «Москва» — как бы намекала, что мы еще вернемся и будем писать. А фотоаппарату я обязан всеми снимками наших интинских друзей, которые теперь разбросаны по разным альбомам — снимки, а не друзья. Друзья разбросаны по разным странам — Латвия, Украины, Россия, Германия, Америка, Израиль. В Израиль, кстати, уехал и «Зоркий» — мы передали его очень славному парню Абрашке Версису.

А Мишке мы подарили «Лучшего из них», специально к его приезду восстановленного по памяти и переписанного разборчивым почерком; посвятили рассказ «Мишаньке Левину». С этим посвящением, с предисловием доктора физико-математических наук М. Л. Левина и замечательным послесловием Наташи Рязанцевой рассказ напечатан в журнале «Киносценарии». И в Америке тоже его напечатали — в лос-анжелесской «Панораме». (По-русски, конечно: феню переводить — только портить). Вот уж не думали, что доживем до времен, когда такое можно будет опубликовать!.. Юлик и не дожил. Да и Мишка двух месяцев не дожил до выхода номера.

В Инте мы водили Мишаню по всем знакомым, хвастались им. Каждый вечер приходили ребята и к нам — поглядеть на человека, который, сам замаранный, отважился на такую поездку. Это ведь только сейчас кажется, что в хрущевскую оттепель можно было болтать что попало и водиться с кем хочешь. Часть зубов МГБ под растеряло, но и оставшихся хватило бы, чтоб загрызть оступившегося.

Слушая рассказы новых знакомых, Миша по ночам делал заметки в своем блокнотике — чтобы не упустить чего-нибудь, когда будет пересказывать в Москве. После его смерти Наташа дала мне эти листочки: даже в записях для себя он боялся называть имена, обходился инициалами. Мы ведь тоже не решились вынести из зоны составленный в лагере словарик фени. А там была уйма слов и выражений, которые я начисто забыл. Мы вложили его в металлическую трубку, Сашка Переплетчиков ее запаял, и мы закопали этот подарок археологам возле терриконика.

Большое впечатление на Мишаньку произвел Григорий Порфирьевич Кочур, что не удивительно. Кочур был доцент киевского университета, поэт и переводчик. Рассказывали, что в лагерь ему прислали из Киева несколько книг на румынском языке — посылавший не разобрался, думал что книги

французские. И Григорий Порфирьевич научился читать по-румынски: не пропадать же добру!

Ходил в Инте и такой рассказ. На шахте з/к Кочур работал то ли экономистом, то ли нормировщиком. Однажды в контору заявилась комиссия: начальник комбината полковник Халеев и с ним еще трое — все пузатые, все в белых полушубках. Кочур не поднялся со стула, продолжал писать: он знал, что при входе начальства работающий или обедающий заключенный может не вставать. Полковник тоже знал это правило.

Ему нужен был телефон, а аппарат стоял на столе у Кочура. Халеев перегнулся через стол, позвонил. А когда положил трубку, сказал:

— Все-таки ты хам. Видишь же, что неудобно через стол тянуться!

— Я заключенный, я не обязан быть вежливым, — холодно ответил Кочур.

Отойдя, полковник спросил у начальника шахты:

— Это кто ж такой?

— Профессор… Из Киева.

— А как работает?… Хорошо?.. Ну, ладно.

«А мог бы бритвой по глазам…» Нет, это несправедливо. Халеев, я уже говорил, был не худшим из них. Это мне подтвердил старый московский журналист Александр Лабезников — он в качестве зека наблюдал за Халеевым много лет. Разумеется, полковник был такой же хапуга как все: бесплатная мебель, бесплатные ковры, бесплатные костюмы, пошитые лагерными портными. Дом, построенный за счет комбината. В сталинские времена такие Халеевы были удельными князьями. Ни горкомы, ни горсоветы не смели им перечить. Но наш интинский Халеев своей властью не слишком злоупотреблял. А когда времена изменились, сразу отдал свой дом под детский сад.

Этот детский сад Владимир Басов-старший снял в фильме «Случай на шахте восемь». Там это — дом не слишком положительного начальника комбината «Северуголь». И Халеев, встретив в Москве Лазебникова, жаловался:

— Вот ты обо мне написал объективно. А они в каком виде меня выставили?!.

Честно говорю: мы не его имели в виду. Просто — «типичный характер в типичных обстоятельствах».

Кочур, выйдя на свободу, выписал к себе жену, симпатичнейшую Ирину Михайловну. В их квартире нас заинтересовал буфет со стеклянными дверцами: посуды в нем не было, на всех полках стояли книги.

Такой буфет мы поместили в комнату Володе Батанину,

герою только что упомянутого «Случая на шахте восемь», нашего первого фильма. Вообще-то прототипом героя был Шварц с его наивной борьбой за справедливость, с его непрактичностью и добротой: это он пустил к себе жить многодетного шахтера, а сам, в ожидании, когда тому дадут квартиру, переехал к приятелю…

Тут самое время извиниться за то, что я слишком часто упоминаю фильмы, поставленные по сценариям Дунского и Фрида. Но писать каждый сценарий нам помогали воспоминания о лагере. Хотя о самом лагере мы никогда не писали — считали, что привирать можно, рассказывая о чем угодно, но об этом ни врать, ни говорить полуправду не хотелось. А когда стало можно рассказать про лагеря без утайки, мы с Миттой и Коротковым написали «Затерянного в Сибири» — уже после смерти Юлия. Я убежден, что только лагерный опыт сделал нас с ним — если сделал — писателями{76}. Лагерное прошлое — сундучок, из которого, порывшись, мы вытаскивали характеры, ситуации, куски диалога.

Да и снимались два наших фильма в пост-лагерной Инте. Со съемками первого связан забавный эпизод.

Мы приехали вместе со съемочной группой, остановились в гостинице. Но не успели раскрыть чемоданы, как в номер зашел невзрачный мужичонка и робко сказал:

— Тут ошибочка вышла, вас велено поселить в люкс. Разрешите, я поднесу чемоданчики.

Я хотел было ответить, что и сами не хилые, донесем — но мой соавтор, всегда такой вежливый и деликатный, показал знаком: не спорь!

Мужичок взял чемоданы и вышел, а Юлик объяснил:

— Это же Слинин, начальник лагпункта. Ты что, не узнал?

Я действительно не узнал: без голубой фуражки и погон Слинин выглядел совсем по-другому. И был теперь директором гостиницы.

— Пускай несет, — сказал Юлик. Мы об этом внукам будем рассказывать!

Вот я и рассказываю…

После отъезда Миши Левина Юлик стал теребить меня: надо писать! Не ерундовые стишки, а что-нибудь серьезное. Сценарии, например.

Я согласился без большого энтузиазма. В зоне я так представлял себе будущее: уеду на вечное поселение в Красноярский край, женюсь на местной бабенке с коровой (я очень люблю парное молоко), ходить буду в шляпе и костюме с галстуком, но в сапогах — там, наверно, грязюка. Устроюсь бухгалтером — какое уж там писательство! Но вот Красноярский

край отпал, бабенка с коровой тоже… Может быть, попробовать?

Мы начали придумывать сценарий про бабника, который на спор завел роман с очень достойной женщиной, влюбился сам без памяти — а тут она узнала о пари и выгнала его… Шло со скрипом, и мы бросили эту затею. Очень во-время: оказывается, такой сценарий давно написан и поставлен. Это «Большие маневры» с Жераром Филиппом.

Взялись за работу попроще, за экранизацию лесковского «Левши». Писали по вечерам, придя со службы — это вошло потом в привычку. Так и в Москве потом писали — на ночь глядя, когда все домашние угомонятся.

С шахты Жора Быстров приносил нам записки от Смелякова.

«Дорогие люди, — писал Ярослав Васильевич, — пока еще не решаюсь послать вам две главки, написанные без вашего руководящего и вселяющего бодрость взгляда…» (Мы понимали, что шутит — но все равно гордились.) «Ах, как мне нужен ваш совет! На расстоянии это гораздо труднее».

Прошла неделя, и Жора принес нам эти две главки — листки, исписанные мелким, ни на чей не похожим почерком. Обнаглев, мы стали делать на полях критические замечания и отправлять обратно, автору. Он не обижался. Писал: «Очень, очень недостает вас обоих. Причем с течением времени грусть по вас не затихает, а увеличивается».

Узнав от Жорки, что и с «Левшой» у нас не ладится, Смеляков забеспокоился: «Заклинаю вас всем работать, работать и еще раз работать. Вы должны выдать несколько сценариев и пьес — в этом смысл вашего существования. А сомнения всегда есть. Я уже пишу 20 лет и каждый раз сомневаюсь в себе. Говорил с людьми постарше: у них то же…»

Зима шла к концу. Весны в Инте практически не бывает — в мае часто лежит еще снег. А потом вдруг наступает лето. Вот когда мы оценили поговорку: живем как в Париже, только дома пониже и асфальт пожиже. В интинском «асфальте» ноги вязли. Но главная беда пришла с паводком. Нас предупреждали: домик стоит в низине, когда стает снег, реки Инта и Угольная разольются — смотрите, как бы не затопило! Затопить не затопило, но воды в комнату и кухню натекло по щиколотку.

Саламандровну мы сажали на стул, стул ставили на кровать и, уходя на работу, строго наказывали: не слезать! В обеденный перерыв кто-нибудь из троих — Жора, Юлик или я — обязательно прибегал проверить, не утонула ли.

В ту весну вода держалась недолго и ушла, унося с собой мусор и нечистоты. Дело в том, что уборной у нас не было — по большой нужде бегали на край овражка. А роль ассенизатора

выполняли вешние воды.

Построить уборную нам все-таки пришлось: к Смелякову на свидание собиралась приехать Дуся. Заранее известно было, что остановится она у нас. Вот ради нее мы и затеяли строительство. Строили впопыхах, даже доски не обрезали — так из стандартных шестиметровых и соорудили будочку. Ребята смеялись: вы б ее хоть двухэтажной сделали!..

Перед Дусиным приездом мы побывали у Ярослава Васильевича в бойлерной. Пропуск на шахту нам устроил скульптор Коля Саулов: он как раз заканчивал своего «Флагмана коммунизма» и наврал начальству, что Дунский и Фрид большие знатоки изобразительного искусства, а ему нужна консультация.

Мы прошли к Смелякову. Это была первая встреча после нашего отъезда с ОЛПа, и Ярослав Васильевич хотел отпраздновать ее по всем правилам. Для этого кто-то из вольных принес ему поллитра водки.

Трясущимися от нетерпения ручками он достал из заначки бутылку — и выронил на цементный пол. Не Коля Саулов тут нужен был, а Роден — чтобы запечатлеть в мраморе отчаянье Ярослава. Эта трагическая фигура до сих пор стоит у меня перед глазами.

Мы утешали его: режим помягчел, на выходные зеков отпускают за зону — выпьем у нас, на Угольной 14…

Приехала Дуся — синеглазая, веселая, ласковая. Ей разрешили личное свидание с мужем, и они провели вместе три дня. Потом она уехала. Ярослав был счастлив. Весело рассказывал:

— Дуся сильно полевела. В перерыве между половыми актами вдруг сказала: Яра, а у Молотова очень злое лицо…

Теперь он часто бывал у нас в домике. Уважительно и нежно разговаривал с Минной Соломоновной, читал новые куски из «Строгой любви».

Правда, первый визит чуть было не закончился крупными неприятностями. Мы — как обещали — подготовили угощение и выпивку, две бутылки красного вина. Смеляков огорчился, сказал, что красного он не пьет. Сбегали за белым, то есть, за водкой. Слушали стихи, выпивали. Когда водка кончилась, в ход пошло и красное: оказалось, в исключительных случаях пьет. Всех троих разморило и мы задремали.

Проснулись, поглядели на часы — и с ужасом увидели, что уже без четверти восемь. А ровно в восемь Ярослав должен был явиться на вахту, иначе он считался бы в побеге. И мы, поддерживая его, пьяненького, с обеих сторон, помчались к третьему ОЛПу. Поспели буквально в последнюю минуту.

Эльдар Рязанов где-то писал, что наш рассказ об этом происшествии подсказал им с Брагинским трагикомическую сцену в «Вокзале для двоих».

А история Смелякова и Дуси кончилась невесело.

Его освободили в том же году. На поселении не оставили, разрешили ехать в Москву. Чтоб он явился к Дусе не в лагерном бушлате (хоть и без «печати, поставленной чекистом на спине»), а в мало-мальски приличном виде, мы подарили ему мое кожаное пальтецо. Оно, собственно, было не мое, а отцовское и по размеру подходило Ярославу больше чем мне. Старенькое — но его взялся подновить предприимчивый старик по фамилии Бруссер. Выйдя из зоны, он наладил на Инте производство фруктовой воды — которую сразу окрестили «бруссер-вассер». И еще он прирабатывал окраской кожаных вещей.

Рыжая краска с перекрашенного пальто осыпалась, как осенняя листва — но все-таки оно было лучше, чем бушлат. (Много лет спустя Ярослав Васильевич признался нам, что до Москвы пальто не доехало: еще в поезде он сменял его на литр водки.)

Прямо с вокзала Ярослав отправился домой. Там он застал незнакомого пожилого господина и притихшую, смущенную Дусю.

— Ярослав Васильевич, — сказал незнакомец. — Поговорим, как мужчина с мужчиной.

Смеляков говорить не захотел, взял свой чемоданчик и ушел — навсегда.

Он еще в лагере тревожился, догадывался что дома что-то не так. То от Дуси приходили нежные письма, то она надолго замолкала. Потом вдруг приходила очень хорошая посылка — и снова молчание. Мы успокаивали его, объясняя эти перебои обычной российской безалаберностью.

Дусин приезд вроде бы подтвердил нашу правоту — а между тем, основания для тревоги были. У Дуси давно уже возникли отношения с Бондаревским — человеком состоятельным и широким. Он был известным всей играющей публике наездником. (А не жокеем, как его назвал Евтушенко.) Евгений Александрович написал по поводу этой Дусиной «измены» сердитые стихи — такие же несправедливые, как стихотворение самого Смелякова о Натали Гончаровой. Дусю можно понять.

У нее была дочь-старшеклассница, почти невеста. Как прожит вдвоем на жалкую зарплату экскурсовода ВДНХ?.. А у Ярослава двадцать пять лет срока… Конечно, когда ситуация в стране изменилась — тут нужно было повести себя умнее, как-то объясниться, хотя бы намекнуть. На это не хватило духу.

Наверняка Дуся любила Ярослава, ей очень хотелось, чтоб он вернулся. Мы с Юликом — уже в Москве — попробовали было навести мосты. Куда там! Смеляков и слушать не стал. Лицо у него сделалось несчастное и злое.

Прошло время, и Ярослав Васильевич женился на Татьяне Стрешневой, поэтессе и переводчице.

Она была в доме творчества «Переделкино» в тот день, когда туда приехал объясниться со Смеляковым приятель, заложивший его. Просил забыть старое, не сердиться. Намекнул: если будешь с нами — все издательства для тебя открыты! Ярослав не стал выяснять, что значит это «с нами», а дал стукачу по морде. Тот от неожиданности упал и пополз к своей машине на четвереньках, а Смеляков подгонял его пинками. Это видела Татьяна Валерьевна, случайно вышедшая в коридор. Сцена произвела на нее такое впечатление, что вскоре после этого она оставила своего вполне благополучного мужа и сына Лешу ушла к Смелякову. Так она сама рассказывала.

После смерти Ярослава Васильевича мы отдали Тане его письма к нам и тетрадку с черновыми набросками «Строгой любви». Иногда я жалею об этом — но если подумать: умер Смеляков, умерла Татьяна, нет уже Юлика. Скоро и меня не будет — а кому, кроме нас, дорога эта потрепанная тетрадка?

XXI. Брачная пора

Ярослав Васильевич писал нам из зоны: «Реформы сыпятся как из рога. Но главного пока нет, хотя все движется, как будто, в том самом вожделенном направлении». Да, до главного — даже до отмены вечного поселения — было далеко. Минлаг упирался, цепляясь за остатки своего «особого режима»: шахтерскому начальству не велено было брать на работу вечных поселенцев, — хотелось отделить вчерашних зеков от сегодняшних. Но уголь-то добывать надо было! Поупирались и отменили дурацкий запрет. Так что многие из наших, выйдя из лагеря, через день — другой возвращались на свое рабочее место.

Не коснулось это послабление одного только Лена Уинкота.

В первый день свободы он пришел к нам на Угольную 14 и попросился на ночлег. Перенаселенность нашей хибары его не смутила: моряк может выспаться на галстуке, объяснил Лен. Лишнего галстука у нас не нашлось и Уинкот переночевал на половичке, рядом с Робином. Назавтра он пошел устраиваться на работу — но не тут то было. Вроде бы, и должность, на которую он претендовал, была не особенно завидная: последний год Лен работал подземным ассенизатором, вывозил из шахты какашки. Оказалось — нельзя. Других пускали в шахту, а англичанину отказали.

Он отправился качать права к оперуполномоченному.

— Это расовая дискриминация! — шумел Уинкот. Опер тоже повысил голос:

— В Советском Союзе нет расовой дискриминации.

Лен усмехнулся:

— Молодой человек, вы еще сосали титю своей мамы, когда английский королевский суд судил меня за то, что я говорил: в Советском Союзе нет расовой дискриминации!

Не найдя правды в Инте, Лен попробовал поискать ее в другом месте. Обидно было: эсэсовца Эрика Плезанса отправили в Англию, а Уинкота, пострадавшего за симпатию к Стране Советов, держат на Крайнем Севере этой самой страны. И он написал письмо Хрущеву — а перед тем как отправить, прочитал нам: «Уважаемый Никита Сергеевич, когда вы будете ехать в Англию, Вас поведут в парламент. Там на стене висит интересный документ: призвание к военным морякам Королевского Флота, чтобы делать забастовку. Может быть, Вам интересно тоже, что автор этого призвания сейчас в Инте и ждет, что Вы, Никита Сергеевич, его освободите».

Текст мы одобрили и даже не стали править — только

посоветовали вместо «призвание» написать «воззвание».

Самое смешное, что письмо сработало: Уинкот вернулся в Москву раньше нас. Восстановился в Союзе Писателей, получил квартиру и опять женился на русской женщине — библиотекарше Елене. Он заказал визитную карточку: «Лен и Лена Уинкот». А мы их звали — заглаза — Уинкот и Уинкошка. Мы любили слушать его разговоры с сынишкой Лены:

— Вова, иди в мэгэзин и купи полкело скомбра.

— Чего?

— Я русским языком сказал: купи полкело скомбра.

— Полкило чего, Леонард Джонович?

— Скомбра! Скомбра! Это рыбы такой, глупый мальчик.

— Может, скумбрия?

— Да. Скомбра.

Я подозреваю, что Лен нарочно не избавлялся от акцента и даже аггравировал его: знал, что к иностранцам у нас относятся лучше, чем к своим. (Эту странную смесь подозрительности и угодливости отмечали многие из писавших про Россию — даже про допетровскую.)

В Москве Лен Уинкот написал хорошую книгу о своей английской молодости, ездил вместе с Леной на презентацию и в Лондоне охотно давал интервью:

— Мой корабль — коммунизм. Были бури, была сильная качка, но я всегда твердо стоял на палубе.

Тут он слегка привирал. До возвращения в Москву о коммунизме Лен отзывался не лучше остальных интинцев, чем очень сердил Минну Соломоновну.

Вот кто действительно твердо стоял на палубе давшего крен корабля, так это Саламандровна — социалистка-бундовка с дореволюционным стажем.

Нашу с Юликом посадку она воспринимала философски:

— Деточки, вам выпало быть навозом на полях истории.

— Не хочу я быть навозом! — кричал я. — Даже на полях истории!

— Что поделать, Валерик. Ты не хочешь, но так получилось.

Уинкоту фрау Минна не могла простить измену идеалам. Она без интереса слушала его, как нам казалось, вполне здравые рассуждения. А был он разговорчив, даже болтлив и совсем не похож на сдержанных английских джентльменов из книг нашего детства.

— В Англии никогда не будет революции, — втолковывал он Саламандровне. — Никогда!

И объяснял, почему: вот на митинге в Гайд-Парке произносит пламенную речь анархист — ругает буржуазию, обличает

империалистов, поносит монархию. Его слушают человек тридцать. В сторонке стоит полисмен, тоже слушает, но не вмешивается. И только когда оратор в конце своей речи воскликнет:

— А теперь, братья и сестры, возьмем бомбу и бросим ее в Бекингемский дворец! — полисмен поднимет руку и скажет:

— Леди и джентльмены! Тех, кто возьмет бомбу и пойдет к Бекингемскому дворцу, прошу сделать шаг вправо. А кто не пойдет — шаг влево.

Все тридцать человек делают шаг влево и тихо расходятся.

Но Минна Соломоновна таким шуткам не смеялась, она свято верила в неизбежность мировой революции. Мы с ней не спорили, за нас спорил — сменяя Уинкота — отец Сашки Переплетчикова, приехавший навестить непутевого сына. Его аргументы были не идейного, а чисто экономического свойства:

— Нет, вы мне скажите: сколько булок я мог купить при царе на три копейки?

— Причем тут булки! — сердилась Саламандровна. — Еврей-монархист… При царе вы бы и нос не высунули за черту оседлости!

— Причем тут мой нос? Тем более, что я был ремесленник и мог жить, где угодно…

Они препирались часами, пока старый Переплетчиков не уехал домой, в Киев. Он был симпатичный дядька, веселый. Рассказывал, как он ехал на гражданскую войну вместе с «батальоном одесских алеш» — был такой. Туда знаменитый Мишка Япончик, прототип Бени Крика, собрал все одесское жулье: они же были «социально близкие». По словам Сашкиного отца, батальон разбежался, не доехав до фронта. Но перед этим один из «алеш» успел обворовать старого Переплетчикова (который тогда был довольно молодым Переплетчиковым). Рассказчик отдал должное артистизму, с каким это было сделано. А получилось так: они ехали в теплушке — жулики играли в карты, ссорились, мирились, визгливо матерясь. А Евсей Абрамович тихо сидел в уголочке и время от времени трогал карман гимнастерки, заколотый для верности английской булавкой: там были все его деньги.

Один из игроков бросил карты, огляделся и к ужасу Переплетчикова, направился к нему.

— Мужик! — сказал он (с мягким одесским «жь» не «мужык», а «мужьжик»). — Дай мне в долг. Отыграюсь — верну, мамой клянусь!

— У меня нету, — пролепетал Евсей. — Чтоб я так жил!

Картежник не стал настаивать. Сказал презрительно:

— Ша! Воно вже злякалось за свои гроши! — Растопыренной пятерней ткнул скупердяя в грудь и пошел к своим.

С некоторым опозданием Переплетчиков схватился за карман. Булавка была на месте — а деньги исчезли.

Минна Соломоновна развеселилась, спела нам подходящую к случаю старую песенку:

Алеша, ша! Держи полтоном ниже,
Брось арапа заправлять.
Не подсаживайся ближе —
Брось Одессу вспоминать!..

Не успели мы проводить Сашкиного батю, как приехал отец к Олави Окконену, а к Свету — мать Нина Михайловна. В честь ее приезда Михайловы устроили настоящий китайский обед: мама привезла какие-то особые грибы, прозрачную лапшу — кажется, из крахмала — и что-то еще. Светик даже пытался учить нас управляться с палочками для еды, но у нас не получалось. А Свет орудовал ими, как фокусник: рассыплет по столу спички и мигом соберет их все в коробок.

От Нины Михайловны мы услышали много интересного. Узнали, в частности, что Свет не соврал, когда уверял нас, будто в Харбине у них существовало Женское Общество Помощи Армии — сокращенно ЖОПА.

Еще один торжественный обед Свет устроил по случаю своего бракосочетания. Невеста — Женечка Семенова — под белой фатой выглядела так молодо, словно и не отсидела в лагерях весь положенный срок: Женя была из угнанных в Германию девушек. Красивая, дружелюбная, простодушная, она нам с Юликом сразу понравилась. Когда пришла в гости, стала разглядывать фотографии в семейном альбоме — он и сейчас у меня, тоненький коричневый. Кого узнавала, кого нет. А была там и фотография Робина в очках: снялся для документа — справки спецпоселенца. Увидев интеллигентную физиономию в очках, Женя радостно воскликнула:

— Этого я знаю, это Юлик.

В Инте она родила Свету сына, но счастливой жизни им отпущено было немного: не дожив до сорока лет, Свет умер от рака — там же, в Инте…

Свадьбы пошли косяком — настала брачная пора. Сыграл свадьбу Андрей Хоменко, земляк и приятель Леши Брыся. Студент-недоучка (не медик, а химик, кажется), в лагере он выдал себя за врача и до конца срока успешно пользовал больных. На воле пришлось переквалифицироваться: тут требовался диплом.

Впрочем, бывало всякое. Один из интинских дантистов погорел на том, что инспектор отдела кадров оказался грузином. Инспектор обнаружил, что в двуязычном дипломе, выданном в Тбилиси, на грузинской странице стоит грузинская фамилия, а на русской — совсем другая, русская. Ее владельца пришлось уволить… А свадьба у Хименко была шикарная, с украинскими песнями, с веточкой хвои на лацкане у каждого из гостей.

Женился и сам Брысь: к нему приехала его Галя и поселилась в той, построенной за одну ночь, полуподземной квартире. (Потом к молодым приехали родители — к Леше очень славная мама, а к Гале — отец и малосимпатичная мать. Как и где они все разместились, уже не помню. Миграция: кто-то уезжал, кто-то приезжал.)

В подвальную каморку к Володе Королеву приехала его довоенная невеста Раечка. Всю войну она провела на фронте, была военфельдшером. Володя очень гордился ее боевым прошлым: сам-то он, терской казак, вместо армии угодил в лагерь. Там, правда, времени не терял — даже английский язык выучил, самоучкой. А на поселении своими руками построил хороший дом и переселился в него из подвала со своей обожаемой Раечкой. Когда после реабилитации они уехали в Кострому, Володя пошел работать кочегаром в котельную, чтобы быть поближе к Рае и навещать ее по нескольку раз в день: здоровье у военфельдшера оказалось совсем никудышное. «Врачу, исцелися сам!..» Сейчас они на юге, в селе Левокумском — Раиной родине. Ее разбил паралич, и Володя, сам не больно-то здоровый, ухаживает за ней как за ребенком. Я уверен: за всю жизнь он не посмотрел на другую женщину. Нет, смотреть смотрел, но и только. Вот перед кем снять шапку!.. Прошлой зимой Володя Королев попросил меня прислать самоучитель французского языка и словарь. Не хватает ему других забот… Я прислал.

Женился — даже дважды — Олави Окконен. Сперва на красивенькой эстонке Айли — но их скоро развели ее земляки: эстонцы не любили, чтоб ихние женщины выходили за чужих. Хотя, казалось бы, финн не такой уж и чужой. Со следующей женой Олави повезло больше: Лида оставалась с ним до самой его смерти, в Бресте. А тогда, в Инте, они купили дом и обустроили его, как нам Россию не обустроить — даже с помощью Солженицина. Дом был полная чаша: спальня, на американский манер, наверху, а первый этаж — большая гостинная, разгороженная прозрачной стеной из аквариумов с экзотическими рыбками. Секрет благосостояния этой нетипичной семьи прост: оба работяги, оба непьющие.

Женился и Васька Никулин. Почему-то ему важным казалось, чтоб невеста была девственницей. На Инте он такой не нашел и привез из родной деревни землячку Марию. Так она у нас называлась — не Маша, не Маня, не Маруся, а Мария. Унылая была бабенка, скучная — совсем не пара Ваське. Но тем не менее дочку ему родила.

Васькиному примеру последовал Ян Гюбнер: выписал себе невесту из Конотопа. Рая приехала с мамой Крейной Яковлевной. Вскоре у Яна родился сын Валерка. Этот и сейчас в Инте — ехать в Израиль, к богатой тетке, не пожелал. Объяснил мне: дядь Валер, там выпить не с кем. Младший Гюбнер отслужил в армии, и папа, в некотором роде бывший эсэсовец, получил от командования благодарность за то, что воспитал для Советской Армии сына отличника боевой и политической подготовки. Впрочем, на последних снимках Яна у него у самого красуются на груди боевые ордена — советские. Дивны дела твои, Господи!.. А Валерка — славный парень. И что приятно — дружит со своей единокровной сестрой Гретой. (Могу поделиться знаниями, почерпнутыми из Брокгауза и Ефрона: единоутробные сестры и братья — это рожденные одной матерью. Единокровные — от одного отца, но от разных матерей. У англичан проще: half brother, half sister… А сводные — это от разных родителей, как в том анекдоте: «Вася! Твои дети и мои дети колотят наших детей!»)

Жорка Быстров тоже женился. Но с ним, как всегда, получилось непросто. Выйдя на свободу, он снова стал ухаживать за Тоней Хевчуковой. А ей теперь опасаться было нечего, и она согласилась выйти за Жору. Обещала: вернусь из отпуска и мы поженимся.

В отпуск, на родину, она поехала вместе с мужем Володькой. Там и объявила, что уходит от него к Быстрову. Володьку это не устраивало. Вместе с братьями — первыми хулиганами на селе — он каждый вечер приходил к Тониной хате, бил стекла, грозился, что убьет, если она не останется с ним. И Тоня дрогнула. Думаю, что краешком мозга, она всегда чувствовала, что Жорка ей не пара: слишком уж мудреный, слишком не свой. И вернувшись на Инту, она сказала ему, что передумала.

Несколько недель он ходил чернее тучи. Но писем кровью не писал и конуру на полозьях не строил — тем более, что было лето. В конце концов успокоился, стал оглядывать окрестности в поисках утешения.

Попробовал ухаживать за первой красавицей Инты Лариссой Донати. Но она на него не реагировала, а вскоре и вовсе вышла замуж за врача Амирана Морчеладзе — тоже экс-зека, тоже очень

красивого. А Жора женился — с горя, как считали многие — на вольной фельдшерице Вале. Она ушла от мужа и родила Жорке дочь. Он огорчался, что не сына. Года через два, приехав в Москву, он постоял над кроваткой моего двухмесячного Лешки и мрачно сказал:

— Дорого бы я дал за эту деталь.

Впрочем, если не сын, то пасынок у него был — Валин мальчик от первого брака. С ним Георгий Илларионович сначала очень ладил, потом не очень, а после и совсем рассорился. Сейчас они с Валентиной в Латвии, а дети в России, Питере.

Ларисса же (так, правильно: через два «с») под конец жизни, мне кажется, жалела, что отвергла в свое время Жоркины ухаживания. С Амираном она давно разошлась и одиноко доживала свой век в Симферополе. Там она руководила драмкружком (до ареста была актрисой, и неплохой). Виталий Павлов, учившийся у нас на Сценарных курсах, по Симферополю знал и Лариссу, и ее прозвище — «Леопарда Львовна». На вид она была надменная и неприступная гордячка, а на поверку — очень добрый, сердечный человек, верный друг.

В Инте у нее был платонический поклонник, Лев Юлианович Козинцев — «первый в ОРСе элегант», как написано было в орсовской стенгазете. Невысокий, сухонький, он носил галстук-бабочку, курил трубку и при ходьбе опирался на красивую трость. Давным-давно отсидев срок, он добровольно остался на Инте — а ведь была у него родня в местах поуютнее: в Москве — сестра Люба, жена Ильи Эренбурга, в Ленинграде — кузен Гриша, режиссер Григорий Козинцев. Был он немолод, успел до революции побыть в земгусарах (что это за гусары, никто мне толком не объяснил). В Инте Левушка Козинцев и умер — но до самой смерти гусарствовал, помогал Лариссе деньгами из своей крохотной пенсии.

Вернемся к интинским свадьбам. В бухгалтерии работал со мной тихий лысоватый украинец Павел Моисеевич Бойко. В пору борьбы с космополитами отчество доставляло ему неприятности: так, опер в лагере был уверен, что Бойко еврей и не давал ему ходу. (Александра Исаевича тоже ведь пытались объявить Солженицером). Павел Моисеевич женился на такой же, как он, вечной поселенке, которая еще в лагере родила от него ребенка. Теперь надо было этого ребенка забрать из детдома.

Адрес они знали — Сыктывкар. Списались с детдомовским начальством, те ответили: пожалуйста. Раз сами не можете приехать, мальчика привезет наш работник. Но дорогу придется оплатить.

Родители с радостью согласились, и воспитатель привез им

пятилетнего сынишку — худенького, бледного. А главное — очень неразговорчивого. Папа с мамой пытались его разговорить — бесполезно, молчал как рыбка. Тогда Павел Моисеевич строго сказал:

— Сын, если ты не будешь с нами разговаривать, дядя увезет тебя обратно.

Тут малый завопил так, что все испугались. Полчаса рыдал, пока не понял: это шутка, никто его не отдаст в детдом.

Со временем мальчонка оттаял, стал разговаривать. Про детдом рассказывал интересные вещи.

— Ты получил подарок, который мы послали ко дню рождения?

— Не. Тетя Зина сказала, что у меня нет дня рождения.

Про ту же тетю пацан сообщил и такое:

— У нас был мальчик немец. Тетя Зина сказала что он фашист, он наших солдат в прорубь кидал. Мы его били.

Другого зачатого в лагере ребенка привезла к Жене Высоцкому его каргопольская любовь Оксана. Была она казачка и после лагеря вернулась в родные края. Там и растила дочь Наташку, оттуда и слала Жене письма и посылки — сначала в Каргопольлаг, потом в Минлаг.

Еще в зоне Женя показывал нам фотографию Оксаны: умное грустное лицо, надо лбом — венчиком уложенная коса. А рядом — хорошенькая большеглазая малышка… Как только Женя освободился, выписал их к себе.

Оксана рассказывала: отправлять Жене посылки она ходила вместе с трехлетней Наташкой — оставить было не с кем. И однажды, протянув ручонки к портрету Усатого, девочка заорала на всю почту:

— Дед, отдай папу!!!

Мать схватила ее в охапку и выскочила на улицу. Ей казалось: сейчас догонят, арестуют — что будет с маленькой?.. Обошлось.

Третьей любовью Оксаны, после мужа и дочери, были книги. Она и сама писала что-то, но стеснялась показать. К Жениным друзьям она относилась замечательно, была приветлива и гостеприимна. Ну, и хозяйка была прекрасная.

Наташка оказалась очень симпатичным ребенком. Рисовала, сочиняла стихи. Мы с Юликом тоже написали для нее стишок, что-то вроде:

Юлик и Валерик оба старички,
С длинными носами, на носах — очки.
Кто же их не знает, канцелярских крыс?

Юлик лысоватый, а Валерик лыс.

Прошло несколько лет и идиллия кончилась — идиллии, как правило, плохо кончаются. Оксана, любившая Женю преданно и страстно, мучила его ревностью — не сказать, что необоснованной. И в конце концов они расстались. А из Наташки — ей сейчас за сорок — получилось не совсем то, чего ожидали… Раз уж я забежал далеко вперед, расскажу, что и судьба самого Жени сложилась не так, как он планировал — и совсем не так, как заслуживал. Я уже писал — ему бы, с его талантами, министром быть! Евгений Иванович знал себе цену. Для пользы дела вступил в партию, женился на «представительнице коренной национальности» (в Инте говорили — комячке), но своим для местной советской элиты все равно не стал, как не становятся своими эмигранты. Высот не достиг. Переехал с новой женой в Сыктывкар. Нас с ней не знакомил — то ли стеснялся ее, то ли боялся. Там в Сыктывкаре и умер — начальником какой-то незначительной службы незначительного министерства.

Но пока он оставался в Инте, казалось: впереди лестница в небо!

В 64-м году мы приехали в Инту снимать «Жили-были старик со старухой». Женя Высоцкий в то время работал заместителем предгорисполкома. Но председатель, коми, был фигурой чисто декоративной — вроде деревянной богини на носу корабля. А на капитанском мостике стоял Женя, он был фактически мэром города. Какую жизнь он устроил съемочной группе — не пером описать! Задержал заселение только что построенного дома и один подъезд — все четыре этажа — отдал нам. Гриша Чухрай жил в трехкомнатной квартире, все звезды — в двухкомнатных. Понадобились режиссеру олени — Женя слетал на вертолете к оленеводам, уговорил изменить маршрут, и многотысячное стадо пригнали к окраине города. Чем мы могли отблагодарить? Сняли на сэкономленной пленке документальный фильм об Инте, подарили городским властям. Но слегка облажались: в финальных кадрах была женщина, только что родившая ребеночка, и голос за кадром торжественно обещал, что этот мальчик увидит небывалый расцвет Инты. А мальчик оказался девочкой.

Воспоминание об этом нашем конфузе относится к шестьдесят четвертому году. А за восемь лет до того, в пятьдесят шестом, о работе в кино мы могли только мечтать. И мечтали. А работали на прежних должностях: Юлий нормировщиком ОРСа, я бухгалтером ОТС — отдела технического снабжения. По ночам

мы писали «Левшу», а когда дописали, стали придумывать следующий сценарий.

Утром не хотелось вставать. Я валялся до последней минуты, потом вскакивал, натягивал комбинезон и рысью мчался на службу. Пробегая мимо базарчика, покупал у теток два яйца и глотал их сырыми у себя за столом — под аккомпанемент звонка, призывавшего приступить к работе. «Действовал на грани фола», но начальство относилось к этому снисходительно. Начальством была Вера Гавриловна Рысенко, миловидная женщина и очень неординарный человек. Муж ее, мрачный сутулый майор (или подполковник?), Рысь-самец, как мы его называли между собой, был начальником оперчекотдела, по-моему. Брат, долговязый обалдуй — надзирателем на нашем ОЛПе. Эти двое на вчерашних зеков и не смотрели. А Вера Гавриловна не делила население Инты на чистых и нечистых, хотя состояла в партии и даже была парторгом. Нам с Юликом она явно симпатизировала — ему, пожалуй, больше, чем мне. И когда после XX-го съезда на партсобраниях читали знаменитый доклад Хрущева, она под косыми взглядами своих партай-геноссен провела нас обоих в зал, усадила рядом с собой и мы собственными ушами услышали, каким злодеем оказался покойный Иосиф Виссарионович.

XXII. Бросок на Юг

Вскоре после XX-го съезда нам объявили — опять-таки под расписку, — что побег с вечного поселения теперь котируется не в двенадцать лет каторги, а в три года тюремного заключения. Подешевело.

Гулаг без боя не сдавал позиции, но прежнего страха перед ним уже не было. И мы с Юликом решились на побег. Точней сказать, не убежать мы решили, а как бы, сбегать на недельку в Москву и вернуться.

Как я уже писал, два раза в месяц мы обязаны были являться к спецкоменданту на отметку. Отметившись в начале месяца, мы взяли отпуск и попросили Шварца купить нам билеты в мягкий вагон. В мягкий — не из любви к комфорту, а из соображений безопасности. На северном отрезке дороги, примерно, до Котласа, поезда усиленно проверялись — нет ли беглецов. Наш расчет был на то, что мягкий вагон особенно дотошно проверять не станут: в мягких ездила солидная публика. И действительно, кроме нас в купе оказался какой-то важный железнодорожный чин и пьяненький полковник внутренних войск. Полковник всю дорогу спал на верхней полке, путеец перебирал служебные бумаги, а мы с Юликом читали, нацепив полосатые пижамы, купленные специально для этой поездки: в таких пижамах путешествовали в те годы все советские чиновники. Шляпы на столике и очки на носах тоже работали на образ.

За время пути к нам в купе трижды заглядывали проверяющие. Но увидев полковничью шинель и наши пижамы, солдаты, не входя, задвигали дверь — и мы переводили дух.

Елену Петровну о нашем приезде оповестил полушифрованной телеграммой Жора Быстров. Вместе с мамой встречать нас пришли к поезду «Воркута-Москва» Мишанька Левин с женой Наташей, а также Витечка Шейнберг, его жена Белка и Монька Коган — наши школьные друзья. Мишку мы видели год назад, с Наташей познакомились только сейчас, на вокзале, а с остальными не виделись двенадцать лет. Ой, какими старыми они нам показались! Даже ростом стали ниже. (К Белке это не относится: она была по-прежнему хороша. Недаром Смеляков, который лечился у нее в литфондовской поликлинике, всегда передавал через нас приветы «красивой врачихе»). Теперь, в мои семьдесят три года, мне кажется: что такое двенадцать лет? Короткий отрезок жизни. Но тогда так не казалось…

Поехали всей компанией в Столешников, к маме — а ночевать нас увезли в Абрамцево, на дачу академика Леонтовича,

Наташиного отца. Но и там мы не рискнули остаться надолго. Каждую ночь спали в новом месте, почти как Сталин. Мания преследования? Да нет, просто — береженого бог бережет. Есть и другая пословица: пуганая ворона куста боится. Мы и улицу боялись переходить в неположенном месте: а вдруг мент спросит паспорт?

На второй день мы поехали к Алексею Яковлевичу Каплеру. Как всегда безумно занятой — главным образом чужими делами — он возил нас с собой по городу. В его машине мы и разговаривали. Это было рискованное занятие: он с одесским темпераментом жестикулировал, то и дело отрывая обе руки от руля и оборачиваясь к нам. Но Каплер был старым автомобилистом, еще до войны у него имелась «эмка» — не черная, как у всех, а синяя.

Его повторный дебют в кино сложился удачно: уже шли съемки комедии «За витриной универмага». В ней снимались совсем молоденькие Светлана Дружинина и Микаэла Дроздовская. С Микой мы познакомились в каплеровском автомобиле. (Обе эти актрисы играли потом и в наших фильмах — а с Микаэлой мы приятельствовали до самой ее гибели ужасной и нелепой: в экспедиции заснула, наглотавшись снотворного и не проснулась, когда от электрокамина загорелся край одеяла. Или проснулась слишком поздно…)

Когда снималась «За витриной универмага», Алексей Яковлевич был женат на Валентине Токарской, но дело шло к разрыву: в него влюбилась поэтесса Юлия Друнина, которую он обучал кинодраматургии на сценарной студии. Он тоже влюбился — и как! Развелся с Валентиной Георгиевной и женился на Юле. Они жили так счастливо, что это вызывало сильнейшее раздражение у окружающих. Жены обвиняли мужей в невнимании и равнодушии, тыча пальцем в Каплера: вот, Юля возвращается из заграничной командировки, так Люся поехал в Брест, чтобы встретить ее на границе с цветами! Не то, что некоторые… После каждой «Кинопанорамы» Люся сразу звонит жене, интересуется ее мнением — не то, что некоторые! (Люся… Почему-то у всех мастеров того поколения уменьшительные имена были женские: Каплер — Люся, Арнштам — Леля, Блейман — Мика, а Ромм — Мура).

«Кинопанораму» Каплер вел замечательно, ее тогда давали в прямом эфире. Году в шестьдесят третьем мы с Юлием были гостями Каплера. Он спросил: а не хотели бы вы сами поставить фильм по своему сценарию? Сейчас многие так делают…

В ответ я рассказал ему историю про мою пятилетнюю дочку Юлю. Мать пришла домой и увидела, что полы чисто вымыты.

— Юленька, ты вымыла пол? Сама?

— Да.

— Но ведь это очень трудно!

— Нет, мамочка. Я вылила на пол ведро воды, а потом пришли нижние соседи со своей тряпкой и все вытерли.

Юлик Дунский пояснил Каплеру:

— Вот так и сценаристы, которые идут в режиссеры. Они надеются, что в случае чего прибегут нижние соседи со своей тряпкой.

Кстати, сразу после той передачи Алексей Яковлевич действительно позвонил жене. Она долго — минут пятнадцать — объясняла ему, что получилось, а что нет. А группа во главе с Ксенией Марининой покорно стояла и слушала.

Те, что знали Каплера с молодых когтей, подсчитывали разбитые им сердца и качали головами: это бог наказал Люсю, сделав его под конец жизни подкаблучником!.. Кое-кто обижался на Друнину — не без оснований — за то, что она создала вокруг него как бы санитарный кордон, оттеснив старых друзей и приятелей.

Но когда Алексей Яковлевич заболел и врачи отпустили ему не больше года жизни, Юля оказалась на высоте. Забросила все свои дела и превратилась в заботливую сиделку. Он не догадывался, что обречен, а она знала. И была рядом буквально до последнего вздоха, мы тому свидетели.

Отгуляв московские каникулы, мы вернулись в Инту. Качественные знакомые были не только у Эйслера: никто нас не заложил, и 15-го числа мы благополучно отметились в спецкомендатуре.

Больше всех радовался нашему возвращению Робин: Жора вместе с ним встретил нас на станции. Пес прыгал на меня и на Юлика, стараясь поочередно лизнуть в нос, выл от избытка чувств, катался по земле. Мы решили: если когда-нибудь уедем из Инты, возьмем его с собой. Обязательно.

Но человек предполагает, а… Через месяц Робин погиб во цвете лет — ему и двух не исполнилось. Соседский мальчишка вышел с отцовской двустволкой поохотиться на собак и всадил в Робина заряд картечи. Ветеринар поставил диагноз: перитонит, как у Пушкина. Сделать ничего нельзя.

Пес лежал на холодном полу, забившись под кровать и молча страдал. Мы попытались выманить его, чтоб уложить поудобнее, но он не отзывался. Тогда я вспомнил, что его любимым занятием было ходить со мною за водой к колонке: ради этого похода Робин бросал все дела. Я взял пустые ведра, звякнул ими — и бедняга выполз из-под кровати на передних лапах: задние уже не

действовали. Мы обласкали его, переложили на тюфячок и дали спокойно умереть. И отомстить-то за него нельзя было: не бить же тринадцатилетнего гаденыша?

Робина похоронили в тундре, но Жора Быстров на этом не успокоился. Проколол гвоздем полу полушубка и явился в милицию:

— Прошу положить конец безобразию. Я шел по поселку Угольный и вдруг «Бах! Бах!» Это соседский мальчишка по собакам стреляет. И пять дробин в меня попали — видите? А если б чуть выше?

Сработало: у родителей убийцы конфисковали ружье.

Конец того лета принес нам всем много огорчений. Под суд попал Леша Брысь. К его земляку, вполне безобидному парню, прицепился по пьянке начальник кондвора, майор. Началась драка. Брысь кинулся разнимать и сильно толкнул майора, а тот, падая, стукнулся головой об угол дома и умер. О чем, надо сказать, никто не пожалел, а вдова так даже вздохнула с облегчением: покойный буянил, бил ее, вынес из дому все, что было, и пропил. Его и хоронили в казенных резиновых сапогах, свои хромовые давно пропил.

Но убийство есть убийство. Случись оно тремя годами раньше, ребятам пришлось бы несладко. Пьяница не пьяница, а советский офицер. А те кто? Бандеровцы… И намотали бы обоим срок на всю катушку по статье 58 пункт 8 — террор. Но времена уже были не те.

Их судили за убийство по неосторожности. Брыся оправдали, а земляку, который взял всю вину на себя, дали минимальный срок. Народным заседателем на процессе была наша общая приятельница Аня Ершова. Это тоже сыграло какую-то роль.

За доктором Ершовой одно время ухаживали трое: Свет Михайлов, Юлик и я. Я бы даже женился на ней, но она очень уж явно предпочитала мне Юлика. Бывало, возвращаясь втроем из гостей, от Шварцев, мы проходили мимо ее подъезда.

— Юлик, покурим? — вдруг предлагала Аня. И они поднимались наверх курить, а я, некурящий, шел домой. Когда Юлик — поздно ночью — возвращался, от него пахло Анькиной «Белой сиренью». Были такие духи…

А оправданный с ее помощью Алексей Семенович Брысь вернулся-таки на ридну Львивщину — но не сразу, а только в этом году. Сорок лет он отработал вольнонаемным на шахтах Инты и Воркуты. Закончил заочно горный институт, стал классным горным инженером. Но бандеровское прошлое мешало Леше сделать карьеру, достойную его способностей и его энергии. Только-только поднимется на несколько ступенек по служебной

лестнице — бац! И вниз… За этим следило недреманное чекистское око. На Севере он не поднялся выше должности начальника участка. А на юге, в родных краях, он теперь герой. Воевал юный Брысь только против немцев (против наших не успел), так что даже украинские наследники КГБ особых претензий к нему не имеют. А львовская газета посвященную ему Леше статью озаглавила — «Лыцарь».

Лыцарю сейчас семьдесят три года, а больше пятидесяти пяти не дашь. Север консервирует?.. Чего ж меня не законсервировал?

Никогда не забуду, как Брысь, придя с ночной смены и узнав о смерти Юлика — ему позвонил из Ленинграда Миша Шварц — помчался в воркутинский аэропорт, чтобы поспеть на поминки…

А первые поминки, на которых присутствовали мы с Юлием, были в Инте.

Умер отец Михаила Александровича Шварца. Он гостил у сына. В последний вечер перед отъездом в Ленинград поругался из-за какой-то ерунды с Мишиной женой Галей, разволновался и поехал на станцию, запретив провожать себя. А наутро разнесся слух: на Предшахтной старого еврея удавили галстуком.

Его не удавили: случился сердечный приступ. Старый Шварц попытался ослабить узел галстука, но не сумел.

Мишу это несчастье просто раздавило. Он плакал, винил себя, не способен был ни на какое разумное действие. В морг за покойником отрядили меня.

Гроб поставили в кузов грузовика. Водитель попался очень жизнерадостный. Всю дорогу он пел мне арии из опереток, а заметив на обочине голосующих, охотно притормозил. Это были две школьницы. Они радостно полезли в кузов — и с визгом выкатились обратно, увидев гроб.

Шоферюгу это еще больше развеселило. Он рассказал, что недавно вез хоронить шахтера с девятой шахты. Приехали на кладбище, а гроб пустой: машину так кидало на ухабах, что покойник вывалился за борт. Зимой в Инте темнеет рано. Включили полный свет и медленно поехали назад, светя фарами. Пропажа нашлась, конечно.

(Не к месту будь замечено: на кладбище почему-то часто возникают комические ситуации. В московском крематории, когда мы с Юликом принесли урну с прахом его матери Минны Соломоновны, ведающая этими делами дама распорядилась: «Сережа! Захорони товарищей!»)

Старого Шварца мы похоронили без всяких осложнений. Но Миша к концу дня совсем рассыпался на куски. И тогда его помощник капитан Христенко настоял на том, чтоб устроить поминки. Это был тот самый капитан Христенко, которому

принадлежит фраза, вошедшая у нас в пословицу: «Логику они пришлют потом». Он был умный мужик, вовремя слинял из органов и пошел работать к Шварцу в плановый отдел Комбината.

Народу на поминках было не много — человек шесть. А водки много. И Шварц отошел, не сразу, но отошел. Перестал терзать себя, стал рассказывать забавные и трогательные случаи из своего детства — даже улыбаться начал… Много лет спустя, вспомнив этот вечер, в сценарии про старика и старуху мы написали: «Есть свой жестокий, но справедливый смысл в этом обычае, которым жизнь утверждает себя над смертью…» Есть, есть.

Вообще-то в Инте умирали мало, даже болели не часто — средний возраст интинского жителя, думаю, не превышал тридцати пяти лет. Но и молодость не от всякой хвори убережет. У Гарри Римини разыгралась бронхиальная астма. Сестра из Израиля посылала ему лекарства, звала: здесь такой климат, ты сразу вылечишься!

Так оно в конце концов и получилось. Но тогда мы над этим приглашением очень потешались: какой Израиль?! Дали бы в Москву уехать!. Хотя охотно верили, что климат в Израиле помягче интинского. Сведения о тех краях мы еще в детстве почерпнули из «Палестинского танго»:

И люди там застенчивы и мудры,
И небо там, как синее стекло…

(«В краю, где нет ни ярости, ни битвы» — влюбленно грассировал Вертинский. Ему не дано было дожить до самых яростных арабо-еврейских битв. А на пластинках, выпущенных в застойные времена, «Палестинское танго» было переименовано в «Аравийскую песнь»: советская власть полюбила арабов, а евреев, в том числе палестинских, разлюбила.)

Польские евреи — на Инте их была тьма тьмущая — располагали более полной информацией о земле обетованной. Рассказывали со знанием дела:

— Знаете, какие жулики эти арабы? Продадут тебе мешок картошки, а картошка там только сверху, внизу — апельсины!

Вот этому уже верилось с трудом. Я, например, поверил только теперь, когда в Москве апельсины и бананы стали дешевле молодой картошки.

Оптимисты из окружения Гарика всерьез обсуждали перспективу его отъезда в Израиль. Фантазировали на эту тему и мы с Юликом. Сочинили «Палестинские частушки» и в гостях у Гарри с Томкой пропели:

Нету водки, нету пива,
Отзвенели чарочки.
Пишет Гарик с Тель-Авива:
«Я женюсь на Саррочке!»
Ах ты, Сарра, Саррочка!
Что ж теперь Тамарочка?
А Тамаре — тру-ля-ля!
Вышла замуж за Сруля.

(Не забыты были и апельсины из Палестины):

А картошки, баяли,
Нетути в Израиле!..

Смеялись, смеялись, а в пятьдесят седьмом году проводили-таки Гаррика с Томкой и трехлетней Нэлкой туда, где «нет ни ярости, ни битвы». Теперь ездим друг к другу в гости.

Когда у Гарри и Тамары в Инте родилась дочь, мы упрашивали их назвать девочку Франческой — будет Франческа Римини. Красиво же! Но они отказались наотрез:

— Мы дадим ребенку простое русское имя!

И дали: Нэлли — через «э» оборотное. Теперь она живет в том же Цинциннати, где и моя дочь Юлька. (Вот Юлькину дочку по настоянию папы-чилийца назвали Франческой — даже Франческой-Габриелой).

Первый приезд Тамары в Москву состоялся еще до разрыва дипломатических отношений с Израилем. Вообще-то она ехала к своей родне в Калинин, но по дороге задержалась на денек в столице и пришла к нам в гости. Удивив нас благоприобретенным за короткий срок акцентом, рассказала: у них родился второй ребенок, сын Левка. Чтобы порадовать родственников мужа, Тамара решила сделать мальчику обрезание. Но раввин отказал:

— Мадам, обрезание мы делаем только еврейским детям.

— Но у меня еврейское дите!

— Это вы так считаете.

— Мой муж — еврей.

— Это вы так считаете. А мы скажем по-другому: вы живете в блуде с евреем.

(Тамара иудейства не принимала: их с Гариком вполне устраивал гражданский брак.)

Прибежал Гарри, стал громко возмущаться:

— Гестаповцы! Бериевцы!

На шум вышел доктор и успокоил его:

— Что вы слушаете этого старого фанатика? Сейчас все сделаем. Без него.

Года через два после Томкиного визита нас с Юлием пригласили в ЦК на инструктаж: предстояло ехать — первый раз — в капстрану, в Норвегию, писать сценарий про Фритьофа Нансена. И вдруг пожилой чиновник спросил:

— Вы с Пономаревой знакомы?

Мы не поняли про кого он, думали про спортсменку Пономареву, которая отличилась в Англии: украла в магазине шляпку. Удивились и сказали, что нет, не знакомы.

— Ну как же? С Тамарой Пономаревой-Римини.

— А-а, Тамара! С Тамарой знакомы, конечно.

Рассказали, как она к нам приходила в гости, а главное — как мы приходили к ним с Гариком в свой первый день свободы. И зная, что за общение с иностранкой не похвалят, уныло добавили:

— Если она опять приедет, мы ее опять позовем… А что?

— Да нет, — сказал хозяин кабинета. — У нас нет сведений, что она на кого-нибудь работает.

И нас благословили на поездку. Второй из «инструктирующих» улыбнулся:

— Лиха беда начало!

Это был Ермаш, наш будущий министр. А его начальник сказал доверительно:

— У меня ведь тоже непростая биография.

Возможно, сидел? Нам говорили, что Хрущев вернул кое-кого из сидельцев на пьедестал почета…

Когда в 1956 году отменили наконец «вечное поселение», нам выдали паспорта. Второсортные с «повышенной температурой» — 38 (или даже 39?) Тридцать восемь или тридцать девять мест, где обладатель такого паспорта не имел права жить: в столицах, в областных и приграничных городах. Но выезжать из Инты теперь разрешалось.

Мы с Юликом решили съездить в отпуск: очень хотелось погреться на южном солнышке. Но в Крым и на Кавказское побережье ехать было нельзя — пограничная зона.

Оба мы были полноправными членами горняцкого профсоюза: Особое Совещание «по рогам» не давало. И профком выделил нам путевки в шахтерский дом отдыха в Донбасе.

Мы не прогадали: погода весь июнь стояла такая, будто профком решил нам выдать разом все недополученное за 12 лет солнце. Ни одного пасмурного дня! Мы купались в Донце, загорали. Стыдно признаться, но мы даже натирались ореховым маслом, чтоб лучше загореть — и успокоились только когда сравнялись цветом со своим темно-коричневым чемоданом.

Гуляли в красивейшей дубовой роще, дивились на кубистическое безобразие памятника большевику Артему, грозившему нам с горы кулаком. Кулак был размером с железнодорожный вагон и такой же формы.

А по вечерам мы писали у себя в комнатке сценарий «Комиссар шахты». В нем действовала собака Робин и девушка по имени Алла Краева — так звали нашу ихтинскую знакомую, которая нам обоим очень нравилась.

Примерно на двадцатой странице пришлось прерваться: почтальонка принесла нам шестнадцать телеграмм. Мама, тетка, все родственники и друзья поздравляли нас «с торжеством справедливости», с тем, что «наконец все произошло», что «сбылись наконец надежды». И только один человек — проездом оказавшийся в Москве лагерник Ромка Котин — написал прямым текстом: «Поздравляю с реабилитацией». Остальные не решались написать это слово — так глубоко засел в сознании страх перед всем, что связано с «органами». И это после XX-го съезда!..

На радостях мы хорошо выпили с шахтерами, соседями по столику (один все время называл меня Ваней, что мне очень льстило, и лез целоваться). А наутро с новым рвением сели дописывать сценарий.

Он получился короткий — пятьдесят четыре страницы. В Москве повезли его на студию, увидели на одной из дверей табличку «Редактор М. Рооз» и вычислили, что это та Марианна Рооз, красивая первокурсница, за которой в год нашего ареста ухаживала половина будущих террористов. У нее мы оставили рукопись — и уехали в Инту, отпуск подошел к концу.

Для себя мы решили так: если заключат договор, рассчитаемся и переберемся в Москву. А если нет, останемся в Инте: после реабилитации все десять лет лагеря нам зачли как работу на Крайнем Севере по вольному найму. Это значило — 100 % северной надбавки. Приличные деньги по тем временам, в Москве честным трудом мы столько не заработали бы.

Чтоб не искушать судьбу, мы старались не думать о сценарии. Хорошее правило: надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Решили достроить к нашему домику еще одну комнату, чтоб жить — если не уедем — как люди. Уже поставили каркас, и тут пришла телеграмма — на этот раз одна. Мама сообщала: «Мосфильм заключит договор».

Стройку пришлось законсервировать. Домик мы продали — правда, дешевле чем купили. Простились с друзьями и отправились в Москву.

Там узнали: еще до нашего похода на Мосфильм у Пырьева, тогдашнего директора студии, побывали Л. З. Трауберг и А. Я.

Каплер. С ходатайством:

— Иван, это хорошие ребята. Десять лет в лагерях просидели, надо им помочь.

Иван Александрович был человеком самостоятельных суждений. Вместо того, чтобы умилиться, сказал:

— А мое какое собачье дело? Я, что ли, их сажал?

Но сценарий прочел, и он ему понравился…

Тут и сказке конец.

Под занавес скажу: не сердитесь и не обижайтесь!

Те, про кого писал — за то, что писал, даже про друзей, без должного почтения.

Те, кто читает — за то, что обманул, наверно, их ожидания, рассказал о тюрьмах и лагерях как-то не так… Не заклеймил за злодейства советскую власть. Бог с ней! De mortuis aut bene aut nihil — «о мертвых или хорошо, или ничего».

Да я и не про нее писал. А про моих товарищей по команде, с которыми легче было пробежать стайерскую дистанцию.

На хороших людей мне всю жизнь везло. Везет и сейчас.

Приложение

В начале 1955 года я навестил моих старых друзей Юлия Дунского и Валерия Фрида, будущих знаменитых кинодраматургов, чьи сценарии и поставленные по ним фильмы («Служили два товарища», «Гори, гори, моя звезда…», «Экипаж» и еще три десятка других) хорошо известны. Отбыв от звонка до звонка лагерный срок, оба вышли на вечное поселение в Инте, жили в «шанхайной» хибаре, сложенной из каких-то ящиков, и, имея незаконченное высшее образование (три с половиной курса ВГИКа), занимали престижные должности дежурного на водокачке (Фрид) и нормировщика ОРСа (Дунский).

Я привез в Инту подарок — пишущую машинку «Москва». Друзья отдарились по-царски: тетрадкой с посвященной мне маленькой повестью, которую вы сейчас прочтете. Это был второй вариант, первый — записанный в лагере — сгорел в печке во время шмона. Сами авторы не называли ее повестью, а скромно говорили, что это так, лингвистически-этнографическое упражнение, составленное для фиксации тогдашней фени и лагерных нравов. Однако ее первый слушатель — еще в зоне — поэт Ярослав Смеляков дал повести другую оценку. «Кармен», — сказал он.

Что же касается психологии и нравов урок, их языка, то они зафиксированы, действительно, с поразительной точностью. Свидетельствую как бывший зек, прошедший, правда, гораздо меньший срок обучения по сравнению с их «десятилеткой». Странное смешение неграмотных оборотов, «интеллигентных» выражений и неожиданных архаизмов, вроде древнееврейского «динтойра», не должно удивлять, — недаром лагерь называют академией.

С тех пор прошло почти сорок лет, за эти годы и авторы и я сам не раз читали повесть узкому кругу друзей. Но никто и надеяться не мог, что наступит день, когда можно будет опубликовать такое…

Доктор физико-математических наук
М. Л. Левин

Юлий Дунский, Валерий Фрид
«Лучший из них»

Посвящается Мишаньке Левину

…Юрок, я справедливый человек. Скажи: Шурик гад, Шурик негодяй, Шурик десять лет лишних живет — пускай ладно. Но я, блядь, справедливый человек. Я себе лучше язык вырву, чем скажу на черное, что это белое. И за это я всю дорогу терплю.

Что ты обо мне знаешь? Что я стопроцентно ссученый, трижды проигранный, что за мной давно колун ходит. А что Шурик был золотой вор-универсал, за это никто не вспомнит.

Я гастролировал по всему Союзу от Батума до Владивостока, и мое имя гремело. Я пять раз под вышкой сидел, из Владимирского изолятора брал кабур и ушел с концами. Да что, я с Колымы два раза отрывался! Первый раз актировался с понтом, а то сменял червонец на сухаря и с первым пароходом на материк. Это я у Френкеля на БАМе кожаное пальто ебнул, если кто другой будет хлестаться, смело плюй ему в шнифты.

Кто мы были? Веселые нищие, безвредные насекомые. Ни троцкистов, ни хуистов мы в глаза не видели. Тогда и не такие номера пролезали.

Один аферюга ушел с Сахалина за нач. сано. Ксивы, ланцы — все было тики-так. И представь, погорел на мелочности. Уже на Чукотке вылазит из самолета, какой-то туз кинулся ему дверки открывать, а он, падло, возьми и грохни:

— Спасибо, гражданин начальник…

Теперь другой период времени. Крах босякам, пиздец закону. Нет уже справедливых воров, я был последним. За это меня и приземлили. Юрок, ты фрей, но в курсе воровской жизни. Я тебе расскажу, и ты поймешь.

В сорок пятом году я чалюсь на Вологодской пересылке. В каморе народу хуем не провернешь. На верхних рюмах кодло — пятнадцать лбов. Все законники, полнота, некого на хуй послать. Жранья от пуза, смолы цельный сидор висит на стенке — подходи, шмоляй. Сам знаешь, кому кичман, кому дом родной.

Все мои жуки молодые, нахальные, дерзкие на руку и на язык. Делать им нехера, и от нехера делать они с отбоя до отбоя ведут толковище. Ковыряются в чужих душах и ищут солдатскую причину, чтобы кого-нибудь землянуть. А я это всегда презирал.

Я сам авторитетный правила, и глотка у меня луженая, но я в это темное дело не лезу. Дохну или катаю под горцами с

пацанами. Потому что я знаю: если я встряну, то не выдержу ихней несправедливости и обязательно с кем-нибудь заведусь.

А был там некто Борода, старый честный вор, из тех воров — еще кандалы обосрал. Когда я в Питере в двадцать пятом году еще бегал по городовой, он уже был родский, но нас, пацанов, уважал.

И вот они приеблись к этому Бороде. Они кричат:

— Борода, ты блядь. Ты сука. Мы тебя лишаем воровским куском хлеба.

А он авторитетный старик, но тихий и не может за себя слова сказать. Он им по-хорошему:

— Побойтесь хуя, ебаный ваш рот! За что вы меня на старости лет лишаете воровским куском? В рот меня ебать — моя воровская совесть чиста!

Они на него прут:

— Нет, ты блядь. Ты работал подрывником, и значит ты был в доверии.

Он им ботает:

— Чем вы меня попрекаете? Я работал подрывником, но все ворье кантовалось при СВВ. Пускай скажут люди!

Тогда эти охуевшие правилы толкуют:

— Хорошо, мы это проверим, а до выяснения мы тебя отходим сапогом по ребрам. Клади крабки на баш.

У меня сердце горит, но я молчу. А старая мандавша уже сам лезет на середку, сымает френчик и ложит грабки на калган. Ты понял, Юрок? Этого я уже не мог терпеть.

Я выхожу к ним и говорю тихим голосом:

— Борода, ты чокнулся? Не позорь свой авторитет. Лезь на юрцы. Я за тебя отвечу.

А у меня уже и зубы клацают. Ленчик-Воркута — он у них хлябал за старшего блатного — мне ботает:

— Шурик, ты чего?

А я ему ботаю:

— Ничего. Хуй через плечо, вот чего. Отъебитесь от человека, вот чего.

Никола-Мора кричит:

— Ссыте на него, он с ума сошел!

А я ему ботаю:

— Ай, братка, ай Кирилла Кириченко, а полезай под нары, падло позорное, мы с тобой в Халмер-Ю потолкуем, с тамошним ворьем.

Я знал за его грязные дела на севере. Никола засох, но Ленчик, настырное падло, нахально пыряется на рога.

— Шурик, ты не прав. Смотри, не бери на себя лишнее.

А, думаю, так вы уже на меня хвост подымаете? Ладно, я тебе скажу.

И говорю:

— Кого ты тянешь, псенок? Змееныш, с кем ты заедаешься? Что ты понимаешь в законе? Что вы все знаете о взрывниках? Я ебу вашу немыслимую динтойру! Я сам работал подрывником на БАМе и на ББК. Вольняги к нам и носу не совали, бздехали этой легкой работы. Когда мой кореш подорвался на отказе, я в двух котелках приволок в зону все, что от него осталось. А вы тут ставите свои шаляпинские права, твари позорные, падлы, блядская отрава!!!

Я вижу, они забздели. Ленчик кричит:

— Брось, Шурик, не психуй…

А я ему:

— Соси ты сифилисный хуй!

Я чувствую, что говорю лишнее, но уже не могу остановиться. Меня несет.

— Господи, ебаный мой боже! Ты все видишь — чего же ты не стреляешь? Есть на свете справедливость? Нет, блядь, справедливости! Я воровал в период нэпа, когда за мной уже ходило сорок лет срока. Где вы были в ту зиму, когда нас Курилка ставил на пеньки, обливал водой на Соловках, в двадцати километрах от Советской власти? Где вы были в тридцать седьмом году, когда все кюветы за Бутырками были забиты воровскими телами? Где вы были во время колымского произвола, когда Павлов ликвидировал рецидив, когда нас шмоляли без суда и прокурора за рыжие фиксы, за белые руки? Вы по битому льду босиком бегали? Вы человечину хавали? Вы кашу из говна варили?.. Кто вы такие, сучье кодло, самозванцы?.. Зачем я на свет родился, зачем меня в Москве трамвай не переехал, зачем я не пошел в милицию служить, чтобы не быть с вами в одном законе? Я ебу вашу родословную на сто верст в окружности, псы, бакланье, падлючие творения. Я ваш рот ебал, я вашу веру ебал, я вашу совесть ебал и цель вашей жизни! Лезьте под нары, гады, порчаки, троекуровская псарня, лезьте под нары, пиздорванцы, и засохните там навек!

Я им ботаю, а сам соображаю: сейчас начнется корда-балет. Потому что таких слов ни один вор вынести не может.

А они уже рвут доски с нар.

Теперь я должен сбить роги Ленчику и Николе, остальные все — натуральные торбохваты и без этих бодаться не будут. В рукаве у меня был притырен приличный саксан.

Ленчик прыгает на меня, я отваливаюсь в сторону, гребу его за хобот, вынаю саксан, и уже намахнулся, но тут меня как током

прожгло: Шурик, что ты делаешь. За это тебя приземлят.

Потому что, пока нас не рассудили, он в законе. И я поворачиваю руку и катаю его между рог колодочкой. Бей в лоб, делай клоуна!

Ленчик с копытов, а я поворачиваюсь кругом себя, потому что по моему расчету Мора обязательно зайдет с жопы. Точно: он уже намеряется доской. Гуляем по буфету!!! Как я приварю ему тырса!.. Никола загремел к параше, а остальная хевра сбилась в кучу и не знает, на что решиться. А я беру их на бас. Кричу дурным голосом:

— Ложись, фраера! Легкой смерти захотелось?

Это у меня прием такой, вроде психической атаки. Ужасно действует, как-то морально убивает.

Фраера шур-шур под нары, да и мои духарики приуныли. Ленчик лежит в бессознании, хитрожопый Мора уже отполз к дверям — мне можно лезть к себе на юрцы.

И тут Борода, еби его в гробину мать, хватает дубовую крышку от параши, подлетает к Ленчику и коц его по черепу! Тоже был принципиальный, падло. У Ленчика и мозги на стенку.

В каморе тихо стало, слышно, как муха перднет. Я говорю:

— Эх, Борода, Борода. Дожил ты до седых мудей, а ума не нажил. Ты думаешь, я не мог его прибрать? Я мог, но сознательно воздержался. А теперь нашли мы приключение на свою сраку. За это нас обоих пустят под откос.

Я велел фраерам замыть пол, а Ленчика затащить под юрцы, с понтом он дохнет. Отдал пику пацанам, послал босякам на первый этаж парашют с описанием, как было дело, а сам сел с Бородой хавать: я знал, что через полчаса нас крутанут.

Дубак через волчок ливер бьет, почему в каморе тихо, но не додует, что к чему. Кнокай, кнокай, пес, скоро дотумкаешь!.. Похавали мы, и Борода толкует:

— Шурик, я объявлю.

А меня зло взяло:

— Чего ты заладил — объявлю, объявлю… Ты лучше крошки с бороды смети, грозный объявитель!

Он, правда, ничего не сказал, смахнул крошки и пошел объявлять. Постучал в кормушку и кричит:

— Дежурный, уберите труп.

Тут набежала вся псарня — и режим, и прокурор. Бороду вертят, а через час выдергивают и меня. Сажусь в трюм, и волокут меня по кочкам и по корягам. Грязь, блядь, сырость, сосаловка.

Борода отшивает меня вчистую и получает довесок до червонца, мне лепят два месяца штрафняка, и с первым вагонзаком я гремлю в Севдорлаг. А мне хоть бы хуй. Я даже рад:

ты шутишь, полгода бимберу не видал, человечьего мяса не хавал.

Заваливаюсь в зону, как могерам. У вахты штопорю огольца и толкую:

— Тут люди есть?

Пацан кричит:

— До хуя и даже больше.

— Кто да кто?

— Никола Сибиряк, Мишанька Резаный, Лева-Жид, Змей Горыныч, Мыня Заика — не саратовский Мыня, сучонок, а другой Мыня.

Я ему ботаю:

— Сынок, чеши к ним, скажи, Шурик Беспредельный приехал.

Это теперь меня зовут Чума, а тогда у меня была кличка Беспредельный, потому что я имею беспредельный душок.

Пацан оборвался, а я сед на сидор и жду. Всех этих воров я знал, а с Жидом я бегал еще по воле, в Киеве, он был золотой щипач. И мне очень интересно, как они ко мне сейчас отнесутся. Проходит десять минут — их нет. Проходит полчаса — ни одной бляди. Что за еб твою мать?.. Я подымаюсь и сам чимчикую в ихний куток. Заваливаюсь в кабину. Ни хера себе, кучеряво живут: на нарах подушечки, хуюшечки. Всё кодло сидит у стола, кушают кислое молоко из ведерной параши. Я кричу:

— Здорово, малы!

— Здорово, Шурик, — отвечают и продолжают штевкать. Вот так хуй, не болит, а красный.

— Да что вы, — говорю, — псы? Уху ели или так охуели?

А Змей Горыныч толкует:

— Псы, да не суки.

Ты понял? Это он дает набой, что будто я суканулся.

У меня аж в горле перехватило. Стою и не могу дохнуть. Что мне делать? С ходу пороть их? Бесполезняк — их же пять рыл. Качать права? Нет, думаю, хуй вам в горло, господа воры. Ничего я им не сказал, сказал только:

— Эх, урки, вот какие ваши мнения!

Повернулся и пошел в барак.

Лежу на юрцах, грызу щепочку и размышляю. Вот, Шурик, ты и под откосом. Отгулялся по цветной улице. Попал ты в непонятное и непромокаемое… Но ничтяк — я был и буду в вантажах, а они, позорники, еще наплачутся. Раз такое дело — петушки к петушкам, раковые шейки в сторону.

После поверки я встал и канаю к нарядило. Нарядила на койке, в носочках — отдыхает. А рядом помпобыт, шпилит на гитаре. Как они меня надыбали, то оба заметали икру. Нарядила

с лица переменился, а Серега-помпобыт кинул свою музыку и лезет под тюфяк: наверное, там он ховал перо.

Кричу:

— Добрый вечер, господа суки.

— Добрый вечер, Шурик, — ботают, — чего пришел?

— Пришел толковать на понял-понял. Сучьего полку прибыло.

Они на меня шнифты вылупили:

— Шурик, ты в натуре?

— Сказано — сымаю погоны. Кажите масть!

Они толкуют:

— Какой разговор! Буби козыри, все в наших руках. Принимай любую колонну.

Помпобыт маячит нарядило, тот волокет из заначки пузырек одеколону, миску жареной картошки. Шурик мне толкует — нарядилу тоже Шуриком звали:

— Садись, похаваем.

Это они делали проверку, потому что если я к ним пришел с целью, то хавать с ними не стану ни в каком разе. Сели мы, покушали все вместе, и на этом окончилась моя воровская жизнь.

Юрок, кем я с тех пор только не был — и нач. колонны, и комендантом, и нарядчиком, и зав. ШИЗО. Преступный мир от меня стонал. Я поклялся мстить им и мстил беспощадно. С Княж-Погоста воры телеграфят: Бороде на граверном карьере отрубили грабки, жди своей очереди. А мне по хую. Шурика, моего тезку, зарубили в бане. После этого я совсем очумел. Тогда мне и дали новую кличку.

Как я над ними гулял! Помню, приехал начальник восьмой дистанции и расплакался: жуковатые забрали власть в свои руки, по зоне пройти нельзя — та еще кромсаловка, каждый день на кухне свежее мясо. Просит меня на усмирение.

Я приезжаю на восьмую и объявляю сучий террор. Там были дела!.. Я три ночи не спал ни грамма — наводил порядок. Они от меня на проволоку лезли, искали по зоне пятый угол.

На четвертые сутки выхожу к разводу, а все мои жуки-куки уже стоят у вахты — в рукавицах, в чунях, в бушлатах сорок четвертого срока… Лопни мои шнифты, блядь-человек буду!

Я встал на пенек, как Наполеон, и толканул им речугу:

— Позор вам, воры! Сегодня я вас выеб в рот, а завтра весь Советский Союз узнает об этом. Идите и пашите до кровавых соплей. Роги в землю, господа олени, потому что на лбу у вас написано: «вкалывать», а на жопе — «без выходных».

Сказал и пошел спать.

На этой восьмой я и притормозился. Жил, сам понимаешь,

свыше грабежа. Начальство меня кнокало, контингент бздел. Повара и каптеры на кукане, шалашня ко мне так и липнет. Хуй ли — держу все вантажи и на личность авторитетный. Но я с ними мало занимался. Оттолкнемся — и жопа об жопу, кто дальше прыгнет. Они же все материалистки, бляди.

Конечно, на мне где сядешь, там и слезешь, вот я над ними чудил правильно. Одну дешевку обстриг, увешал всю банками-жестянками, потом юбку на голове завязал и выспидком из барака — гуляй, девка!.. Это от меня мода пошла — банками увешивать. А одну дешевизну велел дневальному говном облить. Мужики со смеху поусерались. Я вообще в компании очень шебутной, со мной не соскучишься.

В мае к нам пригнали кировский этап, и в том числе приходит одна Вика, москвичка — чистопородная воровайка, голубых кровей. Саму, говнюшку, соплей перешибить можно, а нос дерет до небес.

Все мои недобитые коки-наки вокруг нее, ясное дело, кобелятся, но она держит стойку. У нее в Ягремлаге остался какой-то гусар, питерский штопорила, так она для него берегла. Ксивы он ей катал — на восьми листах. Не ксива — Библия, еби ее мать!..

В субботу у нас, как положено, танцы. Я, как комендант, должен там показаться, чтобы помнили, что над ними есть бог и прокурор. На мне эстонский лепенец, расписуха, прохаря наблищены, на грабке перстенек. Я всегда чисто ходил.

Заваливаюсь в столовую, становлюсь у дверей и кнацаю. Все притихли и ждут, когда я уйду. А Вика сидит на столе, со своей гоп-капеллой, и кричит мне через весь зал:

— Здравствуйте, господин гад!

— А, — говорю, — прелестная воровка, обосрала хуй, плутовка! Здорово, здорово.

Она кричит:

— Товарищ комендант, вы такой видный мужчина, а никогда не споете, не сбацаете. Вы не можете или у вас есть затаенные причины?

Я ей ботаю:

— Я с тобой станцую, когда у тебя на лбу вырастет конский хуй в золотой оправе. Но у тебя есть кодло трехнедельных удальцов, и если ты желаешь, то они сейчас будут у меня бацать и на голове, и на пузе, на двенадцать жил, на цыганский манер.

Все ее жиганы втянули язык в жопу и в прения не встревают. А она вдруг толкует мне:

— Скажите, Шурик, зачем вы сменяли воровскую славу на сучий кусок? Или вам не хватало?

Хотел было я ее тягануть, но не стал портить настроения. Сказал только:

— Гадюка семисекельная, не тебе меня обсуждать. Входить в мои причины я с тобой, мандавошкой, не намерен.

И ушел на хуй. Проходит дней несколько, и она пуляет мне ксивенку:

— Мне нужно с вами поговорить об очень важном.

Я эту ксивенку порвал и хожу как ходил.

Однажды по утрянке она меня штопорит у конторы.

— Вы получили мой пропуль?

— Получил, — говорю. — Что из этого?

— У меня есть к вам разговор.

Я ботаю:

— О чем нам с тобой толковать? Ты крадунья, законница, а я убежденный сука, вечный враг преступного мира. Иди и забудь меня. Попутного хуя в сраку!

Поканала она от меня, а сама худенькая, щуплая, как воробьенок. Мне даже ее жалко стало. А, думаю, ни хуя. Подумаешь, принцесса Турандо!..

Вечером с сельхоза приезжают бесконвойные возчицы. А там была одна Ленка, которую я раньше харил. Я ее волоку к себе в кабину, пошворил и отпустил в барак ночевать. Только заснул, в окно стучат:

— Шурик, беги в женскую зону. Вика твою Ленку порезала.

Я схватываюсь и — туда. Залетаю в барак — гвалт, хипеш, бабы все голые, лохматые — тьфу, обезьяны! Ленка на полу, вся в краске, базлает не своим голосом, а Вика с писком сидит на своих нарах.

Я к ней подошел, тырсанул разок, отмел мойку и говорю:

— Собирайся!

Она ничего — встала, пошла. Вышли мы на двор, и я ей толкую:

— Дура ненормальная! Ну, на хуя она тебе сто лет усралась? Теперь тебе верником карячится срок. Чего вы с ней не поделили?

А она заплакала и ботает:

— Я ее пописала за то, что ты с ней шворился. Учти, я всех порежу, с кем ты будешь. И тебя порежу. Я тебя люблю и не могу без тебя жить.

Ты понял? Меня любит и меня же порануть собирается. Что ты хочешь, Юрок, бабы — это ж такая нация!.. Меня смех берет.

— Ах, — говорю, — падлючье творение! Вот ты чего замыслила! У-у, гуммозница, поносница, дристополетница!!! Бежи в кандей, спасай свою дешевую жизнь! Сейчас я тебя работаю начисто!

Она от меня как рванет. Я за ней. Она бежит и ревет — та еще комедия! Пригнал ее в пердильник, запер в одиночку:

— Посиди, — говорю, — девка, охолонись!

И пошел к себе. Снял тапочки, лег, а спать неохота. Я лежу и думаю: все-таки она в меня здорово врюхалась, раз выкидывает такие коники… С кем я вращался до этих пор? Твари, двустволки, продажная любовь! Разве они способны на сильное чувство? Сколько ж так можно жить — менять харево на варево? Может, я теряю свой золотой шанс?

Утром встаю, топаю в ШИЗО. Набрал с собой бациллы, сладкого дела, мандра беляшки, сую ей в кормушку:

— На, принимай передачку!

Она на меня шары выкатила, а у самой от слез на щеках грязные полоски. Засмеялся я:

— Эх, ты, богиня джунглей! Иди, умойся, я тебе полотенце с пацаном пришлю.

А сам пошел в санчасть.

Я всегда знал, с кем кусь-кусь, а с кем вась-вась: с ходу дотолковался, и в тот же день Вику суют в этап на сангородок. Надо было убрать ее с ОЛПа, пока не завели дела.

Вика кричит:

— Шурик, я твоя навеки. Жди меня.

Она уехала, а я, Юрок, — ты поверишь? — совсем охуел. Всю дорогу мысли про нее. Думаю, может, она, сучка, там подвернула кому-нибудь?

Все этапы с сангородка — дождь не дождь, — я встречаю у вахты.

И, наконец, с этапом доходяг приходит моя Вика. Как она меня увидела — кинулась, схватилась вокруг шеи и аж закостенела.

— Что ты, — говорю, — падла, опомнись. Люди смотрят.

И повел ее к себе в кабинку.

Так мы с ней и зажили. Приду вечером, Вика сидит, чего-нибудь мастырит — занавесочку там или марочку расшивает, хаванье уже на столе. Кашку, шлюмку — эту лагерную стрихнину мы с Викой не кушали, для нас на стационарной кухне отдельно готовили. Я штевкаю, а она сядет рядом и давай разводить баланду: ты и такой, ты и сякой, с кушем тебя нету, ты красюк, ты один человек, я как тебя надыбала, так с ходу на тебя упала. И так и далее.

Дело прошлое, я тоже ее уважал. Как барыга бегал по зоне, обжимал чертей за ланцы — исключительно для нее. Одел ее как картиночку: чулочки, корочки, бобочки — полковника Коробицына жена так не ходила, как моя Вика.

Да что там толковать — лепилы сказали ей козиное молоко пить для здоровья, так я для нее козу купил и держал в пожарке. Козу, блядь! Вспоминать совестно. Но Вика, между прочим, как была фитилек, так и осталась. Хавала одну атмосферу.

Вообще в ней ничего такого особенного не было: разве что глазищи как фары. Ну, и фигурка аккуратная, и подстановочки под ней тоже ничтяк. А как она шворилась!.. Юрок, лучше ее как женщину, я не встречал.

Раньше я ходил под колуном и не оглядывался, а теперь как-то начал беречься: жизнь, что ли, милее стала, хуй ее маму знает. По ночам запирался на двойной пробой, ложусь спать — тесак всегда под подушку.

Я ей часто толковал:

— Вика, учти, что к преступному миру тебе возврата нет, надо менять курс жизни. Я ебал тот пароход, который говно возит. Что мы, в натуре, богу в бороду нахезали? Хочется ведь пожить на воле! Сроку у нас с хуеву душу — давай завяжем?!

Ты поверишь, Юрок, я даже мечтал до освобождения пацана замастырить, удивить советскую власть.

— Шурик, а ты когда освобождался?

— Хуй в рот. Теперь я плыву, и берегов не видно. Мне намотали на всю катушку.

— За что?

— За то, за это и за два года вперед. Сказано тебе, всю дорогу горю за справедливость. Ты слушай.

Раз ночью меня будит пацан Толик, мой помогайло. Кричит:

— Шурик, подъем, пригнали этап с центрального изолятора.

Я моментом собрался: все штрафные этапы я лично просматривал с ходу по прибытии, потому что всегда мог ожидать товарища с топором навстречу. И принимал их всегда в бане, это самое безопасное место: голые люди как-то к драке неспособны.

— А ты говорил, что Шурика-нарядчика зарубили в бане?

— Хуй мамин, ты все равно как деревня. Его работнули, когда он мылся, понял? Отрубили бошку и закинули в чан с кипятком…

И вот я канаю в баню. Они уже моются. Хеврa приличная, рыл двадцать. Фраеров согнали на пол, сами лежат на лавках, парятся.

Я прохожу с понтом по делу, а сам давлю косяка. Все вроде незнакомые. Какая-то тварь кричит:

— Чума, тебе привет от Бороды. Учти, ты свое отходил.

Я остановился и поглядел на них. Ты знаешь, Юрок, — у меня взгляд очень страшный, его люди не выдерживают.

Они все попрятали шнифты, и только один молодяк настырно пялится на меня. Я еще постоял, пока он не отворотил ебальник.

Тогда я толкую:

— Что ж вы притихли, грозные рубаки? Кто это у вас такой духарь? Имейте в виду: вы попали в мой кабинет, и на мне ваш курс кончился. Здесь с вами будут разговаривать только на ВЫ: выебу, вышибу… Не работаем, по фене ботаем? Это отошло. Подъем в шесть, развод в восемь. Я научу вас свободу любить!

И вышел без всякого на них внимания. Но про себя я, конечно, маракую: кто это за молодяк, который так настырно зырил? Видать сразу, что чеграш не тутэшний. Во-первых, он с политикой, а чтобы привезти из СИЗО волос, надо быть довольно нотным. Потом у него наколки не по всей шкуре, а только на костылях, так что он может сблочить с себя всё до кальсон в любом кругу общества, и никто его не шифранет.

И тут я лоб в лоб стыкаюсь с каким-то немыслимым фитилем: одна нога в суррогатке, другая в консервной банке. Он лыбится как майская роза и кричит:

— Шурик, ебанный по черепу!

Тогда и я его рисанул. Это был Никола Слясимский, старый прогнивший сука, в лагере родился, в лагере подохнет. Он мне с ходу толкует:

— Шурик, заруби на хую: здесь скоро будет правильная мясорубка. Это та еще гопкомпания — оторви да брось. Тебе по блату прислали самый центр. Я сам в краснухе катился за фрея, отлеживался под горцами — с гарантией задавили бы!

— Ничтенка, — говорю, — не первый хуй в жопу. Они у меня будут тонкие, звонкие и прозрачные. Ты мне лучше растолкуй: кто этот молодяк, с политикой, рыжая фикса, на грабке перстенек?

Он кричит:

— Ты в натуре не знаешь? Это ж Мишанька Бог — игрок, каких не было, сумасшедший вантажист, все ворье от Хановея до Ухты ошкурил, как белок. Он у них за паханка.

Я отвел Николу на кухню, велел накормить и дал место в бараке ИТР — он был мой старый кореш.

Но с этих пор у меня внутри засосало: охота катануть и все тут. Я ведь сам злой игрок и мог обаловать любого чистодела. А на этой восьмой я уже забыл, кто король, а кто дама. И меня ведет сыграть с этим Богом.

Если он сибирский третист, то он у меня в руках, я третистов не уважал. Они все мелочники. И потом мне интересно — откуда ему такой фарт? Что он, бога за яйца ухватил?

Думаю день, думаю два, а на третий вынаю из заначки пресс, откалываю половину — куска полтора, — ховаю в скуло, беру мессырь и иду к ним в барак. С собою прихватываю только

Николу.

Заваливаюсь в секцию — они уже делят. Мишанька банкирует. Надыбали меня, побросали колотушки. Я кричу:

— Здорово, волки!

Они кричат:

— Здорово, пес!

Я кричу:

— Бог, я пришел с тобой пошпилить. Ты не против?

Мишанька мне ботает:

— По какой это новой фене суки играют с ворами? Может, ты не в тот барак зашел?

— Ни хуя, — кричу, — жидовская вера полегчала.

Ты не прими в обиду, Юрок, это есть такая присказка. Что будто один еврейчик просил нарядилу устроить ему кант и за это посулил отдать всё сало, когда получит кешер, потому как ему все равно по ихней вере не положено. И вот, ему обламывается бердыч, а он носу не кажет к нарядило. Тот заметал икру, летит к нему в барак и видит: жидяра сидит и наворачивает балалас. Нарядчик кричит:

— Что же ты, падло, делаешь? Тебе по религии не положено!

А тот ему отвечает:

— Ничего, товарищ начальник, жидовская вера уже полегчала.

Так вот, я толкую Мишаньке:

— Садись, жидовская вера полегчала!

— А чем я гарантирован, что ты, если прокатаешься, не наведешь сюда режим? Не заберешь нахально все шмотки?

— Я никогда никому не двигал, и люди это знают. Но если ты хочешь, я могу дать золотое слово суки.

Мишанька кричит:

— Лады.

Я кричу:

— Выдвигай стол на середку! Темно, как у цыгана в жопе.

Это я леплю горбатого, потому что мне нужно быть напрямую против двери. Я сажусь к печке, чтобы никто ко мне не мог зайти с жопы, а Николу ставлю у дверей, с понтом на атанде, а в натуре — на отмазку. В голяшке у него притырена правильная шпага. Я знал, что когда я их напою и стану отрываться со всем бутором, они меня попробуют пустить в казачий стос, потому что от этих навозных жучков можно ожидать все двадцать четыре подлости.

Они волокут стары — красивый бой, но домашний. Может, ихнее колотье с фалылем? Ничтяк, на хитрую жопу есть хуй с винтом.

Я кричу:

— Бедно живете, господа воры!

Вынаю из чердака фабричный пулемет и ломаю ему целку. Играем коротенькую — любишь не любишь. Я загадываю, Мишанька бьет в лоб. Загадываю вторую — он бьет ее по соникам.

— Да что ты, — говорю, — в жопу ебанный, что ли?

Это я к тому, что есть такая примета, будто лидерам всегда везет в игре.

Он лыбится:

— Кто раз даст, другой раз даст — тот еще не пидораст.

Шпилим дальше. Проходит полчаса, и он меня приговаривает за все гроши. Я посылаю Николу за остатним прессом. Катаем по новой. Ебическая сила! Ты поверишь, Юрок, — из десяти талий я беру одну. Дыбаю, может, он фармазонит? Ни хуя подобного — играет справедливо. Меня в цыганский пот бросило! Шурик, где твое счастье?!. Посылаю одного пизденыша к Вике за шмотками. Толкую ему:

— Если будет спрашивать, как игра, — кричи: «в говнах».

Пацан вертается и таранит цельный сидор барахла, но хуй ли толку, если Мишаньке всю дорогу масть хезает? Бьет, падлина, и куши и семпеля. Через час я без ланцев — залысил все до последней тряпки.

Опять посылаю к Вике: у нас были заначены маленькие рыжие бочата с лапшой. Смотрю, она прется сама:

— Шурик, я погляжу?

А вся уже на галантинках. Я ее, конечно, нагнал:

— Лети отсюда метеором, проститутка, тебя еще тут не хватало!

Она оборвалась, а мы гадаем дальше.

Юрок, черное невезенье! Мне вспомнить страшно, как я летел. Бочата я делю на четыре ставки — и с почерку пропиваю. Сымаю с себя бостоновый френчик, кидаю на кон против летчицкого реглана. Воры кричат:

— Ставки неровные!

Неровные, дешевый ваш мир? Сблочиваю шкеры, отрываю на хуй одну штанину и кидаю на кон к френчику:

— Воры, теперь хватит?

Мишанька глазом не повел… Пропил я френчик, и ставить больше нечего. Мамочка, мамочка, в какой черный день ты меня родила!.. Мне не жаль ланцев, жаль игроцкой славы.

У меня еще оставался кисет — настоящий жиганский кисет, под вид клоуна. Вика сама мастырила: глазки, волосы. И надпись вышила хорошую: «Сука кури, вор хуй соси».

Я кидаю этот кисет. Мишанька ставит лакированные румынские прохаря на высоком каблуку. Воры кричат:

— Мишанька, ты охуел? Ставки неровные.

Мишанька порет мойкой переда и кидает на кон голяшки:

— Воры, ставки ровные?

Он тоже умел давить фасон… Прокатал я и кисет. Никола мне маячит: «Шурик, кончай!» А я уже совсем опизденел. Втыкаю в стол свой саксан — толковый саксан, с наборной ручкой:

— Идет в ста колах?

Мишанька кричит:

— Убери свое перо, может быть, оно обагрено воровской кровью. Не играю.

Я кричу:

— Бог, поверь мне сто рублей. Будет за мной.

Он лыбится:

— Играем на чистые. Прошли крыловские времена.

Я толкую:

— Ты что, охуел? Если я двину — пори меня за фуфло.

Он свое:

— Играю на чистые.

— Да кто ты, — кричу, — человек или милиционер? Дай мне мой шанс.

И тогда он толкует:

— Даю тебе твой золотой шанс: у тебя есть мара. Ставь ее за все вантажи, пытай свое сучье счастье. Проиграешь — пришлешь на ночь, а по утрянке забирай обратно. От нее не убудет.

Я хочу сказать — «лады», а у меня зубы не расцепляются, слова не могут выдохнуть. Я кивнул башкой, и он стал тасовать. Зырю на Николу — он белый, как печка. Наверно, думаю, и я такой. А, была не была! Назначаю даму крестей — Вика себе всегда на нее гадала. Мишанька делит, и мою даму убивают на последней карте. А мне уже и интереса нет. Все сразу как-то атрофировалось.

Вся хевра давит на меня ливер: чего я буду делать. А я встал и пошел из барака.

Прихожу к себе. Вика не спит. Увидела меня и кинулась:

— Щурик, что с тобой?

— Ничего. Собирайся.

— Куда?

— Собирайся. Я тебя проиграл.

— Шурик, ты в натуре?!

— В натуре у собаки красный хуй. Собирайся.

Она на колени, кричит:

— Шурик, что ты наделал? Как я пойду? Ведь я не блядь, не простячка. Ты лучше убей меня, как делали старые воры, пожалей меня.

— А, — говорю, — гадина, и ты против меня! Иди сейчас же, позорная падаль, иди, профура, пока я тебя на кулаках не вынес. Иди!

Она в рев и не идет. Я ее попутал за волоса и поволок. Втолкнул в барак и воротился к себе. В рот оно ебись, думаю. Зато никто не скажет, что Шурик поступил несправедливо.

Я лег и дохнул до обеда. Мой пацан три раза меня будил, но бесполезно.

В обед просыпаюсь и иду шукать Вику. В столовой ее нет, в бане тоже наны. Может, она обиделась и к себе перешла? Чимчикую в бабский барак.

Шалашовки кричат:

— Она не была.

Тогда я налаживаю своего помогайлу:

— На цырлах — найди мне Вику и волоки сюда.

Он толкует:

— Так, Шурик, Вика же в шалмане. Я думал, ты в курсе.

Я так и сел. Ебаные волки, неужели они ее пустили под трамвай? Ну, я им сделаю! Ботаю:

— Толик, кличь Николу, Сифона, Ивана Громобоя и еще кого найдешь. Чешите все к седьмому бараку. Мы им сейчас устроим Варфоломеевскую ночь.

Толик кричит:

— Шурик, бесполезняк. Она сама не хочет идти. Я с ней толковал.

Вот это номер! Нет, думаю, свистит пизденыш. Или не дошурупал чего-нибудь.

Иду сам в седьмой барак. Заваливаюсь в ихний куток и вижу, точно: Мишанька босой сидит на верхних юрцах, в рябчике, флотских клешах, а Вика рядом — и о чем-то между собой толкуют.

Я говорю:

— Вика, пошли домой.

Она молчит. Я по новой ботаю:

— Пошли, нехуя тебе здесь делать.

Она обратно молчит, а Мишанька мне ботает:

— Она никуда не пойдет, понял? Она моя жена и останется здесь. А ты вались отсюда, сукадло — твоего тут ничего нету.

Я ему толкую по-хорошему:

— Что ты делаешь? Ты же не будешь с ней жить, воры с сучками не шьются.

А он мне ботает:

— Ничего, жидовская вера полегчала — ты сам говорил. А зачем тебе Вика? У тебя же есть коза, у ней карие глаза — хватит

с тебя.

Все уже, блядь, знали за эту козу. Тут и остальные загавкали:

— Пес, лягашка, сучара! Собака, собака, на-ко тебе хуй!..

Но я на них поглядел, и они заткнулись. Я говорю:

— Ладно, я пойду. Но ты, Бог, еще попадешь в мой капкан. Ты у меня будешь бедный.

Он кричит:

— Уж больно ты грозен, сосал бы ты член! (Он матюками вообще не лаялся, брал моду с каких-то прежних немыслимых воров, которых не было и нет.) Чеши отсюда, вохровский кобель, пиратюга, стервятник!

А я ему ботаю:

— Я с тобой лаяться не буду. Я тебя в рот ебу.

Он кричит:

— Не тяни меня, сукавидло! Ты меня можешь оттянуть только зубами за залупу — и то с разрешения. Как тебя земля носит, как ты еще смотришь на честных людей и не лопнут твои падлючьи шнифты? За твоей шеей золотой колун ходит, утварь позорная, черная душа, подонок общества! Рви когти, пока живой, лагерная гниль, катюга, Малюта Скуратов!

А я ему ботаю:

— Я с тобой лаяться не буду. Я тебя в рот ебу.

Он кричит:

— Рвотный порошок, ходячая проказа, позор человечества! Где ты был в девяносто седьмом холерном году, сучий обсосок, кусок негодяя?

А я ему ботаю:

— Я с тобой лаяться не буду, понял? Я тебя в рот ебу, понял? Но ты еще проклянешь день своего рожденья. Я на тебя высплюсь. Я тебя буду хавать по пятьдесят грамм. Я тебе кишки вымотаю и на зоне развешу. Ты в пустыне Сахаре от меня не скроешься, и никакая экспедиция тебя не спасет. Запомни, Бог, — ты мой заяц, я твой охотник. Я еще напьюсь твоей крови. Это я, Шурик Беспредельный, тебе ботаю. Век свободы не видать!

Это старая божба, Юрок, и знающие воры ее уважают. Больше я не стал толковать и пошел в свою хаверу.

Валяюсь на койке день, два — никуда не хожу, даже поверку не делаю. Спать не могу, курю — табак мне, как трава, пью — вода вроде кислая. Думаю за Вику — чего ей, сучке, надо было?

Конечно, и я перед ней неправ: не к чему было на нее играть — но должна же она понимать, что я был в крайности. А когда человек в крайности, он помнит только свой понт.

В сорок третьем году я чалился в Лабытнанге. Там на каменном карьере ишачила бригада доходяг. Мороз зарядил —

заеби нога ногу: градусов на пятьдесят. Работяги накормлены по норме, одеты по форме: кто в телогрейке, кто в одеяле. Никто, конечно, не мантулит, а жмутся все к Ташкенту: костер все ниже, фитиль все ближе.

Конвою надоело их от костра трелевать, и он раскидал все поленья. Фитили сбились в кучу и уже шевелиться неспособны, в носу сопли позамерзали.

А тут как раз один шоферишка прогревал мотор. И как-то он, мудак, паклей припалил свой комбизон. Комбизон масляный и загорелся как свечка. Шофер по снегу катается, базлает на всю тундру. А блядские фитили бегают за ним и на этом костре грабки греют.

Ты понял? Взял я лом, разогнал их нахуй, сбил огонь… Но это я к чему? Чтобы ты убедился, чего делает человек в отчаянности. А Вика этого не поняла, оказалась такая же дешевка, как все.

Но все равно, я уже не мог без нее. На третий день меня вызывают в спецчасть. Я вылезаю из кабины, все от меня шарахаются. Иду по зоне страшный, как кровосос.

В спецчасти узнаю, что собирают этап на штрафную — прибыл наряд. Я с ходу записываю Мишаньку со всей пиздобратией, а сам выкидываю такую авантюру: вечером посылаю за статистом спецчасти Грейдиным и толкую ему:

— Мишаньку Силанова отставишь от этапа.

Он кричит:

— Шурик, не могу. Списки подписаны.

— Грейдин, перестань сказать. Ты меня кнокаешь? Или, может быть, ты меня в рот ебешь?..

Он был умный мужик и сделал все чин-чинарем: этап уходит, Мишанька один остается. Он крепко заметал икру, но держит фасон, ходит всюду под ручку с Викой.

Ходи, ходи, Бог, — недолго тебе боговать… Хляю до кума и раскидываю немыслимую чернуху:

— Гражданин начальник, Мишанька Силанов остался от этапа с целью, по сламе с Грейдиным. Он проиграл вас в карты и должен уплатить. У него уже и колун притырен где-то в зоне.

Кум был бздиловатый конек. Он кричит:

— Делай что хочешь, но найди мне этот колун. А Грейдина, мерзавца, — в лес, на общие работы!

Я ботаю:

— Колун я вам принесу в кабинет, но для этого мне надо потолковать с Силановым.

Через час Мишаньку в наручниках волокут в торбу. После отбоя я заваливаюсь к нему с Николой Слясимским и Толиком.

Кричу:

— Добрый вечер, Бог. Пришел с тебя получить. Чего ж ты молчишь? Ты ведь был такой развитой, языкатый…

…Юрок, он у меня в ногах валялся, сапоги целовал. Мы из него сделали мешок с говном, все косточки потрошили, поломали ребра. Подпоследок посадили жопой об цементный пол и оторвались.

Я велел Толику сказать в санчасть, что у Мишаньки припадок и он весь побился об стены, а сам пошел дохнуть. Между прочим, Мишанька еще часа три хрипел, дневальный рассказывал.

По утрянке меня будит Никола:

— Шурик, ебать мой хуй, горение букс. Мишанька врезал дубаря, и режим рюхнулся — под тебя копают, роются в задках.

Я ему ботаю:

— Не бзди, кирюха! Дальше солнца не угонят, меньше триста не дадут. Если что коснется, тебя с пацаном я по делу не возьму.

Но теперь я знал, что мне надо действовать быстро, потому что каждый момент меня могли замести.

Иду к Вике в барак. Бабы кричат:

— Она с девочками в КВЧ.

Было воскресенье.

Иду в КВЧ. Вика сидит с какими-то оторвами на скамейке и поют самые паскудные воровские побаски:

Ты не стой на льду, лед провалится,
Не люби вора, вор завалится…

Я ей маячу, она без внимания. Тогда я подошел, взял за руку, отвел ее и толкую:

— Вика, кончай придуриваться. За Мишаньку ты, конечно, знаешь, что он уже труп. Не сегодня завтра меня крутанут, и я уеду на штрафняк — скажи, ты меня будешь ждать?

А она, как будто не к ней касается, выдернула грабку и пошла к своей шалашне. Я кричу:

— Вика, учти, дело идет о моей жизни и о твой жизни.

А она лупится на меня, как гадюка, и вызванивает:

Я стояла на льду и стоять буду,
Я любила вора и любить буду.

Тогда я вытягиваю финяк, подхожу и порю ее прямо по глотке, аж кровь в морду прыснула.

Повернулся — в КВЧ уже никого нету, все рванули кто куда,

только скамейки поваленные, да Вика на полу, и весь пол в краске. Маленькая была, а крови много.

Сел я, достал кисет, сворачиваю, а руки — Юрок, ты план справлял? По плану человек чувствует, что костыли у него как трехметровые — а переступить порог не может. Руки длинные — а взять ничего нельзя. Так и я — знаю, что надо завернуть, а не умею. Посидел я, свернул все-таки и зашмолял.

— Шурик, а о чем ты в это время думал?

— Ни хуя я не думал. Я про гусенят думал. Когда я был пацан, меня мать приставила гусят пасти. А один гусенок был такой пидораст — никак не идет со всеми, обязательно отобьется. И очень доходной — уцепится за стеблинку, вырвет ее и сам на жопу хлопнется. Я с ним воевал, воевал, потом сгреб его в подол и несу. А он, падло, мне всю рубашонку обхезал. Я тогда взял пруток и давай его метелить. А гусыня надыбала это дело и ко мне. Как она меня понесла! И крылами, и клювом, и как хочешь. Спасибо, мать отняла, а то я уж думал — кранты мне. Я потом целый год заикался.

И вот я думаю: ебанный в рот, было же ведь время, когда я гусей боялся. Почему моя жизнь так повернулась?..

Глоссарий

а в натуре на отмазку — в самом деле для защиты;

актироваться с понтом — обмануть медицинскую комиссию и по акту быть освобожденным;

базлать — орать;

бакланье — хулиганы, наглецы (воры их презирают);

балалас — сало;

барыга — скупщик краденого;

бацилла — жиры;

ББК — Беломорско-Балтийский канал;

бегать по воле — воровать на свободе;

бегать по городовой — заниматься уличными кражами;

бердыч — посылка;

беспредельный душок — беспредельная отвага, сила духа;

бздиловатый конек — трус;

бимбер — спиртное;

бить ливер — смотреть;

бобочки — сорочки, рубашки;

босяки — воры, блатные;

ботать — говорить;

брать кабур — делать подкоп;

буби козыри — все в порядке;

быть в вантажах — быть в выигрыше;

вагонзак — спецвагон для перевозки заключенных;

в говнах — поровну;

в голяшке притырена шпага — в голенище спрятан нож;

вертят — арестовывают;

верхние рюмы — термин лесосплавщиков, здесь: фигурально — верхние нары;

в краске — в крови;

в краснухе катился за фрея — ехал в товарном вагоне, выдавая себя за фраера;

волокут по кочкам и по корягам — подвергают всяческим неприятностям;

волчок — смотровой глазок в двери;

вохровский — ВОХР, «вохра»: вооруженная охрана;

врезать дубаря — умереть;

в ста колах — в ста рублях;

в торбу — здесь: в карцер;

горение букс — мы погорели;
грабки на баш, на калган — руки на голову;
граверный карьер — гравийный карьер;

давить косяка — искоса смотреть;
дать набой — намекнуть;
двинуть — не отдать проигрыш;
делят — сдают карты;
дешевизна — женщина;
динтойра — древнееврейское слово, означающее «суд торы»— высшее воровское судилище;
додуть, дотумкать — додуматься, сообразить;
дохнуть — спать;
дубак — тюремный надзиратель;
духарики — отважные люди (часто иронически);

ебальник — рот, здесь: лицо;

жуковатые, жуки-куки и коки-наки (шутливо) — блатные, воры;

законники — полноправные воры;
замести — арестовать;
за ним колун ходит — т. е. воры приговорили к смерти (чаще всего могли зарубить топором);

кабина — отдельная комнатка в бараке;
кажите масть — объясните ситуацию;
как могерам — как важная персона;
капать — идти;
кандалы обосрал — побывал на царской каторге;
кандей — карцер, изолятор;
кант — легкая работа;
карячится — грозит, намечается;
катать — играть в карты;
качать права — выяснять отношения;
кирюха, керя, кореш — товарищ;
кешер — вещмешок или посылка;
кичман или кича — тюрьма;
кнацаю — смотрю;
кнокать — смотреть (иногда — уважать);
кодло — компания;
колонна — подразделение на лагпункте (несколько сот человек);

колотушки — карты;
кормушка — прорезь в двери камеры;
Коробицын — реальное лицо, нач. лагеря (Каргопольлага);
корочки — туфли;
костыли — ноги;
крутануть — арестовать, посадить в карцер;
КВЧ — культурно-воспитательная часть;
ксивы — документы, письма;
кум — оперуполномоченный;
Курилка — фамилия реального начальника лагеря на Соловках;
куска полтора — полторы тысячи;

ланцы — тряпки;
лепенец — костюм;
лепилы — врачи;
леплю горбатого — обманывать;
люди — воры (остальные: фраера, черти);

малы — ребята, парни;
мандро беляшка — белый хлеб;
мантулить — работать;
мара — баба;
марочка — носовой платок;
мастырит — мастерит;
маячит — делает знак;
мессырь — нож;
мора — цыган;

на галантинках — дрожит (как желе);
надыбать — заметить;
на кукане — на крючке;
на кухне свежее мясо — это метафора: кого-то зарубили или зарезали;
намотали на всю катушку — дали максимальный срок;
напою — обыграю;
нарядила — нарядчик, з/к, ответственный за назначение на работу;
на цырлах — живо, на цыпочках (букв.);
нотный — умелый, опытный;

обаловать любого чистодела — обыграть любого мастера;
обхезать — обкакать;
ОЛП — отдельный лагерный пункт;

отгулялся по цветной улице — перестал быть цветным, т. е. вором (выведен из закона);

отмел мойку — отнял бритву;

отшить кого-то вчистую — взять всю его вину на себя;

парашют — записка на веревочке, спускаемая из окна;

перо — нож;

пика — нож;

писка — лезвие безопасной бритвы;

подорваться на отказе — пострадать от взрыва не сработавшего раньше заряда аммонита;

политика — так называемый «политический зачес», как у Сталина;

полнота — то же, что «законники», даже с большим упором на безупречность репутации;

пори меня за фуфло — режь меня, как непорядочного;

порчаки — воры с испорченной репутацией;

по сламе — по дружбе;

по сошкам, куши и семпеля — тонкости игры;

похавать — поесть, покушать;

пошпилить — поиграть;

правила — участник воровского толковища;

пресс — пачка денег;

приземлить, землянуть — вывести из воровского закона, т. е. из корпорации, лишить прав;

притырен — спрятан;

пропуль — послание;

прохаря — сапоги;

простячка — проститутка;

псарня — тюремный надзор;

пулемет — колода карт;

пустить в казачий стос — ограбить (оказачить);

пустить под откос — то же, что приземлить;

пустить под трамвай — коллективно изнасиловать;

пыряться на рога — лезть на рожон;

раскидываю немыслимую чернуху — нахально вру;

расписуха — вышитая рубаха;

режим — начальник режима (тюремный чин);

режим рюхнулся — нач. режима спохватился;

рисануть — узнать;

родский — взрослый вор;

роются в задках — ворошат старые дела;

рыжие бочата с лапшой — золотые часики с цепочкой;

рыжие фиксы — золотые зубы;

рябчик — тельняшка;

саксаи — нож;
самый центр — самое отборное;
сбацать — станцевать;
сбить роги — осадить;
сблочить с себя — снять с себя;
СВВ — склад взрывчатых веществ;
семисекельная — вместо старого «семибатюшная»;
сибирский третист — приверженец одной из школ игры в стос (штосс пушкинских времен);
сидеть под вышкой — сидеть приговоренным к высшей мере наказания;
сидор — вещевой мешок;
СИЗО — следственный изолятор;
с кушем тебя нету — лучше тебя нет;
сладкое дело — сахар;
сменять червонец на сухаря — договориться с малосрочником, что тот за плату возьмет на себя длинный срок (червонец — 10 лет), а долгосрочник уйдет на волю под его фамилией;
смола — курево;
солдатская причина — липовый предлог;
сосаловка — голод;
с понтом на атанде — как будто он караулит;
с понтом он дохнет — как будто он спит;
справлять план — курить анашу (гашиш);
ссученый — ставший «сукой», т. е. вышедший из воровского закона и перешедший на сторону лагерной администрации;
стары, бой, колотье — карты;
суррогатка — ботинок из автопокрышки;

ташкент — костер;
тесак — нож;
толковище — выяснение отношений;
торбохваты — мелкие воришки;
трюм — карцер;
тырсануть — стукнуть, ударить;
тягануть — отругать;

ушел за нач. сано — бежал, выдавая себя за начальника сан. отдела;
фарт — везение;
финяк — финка;

фитилек — доходяжка;
фрей — фраер, т. е. не вор;

хавера — квартира, здесь: жилье;
харево на варево — любовь на еду;
харить, шворить — трахать;
хипеш — шум;
хлябал — проходил, считался;
хлестаться — хвастаться;
хобот — шея;
ховаю в скудо — прячу во внутренний карман пиджака;
чалиться — сидеть в тюрьме;
чеграш нетутэшний — залетная птица (видимо, из лексикона голубятников);
чердак — верхний наружный карман;
человечьего мяса не хавал — здесь: не имел дела с женщиной;
чимчиковать — идти;
чуни — башмаки из автопокрышек;

шалашня — женщины, бабье;
шалман — воровской барак;
шаляпинские права — у кого громче бас, тот и прав;
ШИЗО — штрафной изолятор;
шифранутъ — разоблачить;
шкеры — брюки;
шлюмка — суп;
шмолять — курить (иногда стрелять из…);
шнифты — глаза;
штевкать — есть, кушать;
штопорила — грабитель;
штрафняк — штрафной (строгорежимный) лагпункт;
щипач — карманник;

юрцы — нары;

я тебя работаю начисто — убью;

Восспоминание о рассказе

Я помню, как слышала этот рассказ в первый раз. До мелочей помню, хотя было это… (Отсчитаю от первого фильма года полтора — получается шестьдесят четвертый). Да, в шестьдесят четвертом мы с Ларисой Шепитько и с Валентином Ежовым сидели в Болшево, в нашем знаменитом, воспетом теперь во многих мемуарах доме творчества и работали над сценарием, а по вечерам слушали Галича, живого, сорокапятилетнего, написавшего тогда еще не очень много песен, так что мы все их уже знали наизусть.

И вот однажды, когда Галич все песни перепел и категорически отложил гитару и когда все с неохотой разбрелись по комнатам, прибегает Ежов и кричит громким шепотом:

— Пойдемте! Только — никому!.. Фрида и Дунского уговорили прочесть рассказ! Вы такого никогда не слышали и не услышите! Только — чтоб никто не увязался…

Пробираемся бесшумно, приходим в тесную комнату, где Галич вздремнул за спинами Фрида и Дунского, и видим, что при нашем появлении авторы как-то нахохлились, завяли и прячут рукопись. А тут еще Элем Климов, муж Ларисы, с режиссерской непреклонностью велит нам выйти вон. Нельзя женщинам — и все тут. Авторы — люди чрезвычайно вежливые, а с дамами вдвойне любезные, улыбаются уклончиво — мол, мы барышням очень рады, вы сидите, сидите, но пусть лучше Александр Аркадьич споет. И надо бы нам уйти, не портить людям вечер, не ссориться с Климовым, не показывать себя настырными хабалками, но мы — сидим, мы внедряемся, мы видим их неистощимое джентльменство и пользуемся. Я канючу:

— А может быть — мы уши закроем? — под общий, разумеется, хохот. И тут прогрохотал Ежов:

— Да как вам не стыдно, да какие же это женщины?! Они не женщины, они ВГИК закончили, они пишут, снимают, им все можно, скажи, Саша!

Галич проснулся и подтвердил, что мы не женщины, нам все можно, и большинством голосов ведено было читать.

Честно говоря, мы были как раз те девушки из благовоспитанных слоев общества, где не матерятся вообще, а блатной мир представляют не реальнее Змея Горыныча, и нам бы как раз и падать в обморок, Климов не зря беспокоился, он думал — мы и слов-то таких не знаем. Но мы не упали. Более того, оказалось, что слов, которых бы мы не слышали прежде, очень мало. Валерий Семеныч Фрид читал артистически, а Юлий

Теодорович Дунский делал сноски, пояснял блатную лексику так быстро, что не нарушал волны повествования. Оно нас захватило сюжетом, героем, кинематографической зримостью и стройностью, и напрасно авторы, словно оправдываясь, предваряли чтение извинениями — мол, это словесный эксперимент, чтобы не забыть лагерную речь — мы записали…

То было время, когда мы еще не читали Солженицына, когда едва возник Высоцкий и сочинял каждый день по новой песне для узкого круга друзей, но еще не нашел своего хриплого голоса. То время, когда «интеллигенция поет блатные песни», оказалось лучше, чем когда она вовсе петь перестала.

Осенью 1968 года, на очередном семинаре, мы снова стали уговаривать Фрида и Дунского прочесть рассказ. Маша Хржановская (организатор и душа нашего тогдашнего семинара) обратилась к Дунскому, так сказать, «на голубом глазу»: «Вот мы слышали, и многие хотят…» Глаза у Маши действительно голубые, обращение деликатное, но Дунский ответил полным отказом: «Нет, мы при дамах никогда это не читаем». «А вы знаете, кто хочет послушать рассказ? Николай Робертович Эрдман…», — сказала Маша, и не успела она назвать имена других «стариков» — Вольпина и Каплера, как Дунский вытянулся (а был он очень сутулый) и безоговорочно согласился. А там и мы прошмыгнули за спинами стариков — мы с Ильей Авербахом и Маша.

То было очень важное чтение: старики «знали матерьял», они получили свои сроки задолго до Фрида и Дунского, в комментариях и переводе с блатного они не нуждались. Они очень высоко оценили рассказ. Представляю, как бы смеялись, если б узнали, что этот рассказ дословно напечатан, — Ю. Т. Дунский, А. А. Галич, Н. Р. Эрдман, М. Д. Вольпин, А. Я. Каплер, И. А. Авербах, Л. Е. Шепитько.

Может, они и смеются, и все им известно про нас.

Кинодраматург Н. Рязанцева

comments

Комментарии

1

У моего любимого Феллини одно название я украл уже давно: воспоминания о Каплере и Смелякове, опубликованные в альманахе «Киносценарии», озаглавлены «Амаркорд-88». С легкими угрызениями совести краду второе. 58 — это «политическая» статья старого УК, в которой было полтора десятка пунктов. Наш, восьмой — «террор» — как раз посередине, на полпути *(здесь и далее комментарии и примечания автора).*

2

В военкомате, конечно, знали, что по дороге в часть нас арестуют. Вот почему, когда я пришел за документами, в комнату сбежались сотрудники из других отделов. Они смотрели на меня с интересом, а сейчас мне кажется, что и с жалостью — по крайней мере один из них, интеллигентного вида еврей капитан.

3

«Здесь Гёте ошибается». Им приходилось арестовывать и не таких: Юлик Дунский вел себя еще глупей. Когда его привезли на Лубянку и ввели в кабинет, где сидели два подполковника и майор, один из офицеров сказал:

— Ну, товарищ Дунский, догадываетесь, почему вы здесь?

И он решил, что его как добровольца, да еще знающего немного немецкий язык, хотят послать в школу, где готовят разведчиков. Он тонко улыбнулся и ответил:

— Догадываюсь.

— Тогда садитесь и пишите показания о своей антисоветской деятельности.

— Пардон, — сказал Юлик. — Тогда не догадываюсь.

Происходил этот разговор 15-го апреля 1944 г.

4

Шинель мне досталась так. Когда я в первый раз отправился в армию, отец, подполковник медицинской службы, дал мне свою офицерскую. На Ярославской пересылке я ее проиграл в очко приблатненным ребятам-разведчикам и получил на сменку новенькую солдатскую. Тогда я огорчился, а ведь оказался в выигрыше: солдатская шинель в сто раз удобней для походной — и тюремной — жизни. В отличие от офицерской, она не приталена. Расстегнешь хлястик — вот тебе и одеяло, и матрац. В тот первый раз из Ярославля меня вернули в Москву, «в распоряжение военкомата», а через несколько дней послали в Тулу. Куда я приехал, уже известно.

5

Карцеры, в которых я побывал на обеих Лубянках, это каморки в подвале, примерно метр на полтора, без окна, с узенькой короткой скамейкой, на которой и скрючившись не улежишь. Дают 300 граммов хлеба и воду. На третий день полагается миска щей. Но забавная и приятная деталь: по какому-то неписанному правилу — скорей всего, традиция царских тюрем — эту миску наливают до краев. И дают не то, что в камеры — одну гущу!.. Говорят, были карцеры и построже — холодные, с водой на полу. Но я в таких не сидел.

6

Про эпизод с окном, выходящим не туда, мы с Дунским рассказали Алову, Наумову и Зорину. К нашему удовольствию, они использовали его в своем сценарии «Закон».

7

«Якобы, клеветнически»— главные слова в протоколах. Если кто-то утверждал, например, что Сталин диктатор, то утверждал, разумеется, «клеветнически», а слово «диктатор» предварялось обязательным «якобы» — словно составляющий протокол дважды открещивался от богохульника: чур меня, чур!

8

Они отправили в лагеря не одних мальчишек. По делу проходили еще три девчонки и одна пожилая женщина. Вот состав участников «группы»:

1. Сулимов Владимир Максимович. К моменту ареста инвалид войны, помощник режиссера на «Мосфильме» (Поступал во ВГИК, но не прошел: сказал на экзамене Григорию Александрову, что ему не нравятся его комедии). Получил 10 лет с конфискацией имущества. Умер в лагере.

2. Сухов Алексей Васильевич. Умнейший был парень, наверно, самый одаренный из всех — но не простой, «с достоевщинкой». Получил 10 лет, умер в лагере. Вскоре после нашего ареста на Лубянку попал и Лешкин младший брат, школьник Ваня. Этому повезло больше: отсидел свое и вернулся домой — возмужавший, красивый.

3. Гуревич Александр Соломонович. Перед арестом — студент-медик. Отбыв 10 лет в лагере (где познакомился со своим тезкой Солженицыным) и еще два года на «вечном поселении», вернулся в Москву и переменил профессию — стал экономистом. До тюрьмы был женат, но жена не дождалась его. Шурик женился снова: сначала в ссылке на очень славной полуяпонке-репатриантке. Потом развелся и женился на москвичке. Уехал с ней и маленькой дочкой в Израиль, где и умер — на десятый день новой жизни.

4. Дунский Юлий Теодорович. Мой одноклассник. Как и я, до ухода в армию — студент сценарного факультета ВГИКа. 10 лет в лагерях и 2 года на «вечном поселении». Вернувшись в Москву, мы закончили институт и стали сценаристами. Женился Юлий поздно, но счастливо. В последние годы жизни он тяжело болел (астма и последствия лечения кортикостероидами), очень страдал и в марте 1982-го года застрелился, не дожив четырех месяцев до 60-ти лет.

5. Фрид Валерий Семенович. Это я. 10 лет в лагере и два — в ссылке.

6. Михайлов Юрий Михайлович. До ареста студент-первокурсник режиссерского факультета ВГИКа. Ему ОСО дало поменьше: восемь лет. Отбыв срок, вернулся в Москву совсем больным и вскоре умер.

7. Бубнова Елена Андреевна. До ареста — студентка ИФЛИ. Срок — если не ошибаюсь, 5 или 7 лет — отбывала не в лагерях, а на Лубянке. После освобождения работала в московском Историческом музее, ушла на пенсию — а в этом году, я слышал,

умерла.

8. Левенштейн Виктор Матвеевич. До тюрьмы — студент Горного института. Школьное прозвище «Рыбец» (мама имела неосторожность назвать его при одноклассниках рыбонькой). В протоколах это превратилось в подпольную кличку. Получил пять лет, отбыл их. Работал в Москве, канд. тех. наук. Эмигрировал в США.

9. Таптапова Светлана — отчества не помню. Срок пять лет. Сейчас, насколько мне известно, в Москве, логопед, доктор медицинских наук.

10. Каркмасов Эрик. Об этом своем «сообщнике» ничего, кроме имени, не знаю: ни разу в жизни не видел. Он был приятелем Сулимова. Получил, кажется, пять лет.

11. Ермакова Нина Ивановна. До ареста студентка Станкоинструментального института. Срок — три года. Попала под амнистию 1945-го года; освободившись из лагеря, была выслана в Бор, пригород Горького. Там познакомилась со своим будущим мужем — тогда доктором физико-математических наук, а теперь академиком В. Л. Гинзбургом. Живет в Москве; мы дружим и время от времени видимся.

12. Левин Михаил Львович. Он на год старше остальных и к моменту ареста кончал физфак МГУ; несданным остался один только экзамен. Изъятая у него при задержании «Теория возмущений» очень обрадовала чекистов, но оказалось — математический труд. Миша получил 3 года. Срок отбывал на одной из «шараг» — спецлабораторий. В 45-м освободился по амнистии, был сослан в Бор; потом работал в Тюмени, затем в Москве. Профессор, доктор физико-математических наук, отец трех детей. Эрудит и человек многих талантов, он был всю жизнь окружен друзьями, поклонниками и поклонницами. Этим летом умер — несправедливо рано.

13. Коган Марк Иосифович. В детстве его звали Монькой (а в протоколы вошло: «подпольная кличка — Моня»). До тюрьмы — студент юридического института. Получил 5 лет, отбыл их, работал юрисконсультом в Кзыл-Орде, окончил заочно два института. Женился на девушке, с которой познакомился в лагере. Сейчас женат на другой; отец двух детей и дед двух внуков, а кроме того кандидат юридических наук и один из самых авторитетных московских адвокатов.

14. Сулимова Анна Афанасьевна, мать Володи. Ее отправили не в лагерь, а в ссылку, где она страшно бедствовала — по словам моей мамы, даже милостыню просила. В наше «дело» она попала, по-видимому, из-за того, что дома у них хранились драгоценности — приданое ее сватьи, матери Лены Бубновой. Та,

говорили, до того как выйти за революционера, была замужем за кем-то из миллионеров Рябушинских. Ленину мать посадили заодно с Бубновым: драгоценности остались дочери. А Володина мать уцелела. Она вела хозяйство, изредка продавая по камешку: деньги нужны были — ведь война, цены на продукты бешеные. Будь Володькина воля, он бы живо разбазарил все богатство — проел и пропил бы вместе с нами. Но мама не позволила. Чекисты об этом знали и конфисковали драгоценности, не оставив на воле никого из Сулимовых. Просто и остроумно.

Наверное, нужно объяснить, почему Особое Совещание — ОСО — не стригло всех под одну гребенку: в нашем деле мера наказания варьирует — от 10-ти с конфискацией до ссылки.

Во-первых, даже для правдоподобия надо было выделить «террористическое ядро»— это те, кому влепили по червонцу.

Во-вторых, Левина, скажем, и Когана арестовали месяца на три-четыре позже, чем нас, главных. Они были морально подготовлены и не стали подписывать, как мы, все подряд. И восьмой пункт с них сняли.

В-третьих, за Мишу Левина и Нину Ермакову хлопотал академик Варга, бывший в большом фаворе у Сталина. Дочь Варги Маришка была ближайшей подругой Нины, а Мишина мать, член-корреспондент Академии Наук Ревекка Сауловна Левина, работала вместе с Варгой. К слову сказать, ее тоже посадили — несколько погодя, по так называемому «аллилуевскому делу». Ревекке Сауловне пришлось куда хуже, чем нам: на допросах ее жестоко избивали, вся спина была в рубцах. На свободу она вышла полным инвалидом, уже после смерти Сталина.

И еще — маленькое примечание к примечаниям. Я пишу по памяти и заранее приношу извинения за возможные неточности — в отчествах, названиях учреждений и т. п. Заодно хочу исправить чужую неточность. О нашем деле мне встречались упоминания в нескольких публикациях. И во всех — одна и та же ошибка: Володю Сулимова называют сыном «репрессированного в 37-м году председателя СНК РСФСР Дан. Ег. Сулимова». Но наш-то не Данилович, а Максимович. Его отец был работником не такого высокого ранга, как однофамилец, — но достаточно ответственным, чтобы удостоиться расстрела.

9

Не так давно я получил письмо из Инты от незнакомой женщины. Она прочитала в «Экране и сцене» отрывок из моих воспоминаний и добавила от себя несколько нелестных слов в адрес Аленцева. А постскриптум был такой: «Не успела отправить письмо, и вот какая новость». Новостью оказался некролог в интинской газете «Искра».

Это значение слова «параша» широко известно с дореволюционных времен. Но есть и другое, советское. Параша — это лагерный слух, утка.

11

В песенке правоверный еврей рассказывает, как он построил себе праздничный шалашик, «кущу». Сотворил молитву, зажег свечу и увидел чудо: огонек на ветру не гаснет, горит тихо и ровно.

12

Когда я писал эту главу, мой сокамерник был жив. (И Брест был нашим, а не белорусским.) А полгода назад Олави умер. Его вдова Лида прислала мне нью-йоркскую метрику мужа и просьбу поинтересоваться в американском посольстве: не помогут ли вдове соотечественника материально? Пенсия-то у нее мизерная… Я приложил к Лидиному письму свой рассказ о судьбе Олави Окконена, и знакомая девушка американка снесла документы в посольство.

Казалось бы, после всех газетных кампаний по розыску американцев — иногда мифических, — сидевших или погибших в сталинских лагерях, посольские должны были отнестись с вниманием. Ничего подобного! Чиновник отреагировал так: «Где этот Брест? В Белоруссии? Пускай обращается в наше посольство в Минске». Что тут скажешь?.. Бюрократы всех стран, соединяйтесь!..

13

Лет через семь, уже на свободе, я случайно увидел это экзотическое имя в каком-то иллюстрированном журнале. Подпись под фотографией гласила: «Занятия ведет преподаватель физкультуры 57-й московской средней школы Джемс Ахмеди». Значит, и он вернулся? А может, повезло — не успели посадить.

14

Рассказ о встрече с Козиным был напечатан в альманахе «Киносценарии» (№ 1, 1992 г. В. Фрид — «Не пайкой единой»).

15

«Все возвращается на круги своя». Говорят, пересыльный корпус в Бутырках снова перестраивают: переделывают в храм Божий.

16

Нянька была личностью незаурядной. Заядлая курильщица, она собирала на тротуарах окурки, вытряхивала остатки табака и сворачивала цигарку. Боясь, как бы она не подхватила какую-нибудь гадость и не заразила ребенка, мама давала ей деньги на папиросы, но это не помогало: окурки казались няне слаще. У нее были и другие, такие же независимые взгляды на жизнь.

— Елена Петровна, — говорила она маме, — любви нет. Есть только страсть.

17

Отвлекаясь от политики, скажу, что в фильме Астангов играл вора Костю Капитана просто замечательно. Худой, нервный, даже истеричный — сколько точно таких я повидал за свой срок! Но Астангов-то не сидел… В вахтанговском спектакле Раппапорт, играя Костю, повторял своего Фильку-анархиста из «Интервенции», т. е., мастерски лепил забавную, но совершенно условную фигуру. А что касается достоверности самого сюжета — «перековки» рецедивиста, — тут фильм и спектакль друг друга стоили. Уверен, что драматург Погодин не кривил душой сознательно. Скорее, это было, выражаясь языком юристов, «добросовестное заблуждение»— как у всех у нас тогда.

18

«Побиск» — это еще что! Во дворе у Юлика Дунского жил мальчик, которому его сознательные родители дали и имя идеологически выдержанное, и фамилию — Догнатий Перегнатов. (Тогда в моде был лозунг «Догнать и перегнать Америку».) Дворовые ребята звали его Догонялкин. Но мучился он от родительской глупости не долго: погиб на войне. А сколько было Социал, Индустриев, Интерн, Энергий! Загляните хотя бы в справочник Союза Кинематографистов.

19

В 59-м году Юлик Дунский услышал в подмосковной электричке, как эту «Сюзанну» с бутырскими словами поют совсем молодые ребята. Спросил, откуда знают. Ему объяснили: а ее на всех армейских сборах поют. Юлик был польщен.

20

Мастырка — от слова мастырить, т. е., мастерить, делать. Так называется, скажем, искусственная язва: ее можно сделать на руке соком лютика едкого, а можно прижечь папиросой головку члена — проходит за сифилитическую язву. Можно вызвать флегмону, продернув через кожу нитку, намоченную в керосине или на худой конец выпачканную зубным налетом. Можно насыпать в глаза истолченный грифель химического карандаша — получится сильнейший конъюнктивит… И так далее — до бесконечности. Цель мастырщика — получить освобождение от работы, а то и попасть в лазарет, отдохнуть.

21

Настоящий Мацуока был министром иностранных дел довоенной Японии — тем самым, кого Сталин после переговоров в Москве самолично, в нарушение протокола, проводил до вагона. Видимо, на радостях: обдурил очкастого, подписал договор, по которому обязывался не нападать на Японию — а ведь знал, что нападет. И напал-таки, в сорок пятом. Это как в старой шутке: хозяин своему слову, хочу дам, хочу возьму назад. А что касается Мацуоки-Эльштейна, кто-то из его знакомых уверял меня, что это он, а не Арк. Белинков, писал «роман в сомнениях». Но я точно помню: Сулимов говорил о Белинкове. Впрочем, какая разница? Посадили-то обоих.

22

Кандей — карцер (он же торба, он же трюм, он же пердильник). Отвернуть — украсть, угол — чемодан. Битый фрей (или битый фраер) — не вор, но авторитетный опытный лагерник. Таким был сам Якир: никогда «не ставил себя блатным», но бывал допущен к воровским толковищам.

Феня — по-старому «блатная музыка» — заслуживает отдельного разговора. Здесь скажу только, что с удивлением прочел в латвийском журнале комментарии автора к составленному им же — с хорошим знанием дела — глоссарию. Перенося свою вполне заслуженную неприязнь к блатным на их язык, он отказывает фене в выразительности, считает ее тупой и безобразной. Мы с Ю. Дунским так не думали. Есть в блатном жаргоне и юмор, и образность:

Последний хуй без соли доедаем — живем голодно;

Ударить по старому рубцу — совокупиться (с женщиной);

Или всем известное «надеть деревянный бушлат».

Под влиянием фени формировался и общелагерный язык:

Фитиль — доходяга (потому что «догорает»); лебединое озеро — компания доходяг (доходить имеет много синонимов, в том числе поплыть).

Интересны и источники, часто самые неожиданные, за счет которых феня пополняет свой словарный фонд, среди них даже иврит:

кешер, ксива, хевра, динтойра («суд торы» — так называлось всесоюзное толковище, высший воровской суд чести.)

Интересующихся могу отослать к нашему с Юликом рассказу «Лучший из них» (журн. «Киносценарии» № 3, 1992 г.)

23

И последнее примечание к главе «Церковь». Я написал ее в городе, название которого начинается с той же буквы «Ц» — Цинциннати, штат Огайо. Мы с женой Мариной гостим у дочки Юли. Жарко. В соседней комнате капризничает по-английски внук Сашка, скулит вполне по-русски лабрадор-ретривер сучка Люси, орет двухмесячная Франческа-Габриелла, она же Гаврюша-Хрюша — а я сижу в трусах и вспоминаю… (Юлик Дунский сказал бы: «Давно ли по помойкам ползали?»)

24

Сладкое дело — сахар (он же сахареус, сахаренский), а бацилла — масло или сало. Бацильный — толстый, жирный (про человека). Слова из интеллигентского лексикона феней переиначиваются — иногда просто для смеха, а иногда очень выразительно. Например, атрофированный — потерявший совесть.

25

Пустить в казачий стос, оказачить — ограбить, отнять силой.

Все эти сведенья относятся к сороковым годам. Уже в начале пятидесятых мы услышали, что в бытовых лагерях появились «масти», новые воровские касты. У нас в Минлаге их не было. А из категорий, которые существовали в мое время, я не упомянул «отошедших». Это воры, по тем или иным причинам «завязавшие», покончившие с воровской жизнью, но к сукам не примкнувшие. Их не одобряли, но терпели.

27

Термин «мокрое дело»— убийство — в воровском жаргоне бытует с незапамятных времен. А вот глагол «замочить» — в смысле убить — появился сравнительно недавно.

28

Дух, душок — по-блатному отвага, сила характера.

У Сергея Довлатова, в «Зоне», зеки поют:

Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус…
Хотел судьбу пытать бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.
Зачем же ты, судьба, моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон столыпинский и шум колес.

Этих двух красивых куплетов я нигде не слышал. Подозреваю, что придумал их сам Довлатов. Что ж, честь ему и слава — и не только за это.

Вообще же у лагерных песен очень много вариантов — и мелодий, и слов. На три разных мотива поют «Течет речка да по песочку», а в тексте известного всем «Ванинского порта» есть такое разночтение:

вариант А)

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь,
Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.

вариант Б)

Я знаю, меня ты не ждешь.
Под гулкие своды вокзала
Встречать ты меня не придешь —
Мне сердце об этом сказало.

30

Кого-то удивит: откуда в камере ножи? Ведь обыскивают, наверно? Обыскивают, и очень тщательно. Но если сунуть нож в подушку, его не так просто обнаружить: чем больше вертухай мнет ее в руках, тем плотнее перья сбиваются в комок. Для страховки блатной свою подушку с запрятанным в нее ножом давал пронести какому-нибудь безобидного вида старичку: того сильно шмонать не будут.

31

Серегин не был блатным. И на воле, и в лагере он работал бухгалтером — невысокий спокойный человек с тихим голосом. Но вот глаза!.. После знакомства с Иваном я понял, что определение «глаза убийцы» это не выдумка романистов. Он явно был психопатом: при малейшем противоречии впадал в бешенство и кидался на обидчика, как бультерьер. Серегин имел уже две или три судимости — каждый раз за попытку убийства, удивлявшую судей своей немотивированностью.

32

ГУЛАГ — Главное Управление Лагерей. Узнав от Солженицына эту аббревиатуру, сегодняшние авторы — особенно западные — употребляют ее неправильно. Наверно, по ассоциации с немецким «шталагом». Отправляли не в Гулаг, а в Каргопольлаг, Ивдельлаг, Сиблаг, Севдорлаг и т. д. Исправительно-трудовые лагеря — ИТЛ. Отдельный лагерный пункт назывался ОЛП. Так и говорилось: на седьмом ОЛПе, на нашем лагпункте, в лагере… А ГУЛАГ упоминался только в деловых бумагах.

33

Ствол сваленного дерева называется «хлыстом». Там же в лесу его распиливают на шестиметровые бревна — «баланы». По-фински балан — кусок: наверно, у финнов-лесорубов и переняли название.

34

Когда я рассказал про Сульфидинова и Парашютинскую Мише Левину, эрудиту, он тут же вспомнил, что при Иване Грозном состоял дьяк по фамилии Велосипедов, хотя велосипедов тогда не было (Велосипедов в переводе с латинского значит Быстроногов).

35

Малолетка — паренек или девушка моложе 18-ти лет. Термин имел и собирательное значение: весь несовершеннолетний контингент называли «малолетка». Говорили: «пришла этапом малолетка», «малолетка совсем обнаглела». Они официально пользовались некоторыми послаблениями — на особо тяжелые работы не посылали, рабочий день был короче.

В большинстве это были уголовники, и их опасались куда больше, чем взрослых воров. У тех были хоть какие-то сдерживающие центры, а малолетка из кожи вон лезла, чтоб заслужить одобрение паханов. Юлик Дунский однажды попал учетчиком в бригаду малолеток, и они ему сильно портили жизнь — крикливые, несносные, как стая злобных обезьян. Когда стало совсем уже невтерпеж, Юлик схватил одного, по кличке Ведьма, за шею и сунул головой в печь (дело происходило в вицепарке, где готовят вицы — прутья, которыми вяжут плоты на сплаве).

Малолетка завизжал, завопил:

— Ой, глаза!.. Глаза лопнули!

Юлик выдернул его из топки и выяснилось, что глаза у Ведьмы не лопнули, но ресницы и брови обгорели. После этого случая к Юлию никто не лез.

36

Ломали и не таких… Мой школьный товарищ, сын генерала авиации А. А. Левина, расстрелянного в июне 41 года, познакомился с делом отца — пробился-таки на Лубянку. Он сделал выписки из протоколов. Я читал, и плакать хотелось: какие люди! Боевые летчики, Герои, Дважды Герои Рычагов, Лактионов, Смушкевич, а с ними и сам Левин, признавались, что работали на немецкую разведку, что завербовали друг друга, что занимались вредительством, что… Господи!.. Шурик сделал выписку и из показаний Берии: «Его сильно побили» (это, кажется, про Лактионова). «Сильно…» Как же их лупцевали, что с ними вытворяли, если сломались все! Себя не так жалко, как их.

37

Замечено, что лейтенанты — ну, может быть, и капитаны — в лагере приживались, пробивались на хорошие должности. А подполковники и полковники — нет. Неужели, чем дольше в армии, тем меньше у офицера инициативы и энергии?

38

Мира Уборевич-Боровская рассказала мне недавно, что вернувшись из первого заключения, Якир и им со Светланой Тухачевской признался, что его в лагере завербовали. Каялся, плакал… В отношении же «диссидентского периода» Юлий Ким, я знаю, придерживается версии, не совпадающей с моей. Достаточно критично относясь к своему покойному тестю, он считает, что отбыв второй срок, Якир не стучал, а своей диссидентской деятельностью старался отмыть старые грехи. А что на Красную площадь не пошел — так это он просто струсил. Мне, честно говоря, не верится.

39

Не совсем к месту, но расскажу. В Минлаге мы познакомились с абсолютно русским человеком — курносым, белобрысым, окающим, — который по документам числился евреем. Он сам при первой паспортизации тридцатых годов просил вписать в пятую графу чужую национальность.

— А зачем? — спросил его Юлик.

Лже-еврей слегка смутился:

— Думал: вроде иностранец, девушки хорошо относятся.

(В те годы и советская власть неплохо относилась.)

40

Лагерное начальство с прямо-таки детской наивностью поощряло самые фантастические проекты зеков в надежде погреть руки на чужом костре. Так, на 3-м лаготделении Минлага заключенный художник Коля Саулов (ст. 58-1б, срок 25 и 5 по рогам) лепил из пластилина макет скульптуры «Флагман Коммунизма»: корабль, на носу Сталин в развевающемся чайльд-гарольдовом плаще, а по бортам — дети разных народов, в пол-сталина ростом, тянут к нему ручонки. Начальник шахты 13/14 дурак Воробьев освободил Саулова от других работ и даже дал ему двух подручных. Но неожиданная смерть флагмана испортила все дело.

Там же на 13/14-й был зек, составлявший словарь русского языка, где должны были разместиться все слова в алфавитном порядке — но не по первой букве, а по последней. Начальство и к этой идее проявляло благожелательный интерес. Мне она казалась бредом, но говорят, такие словари существуют.

Нормальному человеку, живущему в нормальном мире, эта готовность продаться представляется отвратительной. Но девушки попадали в ненормальный, уродливый мир с перевернутой моралью. И не надо строго судить безымянную сочинительницу частушки:

От барака до барака
Шарики катала.
Если б не было пизды,
С голоду б пропала!

Это не аморальность, это спасительный цинизм — близкий к юмору висельников. А кроме того, лагерные отношения между полами не проституция и никак уж не блядство. Скорее, это были браки по расчету — а иногда и по любви.

Беременели женщины не часто: и кормежка не та, и моральное состояние играет, наверное, роль. Но у бытовичек-малосрочниц была надежда на специальную амнистию для мамок. Время от времени такие амнистии случались.

В нашем лагере беременным было не так уж худо. На последних месяцах их переводили на легкую работу, давали дополнительное питание. Рожать они уезжали на Островное — лагпункт мамок. Там ребеночка помещали в Дом младенца за зоной. Мать водили кормить его положенное количество раз.

Плохое начиналось через 2–3 года, когда малыша разлучали с матерью и отправляли в детдом. Впрочем, адрес детдома матерям давали. Некоторые после освобождения разыскивали своих детей и забирали.

42

Только недавно я узнал, что этот текст «Журавлей» — несколько искаженное стихотворение Алексея Жемчужникова, написанное на берегах Рейна аж в 1871 году

43

Когда мы с Юликом встретились в «Минлаге», он припомнил эту историю по конкретному поводу. В Инте тоже стрелок охраны, краснопогонник, согрешил с заключенной. Но тут романтикой и не пахло, какое там — гиньоль!.. Женщина забеременела, рассказала об этом отцу будущего ребенка, и он запаниковал: в «Минлаге» ведь сидят враги народа, и она такая же. Его по головке не погладят… Чтоб избежать неприятностей, он выстрелил в нее — когда конвоировал бригаду. Выстрелил и передвинул колышек с табличкой «Не подходи, стреляю!»— так что женщина оказалась в запретной зоне: попытка к бегству. Она умерла не сразу, кричала, мучилась, а он, совсем ошалев, никому не давал подойти к ней — даже случившейся рядом надзирательнице. Так и погибла от потери крови… Мерзавца судили: слишком много было свидетелей.

44

Здесь я немного грешу против истины: Юлий Дунский и сам пытался покончить с собой — в кировском тяжелом лагере. Его совершенно несправедливо посадили в карцер. И он, вспомнив мой бутырский опыт, разломал стёклышко очков и вскрыл себе вену на локтевом сгибе. Ему это удалось лучше чем мне: он повредил еще и артерию. И развлекался тем, что сгибал и разгибал руку: разогнёт — кровь бьёт фонтанчиком на белёную стенку… Кровавый узор увидел, заглянув в глазок, надзиратель. К этому времени Юлик был уже без сознания. Его забрали в лазарет, с трудом выходили. Больше он этой попытки не повторял — до 23 марта 1982 года, когда, измученный болезнью, застрелился из охотничьего ружья.

45

Мне кажется, одинаково со мной «дышал» писавший о лагере покойный Яков Харон. А вот о жене Харона, Стелле (Светлане) Корытной кто-то мне сказал:

— Что за человек! Восемь лет просидела, а ничего смешного рассказать не может!

(Грех смеяться: она ведь тоже покончила с собой — на воле).

Бытие, конечно, определяет сознание — но и сознание в известной степени определяет бытие, хотя бы позволяет — если воспользоваться боксерской терминологией — «лучше держать удар».

46

Свинарка Верочка Лариошина рассказала мне: когда получила срок (не очень большой, по бытовой статье), её парень сказал на последнем свидании:

— Вера, в лагере ты, конечно, будешь с кем-нибудь. Это я разрешаю, по-другому там не прожить. Но если забеременеешь, я тебе не прощу: значит, ты отдавалась с чувством.

Над этим довольно распространенным поверьем — что беременеют только, если «кончают вместе» — я тогда посмеялся. Но вот недавно прочитал в газете, что американские ученые экспериментально установили: одновременный оргазм очень повышает шансы на зачатие.

Верочка вышла на свободу, не забеременев. Она была очень хорошенькая — голубые глаза, длинные ресницы — но боюсь, ничем не истребимый запах свинарника отпугивал кавалеров.

47

К немногим преимуществам лагеря я бы отнес свободу, которой там пользовались те, кого сейчас называют «представителями сексуальных меньшинств». Паша-педераст ни от кого не скрывал своих пристрастий. Ему нравились рослые мужественные мужчины. Лешка Кадыков, командированный на Чужгу в качестве бесконвойного тракториста, со смехом рассказывал:

— Представляешь, Валерий Семеныч, Паша хотел, чтоб я загнал ему дурака под шкуру.

Леша это предложение отклонил, а другой тракторист, кажется, Серега Мартышкин, пошел Паше навстречу.

48

Грамотных на штрафняке было не густо, и меня сразу взяли в бухгалтерию. Начальником лагпункта был офицер со странной фамилией Цепцура. (Или Сцепура?.. Нет, Сцепура это старший агроном на 15-м). Цепцура откровенно пренебрегал рекомендациями оперчекистского отдела и на все хозяйственные должности ставил контриков. Эти, говорил он, воровать не будут.

49

На Инте, в Минлаге, такого быть не могло. Во-первых, там стояли возле каждого барака так называемые «писсуары ночного времени» — сооружения из снежных кирпичей, нечто вроде эскимосского иглу, но без крыши. А во-вторых, к тому времени Черноброва уже не было в живых: зарубили топором блатные.

50

Директором ГВИ им. Броннера был сам профессор Броннер — пока его не посадили в 37-м году. Такое тогда практиковалось. Имею в виду не аресты, а то, что учреждениям присваивались имена их руководителей. Так, Мейерхольд руководил театром им. Мейерхольда. А одессит Столярский, рассказывают, садясь на извозчика, так и говорил ему: «В консерваторию имени мине!»

51

Я пишу то «в Инте», то «на Инте»: мы говорили и так, и этак. (То же и с Воркутой: и «в Воркуте», и «на Воркуте».) Возможно, это идет с тех давних времен, когда первые этапы прибывали на речку Инту и на станцию Инту. Поселок образовался потом — и со временем стал городом.

52

(«…мутноватый русский журналист, служивший посредником в сношениях КПСС и КГБ с Западом…

— Почему это вы все называете меня полковником КГБ? — спросил он однажды английского писателя Рональда Пейна.

— Господи, так вас наконец произвели в генералы, Виктор? — отвечал Пейн.»

(«ТАЙМ», 3 авг.1992 г.)

53

Я часто оговариваюсь: «если мне не изменяет память», «если не ошибаюсь», «насколько помню»… Но повторяю, записей я не вел. И не только в лагере. Единственную попытку завести «записную книжку писателя» я сделал, когда учился в восьмом классе. Нашел в отцовском столе красивый блокнот, написал: «Гадящая овчарка похожа на кенгуру». Действительно похожа. Но этим ценным наблюдением дело ограничилось — первая запись оказалась и последней: я быстро охладел к идее стать писателем.

54

Игорь стал в войну корреспондентом армейской газеты. Надел офицерские погоны, вступил, скорей всего, в партию — но вот ведь, не побоялся написать мне в мой первый лагерь прекрасное письмо, полное тревоги и сочувствия. Писал, что ни одной минуты не верит в нашу виновность, спрашивал, не надо ли чего прислать? Я не ответил и просил маму объяснить Игорю, что незачем ему рисковать, больше писать не надо… Еще одно письмо я тогда же, в 45 году, получил от вгиковки, очень милой девочки Вали Ерохиной (потом она вышла замуж и стала Яковлевой). Она писала о себе, о новых подругах, рассказывала об институтских новостях. «Есть женщины в русских селеньях!» И мужчины… Валечке я тоже не ответил — из тех же соображений, что и Игорю.

55

В Казань эвакуировали Академию Наук. Мишина мать была член-кором. Мишка божился, что президент Академии, когда благодарил городские власти за гостеприимство, закончил речь таким пассажем: «А ведь, как говорится, незванный гость хуже татарина!»

56

С дядей Мишей (Моисеем Соломоновичем) я познакомился через год. Ранение у него было нетривиальное: пуля попала в шею — сзади — и вышла через рот, выбив половину зубов. Полковник был профессиональным военным, артиллеристом, и очень храбрым человеком. Не думаю, чтобы он повернулся к неприятелю спиной. Вероятней всего, стреляла в него какая-то сволочь из своих: такое на фронте случалось.

57

Совсем из других соображений мы в трех сценариях поминали стукача Аленцева — называли по имени-отчеству, говорили всякие нелестные вещи (о персонаже, но в надежде, что и прототип услышит). И все три раза именно этот эпизод выпадал. Фатально. Не надо быть злопамятными?

58

Свою скрипку Лернер продал, когда уехал из Минлага на вечное поселение в Красноярский край. На вырученные деньги он и там, в ссылке, купил себе какую-то хлебную должность. После реабилитации вернулся в Москву, играл в джазе у Рознера (Мы могли бы узнать его телефон, у нас оказались общие знакомые — но решили, что не стоит. Едва ли ему хотелось вспоминать о некоторых подробностях своей лагерной биографии. Хотя мы-то с Юликом ему искренне благодарны.)

А на автобусной остановке возле Мосфильма мы как-то встретили Бьянку. К этому времени она была уже вдовой. Некрасивая немолодая женщина с усталым и недобрым лицом.

59

«Качественные знакомые» выручали Эйслера всю жизнь — и в серьезных случаях, и в несерьезных. Он рассказывал: много лет назад его поехал проводить на вокзал питерский приятель. В «Красной стреле» соседом Абрама Ефимовича по двухместному купе оказался знаменитый артист Юрьев — «последний русский трагик» и старейшина ленинградских гомосексуалистов. Молодой Эйслер забеспокоился.

— Глупости, ничего не бойся, — сказал приятель. — Я тебя научу. Как только тронется поезд, заведи разговор о том, что у каждого человека имеются свои маленькие странности. Он, конечно, заинтересуется, спросит: а какая странность у вас? И ты ему скажешь: каждый раз, когда ложусь спать, я насыпаю себе в анальное отверстие битое стекло.

60

После XX-го съезда такие «тройки» — комиссии, созданные, как говорили, по инициативе А. И. Микояна — ездили по лагерям, чтобы на месте разбираться в «делах» и освобождать незаконно осужденных. В составе тройки был член ЦК, представитель прокуратуры и — для объективности — кто-нибудь из бывших зеков.

Работали тройки так: перелистав лагерное «дело» — как бы конспект следственного, — задавали зеку несколько вопросов и решали: этого выпустить, а этого оставить в лагере. Не реабилитация и не амнистия, такое же, по сути, беззаконие, как деятельность ОСО — но, слава богу, со знаком плюс. Десятки тысяч людей вышли на свободу. (О составе и методах работы троек рассказываю с чужих слов, сам не участвовал).

61

На нашей шахте работала телефонисткой и жена Якова Самойловича, в прошлом видного партийного работника. Полина Филипповна — крупная, красивая и приветливая — была до странности похожа на Дзидру Риттенбергс, будущую жену Евгения Урбанского. А его младший брат, электрослесарь Володя, не вышел статью ни в отца, ни в Женю, что не помешало ему увести из под венца чужую невесту — очень хорошенькую, кстати сказать.

На Инте любили и уважали все их семейство. Именем Евгения Урбанского после его гибели назвали школу, где он учился. А вот улицу назвать в честь него городские власти так и не решились: несмотря на новые времена, лагерное прошлое отца перевесило кинематографическую славу сына.

62

Расставаться с сапогами мне было очень обидно. Когда мама прислала их — еще в Ерцево — я боялся, что они не налезут: у отца нога была на два номера меньше моей. А так хотелось поносить хорошие хромовые сапожки! Весь барак переживал за меня. Попробовали обсыпать босую ногу зубным порошком — за неимением талька. Не помогло. И тут кто-то из ребят, сжалившись, подарил мне тоненькие шелковые носки. Вот тогда нога с трудом, но проскочила. Потом-то я их разносил и радовался жизни — до встречи с Ивановым. К счастью, этого гаденыша вскоре перевели от нас. И Жора Быстров, которого возили на доследствие, видел его в роли вахтера какого-то провинциального УВД.

63

В так называемую «эпоху позднего реабилитанса» дело Батанина Мстислава Алексеевича пересмотрели. Он приезжал к нам из Горького — вся грудь в орденах. Но это его уже не радовало: навалились всякие хвори. И раньше времени свели его в могилу. А память о нем и о его лихом побеге из лагеря осталась в двух наших фильмах — «Служили два товарища» и «Затерянный в Сибири».

Эсэсовцев легко было вычислить по вытатуированной на бицепсе буковке. (Группы крови немцы обозначали не цифрами, а буквами.) Понимая это, эсэсовцы боялись сдаваться русским: думали, расстреляют на месте.

Кто-то из ребят рассказывал, что сам видел, как целая эсэсовская рота в бою под Данцигом ушла, отстреливаясь, в море: предпочли утопиться, а не сдаться в плен. Этот рассказ произвел на нас с Юликом впечатление (см. «Служили два товарища»).

65

Забавно, что когда много лет спустя, уже в Москве, мы сочиняли «Жили-были старик со старухой», еще не написав первой страницы, решили: в конце, на поминках старика будут петь его (и нашу) любимую песню «И снег, и ветер». Вообще-то она уже звучала в другом фильме, «По ту сторону», для которого и была написана. Но мы объявили на студии, что без этой песни фильма не будет. А. Пахмутова была польщена.

В Цинциннати, где я гостил у дочки, меня разыскал односеделец Виктор Левенштейн, «Рыбец». Специально приехал из другого города, привез свои тюремные фото — анфас и в профиль. И ксерокопию портрета, нарисованного на Красной Пресне каким-то умельцем. Портрет был выполнен обгорелыми спичками на носовом платке — чтоб легче было утаить при шмоне. А фотографии попали к Рыбцу при таких обстоятельствах: выпросил у нарядчика, пообещав вернуть утром. А ночью нарядчика зарубили блатные, так что отдавать не пришлось.

66

С Любовью Фейгельман я познакомился лет пять назад, в Москве. Очень немолодая, но все равно хорошенькая — комсомольская богиня на пенсии. Теперь она носила фамилию последнего мужа — Руднева. (По словам Ярослава Васильевича, все ее мужья приходили к нему выяснять отношения — хотя романа и в помине не было. Просто это имя и фамилия ритмически легли на вертевшуюся в голове мелодию.) Меня Любовь Саввишна спросила, нельзя ли сделать сценарий из ее книги и, услышав, что нельзя, сильно охладела ко мне. Для нее, как сказал бы А. Митта, «общение перестало быть плодотворным».

67

По капризу судьбы Смеляков и Каплер, вернувшись с Москву, какое-то время жили возле кинотеатра «Прогресс» в одном доме и даже на одной площадке. Погостив у Алексея Яковлевича, мы звонили в дверь напротив — к Ярославу Васильевичу.

Таких — даже состоявших в официальном браке — на женском ОЛПе было несколько: Лена, жена греческого дипломата по фамилии Политис, жена американца Галя Уоллес… Я их не знал, только слышал о них.

69

В этой бригаде до Плезанса не было ни одного негрузина. Выкликая их по карточкам на разводе — «Беридзе… Гогоберидзе… Апакидзе… Вашакидзе…» — краснопогонник удивился:

— Вас всех, что ли, земляк сюда собрал?

Больше мы этого стрелка не видели. Зеки решили: получил срок. Может, и получил.

А что до Эрика Плезанса, то он в хрущевскую оттепель освободился и даже был отпущен в Англию. Лен Уинкот, который съездил туда в конце шестидесятых, говорил нам, что Плезанс выпустил в Англии книгу под названием «I killed to live» — «Я убивал, чтобы жить». В этой книжке, по словам Лена, случай, когда Плезанс дал по морде кому-то из придурков, превратился в волнующий эпизод: Эрик ударом кулака убил оскорбившего его офицера чекиста. Преувеличение, чтоб не сказать вранье, очень характерное для литературы о лагерях.

Денег минлаговцам поначалу не платили вовсе. Потом, видимо, вспомнив, что по марксистской теории «рабский труд не производителен», стали начислять нам зарплату — но не как вольным, а без северного коэффициента. Зато из заработка вычиталась стоимость питания, одежды и еще чего-то — в том числе и охраны (не здоровья, а лагерной охраны, конвоя). Оставалась небольшая сумма, которую переводили на лицевой счет зека. Каждый месяц можно было взять со счета несколько рублей и купить в ларьке, скажем, папирос или конфет. Справедливости ради замечу, что у перевыполнявших норму шахтеров после всех вычетов оставалась приличная по тем временам сумма — рублей 200–300. Но таких стахановцев было очень мало.

71

Зачеты — это форма поощрения хорошо работающих и не нарушающих режим зеков. На ББК и на других гулаговских стройках тридцатых годов зачеты практиковались. Потом о них забыли и вспомнили только году в сорок седьмом. Каждый месяц со срока скащивалось определенное количество дней — в зависимости от характера работы. Продержалось это нововведенье недолго. Надо сказать, что встретили мы его с недоверием и проводили без сожаления — не очень надеялись, что зачеты сработают. А вот сработали.

72

В 92-м году из Израиля приехал погостить Гарри Римини. Алёша Арцыбушев — полысевший, бородатый — зашел повидаться со старым другом. И увидел эскизы Зои Дунской (она архитектор и занимается реставрацией церквей). Арцыбушев обрадовался:

— Вот что мне нужно!

Он сосватал Зое срочную работу: к прибытию мощей св. Серафима Саровского надо было привести в порядок интерьер храма в Дивееве… Интинская зековская солидарность до сих пор в действии.

А года два назад в нашем доме повстречались и интинские жены — Тамара Римини и Варя. Пришла и Мариха — рыжая, красивая. Больше всех радовалась встрече Варя — будто чувствовала, что скоро умрет. И умерла через два дня от сердечного приступа.

73

Не очень понятно, чем руководствовались «микояновские тройки», решая судьбы заключенных. Еще когда мы были на 3-м, ушел по решению тройки на свободу «изменник Родины» Славка Мещеряков — ушел, не доотбыв длинного-длинного срока, а мы, «язычники», остались. Выйдя за зону он весело крикнул нам из-за проволоки:

— Фраера! Я всегда говорил: держаться надо за Адольфа!

74

Мы смеемся: «что немцу смерть, то русскому здорово». Они могли бы переиначить: «что немцу здорово, то русскому смерть». Хотя и в старой пословице что-то есть. Нам рассказывали: в немецком лагере для военнопленных двое наших решили встретить Новый Год по всем правилам. Поднакопили пайкового эрзац-меда, раздобыли где-то дрожжей и в большой канистре замастырили брагу. Пригласили двух английских летчиков — те были хорошие ребята, делились посылками. Им-то через Красный Крест регулярно слали, их правительство было не такое гордое, как наше, и подписало Женевскую конвенцию… Еще позвали двух югославов, с которыми дружили.

А канистра оказалась не то проржавевшая, не то из под какой-то гадости — словом, все шестеро отравились. Англичане умерли в ту же новогоднюю ночь, югославы — все-таки братья славяне — продержались неделю, но тоже отдали богу душу, а оба наших выжили.

В рассказе фигурировали англичане, а не немцы. Но если вспомнить, что когда-то на Руси всех европейцев звали немцами и если допустить, что рассказчик не приврал, значит и вправду: что немцу смерть, то русскому здорово. Без шуток, в советских лагерях русские оказывались выносливее всех. Закалка.

75

Весельчак Борька Печенев вскоре после пожара погиб — несчастный случай в шахте. Вообще-то процент производственного травматизма на шахтах Инты был не слишком высок. В хирургическое отделение городской больницы попадали по большей части не жертвы подземных аварий, а мотоциклисты. Типовой сюжет: пьяный мотоциклист на полном ходу врезается в деревянные перила моста и летит на лед речки Угольной. Пока он лечит в больнице ушибы и переломы, жена продает мотоцикл — если от него что-то осталось. Чаще всего лихачи этим и отделывались. Но один из них, молодой эстонец, только что женившийся, размозжил мошонку. Его пришлось кастрировать.

76

Варлам Шаламов считал, что лагерный опыт не может быть позитивным. Но послеколымский взлет Шаламова-писателя позволяет, по-моему, усомниться в справедливости этого утверждения.